АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



DANIEL DEFOE



THE FORTUNATE MISTRESS OR ROXANA

ДАНИЭЛЬ ДЕФО



СЧАСТЛИВАЯ КУРТИЗАНКА ИЛИ РОКСАНА

Издание подготовили

А. А. ЕЛИСТРАТОВА, Т. М. ЛИТВИНОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва, 1974

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

А. А. ЕЛИСТРАТОВА

Д $\frac{70304-0352}{042(01)-74}$ —296—74



ДАНИЭЛЬ ДЕФО

Гравюра М. Вандергухта с портрета работы Джереми Тавернера

СЧАСТЛИВАЯ КУРТИЗАНКА,

или

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

и всевозможных превратностей судьбы

МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БЕЛО,

впоследствии именуемой

ГРАФИНЕЙ ДЕ ВИНЦЕЛЬСГЕЙМ ГЕРМАНСКОЙ,

ОНА ЖЕ ОСОБА,

ИЗВЕСТНАЯ ВО ВРЕМЕНА КАРЛА II

ПОД ИМЕНЕМ ЛЕДИ РОКСАНЫ



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

История этой красивой дамы достаточно красноречива; и если изложение ее уступает в изяществе и красоте наружности той, о ком идет рассказ, — а она, если верить молве, была истинной красавицей, — если повествование о ее жизни не столь занимательно, как того хотелось бы читателю, и если наиболее занимательные места недостаточно назидательны, то винить во всем этом следует одного лишь рассказчика. Краски, какие он избрал для своего повествования, надо полагать, во многом уступают яркости нарядов, в коих угодно было являться миру особе, от лица которой он говорит.

Рассказчик берет на себя смелость утверждать, что повесть сия отличается от большей части современных произведений этого рода, хоть многие из них были приняты публикой благосклонно. Итак, главное отличие нашей повести в том, что она основанием своим имеет доподлинные происшествия, или, иначе говоря, читателю предлагается собственно не повесть, а история человеческой жизни.

Места, где разыгрываются главные события этой истории, так близки местам, избранным рассказчиком, что он вынужден скрыть имена действующих лиц из опасения, как бы обитатели тех мест, в памяти которых еще не вовсе изгладились описываемые происшествия, не узнали подлинных участников этих происшествий.

Особой нужды выводить участников доподлинной истории под их истинными именами нет, меж тем как обнародование самой этой истории безусловно служит к пользе; и если бы перед нами всякий раз ставилось условие: либо представлять всех участников истинных происшествий под их собственными именами, либо вовсе отказаться от описания их — сколько прелестных и занимательных историй так никогда бы и не увидело света! Скольких удовольствий — не говоря о пользе — был бы лишен читатель!

Будучи самолично знаком с первым мужем этой дамы — пивоваром ***, а также с его отцом и досконально зная печальные обстоятельства,

выпавшие на долю этой семьи, рассказчик всецело ручается за правдивость первой части предлагаемой истории и склонен в этом видеть залог того, что и остальная ее часть достойна доверия; правда, описанные в ней события имели место главным образом в заморских краях, и поэтому не поддаются проверке, тем не менее, поскольку мы об этих событиях узнаем с собственных слов особы, о которой идет речь, у нас нет оснований сомневаться в их достоверности.

Из ее бесхитростного рассказа видно, что она не стремится ни оправдывать свои поступки, ни, тем более, советовать другим следовать ее примеру в чем-либо, кроме ее чистосердечного раскаяния. В многочисленных отступлениях, коими она перебивает свой рассказ, она сама себя осуждает и клеймит с жесточайшей суровостью. Как часто и с какой неподдельной страстью казнит она себя, тем самым внушая нам справедливый взгляд на ее поступки!

Это верно, что, следуя дорогами порока, она достигает неслыханного успеха; однако, даже достигнув вершины земного благополучия, она то и дело признается, что радости, доставшиеся ей неправедным путем, — ничто перед муками раскаяния и что ни утехи богатства, в котором она, можно сказать, купалась, ни пышные наряды и выезды, ни даже почести, которыми она была окружена, — не даровали ее душе долгожданного покоя и не позволяли ей забыться ни на час в те бессонные ночи, когда она к себе обращала слишком заслуженные укоры.

Благочестивые размышления, на какие наводит читателя эта часть повести, полностью оправдывают ее обнародование, ибо заставить людей глубоко задуматься и есть та цель, коею задался рассказчик. И если, излагая сию историю, не всегда можно обойтись без описания порока во всей его неприглядности, рассказчик просит читателя поверить, что он приложил все усилия к тому, чтобы избежать непристойных и нескромных оборотов; он надеется, что вы здесь не найдете ничего такого, что могло бы служить к поощрению порока, и что, напротив, убедитесь, что порок повсеместно представлен в самом неприглядном виде.

Картины преступлений, какими бы красками их ни рисовать, всегда могут склонить порочную душу на дурное; однако если порок и представлен здесь во всем его пестром оперении, то сделано сие не соблазна ради, но затем, чтобы полностью его развенчать; и не вина рассказчика, если, залюбовавшись представленной картиной, читатель сделает из нее неподобающее употребление.

Впрочем, мы исходим из того, что человек, чем он благонравнее, тем более стремится к совершенствованию своей добродетели; к тому же преимущества предлагаемого труда очевидны, и читатель, посвятив ему часы досуга, проведет время с приятностью и пользою.

Я родилась, как мне о том сказывали родные, во Франции, в городе Пуатье[1], в провинции, или, по-нашему, — графстве Пуату. В 1683 году или около того родители привезли меня в Англию, ибо, подобно многим другим протестантам, они были вынуждены бежать из Франции, где подвергались жестоким преследованиям за свою веру[2].

Не очень понимая, а, вернее, совсем не понимая причин нашего переезда, я была весьма довольна своим новым местожительством. Большой веселый город, Лондон пришелся мне по вкусу. Я была еще дитя, и многолюдие меня тешило, а нарядная толпа восхищала.

Из Франции я не вынесла ничего, кроме языка этой страны. Отец мой и мать принадлежали к более высокому кругу, нежели те, кого принято было в ту пору называть *беженцами*: они покинули Францию одними из первых, когда еще можно было спасти свое состояние; отец мой умудрился загодя переправить сюда то ли крупную сумму денег, то ли, помнится, большую партию каких-то товаров — французского коньяку, бумаги[3] и еще чего-то; все это ему удалось продать с большой выгодой, так что к нашему приезду в его распоряжении был немалый капитал и ему не пришлось обращаться за помощью к своим поселившимся здесь ранее соотечественникам. Напротив, наш дом постоянно осаждали голодные толпы жалких беженцев, покинувших свою страну — кто в силу убеждений, кто по другим каким причинам.

Помню, как отец мой говорил, что среди множества одолевавших его людей были и такие, кого мало заботили вопросы вероисповедания и кому на родине не грозило ничего, кроме голода. Наслышанные о радушии, с каким в Англии привечают иностранцев, о том, как легко здесь найти работу, как, благодаря доброй попечительности лондонцев, приезжих всячески поощряют поступать на мануфактуры — в Лондоне и его окрестностях, в Спитлфилдсе, Кентербери[4] и других местах — и еще о том, насколько лучше заработки здесь, нежели во Франции и прочих странах, они прибывали целыми полчищами в поисках того, что именуется средствами к существованию.

Как я уже говорила, отец мой сказывал, что среди домогавшихся его помощи было больше людей этого рода, нежели истинных изгнанников, коих совесть, к великой их печали, понуждала покидать отчизну.

Мне было около десяти лет, когда меня привезли сюда, где, как я уже говорила, мы жили, не ведая нужды, и где — спустя одиннадцать лет по переезде нашем — отец мой умер. За этот срок, поскольку я предуготовляла себя для светской жизни, я успела, как это принято в Лондоне, познакомиться кое с кем из соседей. Я подружилась с двумя-тремя ровесницами и сохранила их дружеское расположение и в более поздние годы, что немало благоприятствовало моим дальнейшим успехам в свете.

Училась я в английских школах и, будучи в юных летах, без труда и в совершенстве усвоила английский язык, а также и все обычаи, коих придерживались английские девушки. Так что от французского во мне не оставалось ничего, кроме языка; разговор мой, впрочем, не изобиловал

французскими оборотами, как то случается у иностранцев, и я не хуже любой англичанки говорила на самом, можно сказать, натуральном английском языке.

Поскольку мне приходится себя рекомендовать самой, я надеюсь, что мне позволительно говорить о себе с полным, насколько это возможно, беспристрастием, как если бы речь шла о постороннем мне лице. Льщу ли я себе или нет, судите по моему рассказу.

Итак, я была (достигнув четырнадцати лет) девицей рослой и статной, во всем, что касалось житейских дел, смышленой, за словом, как говорится, в карман не лезла и острой — что твой ястреб; немного насмешлива и скора на язык, или, как говорят у нас в Англии, развязна; однако в поступках своих не позволяла себе выходить за рамки приличия. Будучи по крови француженкой, я танцевала, как природная танцовщица, и танцы любила до страсти; голосом тоже обижена не была и пела — да так хорошо, что (как вы увидите из дальнейшего) это умение сослужило мне немалую службу. Короче, у меня не было недостатка ни в красоте, ни в уме, ни в деньгах, и я вступала в жизнь со всеми преимуществами, обладая которыми молодая девица может рассчитывать на всеобщее расположение и счастливую жизнь.

Когда мне минуло пятнадцать, отец, положив мне в приданое 25 000 ливров (он привык считать на французские деньги), по-нашему же — две тысячи фунтов[5], выдал меня за крупного лондонского пивовара. Прошу прощения за то, что не раскрываю его имени, ибо, хоть он и был главным виновником моей погибели, я все же не могу отважиться на столь жестокую месть.

С этим-то существом, именуемым мужем, я прожила восемь лет в полном достатке; какое-то время я даже держала собственный выезд, вернее, подобие его, ибо в будние дни лошади запрягались в телегу, а по воскресеньям я могла ездить в своей карете в церковь или еще куда — с согласия мужа. Впрочем, согласия-то как раз между нами почти не бывало. Но об этом после.

Прежде чем приступить к описанию той эпохи моей жизни, что я провела в законном браке, позвольте мне дать столь же беспристрастный отчет о характере моего мужа. Это был славный малый, красавец и весельчак, словом, дружок, о каком всякая женщина, казалось бы, может только мечтать: хорошего сложения, рослый, пожалуй, даже немного чересчур — впрочем, не настолько, чтобы казаться неуклюжим, и преотличный танцор. Последнее обстоятельство, должно быть, и послужило главным поводом к нашему сближению. Делами пивоварни прилежно и старательно занимался его отец, так что собственные его обязанности сводились к тому, чтобы время от времени наведываться в контору. Не будучи обременен заботами, он не утруждал себя ничем, а ходил по гостям, бражничал с приятелями да предавался своему любимому занятию — охоте.

Красивый мужчина и превосходный охотник — вот вам и весь его портрет! Я же, подобно многим молодым девицам, выбрав себе спутника

жизни за красивую наружность и веселый нрав, оказалась несчастна, ибо во всех остальных отношениях это был самый пустой, самый никчемный и необразованный мужчина, с каким когда-либо женщине доводилось связать свою судьбу.

Здесь я должна сделать небольшое отступление и — как бы я ни осуждала себя за дальнейшее — позволю себе обратиться к моим молодым соотечественницам со следующим предостережением: сударыни, если вам сколько-нибудь дорого ваше благополучие, если вы рассчитываете на счастливое супружество, если надеетесь сохранить — а в случае беды восстановить ваше достояние, — не выходите замуж за дурака. За кого угодно — только не за дурака! Конечно, никто не может поручиться, что вы будете счастливы в браке, за кого бы вы ни вышли, но что вы будете несчастливы, если вступите в брак с дураком, это уже наверное. Да, с умным человеком можно оказаться несчастливой, но быть счастливой с дураком — никогда! Он не в состоянии, даже если бы захотел, оградить вас от нужды и лишений; что он ни делает — все невпопад, что ни скажет — некстати. Всякая мало-мальски благоразумная женщина двадцать раз на дню почувствует, как он несносен. В самом деле, что может быть хуже, чем краснеть всякий раз, как этот пригожий, статный малый откроет рот на людях? Слышать, как другие мужчины высказывают разумные суждения в то время, как твой муж сидит, словно воды в рот набрал? Но и это еще полбеды — а каково слышать дружный смех окружающих, если он вдруг пустится в разглагольствования?

К тому же разновидностей дураков на свете столь великое множество, разнообразие этой породы столь безгранично и невообразимо, и определить, какой вид ее наихудший, так трудно, что я вынуждена сказать: никаких дураков нам не надобно, сударыни, ни бесшабашного дурака, ни степенного болвана, ни благоразумного, ни безрассудного! Нет, всякая судьба предпочтительнее, чем участь женщины, которой в мужья попался дурак, — лучше провековать в девицах, нежели связать свою судьбу с дураком!

Со временем нам придется вернуться к этому предмету, покуда же его оставим. Моя беда была тем горше, что человек, который мне достался, совмещал в своем лице несколько разновидностей дурака одновременно.

Он был, во-первых, — и это совсем нестерпимо — дураком самодовольным, tout opiniâtre*; в каком бы обществе он ни находился, какое бы суждение при нем ни высказывалось — пусть самым скромным, непритязательным тоном — мой молодчик должен непременно выскочить со своим мнением; и уж, разумеется, оно было единственное правильное и дельное! Когда же доходило до обоснования своего суждения, он нес такую околесицу, что всем становилось неловко.

---

* Страшно упрямым (*франц.*).

Во-вторых, он был упрям и несгибаем; чем глупее и несообразнее мысль, которую он выскажет, тем упорнее он ее отстаивает. Это делало его совершенно невозможным.

Названных двух свойств, даже если бы у него не было других, оказалось бы довольно, чтобы сделать его несноснейшим из мужей, так что всякому, я думаю, очевидно, каково мне было с ним жить. Впрочем, я не падала духом и больше отмалчивалась — это был единственный способ его одолеть. Какой бы вздор он ни нес, о чем бы ни заводил речь, я не отвечала и не спорила с ним, и тогда он приходил в невообразимую ярость и выбегал из комнаты. А мне только того и надо было.

Перечень всех уловок, к которым мне приходилось прибегать, чтобы сделать существование с этим невозможным человеком сколько-нибудь сносным, отняло бы слишком много времени, а примеры показались бы слишком ничтожными. Упомяну лишь некоторые из них и в тех местах моего повествования, где описываемые события этого потребуют.

Примерно на пятом году моего замужества умер отец — матушку же я схоронила много прежде. Отец был так недоволен моим браком, поведение моего мужа так его огорчало, что, хоть он и отказал мне в завещании больше 5000 ливров [6], однако сумму эту повелел вручить моему старшему брату с тем, чтобы тот сберег ее для меня. Брат же, пустившись в чересчур рискованные торговые спекуляции, в конце концов обанкротился [7], из-за чего потерял не только свои собственные деньги, но также и мои. Но об этом речь впереди.

Таким образом я лишилась всего, что мне причиталось от отцовских щедрот, — и это по той простой причине, что вышла замуж за человека, которому отец мой не решился довериться. Вот достойная награда женщине, связавшей свою судьбу с дураком!

Два года спустя после смерти моего отца умер также и мой свекор, оставив, как мне в то время казалось, изрядное прибавление к нашим капиталам, ибо с его смертью все доходы от пивоварни — а дела ее процветали — перешли к мужу.

Однако это увеличение наших доходов и послужило к его погибели, ибо деловая жилка отсутствовала у него начисто, и он был совершенным невеждой по счетной части. Поначалу, правда, он суетился в конторе, желая показать себя деловым человеком, но вскорости опять все запустил. Проверять счета он почитал ниже своего достоинства, целиком доверялся конторщикам и счетоводам. Покуда у него были наличные, чтобы рассчитываться с поставщиками солода и со сборщиком налогов, да водились в кармане денежки, он и в ус не дул; как получится, так и ладно!

Предвидя, чем все это кончится, я несколько раз принималась его урезонивать, побуждая прилежнее вникнуть в дела. Я говорила ему и о многочисленных жалобах клиентов на его служащих и о том, что из-за недобросовестности его управляющего он из кредитора превратился в должника, но на мои увещевания он отвечал либо грубостью, либо

враньем, представляя мне положение дел в ином свете, нежели то, в каком они находились в действительности.

Словом, чтобы покончить с этой скучной историей, которая и длилась-то совсем недолго, он вскоре обнаружил, что торговля его хиреет, капитал тает, и что, короче говоря, он не в состоянии вести дело дальше. Раза два ему даже пришлось за неимением наличных денег отдать весь инструмент пивоварни в счет налога, а последний раз, когда это случилось, он с превеликим трудом его выкупил.

Перепугавшись не на шутку, муж мой решил отказаться от дела, о чем, по правде сказать, я не очень-то сокрушалась, понимая, что если он не передаст его в другие руки по своей воле, он будет к тому вынужден обстоятельствами, иначе говоря, обанкротится. К тому же я хотела, чтобы он избавился от пивоварни, покуда у него оставалась еще какая-то доля капитала, и меня не раздели до нитки и не выгнали на улицу с детьми — а надо сказать, что к этому времени супруг мой подарил мне целых пять душ — единственное дело, к какому пригодны дураки!

Итак, когда ему удалось сбыть кому-то свою пивоварню, я почувствовала великое облегчение. После того, как он выплатил все свои долги до единого, для чего ему пришлось выложить изрядную сумму, он остался при двух или трех тысячах фунтов. Нам пришлось расстаться также и с нашим домом подле пивоварни, и мы переехали в ***, небольшое селение, отстоящее примерно на две мили от городской черты. Принимая в соображение все эти обстоятельства, я почитала за счастье, что нам удалось так легко отделаться, и, обладай мой красавец хоть крупицей здравого смысла, я бы и до сей поры не знала, что такое нужда.

На оставшийся капитал или на часть его я предлагала купить дом: для такой покупки я была готова присоединить свои деньги, в ту пору еще нетронутые; кстати сказать, если бы муж послушал тогда моего совета, я бы, вероятно, и вообще-то их не лишилась, и мы могли бы жить безбедно — во всяком случае до конца его жизни. Но дурак на то и дурак, что не слушает разумных советов; не послушал и он моего и, не ударяя пальцем о палец, продолжал свое беспечное житье: по-прежнему держал множество слуг и лошадей и каждый день выезжал на охоту. Деньги меж тем таяли с часу на час, и перед моими глазами явственно встала картина нашего окончательного разорения, предотвратить которое я не имела способа.

Сколько я ни уговаривала мужа, сколько ни умоляла его перемениться — все напрасно. Я говорила ему, как быстро убывают наши деньги, в каком жалком положении мы окажемся, когда они кончатся совсем, но на него мои слова не производили никакого впечатления; словно одержимый, он продолжал свое, не обращая внимания на мои слезы и сетования и ни на грош не сокращая издержек на свои наряды, выезды, лакеев и лошадей, и так до самого конца, пока в один прекрасный день не обнаружил, что все его состояние равняется ста фунтам.

За какие-нибудь три года он умудрился промотать все свои деньги, причем и мотал-то он их, можно сказать, бессмысленно, в компании самых ничтожных людей, охотников да лошадников, которые стояли много ниже его по положению. Ну, да это еще одно непременное свойство дурака. Дурак никогда не ищет общества человека умнее или способнее себя: нет, он знается с негодяями, пьет солод с грузчиками, словом, водит компанию с самым подлым людом.

Однажды утром в эту несчастную пору муж мне вдруг объявил, что понял, до какого он дошел ничтожества и что решил отправиться искать счастья, куда глаза глядят. Такое, впрочем, он говорил и раньше, и не один раз, в ответ на мои уговоры образумиться, покуда не поздно, и подумать о положении, в каком находится и сам он и его семья. И я уже не обращала внимания на эти его слова, считая, что они, как и все, что он говорит, не значат ровным счетом ничего. Иной раз, когда он заводил такой разговор, я, грешным делом, даже думала про себя: «Вот и хорошо, и поезжай с богом, а то ты нас всех с голоду уморишь».

И в самом деле, объявивши о своем уходе, он весь тот день оставался дома, да и ночевал дома тоже. Но на следующее утро он вскочил ни свет, ни заря и, как всегда, когда созывал людей на охоту, стал дуть в валторну (так он именовал свой охотничий рожок).

Это был конец августа, когда еще светает довольно рано, часу в пятом. В этот-то час я и услышала, как он вышел со двора вместе с двумя слугами и затворил за собой ворота. Он ничего не сказал мне такого, чего бы не говорил обычно, отправляясь на охоту; я даже не встала с постели и тоже ничего особенного ему не сказала; когда он отъехал, я вновь уснула и поспала еще часа два.

Читатель, верно, удивится, когда я ему объявлю, что с той самой поры я ни разу больше не видела моего мужа. Мало того, я не получила от него ни одной весточки и ни о нем, ни о его двух слугах, ни даже о лошадях их так больше ничего и не слышала; мне не удалось узнать, ни что с ними случилось, ни куда, или хотя бы в какую сторону они отправились, что делали или что намеревались делать, — они словно сквозь землю провалились. Впрочем, впоследствии кое-что обнаружилось.

Первые двое суток его отсутствие меня ничуть не удивляло, да и первые две недели тоже я не очень беспокоилась; если бы с ними приключилась какая беда, говорила я себе, я бы о том узнала незамедлительно; а взяв в соображение еще и то, что при муже находилось двое слуг и три лошади, допустить, что все они — и люди, и животные — пропали без вести, было и в самом деле слишком уж невероятно.

Можете, однако, вообразить мою тревогу, когда прошла неделя, другая, месяц, два месяца и так далее, а о муже — ни слуху, ни духу! Я крепко задумалась о своей дальнейшей жизни: пятеро детей и — ни гроша денег на их пропитание, если не считать тех семидесяти фунтов наличными, какие у меня еще оставались, да кое-каких ценных вещиц; правда, продав их, я могла бы выручить немалую сумму, но и ее не хватило бы на сколько-нибудь продолжительный срок.

Я не знала, что делать, к кому обратиться за советом и помощью; оставаться в доме, в котором мы жили, было невозможно — очень уж высока была плата, покинуть же его, не имея на то распоряжения от мужа, который мог вдруг вернуться, я тоже не решалась. Я была в полном смятении и совсем упала духом.

В таком-то унынии прошел почти год. У мужа были две сестры, обе семейные, жившие в полном достатке; были у него и другие родственники. Полагая, что они не захотят оставить меня в беде, я часто подсылала к ним узнать, нет ли у них каких вестей о моем бродяге. Однако все они дружно отвечали, что ничего о нем не знают. Я им, видно, сильно надоела своими приставаниями, что они мне и давали понять, раз от разу все более нелюбезно встречая служанку, которую я к ним посылала.

От такой обиды на душе у меня делалось еще горше; моим единственным прибежищем были слезы, ибо не было у меня ни одного близкого человека. Я забыла сказать, что месяцев за шесть или за семь до того, как меня бросил муж, над моим братом разразилась та самая беда, о которой я упоминала ранее, а именно — он обанкротился, попал за долги в тюрьму и — что хуже, — как я о том узнала с великим сокрушением, ему предстояло после того, как он достигнет согласия со своими кредиторами, выйти из нее чуть ли не нищим.

Недаром говорят, что беда одна не приходит. Вот и со мной так случилось: муж меня бросил вскоре после того как единственный из оставшихся в живых моих родственников обанкротился и, следовательно, не мог служить мне опорой. Итак, потеряв мужа и оставшись с пятью малыми детьми на руках без каких бы то ни было средств к их пропитанию, я очутилась в положении столь ужасающем, что никакими словами нельзя описать.

У меня еще оставались — а принимая во внимание обстоятельства, в каких мы жили прежде, иначе и быть не могло, — кое-какая серебряная утварь и драгоценности. Муж мой удрал прежде, чем мы в конец обнищали, так что ему не пришлось, как обычно поступают в подобных обстоятельствах мужья, еще и ограбить меня напоследок. Но в те долгие месяцы, когда я еще рассчитывала, что он вернется, я потратила всю нашу наличность, и вскоре мне пришлось продавать одну вещицу за другой. То немногое, что обладало подлинной ценностью, таяло со дня на день и перед моим мысленным взором открылась картина мрачного отчаяния: вскоре, говорила я себе, мне придется быть свидетельницей голодной смерти моих малюток. Предоставляю судить о моем душевном состоянии женщинам, обремененным большим семейством и привыкшим, подобно мне, жить в довольстве и на широкую ногу. Что до моего мужа, я уже потеряла всякую надежду когда-нибудь его увидеть, да хоть бы он и вернулся, разве он в силах был мне помочь? Ведь он и шиллинга бы не заработал, чтобы облегчить нашу нужду; для этого у него не было ни умения, ни хотения. С его куриным почерком он даже в писари не годился; да что почерк — он и читать-то толком не умел! — в правописании же

смыслил столько, что двух слов не мог написать без ошибки. Безделье было его величайшей усладой, он мог полчаса сряду стоять, прислонившись к столбу, и — подобно драйденовскому крестьянину[8], что насвистывал затем, что ум его не был обременен ни единой мыслью, — беспечно попыхивать своей трубкой. И это тогда, когда остатки нашего состояния уже заметно таяли, когда семью уже подстерегал голод, когда все мы, можно сказать, истекали кровью! А ему и горя было мало. Он даже не задумывался, где добудет еще один шиллинг, когда уплывет уже самый последний.

Поначалу я думала, что буду по нем тосковать, но, так как я не могла забыть его характера, утешилась гораздо раньше, чем ожидала; но все равно, с его стороны было бесчеловечно и жестоко — бросить меня так, без всякого предупреждения, даже знака не подав о своих намерениях! Но особенно меня удивило, что он не прихватил и тех жалких денег, какие у нас еще оставались, — не мог же он не знать хотя бы за несколько минут до своего бегства, что покидает дом навсегда! Ведь нужны были ему деньги, хотя бы на первое время: а он ничего не взял. Меж тем я поклясться готова, что он при себе имел не более пяти гиней. Все, что я знала, это то, что он оставил на конюшне свой охотничий рожок (тот самый, что он именовал валторной), а также охотничье седло; взял же он нарядную упряжь и узорчатую попонку, которыми не имел обыкновения пользоваться, когда отправлялся на охоту; еще он прихватил с собой ящик с пистолетами и прочим снаряжением; один из его слуг взял седло — правда, простое — и тоже пистолеты, а второй — ружье. Из всего этого я могла заключить, что они, должно быть, намеревались путешествовать, а не охотиться. В какую же сторону света держали они путь, о том я узнала много лет спустя.

Как я уже говорила, я подсылала к его родным служанку, которой те отвечали холодно и сухо; никто-то из них не вздумал нас проведать или хотя бы справиться о детях; они уже предвидели, что в скором времени я могу оказаться для них обузой. Мне, впрочем, было не до церемоний. Однажды, вместо того, чтобы послать служанку, я заявилась к ним сама, открыла им положение дел, поведала, в каком мы состоянии, и просила их совета, как мне быть дальше; словом, унижалась перед ними как могла и молила их принять во внимание, что я не в силах содержать семью и что без посторонней помощи нас ожидает неминуемая погибель. Если бы у меня был всего один ребенок, говорила я, или хотя бы двое, я постаралась бы заработать на жизнь иглой и не стала бы беспокоить родственников — разве что попросила бы их помочь мне найти работу. Но где мне, одинокой женщине, к тому же не предуготовленной воспитанием к поденному труду, где мне было прокормить пять ртов? Дети мои все были мал-мала меньше, так что старшие не могли еще нянчить младших.

Но все одно: никто-то мне и гроша не дал; сестры моего мужа, как та, так и другая, едва пригласили меня сесть, в домах у других его родственников мне не предложили и хлебной корки или хотя бы глотка воды.

И только в пятом доме, у престарелой вдовы его дядюшки, самой небогатой из всех его родственников, нашла я привет и ласку; она меня усадила, накормила обедом, но, увы, ничего утешительного я от нее не услышала: с готовностью помогла бы она мне, сказала она, да нечем, и это и в самом деле было так.

У нее облегчила я себе душу, прибегнув к постоянному другу всех страждущих, иначе говоря, к слезам, ибо, начав рассказывать ей, как меня принимали прочие родственники моего мужа, я невольно разрыдалась, да так сильно, что долгое время не могла унять слез; на меня глядя, добрая старушка и сама не один раз принималась плакать.

Как бы то ни было, домой я возвратилась с пустыми руками, и вскорости положение мое сделалось таким отчаянным, что и описать невозможно. После моего первого посещения старой тетки я к ней хаживала еще не раз, так как мне удалось взять с нее обещание попробовать уговорить других родственников освободить меня от заботы о детях или хотя бы помочь мне их содержать. И, надо отдать ей справедливость, она старалась употребить свое влияние на них, но все без толку. Единственное, что ей удалось после всех ее попыток, это собрать у них то ли одиннадцать, то ли двенадцать шиллингов, что, хоть и принесло мне временное облегчение, никоим образом не сняло с меня и части тягот, на мне лежащих.

Среди родни моего мужа была некая бедная женщина, род приживалки, к которой я, не в пример остальным, бывала всегда внимательна и участлива. И вот, однажды утром моя служанка внушила мне послать за ней, в надежде, что та поможет нам в нашей лютой беде.

Здесь я должна воздать должное моей служанке: бедная эта девушка, несмотря на то, что я не могла более выплачивать ей жалованья, о чем я ей и объявила, — а я и так уже задолжала ей за несколько месяцев, — ни за что не соглашалась меня покинуть; мало того, она бралась помогать мне своими сбережениями, покуда они у ней не выйдут. И хоть я была ей искренне признательна за всю доброту и верность, я, как будет видно из дальнейшего, отплатила бедняжке самой скверной монетой.

Словом, Эми (так звалась моя служанка) посоветовала мне призвать эту бедную женщину. Нужда моя достигла крайнего предела, и я решила послушать ее совета. Но в то самое утро, что я надумала за нею послать, ко мне вдруг является старая тетушка и приводит с собой эту женщину. Как оказалось, добрая старуха, проникнувшись ко мне участием, тщетно пыталась еще раз поговорить обо мне с родственниками.

Можете судить о моем состоянии по тому, в каком виде они меня застали. У меня было пятеро детей, причем старшая еще не достигла десятилетнего возраста; в доме у нас оставался всего лишь один шиллинг, но я послала Эми продать серебряную ложку и на вырученные деньги купить мяса; я сидела на полу в гостиной среди кучи тряпья — простынь и прочего, перебирая его в надежде найти что-нибудь, что можно было бы продать или снести в ломбард; при этом я так рыдала, что, казалось, вот-вот, у меня разорвется сердце.

В эту-то минуту они и постучались. Думая, что это вернулась Эми, я даже не поднялась, а так и сидела среди своей ветоши. Кто-то из детей открыл дверь, и обе посетительницы вошли прямо в комнату, где, как я сказала, застали меня в слезах. Можете представить, как меня удивило их появление — в особенности той, за которой я как раз собиралась послать! Когда они увидели неубранную комнату, разбросанное по полу тряпье, посреди которого я сидела с глазами, опухшими от слез, и когда, сверх того, узнали, чем я была занята и с какой целью, они, подобно трем утешителям Иова [9], сели рядом со мной на пол и долго не могли из себя и слова выдавить и только плакали так же горько и безутешно, как я сама.

По правде говоря, в разговорах не было особенной надобности, все было и без того слишком очевидно; та, что еще недавно ездила в собственной карете, сидела сейчас перед ними в пыли, среди лохмотьев; пышная, статная красавица превратилась в остов и чуть не умирала с голоду; на месте богато обставленных комнат, украшенных картинами, зеркалами, лепными потолками и всевозможными безделушками, зияли голые стены и пустота, так как большая часть мебели пошла домовладельцу в счет арендной платы или была продана мною для того, чтобы купить самое необходимое; словом, куда ни падал взор, всюду он встречал нищету и убожество; есть мне было совершенно нечего — не могла же я, следуя примеру несчастных женщин осажденного Иерусалима [10], приняться за поедание собственных детей!

Покуда эти две добрые души сидели рядом со мной, молчаливо разделяя мое горе, вернулась моя служанка Эми. Она принесла несколько бараньих ребрышек да два больших пучка репы, из которых собиралась приготовить рагу на обед. Я же была так потрясена появлением моих двух друзей (ибо это были истинные друзья, даром что бедные) и тем, что они меня видят в таких обстоятельствах, что принялась снова плакать изо всех сил и еще долгое время не могла вымолвить ни слова.

Видя такое мое состояние, они отвели Эми в сторонку и принялись ее расспрашивать. Эми рассказала им все, обрисовав мое положение с такой трогательностью и выразительностью, на какие сама я не была бы способна. Рассказ ее так подействовал на слушательниц, что старая тетушка подошла ко мне и с трудом выговорила сквозь слезы: «Послушай, родная, этак нельзя оставить дело, надо что-то придумать, да поскорей — кстати, где родились ваши дети?» Я назвала приход, в котором родились первые четверо, — пятый же родился уже здесь, в этом доме; кстати говоря, мой домовладелец, который сначала взял мои вещи в уплату аренды, впоследствии, узнав о моем бедственном положении, сжалился и позволил мне жить у него безвозмездно в течение года; впрочем, и этот срок уже подходил к концу.

Выслушав мой рассказ, добрые женщины порешили взять моих детей и поехать с ними к одному из упомянутых мною родственников, с тем чтобы Эми оставила их у его дверей, а сама тем временем скрылась; мне же, по их мнению, следовало на какой-то срок покинуть этот дом,

заколотить двери и исчезнуть. Если родственники, к которым отвезут детей, не согласятся взять заботы об их воспитании на себя, то сказать им, чтобы они вызвали приходских попечителей; приход, в котором рождены мои дети, сказали они, обязан их содержать: что касается младшего, рожденного в приходе ***, о нем уже позаботились: увидев, в каком мы находимся отчаянном положении, приходские попечители по первому моему слову сделали все, что от них требовалось.

К этому и сводился совет добрых женщин; все остальное они брали на себя. Поначалу мне трудно было решиться на разлуку с детьми; особенно ужасало меня то, что они поступят в распоряжение прихода; мысли, одна другой страшнее, теснились в моем мозгу: то мне представлялось, что дети мои погибают от голода, то, что вследствие дурного ухода на всю жизнь сделаются калеками, хромыми и тому подобное. Словом, я совсем было пала духом.

Но ужасающие обстоятельства, в каких я очутилась, ожесточили мое сердце; а когда я рассудила, что, если оставлю детей у себя, они — а с ними заодно и я — неминуемо погибнут, мысль о разлуке уже не представлялась мне столь страшной; куда бы и как бы их ни устроили — все лучше, чем видеть, как они гибнут у меня на глазах, а вслед за ними погибнуть и самой! Так что я согласилась уйти из дому, предоставив моей служанке Эми и этим двум добрым женщинам поступать, как они задумали, в тот же вечер они отвезли всех детей к одной из моих золовок.

Эми, девица решительная, встала под дверью со всеми детьми и постучалась, велев старшей, как только дверь отворится, броситься туда, а остальным тотчас следовать за сестрой. Служанке, вышедшей на стук, Эми сказала: «Пойди, милочка, скажи своей госпоже, что к ней приехали ее племянники из ***» и назвала предместье, в котором мы проживали. Когда же служанка повернулась, чтобы пойти и доложить о том своей госпоже, Эми вновь окликнула ее и сказала: «Вот что, деточка, ты прихвати заодно одного из этих ребятишек, а я поведу остальных», и с этими словами Эми подсовывает ей меньшего, а простодушная служанка берет дитя за ручку и ведет его в комнаты; Эми меж тем тотчас посылает вслед за нею остальных троих, тихонько притворяет за ними дверь — и давай бог ноги!

В это самое время, а именно — когда служанка и ее госпожа жестоко бранились (ибо моя золовка набросилась на горничную как сумасшедшая, ругая ее на чем свет стоит, и приказала ей тотчас догнать Эми и выставить всех детей за дверь, но как той уже след простыл, обе — несчастная девушка и ее госпожа — были вне себя), так вот, в это самое время подходит туда бедная старуха — я имею в виду не тетку, а ту, которую она тогда ко мне привела, и стучится к ним. Тетка же не пошла, потому что она раньше пыталась за меня заступаться и боялась, как бы ее не заподозрили в сговоре со мной; о той же, второй женщине, никто не знал, что она поддерживает со мной отношения.

Весь этот план они с Эми рассчитали заранее — и правильно сделали. Итак, моя добрая приятельница застала хозяйку дома в совершенном бешенстве; она рвала и метала, словно одержимая, обзывая служанку то дурой, то вертихвосткой, то еще как и сулясь выкинуть моих детей на улицу — всех до единого! Моя знакомая, видя ее в таком неистовстве, прикинулась, будто собирается идти прочь.

— Я вижу, сударыня, вы заняты, — сказала она. — Я зайду к вам как-нибудь в другой раз.

— Помилуйте, миссис ***, — возразила моя золовка. — Я ничем особенным не занята. Садитесь, пожалуйста! Просто эта дура впустила сюда полный дом детей моего безмозглого братца. По ее словам, какая-то девка привела их к моему порогу, втолкнула в дверь и велела ей перетащить их ко мне. Ну, да не на таковскую напали! Я уже приказала выставить их на улицу — пусть о них заботится приход! А не то велю своей растяпе отвезти их назад, в ***. Пусть та, что произвела их на свет, и занимается ими. Что это ей вздумалось подкинуть своих щенят ко мне?

— Да уж лучше бы, конечно, второе, — отправить их назад, — сказала моя знакомая. — Жаль только, что поздно. Я ведь и шла-то к вам по этому делу, нарочно, чтобы предупредить вас, да видно опоздала.

— То есть, как это — опоздала? — вопрошает золовка, — Что же это значит? Вы, следовательно, замешаны в этом деле? И это вы навлекли на дом наш такой позор?

— Неужто, сударыня, вы такого дурного мнения обо мне? — отвечала та. — Нынче утром я пошла проведать миссис ***, мою госпожу и благодетельницу (ибо она сделала мне много добра), но, подойдя к ее дому, обнаружила дверь на замке; по всем приметам дом был покинут жильцами. Я принялась стучать, никто не отозвался. Наконец кто-то из прислуги в соседнем доме крикнул: «Что вы стучите? Там никого нет». Я удивилась. «Как так нет, — говорю, — разве миссис *** здесь не живет?» А мне и отвечают: «Нет, она съехала». Тогда я принялась расспрашивать, как и что. «А вот так, — сказала одна из служанок, — бедная барыня жила там, жила одна-одинешенька, без средств и без всего, а нынче утром хозяин выставил ее из дому». — «Выставил? — воскликнула я, — а как же дети? Бедные ягнятки, что же с ними будет?» — «Да уж хуже, чем было, не будет, — отвечают мне. — Они ведь здесь только что не умерли с голоду». И вот соседи, видя горестное положение несчастной барыни — бедняжка была все равно, как потерянная, стоит над детьми, плачет да руки заламывает, — позвали приходских попечителей; те явились и взяли младшего, того, что был рожден в этом приходе, позаботились о нем и устроили к няне, доброй и хорошей женщине. А остальных четырех отослали к родственникам, людям весьма состоятельным, которые к тому же проживают в том же приходе, где родились эти дети.

— Известие это, — продолжала моя знакомая, — меня как громом поразило. Но я тут же пришла в себя и, поняв, что сия невзгода должна будет обрушиться либо на вас, сударыня, либо на мистера ***, поспешила

сюда, дабы вас не застигли врасплох. Вижу, однако, что они оказались проворнее меня, и теперь я не знаю, что вам и присоветовать. Бедную женщину, говорят, выкинули на улицу, а одна соседка еще прибавила, будто, когда у нее уводили детей, она упала без памяти, когда же ее привели в чувство, она совсем потеряла рассудок и ее поместили в приходскую больницу для умалишенных, ибо о ней уж совсем некому заботиться.

Весь этот разговор моя приятельница прилежнейшим образом изобразила в лицах. Из самых добрых побуждений эта честная женщина выдумала все от начала до конца: ни хозяин меня не выгонял на улицу, ни ума я не решилась. Правда, когда я расставалась с детьми, мне в самом деле сделалось дурно и, придя в себя, я металась, как безумная. Но после того, как их увели, я еще продолжала некоторое время оставаться в доме, о чем и расскажу дальше.

Посреди печального рассказа моей приятельницы вошел муж золовки. Меж тем, как собственное ее сердце ожесточилось и оставалось глухо к жалости, хоть она приходилась родной теткой моим детям (ведь она была сестрой их отца), добрый ее муж тронулся несчастной участию нашей семьи. Когда бедная женщина кончила свой рассказ, он обратился к жене со следующими словами:

— Какая печальная история, мой друг! Право, мы должны как-нибудь помочь.

Жена на него так и набросилась:

— Как? — воскликнула она. — Неужели ты намерен взять на себя еще четыре рта? Или тебе своих мало? Неужели ты захочешь отнять хлеб у наших младенцев ради этих щенят? Нет, нет, пусть их возьмет приход, там о них и позаботятся! Я же буду заботиться о своих детях.

— Но, послушай, дружок, — отвечал ей муж. — Разве оказывать помощь нуждающимся не есть наш первейший долг? Ведь кто подает бедным, тот как бы дает взаймы господу богу. Дадим же нашему небесному отцу крохи от хлеба детей наших. Это им зачтется и послужит верным поручительством в том, что им никогда не будет отказано в милосердии и что их никогда не выгонят на улицу, как сих несчастных чад.

— Мне не нужно твоих ручательств, — возразила жена. — Лучшее поручительство для наших детей — это сохранить для них достояние, дабы оградить их от нужды. А уж потом пекись о чужих детях, коль угодно. Своя рубашка ближе к телу.

— Да ведь я, мой друг, только о том и говорю, — принялся он вновь увещевать свою жену, — я ведь только говорю о выгодном капиталовложении: творец еще никогда не оказывался несостоятельным должником; за ним, родная, ничего не пропадает. В этом я тебе могу поручиться.

— Перестань меня морочить своими притчами да сладкими речами! — закричала она в сердцах. — Это мои родственники, а не твои, и я не пущу их в свой курятник, к моим цыплятам. Нет, нет, им место в приюте и все!

Добрый ее муж на это спокойно отвечал:

— Раз они — твоя родня, то, значит, и моя. И я не допущу, чтобы твои родственники, попав в беду, остались без помощи, как не допустил бы такого со своими кровными родственниками. Нет, мой друг, я не отдам их приходским попечителям. Слово мое твердо: покуда я жив, я не допущу, чтобы хоть один из родственников моей жены воспитывался в приюте.

— Как? Ты возьмешь четырех детей на свое иждивение? — вскричала жена.

— Нет, мой друг, — сказал он. — У тебя ведь есть сестра, миссис ***. Я переговорю с нею; затем, твой дядюшка, мистер ***. Я и его позову, и всех остальных. Вот увидишь, когда мы все вместе соберемся, то изыщем и средства и способы, чтобы не дать этим четырем душам пойти по миру и умереть с голоду! Иначе и быть не может, право. Обстоятельства наши не так уж худы, неужели мы не можем оторвать от себя кусок для бедных сироток? Не отвращай же сердца твоего от собственной плоти и крови. Неужто ты можешь слышать голодные стоны сих невинных младенцев и не подать им корочки?

— Но зачем же им стонать непременно под нашими окнами? — спросила она. — Прокормить их — дело прихода. Я не позволю им стонать под моей дверью. А будут стонать, я им все равно ничего не подам.

— Ты не подашь, — сказал он, — зато я подам. Вспомни грозное пророчество из Притчей Соломоновых, гл. 21, стих 13: «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить — и не будет услышан». Ведь это про нас сказано.

— Ладно, — сказала она. — Ты здесь хозяин, и делай как знаешь. Но была бы моя воля, я бы их послала туда, где им надлежит быть, — пусть возвращаются, откуда пришли.

Тут вмешалась моя приятельница и сказала:

— В таком случае, сударыня, вы бы и в самом деле обрекли их на голод, ибо там, где они жили раньше, приход не обязан о них заботиться и они умрут на улице.

— Или их привезут снова сюда, — сказал муж, — в наш приход; мировой судья прикажет отвезти их сюда на телеге для убогих, и вся наша семья, все родственники будут выставлены на позор перед соседями, а также перед теми, кто помнит доброго деда этих детей; ведь он всю жизнь проживал в нашем приходе, дела его всегда процветали, и он снискал себе заслуженную любовь всех, кто его знал.

— А я все это ни в грош не ставлю! Что мне до всего этого! — сказала жена. — И не желаю содержать ни одного из них.

— Воля твоя, мой друг, — говорит ее муж. — Тебе до этого нет дела, а мне есть, и я не потерплю, чтобы на мою семью и на детей наших легло такое позорное пятно. Отец твой был достойный и добрый старик, и имя его пользуется уважением во всей округе. Ведь ты — родная его дочь, а наши дети — его родные внуки, и если мы дадим детям твоего брата погибнуть или отпустим их в приют в том самом городе, в котором

некогда процветал ваш род, это останется тяжелым укором и на тебе и на твоих детях. Впрочем, довольно разговоров. Пора заняться устройством бедных малолеток.

С этими словами он посылает за всеми родственниками и, назначив им явиться в близлежащую харчевню, велит туда же привести и четырех моих малюток, дабы все увидели их воочию. С первого же его слова все родственники соглашаются помочь, а так как его жена в своей ярости не желала, чтобы и один из четырех оставался в ее доме, то порешили, хотя бы для начала содержать их где-нибудь вместе. И надумали отдать их на попечение моей приятельнице, той, что и затеяла все дело; при этом они обязались друг перед другом доставлять ей сумму, потребную на их содержание. А чтобы не отделять пятого, послали и за самым младшим — тем, которого взял приход, — и постановили всех пятерых воспитывать вместе.

Подробный рассказ о попечительной нежности, с какой этот добрый человек, который не был даже родным дядей моим малюткам, уладил все дело, как заботился о них, постоянно их навещая и следя за тем, чтобы они были сыты, одеты и получили должное образование; как после окончания школы старался определить каждого на работу с наибольшей выгодой — такой рассказ занял бы слишком много места в этой повести о моей жизни. Достаточно сказать, что он более походил на отца, нежели на неродного дядю, и это при том, что ему приходилось поступать наперекор воле своей жены, нрав которой не отличался ни участливостью, ни состраданием.

Можете себе представить, с какою радостью я обо всем этом узнала; и сейчас, вспоминая об этом, я испытываю такую же радость. Ибо я несказанно терзалась мрачными предчувствиями, ожидая, что моим детям выпадут все те беды и невзгоды, какие выпадают на долю тех, кто, не имея друзей и заступников, оказываются брошенными на милость приходских попечителей.

Впрочем, я уже вступала на новое поприще моей жизни. На руках у меня оставался большой дом и сохранилась кое-какая мебель. Однако содержать себя и мою служанку Эми мне было так же не под силу, как и прокормить пятерых детей. Средств к жизни никаких, разве что добывать их собственным трудом. Между тем рассчитывать на работу в нашем предместье особенно не приходилось.

Хозяин дома, в котором я жила, узнав о моих горестных обстоятельствах, оказал мне большое снисхождение; правда, прежде того, когда он ничего еще не знал, он взял мои вещи и кое-что из них успел увезти.

Зато впоследствии он позволил мне прожить целых девять месяцев в его доме, хоть я ему не только не платила за аренду, но, что хуже, и не в состоянии была платить. Он, однако, как я заметила, что ни дальше, то чаще стал ко мне наведываться, любезнее на меня поглядывать и дружелюбнее разговаривать. Особенно заметно это было в последние его два-три посещения. Он сказал, что видит мои бедственные обстоятельства, как туго мне приходится и так далее; и что ему очень меня жаль.

А в последний свой приход он был еще любезнее и сказал, что хочет со мною отобедать и, испросив моего разрешения, послал Эми купить мяса, наказав ей взять либо телятины — заднюю часть, либо говяжьих ребрышек; служанка же моя, блюдя мои интересы — а она была предана мне все душой, как кожа к телу, так она ко мне, — слукавила и ничего покупать не стала, а вместо того привела с собой мясника, чтобы домовладелец сам выбрал, что ему приглянется, позаботившись, впрочем, заранее, чтобы мясник захватил с собой самую отборную говядину и телятину посочнее. Взглянув на товар, домовладелец наказал мне самой сторговаться с мясником, и когда я сообщила ему, какую тот просит цену за один и за другой кусок, выложил одиннадцать шиллингов и три пенса, то есть столько, сколько стоили оба куска вместе и велел мне взять и тот и другой. Что останется, присовокупил он, пригодится на завтра.

Можете представить, как изумила меня столь великая щедрость того самого человека, который еще недавно был моей грозой и как фурия ворвался в мое жилище и разорил его! По-видимому, решила я, несчастья мои укротили его дух и заставили его сжалиться надо мной и позволить мне целый год жить в его доме безвозмездно.

Впрочем, сейчас он оказывал мне нечто большее, нежели простую участливость, и его сердечное расположение и любезность были столь неожиданны, что удивили бы хоть кого. Мы болтали с ним о том, о сем, и мне, признаться, было так весело, как не бывало вот уже три года. Еще он послал за вином и пивом, ибо у меня ничего такого не водилось: уже несколько месяцев, как и я и моя бедная Эми не пили ничего, кроме воды [11], и я часто дивилась ее преданности, за которую я впоследствии столь дурно ей отплатила.

Когда Эми вернулась, он велел ей налить ему вина, подошел ко мне с бокалом в руке и поцеловал меня; это меня, признаться, удивило, но то, что последовало за поцелуем, было еще поразительнее: он произнес целую речь, в которой сказал, что печальное положение, в каком я оказалась, вызвало у него жалость, а мои твердость и мужество при таких обстоятельствах необычайно возвысили меня в его глазах и что отныне он жаждет быть мне полезным; он твердо решился, продолжал он, сделать что-нибудь для облегчения моей участи в настоящем и одновременно подумать, как помочь мне встать на ноги в будущем.

Заметив на моем лице краску и непритворное изумление, он обратил свой взор к Эми, продолжая меж тем адресоваться ко мне:

— Все это, сударыня, — сказал он, — я решился высказать вам в присутствии вашей служанки, дабы вы обе знали, что у меня нет никаких дурных помыслов и что я единственно из добрых чувств решился сделать все, что в моих силах. А как я был свидетелем необычайной честности и верности миссис Эми к вам во всех ваших невзгодах, я чувствую, что могу доверить ей мои намерения касательно вас, тем более, что в них нет ничего дурного; ибо я чувствую большое уважение и к вашей служанке тоже, за ее к вам любовь.

Эми сделала ему реверанс. Бедняжка от радостного смущения не могла и слова вымолвить и только менялась в лице — то зардеется, как маков цвет, то побледнеет, как полотно.

Он же, окончив свою речь, уселся на стул и предложил мне сесть также; затем, осушив свой бокал, заставил меня выпить два подряд. «Я вижу, — сказал он, — что вино вам сейчас весьма кстати». Так оно и было на самом деле. После того, как он выпил вместе со мной, он обратился к Эми: «Коли госпожа ваша не возражает, Эми, вы тоже должны осушить бокал». И заставил ее также выпить два бокала подряд. «А теперь, — сказал он ей, — ступайте готовить обед. Вы же, сударыня, (это ко мне) поднимитесь в свою комнату, приоденьтесь и возвращайтесь сюда, да смотрите же, с веселым лицом и улыбкою!» И еще раз прибавил: «Я сделаю все, чтобы вам было хорошо». С этими словами он вышел, сказав, что хочет прогуляться по саду.

Когда мы остались одни, мою Эми было не узнать — такая она сделалась веселая.

— Сударыня моя милая, — сказала она. — Как вы полагаете, какие виды имеет на вас сей джентльмен?

— Я тебя не понимаю, Эми, — ответила я. — О чем ты говоришь? Он всего лишь хочет нам помочь. Ни о каких других видах я знать не знаю, ибо что ему с меня взять?

— Вот увидите, сударыня, — со временем он потребует вознаграждения!

— Нет, нет, Эми, я уверена, что ты ошибаешься, — сказала я. — Ведь ты слышала, что он сказал?

— Мало ли чего я слышала, — не унималась Эми. — А вот посмотрим, как он станет себя держать после обеда.

— Я вижу, Эми, что ты очень дурно о нем думаешь, — сказала я. — Но я не разделяю твоего мнения и ничего такого в нем не заметила.

— Заметить-то и я покуда ничего не заметила, — сказала Эми. — Но только с какой стати проникся этот джентльмен столь внезапною к вам жалостью?

— Ну, нет, милая, — сказала я. — Этак никуда не годится: заподозрить человека в худом умысле только оттого, что он проявил милосердие, и считать его порочным оттого лишь, что он добр!

— Эх, сударыня, — возражала Эми. — Мало ли случаев, когда порок скрывается под личиной милосердия? Да и благодетель наш не мальчик и верно знает, что как нужда прижмет, так пойдешь на что угодно; против нее не устоит никакая добродетель. А ваши обстоятельства ему известны не хуже, чем мне.

— Что же из того, что известны?

— А то, что вы молоды и красивы, между тем как у него приманка, на которую вы непременно клюнете, сударыня.

— Коли так, Эми, — сказала я, — ему придется убедиться, что он ошибся.

— Ах, сударыня, — воскликнула Эми. — Неужто вы ему откажете?

— О чем ты говоришь, негодница? — воскликнула я. — Да я скорее с голоду умру, чем пойти на такое!

— Надеюсь, что нет, сударыня, и что вы окажетесь благоразумнее. Право, сударыня, если он в самом деле поставит вас на ноги, как обещался, вы не должны отказывать ему ни в чем. Ведь коли вы не согласитесь, вы с голоду умрете — как пить дать.

— Как? Согласиться лечь с ним в постель — из-за куска хлеба? — воскликнула я. — Как только язык у тебя поворачивается говорить такое?

— Что ж, сударыня, если б ради чего другого, я бы и не говорила. То было бы и впрямь дурно. Но ради хлеба! Как можно своею волею пойти на голодную смерть, сударыня? Да кто же примет такую муку?

— Ну, нет, — возражала я. — Даже если бы он отдал мне целое поместье, я бы не легла с ним в постель, уверяю тебя.

— А я вам вот что скажу, сударыня: кабы он обеспечил вас самым малым, я бы охотно позволила ему со мною лечь.

— Слов нет, Эми, — сказала я ей на это, — ты бы таким образом явила пример невиданной преданности своей госпоже. И не думай, что я это не ценю. Но только боюсь, что в таком случае твоя дружба ко мне перевешивает твою добродетель.

— Ах, сударыня, — сказала Эми. — Чего бы только я не сделала, лишь бы спасти вас от вашей печальной участи! А какой может быть разговор о добродетели, когда тебе грозит голод! Ведь мы же с вами того и гляди с голоду умрем.

— Так-то так, — сказала я. — И ты, бедняжка, из-за меня голодаешь, я знаю. Но сделаться шлюхой, Эми! Ах! ...

От волнения я не могла говорить далее.

— Дорогая моя госпожа, — продолжала между тем Эми. — Если я готова ради вас голодать, то неужели я не соглашусь и шлюхой сделаться ради вас? Вы ведь знаете, сударыня, что я за вас умру, если надо.

— Никогда в жизни, — сказала я, — не доводилось мне встретить такую к себе привязанность, Эми. Надеюсь, что когда-нибудь я буду в состоянии отблагодарить тебя достойным образом. Однако я не допущу, чтобы ради меня ты сделалась шлюхою. Нет, Эми, и сама я тоже не соглашусь сделаться шлюхой, какие бы благодеяния меня ни ожидали за это. Ни за что!

— Ах, сударыня, — возразила Эми, — я ведь не говорю, что буду сама ему набиваться в полюбовницы. Я только говорю, что если бы он обещал для вас сделать то-то и то-то и при этом поставил за условие, чтобы я с ним переспала, я бы позволила ему спать со мною, сколько ему вздумается, лишь бы он не оставил вас своими милостями. Ну, да это праздный разговор, сударыня. Я не думаю, чтобы дело дошло до этого, да и вы сами тоже не ожидаете чего-либо подобного, правда?

— Разумеется, нет, Эми, — сказала я. — Но если бы и дошло до такого, я бы скорее умерла, нежели согласилась или дозволила тебе согласиться на подобный шаг.

Все это время мне удавалось блюсти себя в добродетели; не только на деле, но и в помыслах своих я никогда от нее не отступала. И если бы я удержалась на этой стезе, я была бы счастливой женщиной, пусть даже мне и суждено было погибнуть от голода. Ибо, как ни силен соблазн, женщине в тысячу раз лучше умереть, нежели отречься от добродетели и чести.

Но вернемся к моему рассказу. Покуда мы с Эми разглагольствовали, мой новый друг прогуливался по саду, весьма, надобно сказать, запущенному и заросшему сорняками — мне ведь не на что было нанять садовника, который привел бы его в порядок или хотя бы вскопал грядки и посадил репу и морковь для моего собственного потребления. Осмотрев сад, он вошел в дом и послал Эми за садовником. То был бедный человек, который некогда помогал нашему слуге. Хозяин мой распорядился, чтобы он привел сад в порядок. Все это заняло около часу времени.

Я же той порой оделась, как могла лучше. Тонкое белье у меня еще сохранилось, но вот убрать голову представлялось много труднее — вместо лент у меня оставались одни обрывки, к тому же у меня не было ни ожерелья, ни серег. Все это давно ушло в обмен на хлеб.

Как бы то ни было, все на мне было чистое, сидело хорошо, нигде не морщило, и я вышла к нему в таком виде, в каком он за последнее время не привык меня видеть. Перемена эта не ускользнула от его глаз; прежний облик мой был столь скорбный и безутешный, сказал он, что ему было больно на меня смотреть. И он стал подбадривать меня, уговаривая не падать духом, ибо он надеется поставить меня на ноги, сказал он, так чтобы я никому ничем не была обязана.

Последнее, возразила я, невозможно, поскольку я всецело буду обязана благодарностью ему; ведь никто из моих родственников, сказала я, или не могут или не хотят сделать для меня то, о чем он говорит.

— Ну, что же, моя вдовушка, — (так он меня назвал, да я и была вдовушкой в самом жестоком значении этого грустного слова). — Что же? Тем лучше — следовательно, кроме меня, вы не будете обязаны ничем и никому.

К этому времени поспел обед, и Эми стала накрывать на стол. Хорошо, что у нас был всего один гость к обеду, а то у меня за все про все оставалось шесть тарелок да два блюда. Впрочем, мои дела ему были прекрасно известны, и он умолял меня не стесняться, а довольствоваться тем, что у меня есть. Он надеется, прибавил он, что со временем увидит меня в лучших обстоятельствах. А сейчас он пришел не угощаться, а угощать, и, кроме того, по возможности утешить меня и подбодрить. И в самом деле, речи его дышали веселостью и радушием и были для меня целительнее любого бальзама.

Итак, мы сели за стол. Я уже год, как, можно сказать, забыла, что такое обед, и уж во всяком случае не едала такого прекрасного мяса, как

эта телячья нога. И я и мой гость, мы оба изрядно поели, причем он заставил меня выпить с ним три-четыре бокала вина. Словом, я воспрянула духом и почувствовала радость, какую давно уже не испытывала. Я не только приободрилась, но по-настоящему развеселилась. Ему же все это было чрезвычайно приятно.

Мне и в самом деле, сказала я, есть чему радоваться — ведь он явил мне такую доброту душевную да еще подал надежду подняться из самого страшного состояния, в какое только может попасть женщина. Его речи, сказала я, возродили умершую было душу к жизни, исцелили ту, что была на краю могилы. Я еще не имела времени, заключила я, обдумать, как мне его отблагодарить за все, и могу лишь обещать, что буду помнить его благодеяния каждый час моей жизни, до самого конца.

На это он возразил, что ему большего и не нужно; сознание того, что ему удалось вызволить меня из беды, сказал он, будет служить ему лучшей наградой; он рад, что мог оказать услугу той, чья душа способна ощущать благодарность; он поставил себе за цель, как он выразился, сделать все, чтобы вывести меня из нужды. В заключение он просил меня подумать самой, чем он может мне помочь, и еще раз заверил меня, что со своей стороны сделает все, что в его силах.

Поговорив еще немного в этом духе, он вдруг сказал:

— А теперь давайте отбросим все грустные мысли и предадимся беспечному веселью!

Все это время за столом нам прислуживала Эми; эта девушка любила меня так сильно, что и описать невозможно; лицо ее сияло от радости; она никогда не слыхала, чтобы кто так разговаривал с ее госпожой и пришла в совершенное восхищение. Как только мы отобедали, она поднялась к себе, вырядилась, как и я, в свои лучшие наряды, и спустилась к нам — ни дать ни взять барыня!

Остаток дня мы провели втроем, болтая обо всем на свете, о том, что было, и о том, что предстоит. Вечером же он простился со мною, наговорив тысячу учтивых и нежных слов; в его речах дышала неподдельная сердечность, но не было ничего такого, на что намекала Эми. Прощаясь, он обнял меня, заверив в своем искреннем расположении и честных намерениях, наговорил кучу слов, которых я сейчас уже не упомню, и, поцеловав меня по крайней мере двадцать раз, вложил мне в руку одну гинею, говоря, что это на мои текущие расходы и что он ко мне наведается прежде, чем я эти деньги израсходую. Сверх того он дал полкроны Эми[12].

— Ну, что, Эми, — сказала я, как только он ушел. — Теперь ты убедилась, что это преданный друг, а также честный человек, и что в его поступках нет и тени того, о чем ты говорила?

— Так-то так, — сказала Эми. — Но только я не могу этому надивиться. Он такой друг, каких, право же, не сыщешь в нашем мире.

— Да, Эми, — подхватила я, — такой друг, о каком я могла только мечтать, а уж как мне такого друга недоставало!

Словом, я так была потрясена своим счастьем, что ударилась в слезы и долго плакала, но на этот раз от радости, а не от горя. Мы с Эми легли

довольно рано (Эми спала в одной со мной постели), но, обсуждая чудесные происшествия дня, проболтали чуть ли не до утра; добрая девушка несколько раз вскакивала с постели от радости и принималась плясать по комнате в одной рубашке. Словом, бедняжка чуть не помешалась: еще одно доказательство ее бурной любви к своей госпоже. Нет, в самом деле, другого примера столь преданной любви служанки к своей госпоже мне не доводилось встречать!

Два дня после того он не давал о себе знать. На третий пришел к нам снова и с прежней ласковостью объявил, что заказал всякую домашнюю утварь, дабы обставить ею мои комнаты; кроме того, он распорядился, чтобы мне вернули все то, что он в свое время взял у меня в счет арендной платы, иначе говоря — все лучшее, что было у меня из мебели.

— А теперь, — заключил он, — скажу вам, какой я придумал для вас способ жить, не зная нужды: поскольку вы теперь в состоянии обставить дом, почему бы вам не сдавать комнаты внаем жильцам из благородного сословия, которые имеют обыкновение выезжать на лето в деревню?

Таким образом вы будете жить в полном достатке, тем более, что первые два года, а если понадобится, то и дольше, я не стану брать с вас арендную плату.

Впервые за все это время мне представилась возможность жить не только не ведая нужды, но и полностью обеспеченной. И, надо сказать, начертанный им путь к достижению этой цели в самом деле казался весьма надежным: дом просторный, в три этажа, по шесть комнат в каждом. Пока он мне выкладывал план устройства моего благополучия, к дому подъехала телега, доверху нагруженная всяким добром. С этою же телегой прибыл работник от мебельной лавки и принялся все расставлять по местам; большей частью это была та самая мебель, что стояла в двух моих комнатах до того, как домовладелец увез ее в счет арендной платы, которую я задолжала ему за два года: тут было два шкафа тонкой работы, несколько трюмо из гостиной и другие не менее ценные вещи.

Все они встали на свои прежние места, причем домовладелец сказал мне, что возвращает их безмездно как компенсацию за прежнюю его ко мне жестокость. Когда расставили мебель в гостиной, он сказал, что хочет обставить одну комнату для себя и сделаться моим первым жильцом, если я позволю. Как только ему не совестно, возразила я ему, испрашивать моего дозволения на то, что является его неотъемлемым правом? Итак, дом начал постепенно принимать достойный вид, всюду царили чистота и порядок. То же и с садом — он стал меньше походить на пустошь. И, наконец, мой благодетель велел мне повесить объявление о том, что в этом доме сдаются комнаты, и оставить одну из них за ним, с тем чтобы от случая к случаю в нее наведываться.

Когда все комнаты были обставлены по его вкусу, он пришел в чрезвычайно веселое расположение духа и мы опять пообедали вместе, причем и на этот раз он принял заботу о снеди на себя. После обеда он взял меня за руку и сказал:

— А теперь, сударыня, извольте показать мне *ваш* дом (ибо ему захотелось полюбоваться всем сызнова).

— *Свой* дом, сударь, я вам показать не могу, — отвечала я, — но если вам угодно, я покажу вам ваш.

Мы прошлись по всем комнатам и добрались до той, которую он облюбовал для себя. Эми как раз в то время ее убирала.

— Послушайте, Эми, — сказал он. — Я решил следующую ночь провести с вами.

— Да хоть нынешнюю, если угодно, — простодушно ответила Эми.

— Браво, Эми! — сказал он. — Твоя готовность меня восхищает.

— Экой вы, сударь, — сказала Эми. — Я лишь то имела в виду, что комната ваша уже готова. — С этими словами она выбежала вон, ибо, какие бы разговоры она ни вела наедине со мной, это была скромная и добродетельная девица.

Он, впрочем, и сам больше не возвращался к этой шутке. Когда же мы оказались вдвоем, он обошел еще раз комнату, оглядывая каждую в ней вещь, а затем взял меня за руку, поцеловал и начал говорить самые задушевные слова, исполненные истинного доброжелательства. Так, он стал говорить о мерах, кои он задумал предпринять, чтобы помочь мне стать на ноги и вернуть мне мое прежнее положение; тяжкие невзгоды, сказал он, и стойкость, с какой я их переносила, произвели на него столь сильное впечатление, что я в его глазах выше всех женщин на свете; хотя обстоятельства, сказал он далее, не позволяют ему на мне жениться (он разъехался с женой по причинам, изложение которых составило бы отдельную повесть, а я намерена представить здесь лишь историю своей жизни), во всех остальных отношениях он готов быть для меня всем, чем может быть для женщины обвенчанный с нею супруг. С этими словами он заключил меня в объятия и еще раз меня поцеловал, не допустив, однако, при этом ничего такого, что могло бы оскорбить мое женское достоинство; он надеется, сказал он, что я не стану отказывать ему в милостях, какие он намерен у меня просить, поскольку он твердо решил ничего не просить у меня такого, чего бы женщина скромная и добродетельная, каковой он меня почитает, не могла бы ему даровать.

Признаюсь, горькая память о пережитых бедствиях, тяжким камнем лежавшая на моей душе, а также необычайная доброта, с какой он меня из них вызволил, а сверх того — надежда на дальнейшие блага, все это вместе взятое лишало меня силы отказывать ему в чем бы то ни было. Все это я, впрочем, ему и высказала и, придав своему лицу и голосу как можно более нежности, прибавила, что после всего, что он для меня сделал, я не считаю себя вправе отказать ему в малейшей его прихоти, но что он не захочет, я в этом уверена, воспользоваться моей беспредельной благодарностью и не станет от меня домогаться таких уступок, какие уронили бы меня в его мнении. Зная его как человека чести, продолжала я, я уверена, что он и сам не стал бы меня уважать, если бы я себе дозволила переступить границу благопристойности и совершила что-либо недостойное женщины, воспитанной в твердых правилах.

На это он мне ответил, что, решившись меня поддержать, он нарочно не заговаривал со мной о своем ко мне расположении, дабы, нуждаясь в куске хлеба, я не чувствовала себя обязанной во всем ему уступать. И как тогда, в начале, он не желал неволить меня нуждой, так и теперь, сказал он, ему не хочется связывать меня благодарностью. Я не должна ни на минуту думать, что, если в чем-либо ему откажу, все его милости ко мне тем самым прекратятся. Это верно, продолжал он, что теперь, убедившись, что я принимаю его услуги с полным доверием, он чувствует себя вправе говорить со мною более откровенно и если до сих пор он решался лишь показать мне свое душевное расположение, то теперь осмеливается говорить о любви; но при этом я должна положиться на чистоту его намерений и поверить, что он позволит себя просить у меня таких лишь милостей, какие можно просить и даровать, не роняя чести.

Я отвечала, что в указанных им границах я почитаю за долг не отказывать ему ни в чем, что иначе была бы не только неблагодарна, но и несправедлива. На это он ничего не сказал, однако я заметила, что поцелуи его участились, а объятия сделались более вольными, чем прежде, так что время от времени мне приходили на память слова, сказанные Эми. Впрочем, я была так поражена его добротою и всем, что он для меня сделал, что, по чести сказать, принимала его ласки, не оказывая сопротивления, и даже была готова дозволить ему большее, если бы он того пожелал. Он, однако, дальше поцелуев и объятий не шел, и даже не предложил мне присесть рядом с ним на кровати, а вместо того принялся со мной прощаться, говоря, что нежно меня любит и что докажет свою любовь поступками, которые меня убедят окончательно.

Я отвечала, что у меня все основания ему верить и что в этом доме он может распоряжаться как ему заблагорассудится всем, в том числе и моей особой — в тех пределах, разумеется, какие мы с ним означили. Затем я спросила его, не угодно ли ему воспользоваться своей комнатой нынешней ночью.

Он сказал, что нынче остаться не может, так как у него дела, требующие его присутствия в Лондоне, но, прибавил он с улыбкой, он непременно приедет на следующий день, с тем чтобы заночевать. Я продолжала настаивать, чтобы он оставался сегодня же, говоря, что мне было бы чрезвычайно приятно знать, что такой бесценный друг, как он, находится под одним со мною кровом. Я и в самом деле к этому времени испытывала к нему не только признательность, но и любовь, и при том такой силы, какой я никогда прежде не ощущала.

О, женщины! Вы и представления не имеете, сколько соблазна для души, доступной благодарности и воспитанной в добрых правилах, таит в себе избавление от невзгод! Ведь этот господин своею волею спас меня от горести, от нищеты и лохмотьев. Благодаря ему я вернула себе прежнее положение, он дал мне возможность даже улучшить мои обстоятельства против прежнего, а именно — сделаться счастливой и довольной; всем этим я была обязана его щедрости. Что я могла сказать ему в ответ, когда он стал уговаривать отдаться ему вполне, утверждая вдобавок, что

в нашем союзе не было бы ничего противозаконного? Впрочем, об этом будет сказано в своем месте.

Итак, я продолжала уговаривать его остаться. Мне очень грустно, говорила я, свой первый счастливый вечер в этом доме провести без того, кто является виновником и основателем моего благополучия; мне так хотелось бы предаться невинным увеселениям, сказала я, но без его общества у меня не было бы никакого веселья. Словом, я не отступала от него со своими просьбами, покуда он не объявил, что не может отказать мне ни в чем и что тотчас поскачет на своем коне в Лондон, кончит там со своим неотложным делом (ему надо было оплатить некий чужеземный вексель, который был бы иначе опротестован [13], так как срок его истекал сегодня), и самое большее через три часа вернется ко мне, чтобы вместе отужинать. Он велел мне, впрочем, ничего к ужину самой не покупать, ибо, раз я настроилась провести вечер в веселье — а ему и самому больше всего хотелось именно этого, — то он и привезет все нужное из города.

— Это, душа моя, и будет наш свадебный ужин, — сказал он и принялся меня обнимать и целовать, да с такой силой, что у меня уже не оставалось сомнений, что он намерен проделать со мною все, о чем говорила Эми.

Слова «свадебный ужин», однако, слегка меня покоробили.

— Зачем вы называете предстоящий ужин *свадебным*? — спросила я. — Ужин мы, разумеется, устроим, что же до остального, то оно ведь невозможно, как для вас, так и для меня.

— Будь по-вашему, — сказал он, усмехаясь, — называйте как угодно, для меня это все одно, и я постараюсь доказать вам, что оно не так уж невозможно, как вам кажется.

— Я вас не понимаю, — сказала я. — Ведь я замужняя женщина, да и вы не холосты!

— Хорошо, хорошо, — ответил он. — Мы поговорим об этом после ужина.

Он встал, поцеловал меня еще раз и поскакал в Лондон.

Его слова, признаться, распалили меня не на шутку и я не знала, что и думать. Он намерен со мною спать, это несомненно, но каким образом думал он приравнять нашу связь к законному браку? Он, так же как и я, полностью доверял Эми, и мы оба привыкли не чиниться перед нею; видя ее непревзойденную преданность мне, он целовал меня и говорил все эти речи, не стесняясь ее присутствием, и, кабы я позволила, не задумываясь, лег бы со мною в постель при ней. Только он за дверь, я говорю:

— Послушай, Эми, чем же все это кончится? От волнения меня прямо пот прошибает!

— Да известно чем, сударыня, — говорит Эми. — Тем, что мне нынче придется стелить постель на двоих.

— Как только у тебя язык поворачивается выговорить такое? (это я ей). Неужто ты и в самом деле осмелилась бы уложить нас вдвоем?

— Еще как осмелилась бы, — отвечала она. — И притом оба вы — как были честными людьми в моих глазах, так такими бы и остались.

— Честными? — воскликнула я. — Что за муха тебя укусила, негодница! Каким это образом, при живой жене и живом муже мы могли бы оставаться честными?

— А вот каким, сударыня, — сказала Эми. — Я все это рассудила, как только он заговорил, и поняла, что он говорит сущую правду. Он величает вас вдовушкой — а разве это не так на самом деле? Вот уже который год, как мой хозяин не заявляется — ну, конечно же, он умер — во всяком случае для вас он все равно, что покойник, поскольку вам он более уже не муж, а, следовательно, вы вольны и даже должны выйти замуж за кого вам заблагорассудится. Ну, вот, а от него жена ушла и не желает с ним спать — значит, он такой же холостяк, каким был до женитьбы. И пусть вы не можете друг с другом повенчаться по закону, все равно — раз с одной стороны муж, с другой — жена отказываются исполнять свои супружеские обязанности, то вы по всей справедливости имеете право сойтись с ним.

— Увы, Эми, — ответила я. — Если бы по закону я и в самом деле имела право выйти за него, поверь: изо всех мужчин на свете я выбрала бы его, и только его. Когда он сказал, что любит меня, у меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди! Да и могло ли быть иначе — ты ведь знаешь, в каком положении я была до того — всеми презренная, втоптанная в грязь? Кабы меня не удерживал стыд, я бы прижалась к его груди и расцеловала бы его с тем же пылом, с каким обнимал и целовал меня он.

— А там, глядишь, и все остальное, — сказала Эми. — По первому его слову. По мне, так вы и думать не смеете в чем-либо ему отказать. Разве он не вырвал вас из когтей самого сатаны? Разве не избавил от горчайшей участи, какая выпадала бедной женщине благородного воспитания? Где та, что способна отказать в чем-либо такому человеку?

— Ах, Эми, я право не знаю, как быть! — сказала я. — Надеюсь лишь, что он ничего такого у меня не попросит... ах, только бы не попросил! А попросит, я не знаю, что ему и сказать.

— Не попросит! — передразнила меня Эми. — Как не так! Уж поверьте мне — попросит и уж, разумеется, получит. Не такая же моя госпожа дурочка! Пока суд да дело, сударыня, позвольте мне вас покинуть — я приготовлю вам чистую рубашку. Негоже, чтобы в первую брачную ночь он увидел вас в несвежем белье.

— Кабы я не знала тебя, Эми, за очень честную девушку, — сказала я, — я бы отвернулась от тебя с ужасом; ты выступаешь в защиту дьявола, точно ты его ближайший советник.

— Это как вам угодно, сударыня, а только я говорю то, что у меня на душе. Вы сами признались, что любите этого господина, он же явил вам довольно доказательств своей сердечной к вам склонности. Вы оба несчастливы, и он считает себя вправе сойтись с другой, поскольку законная его жена нарушила свое слово и от него ушла; и хоть вступить

с вами в законный брак ему нельзя, он тем не менее полагает возможным заключить вас в свои объятия, не нарушая закона о единобрачии. Более того, он утверждает, что в иных странах это принято и даже вошло в обычай [14]. Признаться, я и сама того же мнения, а то, выходит, любая потаскуха, обманув и бросив мужа, на весь остаток его жизни лишает его не только всех удобств супружества, но и вообще каких-либо радостей. А это куда как неразумно, да и многие ли в наше время согласятся терпеть такое? Точно так же я рассуждаю и о вас, сударыня.

Если бы я не потеряла тогда голову, если бы рассудок мой не был ослеплен любезностью, великодушием и добротою моего нового друга, если бы я своими советчиками избрала совесть и добродетель, я бы тут же выгнала эту Эми вон, как змею, как посланницу дьявола и не посмотрела бы на то, что она так долго служила мне верой и правдой. Я должна была бы помнить, что, как по божьему, так и по человеческому закону, сойдясь друг с другом, мы оба, и он и я, были бы достойны наименования самых завзятых прелюбодеев. Рассуждение невежественной девчонки о том, что тот якобы выхватил меня из когтей сатаны, под каковым она разумела беса бедности и нужды, одно это рассуждение должно бы, казалось, удержать меня от прыжка в преисподнюю; ведь, избежав Эминого беса, я отдавалась во власть сатаны истинного!

В добре, какое оказал мне этот человек, мне бы следовало увидать проявление милосердия небесного, а это милосердие, в свою очередь, должно было бы обратить меня на стезю долга и кроткого смирения. Мне бы следовало принять явленную мне милость с благодарностью и трезвою осмотрительностью, к вящей славе творца. Я же, избрав стезю порока, тем самым щедрость и доброту моего друга обратила в западню для моей души, в приманку на удилище дьявола. Дорогою ценою — поступившись своей душой и плотью, заплатила я за его доброту; за корку хлеба (если так позволено выразиться) отдала в залог сатане все свое благочестие, совесть и целомудрие. Или, если угодно, — во имя благодарности погубила душу, дабы явить признательность своему благодетелю, продала свою душу дьяволу! Должна, однако, отдать моему другу справедливость и сказать, что сам он был, как мне кажется, и впрямь убежден в законности своих поступков; я же, если быть справедливой, прекрасно отдавала себе отчет, что совершаю чудовищное беззаконие, мерзость и позор — и это в самое время свершения их!

Нищета — вот, что меня погубило, ужасающая нищета! Бедствия, кои мне довелось претерпеть, невообразимы, и при одной мысли, что подобное может повториться, у всякой, я думаю, дрогнуло бы сердце. Пусть те, кто хоть немного знают жизнь, пусть они скажут, возможно ли было ожидать от женщины, лишенной какой бы то ни было поддержки, не имевшей друзей, которые бы могли ей помочь или хотя бы указать средства, коими она могла бы себя поддержать, возможно ли, спрашиваю, ожидать, чтобы женщина в подобных обстоятельствах отвергла сделанное ей предложение? Не оправдания греха ищу я, а лишь снисхождения к несчастной грешнице.

К тому же я была молода, пригожа и, несмотря на выпавшие на мою долю унижения, тщеславна до чрезвычайности. А как все это было для меня внове, то я с великим удовольствием принимала ухаживания, нежности, объятия и пылкие заверения в любви от столь приятного мужчины, который к тому же был в состоянии столь много для меня сделать.

Прибавьте то, что, не угоди я этому человеку, я осталась бы без единого друга на свете, к кому могла бы обратиться за помощью. Мне было не на что рассчитывать — даже на корку хлеба, меня ожидал тот же ужас, из которого я только выбралась.

Красноречие Эми было слишком убедительно. Не щадя красок и искусно подбирая доводы, она выставила все это в истинном свете. Под конец, когда эта вертушка пришла помочь мне одеться, она заявила:

— Послушайте, сударыня, — говорит она. — Если вы не согласны сами, поступите, как поступила неплодная Рахиль с Иаковом[15], положив ему в постель свою служанку вместо себя. Вы, мол, не в состоянии согласиться на его просьбу, но вот Эми, пусть он обратится к ней; она обещала, скажите ему, ни в чем вам не отказывать.

— Неужели ты и впрямь хочешь, чтобы я ему это сказала? — спросила я.

— Нет, сударыня, я хочу, чтобы вы сами ему уступили, — отвечала она. — Ведь иначе вы пропадете. Но если моя податливость может спасти вас от погибели, повторяю: он волен делать со мной все, что ему заблагорассудится. Если он меня попросит, я ему не откажу, нет, нет! Пусть меня повесят, если откажу! — воскликнула она.

— Право, я не знаю, как мне быть?

— Не знаете? — воскликнула Эми. — Но ведь выбор ясен: либо сойтись с красивым, очаровательным джентльменом, жить в довольстве и счастье, либо — отказать ему и тогда снова обходиться без обеда, облачаться в лохмотья и проливать слезы, словом, вновь подружиться с голодом и нищетой. Вы сами прекрасно понимаете это, сударыня, — заключила Эми, — и я дивлюсь на вас, как это вы не знаете, что вам делать?

— Твоя правда, Эми, — сказала я. — Верно я и в самом деле должна буду ему уступить. Но только (во мне, как видите, заговорила совесть), но только оставь свои ханжеские рассуждения о законности такого союза; все это вздор, — заключила я, — сущий вздор, Эми, и ничего более! Ибо, если я сдамся, то — чего там таить — я буду самой настоящей шлюхой, вот и все.

— Я совершенно с вами, сударыня, несогласна, — говорит мне на это Эми. — И как только у вас язык поворачивается говорить такие вещи! И затараторила снова о том, как нескладно в наших обстоятельствах мужчине и женщине оставаться одинокими.

— Ну, хорошо, Эми, — сказала я наконец. — Не будем больше спорить, а то, чем дольше я буду рассуждать, тем яснее для меня самой будет вся греховность того, о чем мы говорим. Если же я не стану думать заранее, а он будет настаивать, то обстоятельства, по всей видимости, вы-

нудят меня уступить. Лучше же всего было бы для меня, чтобы он оставил меня в покое.

— Что до этого, сударыня, не рассчитывайте, — сказала Эми. — Вне всякого сомнения, он намерен с вами лечь в одну постель нынче же ночью. Ведь он весь день к этому клонил, я-то видела. А под конец он заговорил об этом с вами так, что прямее нельзя.

— Ладно, Эми, я уже не знаю, что говорить. Коли он так решил, то верно так тому и быть. Я не в силах отказать человеку, который для меня сделал так много.

— Да уж, конечно, не откажете, — заключила Эми.

Так мы с Эми обсудили это дело. Негодница всячески подстрекала меня на преступление, которое я и без того слишком готова была совершить, — а, впрочем, это не было преступлением в прямом значении этого слова, ибо по складу своему я не была порочна; душа моя была угнетена, и в крови не горел огонь, воспламеняющий желания. Но доброта и любезность этого человека, с одной стороны, и страх перед будущим — с другой, привели меня к такому решению, и я даже положила себе при первом случае, не дожидаясь настойчивых просьб с его стороны, принести ему в жертву свою честь. Таким образом, я была вдвое виновнее его, ибо я отдавала себе отчет, на что я иду, в то время, как он, если верить его словам, был совершенно убежден в законности своих действий, и в этом убеждении предпринял все те шаги и меры, о которых я сейчас расскажу.

Часа через два по его отъезде к нам явилась торговка с Леденхоллского рынка [16] и принесла корзину, до краев наполненную всякой снедью (перечислять все, что было в этой корзине, излишне). С этою же торговкой он передал, чтобы мы приготовили ужин к восьми часам. Впрочем, я решила до его приезда не приступать к стряпне. И правильно рассудила, так как сам он заявился еще в седьмом часу, и Эми, взявшая для этого случая помощницу, успела все приготовить вовремя.

Около восьми мы сели за стол в отличнейшем расположении духа. Прислуживая, Эми все время отпускала шутки, ибо она была девицей бойкой и острой на язычок, и по ее милости мы не раз покатывались со смеху. При всем том разговор ее никогда не выходил за черту благопристойности.

Но к делу. После ужина он повел меня наверх, в свою комнату, где Эми успела уже развести огонь в камине. Вытащив из кармана целую кипу каких-то бумаг и разложив их все на столике, он взял меня за руку и осыпал меня поцелуями. Затем принялся описывать мне свои обстоятельства и, сравнивая их с моими, указал на их сходность; так, я в расцвете лет покинута своим мужем, он же, уже в зрелые лета — своей женой. Оба мы можем считать свой брак расторгнутым, поскольку наши супруги поступили с нами так жестоко и несправедливо. Не следует считать себя связанными пустой формальностью, сказал он, меж тем как то, что составляет сущность брака, как в его, так и в моем случае, давно разбито. В этом месте его рассуждений я его перебила, сказав, что между его

положением и моим имеется великая и чрезвычайно существенная разница, а именно: что он богат, а я бедна: что он стоит выше множества людей, я же — неизмеримо ниже, что его дела процветают, в то время как мой удел — нищета, и что большего неравенства между нами трудно вообразить.

— Что до этого, душа моя, — сказал он, — я принял свои меры, благодаря которым меж нами воцарится полное равенство.

С этими словами он развернул передо мной договор, по которому он обязывается жить со мной постоянно, заботиться обо мне, как о законной супруге; во вступительной части договора были подробно изложены причины, по каким мы решились на подобное сожительство и характер, какой оно будет иметь; далее, он обязывался никогда меня не покидать, а в случае нарушения этой статьи договора выплатить мне сумму в 7 000 фунтов. И, наконец, он показал мне чек на 500 фунтов, которые должны быть выплачены мне либо моим доверенным лицам не позже, чем через три месяца после его смерти.

Все это он прочитал мне вслух, после чего нежным голосом, в выражениях столь трогательных, что я не знала что и возразить, сказал:

— Неужели этого недостаточно, моя душа? Или вы чем-нибудь недовольны? Если же довольны — а я полагаю, что иначе быть не может, — то не будем больше обо всем этом говорить.

Тут он достает шелковый кошелек, в котором было шестьдесят гиней, кидает его мне на колени и заключает свою речь поцелуями и заверениями в любви, которую, и правду сказать, он достаточно доказал на деле.

Имейте снисхождение к человеческой слабости, вы, что читаете эту историю женщины, в расцвете своих лет доведенной до крайнего несчастья и нужды и возродившейся к жизни, как это рассказано выше, благодаря щедрой попечительности человека, дотоле ей незнакомого! Не судите же ее слишком строго за то, что она не была в силах более сопротивляться.

Впрочем, я уступила ему не сразу. Неужели, спросила я, он ожидает, что я соглашусь на столь решительный шаг тотчас, едва он высказал мне свои намерения? А если и соглашусь, продолжала я, могу ли я иметь уверенность, что он впоследствии не будет мне пенять за то, что я дозволила ему одержать над собой столь легкую и быструю победу? Напротив, отвечал он, в этом он усмотрел бы лишь знак величайшего снисхождения, какой я могу ему явить. Затем он принялся объяснять, почему в нашем случае нет необходимости соблюдать принятые условности и проволочки, — ведь затяжное сватовство, говорил он, служит обычно для того, чтобы не давать повода к ненужным сплетням. Но так как мы не собираемся оглашать нашу связь, нас это соображение не должно смущать; к тому же, говорил он, разве все последнее время он не ухаживал за мною, и притом самым пристойным образом — оказывая мне добрые услуги? Разве не явил мне доказательства искренности своего чувства и притом — делами, а не пустой лестью да словесными излияниями,

которые так часто оказываются лишенными всякого смысла. К тому же ведь он берет меня не в наложницы, а в жены и поэтому убежден, что поступает в полном соответствии с законом, а, следовательно, и я вправе принять его предложение. Далее он принялся клясться всем, чем только может клясться честный человек, что будет до конца дней своих обращаться со мною, как с женой, дарованной ему законом. Словом, ему удалось преодолеть то сопротивление — по правде говоря, не очень сильное, — какое я намеревалась ему оказать. Он утверждал, что я ему дороже, чем весь белый свет, и молил верить ему. Ведь до сих пор он ни в чем ни разу меня не обманывал, сказал он, и не станет обманывать меня и впредь; напротив, посвятит себя одной-единственной цели, а именно — сделать мою жизнь счастливой и беззаботной, чтобы я позабыла все невзгоды, кои мне пришлось претерпеть.

Он кончил, а я некоторое время стояла молча и недвижно. Наконец, увидев, с каким нетерпением он ожидает моего ответа, я улыбнулась и, глядя ему в глаза, сказала:

— Итак, — начала я, — по-вашему мне следует сказать вам «да», не дожидаясь повторения вашей просьбы? Мне следует целиком положиться на ваше слово. Что ж? В доказательство моего к вам доверия, чтобы вы убедились, что я ценю вашу ко мне доброту, я готова исполнить вашу просьбу и обещаю быть вашей до конца моей жизни.

С этими словами я наклонилась к его руке, в которой он сжимал мою, и поцеловала ее.

Так-то, из благодарности за добрые услуги, мне оказанные, я в одно мгновение, позабыв заветы религии, долг господу моему, все веления добродетели и чести, согласилась считать этого человека своим мужем, а себя — его женой, между тем, как в глазах бога и закона, принятого в нашей земле, мы были всего-навсего парочкой прелюбодеев, короче, я — шлюхой, он — развратником. Притом, если его совесть пребывала в усыплении, моя, как я уже об этом говорила, отнюдь не молчала. Нет, я шла на грех с открытыми глазами, поэтому вина моя непростительна вдвойне. Его же представления, как я не раз уже говорила, отличались от моих, и он — то ли впрямь держался такого мнения, то ли убедил себя сейчас — полагал, будто мы оба свободны и вольны вступить друг с другом в союз, который ему казался вполне законным.

Другое дело — я. Я правильно судила о вещах, но позволила обстоятельствам ввергнуть меня в соблазн: ужасы, которые остались позади, пугали меня больше тех, что меня ожидали в будущем; страшный довод — что я останусь без куска хлеба и вновь подвергнусь былым невзгодам, этот довод сломил мою волю и я, как о том сказано выше, сдалась.

Остаток вечера мы провели приятнейшим образом; он был со мною любезен и мил и довольно сильно охмелел. Он заставил Эми танцевать с ним, а я сказала, что уложу их обоих в постель. Эми сказала, что ничуть против этого не возражает и что еще никогда ей не доводилось выступать в роли новобрачной. Короче говоря, он подпоил мою девицу, и я думаю, кабы ему не предстояло спать эту ночь со мною, подурачься он

с нею еще с полчаса, он встретил бы у нее столь же слабое сопротивление, какое оказала ему я. Меж тем, до этого вечера она всегда вела себя пристойно и скромно. Однако веселье той ночи (а впоследствии оно не раз повторялось) навек погубило ее скромность, как о том будет поведано в надлежащем месте. Едва ли на свете есть что-либо более опасное для женщины, нежели подобные игры и дурачества. Вот и эта невинная девица столько раз в шутку объявляла мне, что готова лечь с ним в одну постель, лишь бы он не оставил меня своими милостями, что в конце концов она и в самом деле с ним легла; я же настолько растеряла все свои правила, что поощряла их обоих свершить это чуть ли не на моих глазах.

Увы, я с полным основанием могу сказать, что отрешилась от всех своих правил, ибо, как я уже говорила выше, я ему уступила не оттого, чтобы заблуждалась и поверила в законность нашего поступка, а лишь поддавшись влиянию его доброты ко мне и страха перед будущим, какое меня ожидало бы, если бы он меня оставил. Итак, я предалась пороку с открытыми глазами и с недремлющей, если так позволено выразиться, совестью; полностью сознавая, что грешу, но не имея сил удержаться от греха. Таким образом в душе моей образовалась пробоина; после того как я дерзнула поступиться собственною совестью, уже не оставалось деяния, на какое бы я не была способна: совесть уже не возвышала своего голоса, ибо к нему не прислушивались.

Но вернемся к моему рассказу. Итак, когда, как о том поведано выше, я приняла его предложение, больше уже тянуть было нечего. Он вручил мне написанный им договор, который прочитал мне вслух, а также обязательство содержать меня до конца его жизни и вексель на 500 фунтов, по которому мне должны были выплатить в случае его смерти. Впоследствии любовь его ко мне нимало не уменьшилась, и после двух лет нашего сожительства, или, как ему угодно было его называть, — супружества, он написал завещание, в котором отказывал мне еще 1000 фунтов, а также всю домашнюю утварь, серебро и прочие драгоценности.

Эми уложила нас в постель, и мой новый друг (ибо мужем я его называть не могу) был так ею доволен за ее любовь и преданность ко мне, что выплатил ей сполна все жалованье, какое я ей задолжала, приложив к нему сверх того еще пять гиней. Ах, если бы этим все ограничилось, я считала бы, что Эми полностью заслужила такую награду! В самом деле, где вы встретите служанку, которая бы хранила столь непоколебимую верность своей госпоже в столь ужасающих обстоятельствах, в какие попала я? Да и в том, что произошло впоследствии, следует винить не так ее, как меня. Ибо, если вначале я пыталась толкнуть ее в его объятия как бы в шутку, то, когда пришло время, я в этом слишком хорошо преуспела. Вот еще одно свидетельство того, как я погрязла и ожесточилась в пороке; причиной же сему являлось то, что по твердому убеждению моему, я была всего лишь потаскухой, а отнюдь не законной женой; у меня язык не поворачивался называть его мужем — ни в лицо, ни говоря о нем с другими.

Жили мы как нельзя лучше, если забыть то, чего забыть никак было нельзя; он был так благороден и учтив со мною, так попечителен и нежен, как не бывает ни один мужчина с женщиной, вверившей ему свою судьбу. Ничто ни разу не нарушило нашего обоюдного согласия до самого конца его дней. Однако, чтобы уже покончить с этим делом, пора рассказать о приключившемся с Эми несчастье.

Как-то утром Эми меня одевала (ибо у меня к этому времени было в услужении две девушки, и Эми отправляла должность камеристки).

— Дорогая моя госпожа,— спросила она меня вдруг.— Неужто вы еще не тяжелы?

— Нет, Эми,— отвечала я.— Ни вот настолько.

— Господи милостивый! — воскликнула Эми.— Чем же вы все это время занимались, сударыня? Ведь вы вот уж полтора года как замужем. Будь я на вашем месте, сударыня, я бы давно уже понесла от моего хозяина.

— Как знать, Эми, может, ты и права,— сказала я.— Не хочешь ли попытать с ним счастья?

— Ну, нет, сударыня,— сказала Эми,— теперь уж вы этого не позволите. Если прежде я говорила, что допущу его до себя с легким сердцем, то теперь, когда он принадлежит вам безраздельно, боже упаси!

— Велика беда,— сказала я.— Что до моего согласия, ты его имеешь. Мне это ничуть не будет неприятно. Да что там говорить — не нынче, так завтра я сама уложу тебя рядом с ним в постель, если хочешь!

— Нет, сударыня, нет, нет и нет,— сказала Эми.— Теперь он ваш, и только ваш.

— Глупенькая,— сказала я.— Разве ты не слышала, как я сказала, что сама вас положу рядком?

— Как вашей милости угодно,— сказала Эми.— Коли уж вы сами меня с ним уложите. Но только я не скоро встану с постели, так и знайте.

— Там видно будет, — сказала я.

В тот же вечер, после ужина, я говорю ему при Эми:

— Мистер ***, известно ли вам, что нынче вы спите с Эми?

— Впервые слышу, — сказал он, и, оборотившись к Эми, спросил:

— Это правда?

— Никак нет, сударь, — говорит она.

— Как тебе не стыдно, дурочка, — начала я ее корить. — Разве я не обещала тебе давеча, что уложу тебя с ним в постель?

Но девушка продолжала на все отвечать: «нет, нет». Тем тогда и кончился разговор.

Однако ночью, когда мы уже собирались спать, Эми вошла, чтобы меня раздеть; господин ее тем временем уже лег. Тогда я возьми и перескажи ему все, что говорила мне Эми, а именно, что она бы давно уже забрюхатела от него, будь она на моем месте.

— Вот как, госпожа Эми! — воскликнул он. — Я того же мнения. Иди же сюда, попробуем!

Но Эми не послушалась.

— Иди, иди, дурочка! — сказала я. — Иди, я позволяю вам обоим.

Эми, однако, уперлась и не шла.

— Ты потаскушка, вот ты кто, — закричала я. — Сама ведь говорила, что если я положу вас вместе, ты готова ему угодить всей душой!

И с этими словами я заставила ее сесть и стала стаскивать с нее чулки и башмаки и все ее одеяния, одно за другим, а затем подвела ее к постели.

— Ну, вот, — сказала я, — попытай теперь счастья со своей служанкой Эми.

Она сперва было упиралась, не давала себя раздеть, но погода стояла жаркая и на ней не так много было понадето, а главное, не было шнуровки и сама она, убедившись под конец, что я не шучу, перестала сопротивляться. Итак, я раздела ее догола, затем отвернула одеяло и впихнула ее в постель.

Дальнейшее можно не рассказывать. Изо всего этого всякий может убедиться, что я его не почитала своим мужем, и, отбросив все правила и скромность, успешно заглушила голос совести.

Эми, по-видимому, уже начала раскаиваться и пыталась даже выскочить из постели, но он ее остановил.

— Ну, нет, — сказал он. — Ты сама видишь, Эми, что тебя сюда уложила твоя госпожа. Ее и вини.

Он не выпускал ее из рук, а поскольку девка была совершенно голая и лежала с ним в постели, отступать уже было поздно, и она успокоилась и позволила ему делать с ней все, что ему угодно.

Судите сами — если бы я смотрела на себя как на его жену, неужели я допустила бы, чтобы он возлежал с моей служанкой, да еще у меня на глазах — а я, заметьте, все время стояла подле. Но как я себя саму почитала за шлюху, то, быть может, в намерения мои входило сделать такую же шлюху из своей служанки, дабы она не могла мне тыкать в глаза моим грехом.

Эми, однако, оказалась менее испорченной, нежели ее госпожа, и на другое утро встала в большом расстройстве чувств, плакала навзрыд, причитая, что она погибла, что все кончено, и никак не желала утихомириться. Нет, нет, она шлюха, потаскушка, она погибла, безвозвратно погибла! И весь остаток дня она провела в слезах. Тщетно пыталась я ее утешить.

— Шлюха? — говорила я. — Велика беда! А кто же по-твоему твоя госпожа?

— Нет, нет, — отвечала Эми сквозь слезы. — Вы совсем другое дело, вы — законная жена.

— Ничего похожего, — возражала я. — И даже не притязаю на это звание. Он волен на тебе жениться хоть завтра, коли захочет, и я ничем не могу ему помешать. Я ему не жена, и не считаю, что мы с ним состоим в браке.

Зато между Эми и ее господином пробежала черная кошка. В то время как Эми сохранила свойственную ей доброжелательность, он, напротив,

совершенно к ней переменился и возненавидел ее всей душой; он был готов, я думаю, убить ее после содеянного, он мне так и говорил, ибо то, что между ними произошло, считал великою мерзостью. Между тем, сожительство со мной было в его глазах совершенно честным, и он смотрел на меня, как на свою жену, с которой он был обвенчан с юных лет, словно ни я, ни он никого до той поры не знали — ни он другой женщины, ни я — мужчины. И, правду сказать, он любил меня со всем пылом, с каким бы меня любил, если бы мы в самом деле были с ним обвенчаны с юности. Пусть он в некотором смысле и двоеженец (говорил он), но я — жена его сердца, его избранница, а та, законная, — постылая.

Меня чрезвычайно огорчало, что он воспылал к моей служанке Эми ненавистью, и я употребила все свое искусство, чтобы чувства его к ней переменились; ибо, хоть испортил девушку он, я-то знала, что я и никто более являюсь истинной виновницей. Так как я знала его за добродушнейшего человека на свете, я пустила в ход все свое искусство и не отставала от него, покуда он не вернул ей свое благоволение; ибо, сделавшись орудием дьявола, я стремилась к тому, чтобы другие были столь же порочны, как я, и уговорила его еще несколько раз с нею переспать, покуда не случилось то, о чем она говорила: бедняжка, наконец, и в самом деле затяжелела.

Она была этим чрезвычайно опечалена, равно как и он.

— Послушай, душа моя, — сказала я ему. — Когда Рахиль повелела своей служанке лечь с Иаковом, она взяла к себе детей от этой наложницы и воспитывала, как собственных своих детей. Не тревожься, я возьму этого ребенка и буду заботиться о нем, как если бы он был мой собственный ребенок. Разве не я затеяла всю эту шутку, не я толкнула Эми к тебе в постель? Я здесь не менее виновна, чем ты.

Затем я призвала к себе Эми и принялась ее подбадривать, обещая заботиться о ее ребенке, да и о ней самой, и приводя тот же довод, что в беседе с ее господином.

— Ты ведь прекрасно знаешь, Эми, — сказала я, — что во всем тут кругом виновата я одна. Не я ли стащила с тебя одежду, не я ли втолкнула тебя к нему в постель?

Итак, будучи истинной виновницей их беззакония, я старалась подбодрить обоих всякий раз, что они поддавались угрызениям совести, и вместо того, чтобы призывать их к раскаянию в содеянном, подстрекала их к продолжению тех же деяний.

Когда у Эми заметно вырос живот, я отправила ее в заранее приготовленное место, так что соседям было известно лишь то, что я рассталась со своей служанкой. У нее родился прекрасный ребенок, девочка, для которой мы приискали кормилицу, а Эми через полгода вернулась к своей прежней госпоже. Однако ни мой приятель, ни сама Эми не захотели вернуться к прежним забавам, ибо, как он сказал, эта девка может нарожать ему целую ораву ребятишек, а он их корми.

После этого мы зажили счастливо и весело, если только возможно

жить счастливо и весело в наших обстоятельствах (я имею в виду наше мнимое супружество, поставившее обоих нас в ложное положение). Что до моего дружка, впрочем, он о том нимало не заботился. Меня, однако, как я, казалось, ни закоснела в грехах — а я и в самом деле полагаю, что второй такой греховодницы свет не видывал, — все же меня время от времени одолевали черные мысли, заставляя обрывать песню на полуслове и тяжко вздыхать; ко всем моим радостям примешивалась душевная боль, и на глаза внезапно навертывались слезы. И что бы там ни говорили, иначе и быть не могло. Ни у одного человека, ступившего на неправедный путь и следующего по нему с открытыми глазами, не может быть покойно на душе: совесть, как ей ни противься, нет-нет да о себе напомнит.

Однако мое дело не проповеди читать, а рассказывать. Как бы часто меня ни посещали мои черные мысли, я изо всех сил старалась их скрыть от моего друга, да и не только от него; я их подавляла и заглушала в себе самой. Так что, на чужой глаз, мы жили весело и беспечно, как и подобает счастливой чете.

Наконец, на третьем году нашей совместной жизни, оказалась брюхата и я. Друг мой был весьма этим обрадован и сделался еще внимательнее и заботливее ко мне, заранее все предусмотрев и устроив. Предстоящие мои роды, впрочем, оставались в секрете от посторонних: все это время я избегала общества и не поддерживала никаких отношений с соседями: так что мне не пришлось никого приглашать отпраздновать это событие.

Я благополучно разрешилась от бремени (как и Эми, девочкой), однако младенец умер шести недель от роду, так что все это дело — хлопоты, расходы, тяготы — пришлось повторить сызнова.

На следующий год я возместила ему утрату, подарив ему, к великой его радости, крепкого, здорового мальчугана. Однажды вечером, вскоре после того, как у нас родился сын, мой муж (как он себя именовал) объявил мне, что в делах его появилось некоторое осложнение, что он не знает, как ему быть, и что я одна могу ему помочь: дела требуют его немедленного выезда во Францию, где ему придется пробыть не меньше двух месяцев.

— Душа моя, как же мне облегчить вашу задачу? — спросила я.

— Дав мне свое согласие на эту поездку, — сказал он. — И тогда я поведаю вам причину, вынуждающую меня ехать, дабы вы сами убедились, сколь это необходимо.

Затем, чтобы я не тревожилась о своей судьбе, он сказал, что прежде, чем отправиться в путь, он намерен составить завещание, согласно которому я буду полностью обеспечена.

Во второй части его сообщения, ответила я, он явил столько великодушия ко мне, что я не считаю себя вправе противиться тому, что было заключено в первой, и единственная моя просьба, если только она не покажется ему чересчур обременительной, сводится к тому, чтобы он взял меня с собой.

Мои слова чрезвычайно его обрадовали, и он сказал, что возьмет меня непременно, раз я того хочу. На следующий день он повез меня в Лондон, где составил завещание, и, предварительно показав его мне, запечатал, как должно, при свидетелях и вручил его мне на сохранение. По этому завещанию он оставлял тысячу фунтов одному нашему общему знакомому, с тем чтобы вся эта сумма вместе с процентами была вручена либо мне лично, либо моему доверенному лицу. Кроме того по этому завещанию мне выделялась, как он это именовал, «вдовья часть» [17], иначе говоря, те самые пятьсот фунтов, которые он обязался оставить мне по смерти. Он завещал мне также всю домашнюю утварь, посуду, мебель, серебро и так далее.

В этом он явил такое благородство, какого женщине в моем положении невозможно ожидать. Нет, сказала я ему, такому человеку, как он, невозможно ни в чем отказывать, с таким человеком, сказала я, поедешь не то что в Париж, но и на край света. Затем мы устроили все дела, оставив дом на попечении Эми; что касается его торговых дел — а он занимался перепродажей ювелирных изделий — то у него было два человека, которым он дал доверенность под гарантию, договорившись, чтобы они ожидали его письменных распоряжений.

Итак, уладив дела, мы отправились во Францию, благополучно прибыли в Кале, а оттуда на перекладных через девять дней добрались до Парижа, где остановились в доме знакомого купца, принявшего нас с полным радушием.

Клиентами моего сожителя были знатные вельможи, которым ему удалось продать за большие деньги кое-какие чрезвычайно ценные ювелирные изделия. Он сказал мне по секрету, что на этой сделке выручил 3000 золотых пистолей [18], прибавив, что не доверил бы этой тайны самому близкому другу, ибо Париж не Лондон, и держать при себе в этом городе большие суммы весьма небезопасно [19].

Мы задержались в Париже много долее, нежели рассчитывали: мой друг вызвал одного из своих доверенных лиц из Лондона, приказав ему привезти новую партию бриллиантов; когда же тот приехал, снова послал его в Лондон еще за одной партией. Затем возникли новые непредвиденные дела, и я уж начала думать, что мы здесь останемся на постоянное жительство. Мысль эта нисколько не была мне противна — ведь я родилась и выросла в этой стране и в совершенстве владела языком ее обитателей. Мы сняли хороший дом в Париже и прекрасно в нем зажили. Я послала за Эми, ибо мы завели хозяйство на широкую ногу. Раза два или три мой дружок порывался даже приобрести для меня выезд, но я этому воспротивилась, тем более, что мы жили в самом городе и за сходную цену можно было нанимать карету, так что экипаж был к моим услугам в любое время. Словом, образ жизни у меня был, можно сказать, роскошный, и если бы я захотела, я могла бы жить с еще большим великолепием.

Однако в самый разгар моего благополучия меня постигла злая беда,

которая полностью расстроила все мои планы и повергла в такое же самое состояние, в котором я пребывала прежде, — правда, с некоторой разницей, ибо если раньше я была беднее последней нищенки, теперь я жила в полном довольстве и достатке.

Дружок мой слыл в Париже настоящим богачом; и хоть молва несколько преувеличивала его состояние, оно и впрямь было изрядно. Но он имел обычай, оказавшийся впоследствии роковым, носить с собою, особенно в тех случаях, когда ему доводилось наведываться ко двору или к кому-либо из принцев крови, футляр из шагреневой кожи. В этом футляре лежали камни, имевшие великую ценность.

Однажды утром, сбираясь в Версаль, где его ожидал принц ***ский [20], он вошел в мою спальню и выложил свой футляр с драгоценностями, так как на этот раз он ехал не с тем, чтобы показывать камни, а чтобы акцептовать полученный им из Амстердама вексель [21]. Подавая мне футляр, он сказал:

— Я думаю, душа моя, лучше не брать его с собой; ведь я могу задержаться там до самой ночи и не хочу искушать судьбу.

— Коли так, мой друг, — я ответила, — я тебя никуда не пущу.

— Но отчего же, душа моя? — возразил он.

— По той же причине, по какой ты не хочешь рисковать своими каменьями, я не желаю, чтобы ты рисковал своей жизнью. И я пущу тебя лишь на том условии, что ты мне обещаешь не задерживаться там дотемна.

— Я не думаю, чтобы мне грозила какая-нибудь опасность, — сказал он. — Ведь я не беру с собой каких-нибудь особенных драгоценностей. А, впрочем, возьми, пожалуй, и это на всякий случай, — говорит он и протягивает мне свои золотые часы и кольцо с дорогим бриллиантом, которое он всегда носил на руке.

— Послушай, милый, — сказала я. — Ты меня еще больше растревожил: к чему все эти предосторожности, коли тебе, как ты говоришь, не грозит никакая опасность? А если ты таковую предвидишь, не лучше ли тебе вовсе остаться?

— Никакой опасности нет, — сказал он, — если я не задержусь там допоздна, а я задерживаться не намерен.

— Хорошо, но только обещай, что не задержишься, — сказала я. — Иначе я не могу тебя пустить.

— Право же, душа моя, не задержусь, — сказал он, — если только меня не вынудят к этому. Уверяю тебя, что у меня такого намерения нет. Но если бы и случилось мне задержаться, никто не станет меня грабить, ибо я не беру с собой ничего, кроме кошелька с шестью пистолями да вот этого колечка.

И он показал мне кольцо с небольшим бриллиантом достоинством в десять-двенадцать пистолей, которое надел себе на палец взамен того драгоценного перстня, который он обычно носил.

Я продолжала упрашивать его не задерживаться, и он заверил меня, что не станет.

— Если же против моего ожидания меня и задержат до вечера, — сказал он, — я там заночую и приеду наутро.

Это показалось мне достаточной предосторожностью. И все же сердце мое было не на месте, о чем я ему и сказала, умоляя его не ехать. Сама не знаю отчего, сказала я, но только меня одолевает непонятный страх всякий раз, как я подумаю о его предстоящей поездке; мне все кажется, что с ним приключится беда.

— А хоть бы и так, душа моя, — сказал он с улыбкой. — Ты достаточно обеспечена; все, что здесь, я оставляю тебе. — И с этим он поднимает со стола свой футляр.

— В этом футлярчике, — говорит он, — целое состояние; если со мной что случится, я вверяю все это тебе.

И кладет мне в руки футляр, драгоценный перстень и золотые часы, и, сверх того, ключ от секретера.

— А в секретере лежат деньги, — сказал он, — и все они твои.

Я вскинула на него испуганный взгляд; на миг лицо его мне показалось похожим на череп; в следующее мгновение мне привиделось, будто в крови голова его, а затем — что вся одежда пропитана кровью; затем страшное видение исчезло, и друг мой стоял передо мною как ни в чем ни бывало. Я тут же расплакалась и повисла у него на шее.

— Ах, милый, — воскликнула я. — Я напугана до смерти. Нет, ты не должен ехать! Иначе, поверь, с тобой приключится какая-нибудь беда.

Я не стала рассказывать ему о видении, промелькнувшем перед моими глазами: я чувствовала, что это было бы неуместно. К тому же он просто высмеял бы меня и все равно бы уехал. Но я настоятельно убеждала его отложить поездку или хотя бы дать слово, что он возвратится в Париж засветло. Тогда он сделался несколько серьезнее и повторил, что не ожидает никакой опасности; если же он убедится, что таковая ему грозит, прибавил он, он либо постарается вернуться днем, либо, как он уже сказал, заночует в Версале.

Но все эти обещания оказались напрасными, ибо еще на пути в Версаль, среди бела дня, на него напали три всадника в масках и один из них — по-видимому, тот, кто его обыскивал, покуда его товарищи удерживали карету, — нанес ему смертельный удар саблей. Стоявшего на запятках лакея они сшибли с ног прикладом или ложем карабина. Полагают, что они убили моего друга с досады за то, что не обнаружили при нем его футляра с бриллиантами, который, как они знали, он имел обыкновение держать при себе. Предположение это было сделано на том основании, что, убив ювелира, они заставили кучера свернуть с дороги и проехать довольно далеко по полю, пока они не достигли какого-то укрытия, где они вытащили его тело из кареты и обыскали покойника с бо́льшим тщанием, нежели можно было обыскать живого. Но они так ничего и не нашли, кроме его колечка, шести пистолей да мелких монет на общую сумму в шесть или семь ливров.

Смерть моего друга была страшным для меня ударом: не скажу, од-

нако, чтобы он был столь неожиданным, как можно было думать; ибо все время после его отъезда дух мой был угнетен, и я была совершенно убеждена, что более его не увижу. Такого никогда прежде со мною не случалось. Уверенность моя была столь сильна, что я не могла отнести ее за счет пустой игры воображения; и я была так подавлена и безутешна еще до того, как до меня дошла весть о приключившемся несчастье, что в душе моей уже не было места для горя. Весь тот день я проплакала, не могла есть и, можно сказать, лишь ждала известия, подтверждавшего то, что я уже знала сама; весть эта пришла около пяти часов пополудни.

Я была одна на чужбине, и хоть знакомых у меня было достаточно, друзей, с которыми бы я могла посоветоваться, почти никого. Все старания были приложены к разысканию мерзавцев, что так бесчеловечно расправились с моим благодетелем, но найти их так и не удалось. Лакей, которого тотчас допросили, не мог описать их наружности, так как его оглушили первым делом, и он не знал, что произошло потом. Единственный, кто мог хоть что-то рассказать, был кучер, но его отчет сводился к тому, что один из разбойников был одет солдатом, но каков был на нем мундир, он не упомнил, равно как и других примет, по коим возможно было бы определить полк, к которому принадлежал этот солдат. Что до лиц, то об этом он ничего не мог сказать, так как все трое были в масках.

Я похоронила его со всей пристойностью, какую удалось соблюсти в этой стране, хороня протестанта и чужеземца[22]. Щепетильность местных властей мне удалось успокоить с помощью денег; человек, которому я их дала, пошел к кюре прихода святого Сульпиция, что в Париже, и, глазом не моргнув, заявил ему, что убитый являлся католиком; что грабители сняли с его груди золотой крест, украшенный бриллиантами, стоимость которого равнялась шести тысячам ливров; что вдова его католичка и уполномочила его передать шестьдесят крон такой-то церкви с тем, чтобы в ней отслужили несколько обеден за упокой души ее супруга. Вследствие всех этих речей, в которых не заключалось и слова правды, его похоронили со всеми церемониями, принятыми католической церковью.

Я беззаветно предалась своему горю и едва не умерла от слез. Я его и впрямь любила беспредельно — да и как могло быть иначе, когда он был так добр ко мне вначале, и сохранил всю свою нежную заботливость до самого конца?

Да и ужасные обстоятельства, при которых его настигла смерть, вместе со страшными предвозвестниками ее, повергли мою душу в трепет. Я никогда не ощущала в себе дара ясновидения или чего-либо в этом роде, но если таковое на свете существует, то на этот раз я несомненно им обладала, ибо я видела совершенно ясно все те ужасающие преображения, что я уже описала выше: сперва он явился мне в виде мертвеца или остова, которого уже коснулись гниль и тление; затем — в виде только что убитого, с лицом, покрытым кровью; и, наконец, — в одежде,

пропитанной кровью, — и все это в течение какой-нибудь одной минуты, меньше даже — нескольких мгновений!

Все это меня ошеломило, и я долгое время была как помешанная. Наконец, я начала постепенно приходить в себя и решила заняться моими делами. Средства к существованию у меня, слава богу, были, нужда мне не грозила. Совсем напротив. Сверх того, что он вручил мне перед своей смертью — а это имело большую ценность, — в его секретере, от которого он дал мне ключ тогда же, я обнаружила свыше семисот пистолей золотом. И еще я там нашла акцептованные иностранные векселя на общую сумму в 12 000 ливров или около того; словом, через несколько дней после несчастья я увидела, что обладаю без малого десятью тысячами фунтов стерлингов.

Первым делом я послала письмо своей девушке (как я по-прежнему, несмотря ни на что, величала Эми), в котором отписала о постигшем меня несчастье, о том, что мой муж, как она его величала (я же никогда не решалась так его называть), убит.

Поскольку я не знала, что предпримет его родня или родственники его жены, я приказала Эми собрать все серебро, полотно и прочую утварь, представляющую ценность, и вручить лицу, которое я ей указала, затем продать или еще как-нибудь распорядиться по своему усмотрению мебелью, и наконец, не посвящая никого в причину своего отъезда, покинуть дом. И еще я поручила ей известить лондонского управляющего ее покойного господина о том, что жильцы выбыли из дому, дабы он передал его в распоряжение душеприказчиков. Эми оказалась столь ловкой и проделала все, что я ей велела, столь быстро, что заколотила дом и послала ключ от него управляющему почти одновременно с пришедшим к нему известием о гибели его господина.

По получении этого неожиданного известия управляющий поспешил в Париж и явился ко мне. Я без стеснения назвалась мадам ***, вдовой английского ювелира, мосье ***. А как я говорила по-французски не хуже всякой француженки, то и оставила его в заблуждении, будто его господин женился на мне во Франции и что я и представления не имела о том, что в Англии у него имелась другая жена. При этом я изобразила великое удивление и принялась поносить покойника за его низкий поступок, говоря, что в Пуату, откуда я родом, у меня близкие, которые проследят за тем, чтобы мне выделили причитающуюся мне по закону долю из его наследства в Англии.

Я забыла сказать, что, как только по городу разнеслась весть об убийстве и о том, что убитый был ювелиром, молва оказала мне великую услугу, утверждая, будто грабители отобрали у него футляр с драгоценностями, который он всегда носил с собой. В своих ежедневных причитаниях по поводу его смерти я подтверждала этот слух, прибавляя, что на нем был еще драгоценный перстень с бриллиантом стоимостью в сто пистолей, хорошо знакомый всем, кто знал моего мужа; и еще золотые часы, а в знаменитом футляре множество бриллиантов чистой воды. Бриллианты эти, продолжала я, он вез показать принцу ***скому; принц



„ЗНАМЕНИТАЯ РОКСАНА"
Фронтиспис к раннему изданию романа.



КАРЛ II

Портрет, приписываемый С. Луттичейсу (ок. 1659 г.).

признал, что он, точно, просил ювелира показать ему кое-что из его бриллиантов. Впрочем, как вы увидите впоследствии, об этом моем вымысле мне пришлось пожалеть.

Слух этот положил конец расспросам о судьбе бриллиантов, часов и драгоценного перстня убитого ювелира; что касается семисот пистолей, то мне удалось их спрятать. Я призналась, что у меня на руках остались ценные бумаги мужа, но при этом заявила, что поскольку он взял за мной тридцать тысяч ливров приданого, то я считаю оные векселя — общая стоимость которых не превышала двенадцать тысяч ливров, — своею собственностью, как бы в компенсацию за причиненный мне убыток. Эти векселя да домашняя утварь и серебро составляли в основном все имущество покойного, к которому они могли подобраться. Что до иностранного векселя, который он вез в Версаль затем, чтобы там его акцептовать, то его у меня и в самом деле не было. Но как его управляющий, который перевел ему вексель через Амстердам, привез с собою дубликат, то деньги, которые бы иначе тоже пропали, удалось, как это говорится на деловом языке, «выручить». Разбойники, ограбившие и убившие моего друга, по видимости не решились предъявить вексель, ибо в таком случае их бы несомненно обнаружили.

К этому времени подоспела моя служанка Эми, которая дала мне подробный отчет о том, как она всем распорядилась, как передала все ценное имущество в указанные мною руки, как заколотила дом и послала ключ от него главному управляющему; она также доложила мне в точности и без утайки, сколько ей удалось выручить за проданную мебель и прочее.

Я забыла сказать, что все то долгое время, какое мой друг жил со мною в лондонском предместье, он изображал простого жильца, нанимающего у меня комнату, и хоть на самом деле дом принадлежал ему, никто этого не знал. Так что, когда после его смерти Эми покинула дом и вернула ключ, никто в его конторе не усмотрел никакой связи между ее выездом из дому и только что свершившимся убийством их хозяина.

Я между тем обратилась к известному юристу, который являлся советником Парижского парламента[23]; когда я изложила ему существо дела, он присоветовал мне предъявить иск на вдовью часть имущества, оставшегося по смерти моего мужа, каковому совету я и последовала. Управляющий вернулся в Англию, удовлетворенный тем, что ему удалось вызволить акцептованный вексель, по которому причиталось получить две тысячи пятьсот фунтов и еще кое-что в придачу; в общем же он собрал сумму в семнадцать тысяч ливров, и мне таким образом удалось от него избавиться.

Многие знатные дамы нанесли мне визит по случаю безвременной кончины моего мужа (каковым его здесь все считали). А тот принц, которому, как ему доложили, он и вез показать свои драгоценности, послал ко мне своего камердинера с самыми любезными изъявлениями соболезнования; слуга этот намекнул — от себя ли или от своего господина, не знаю, — будто бы его высочество намеревался посетить меня сам, но

что досадный случай, о коем слуга довольно долго распространялся, ему в этом помешал.

Теперь, когда меня стали посещать дамы и господа из высшего света, у меня образовался широкий круг знакомств; одевалась я хорошо, насколько это дозволял вдовий наряд, по чести сказать, в те времена довольно уродливый; подстрекаемая, однако, тщеславием, ибо я была хороша собой и прекрасно это знала, я умудрялась, как я уже сказала, одеваться к лицу; в обществе даже появилась мода на la belle veuve de Poitou, как меня прозвали, что означает: «хорошенькая вдовушка из Пуату». Такое благосклонное ко мне внимание весьма утешало меня в моем горе, а вскоре и вовсе осушило мои слезы. И хоть я все еще появлялась во вдовьем обличье, это уже было обличье вдовы *утешившейся*, как говорится у нас в Англии. Навещавшие меня дамы могли убедиться, что тонкости светского обращения мне не в диковинку, и, короче говоря, я завоевала всеобщее расположение. Впоследствии, однако, некое обстоятельство — о котором будет поведано в свое время — заставило меня изменить мой образ жизни и отказаться от светских связей.

Дня через три-четыре после того, как мне было передано соболезнование принца ***ского, его камердинер — тот самый, которого он посылал ко мне ранее, — известил меня, что его высочество собирается нанести мне визит. Известие это застигло меня врасплох; я совершенно растерялась и не знала, как мне себя с ним держать. Но делать нечего, я приготовилась встретить его как могла. Не прошло и нескольких минут, как он уже был у моей двери и вошел в дом, о чем все тот же камердинер доложил моей служанке Эми, а она, в свою очередь, мне.

Принц держался со мной более чем любезно. Благороднейшим образом выразив сожаление по поводу кончины моего мужа, а также печальных обстоятельств, при каких она приключилась, он сообщил мне далее, что, насколько ему известно, мой муж направлялся в Версаль показать ему кое-какие драгоценные камни; подтвердив, что у них точно был до того разговор о драгоценных камнях, он, однако, прибавил, что не представляет себе, как могли эти негодяи разведать, что он собирается везти их именно в тот день и час; тем более, что он не просил моего мужа приезжать с драгоценностями в Версаль, а сказал, что будет в Париже сам и назначил день; таким образом, заключил он, мне не следует смотреть на него, как на человека, в какой-либо мере повинного в этом несчастье. Придав своему лицу выражение скорбное и важное, я отвечала, что все высказанное мне его высочеством является истинной правдой и что мне это прекрасно известно, но негодяи знали о роде занятий моего мужа и о его обыкновении носить на руке бриллиантовое кольцо, стоившее сто пистолей, каковую сумму молва раздула до пятисот; так что, — заключила я, — куда бы он ни ехал, все едино. После этого его высочество поднялся, собираясь уже уходить, и сказал на прощание, что пусть он и невиновен, но решился хотя бы в малой степени возместить мне убыток; с этими словами принц кладет мне в руки шелковый кошелек, а в нем — сто пистолей. При этом он сказал, что намерен определить мне

небольшую пенсию, о размере каковой он сообщит мне через своего камердинера.

Можете не сомневаться, что я выказала, сколь чувствительна к его благодеянию и даже опустилась на колени, чтобы поцеловать ему руку. Но он тотчас меня поднял, сам меня поцеловал и вновь уселся на диван (хотя за минуту до того как будто намеревался меня покинуть), заставив меня сесть рядом. Беседа его сделалась непринужденной; он выразил надежду, что я не осталась в стесненных обстоятельствах; он слышал, что муж мой был человеком весьма богатым и что незадолго до смерти выручил большие суммы за бриллианты; так что, заключил принц, надеюсь, что у вас осталось состояние, позволяющее вам вести тот образ жизни, к коему вы привыкли.

Я отвечала, уронив две-три слезинки, которые, признаться, мне удалось выжать не без труда, что кабы мистер (я назвала фамилию моего друга) оставался в живых, нам можно было не опасаться нужды, теперь же понесенный мной убыток не поддается описанию, не говоря уже о том, что я потеряла мужа: по мнению тех, кто был несколько осведомлен о его делах и о стоимости камней, которые он намеревался показать его высочеству, продолжала я, при нем было товару не меньше, чем на сто тысяч ливров; это, говорю я, для меня, как и для всей его родни, роковой удар, тем более, как вспомнишь обстоятельства, при которых исчезли эти богатства.

Его высочество с искренним сочувствием отвечал, что весьма об этом сожалеет, но тут же выразил надежду, что, если я останусь жить в Париже, то найду средство поправить свои дела. При этом ему было угодно сделать мне комплимент, сказав, что я чрезвычайно красива и что у меня не будет недостатка в поклонниках. Я встала и со всем смирением поблагодарила его высочество, прибавив, однако, что ни о чем таком не думаю и что мне, по всей видимости, следует съездить в Англию, чтобы присмотреть за имуществом, оставшимся от мужа; насколько мне известно, имущество это было немалое, но я не знаю, могу ли я рассчитывать, что с бедной чужестранкой поступят по справедливости. Что же до Парижа, сказала я, поскольку состояние мое значительно сократилось, я не вижу иного выхода, кроме как возвратиться в Пуату, где у меня остались друзья и где мои родные, возможно, захотят мне помочь. Там, прибавила я, у меня брат был аббатом в местечке ***, что под Пуатье.

Его высочество встал, подошел ко мне и, взявши меня за руку, подвел к большому трюмо, заполняющему простенок в гостиной.

— Взгляните, сударыня, сюда, — сказал он. — Возможно ли, чтобы это личико — (и он показал на мое отражение в зеркале), — возможно ли, чтобы оно схоронило себя в Пуату? Нет, сударыня, — продолжал он, — оставайтесь здесь и осчастливьте какого-нибудь молодого человека из знатного рода, дабы он, в свою очередь, заставил вас забыть о ваших печалях.

С этими словами он заключил меня в свои объятия и дважды поцеловал, сказав, что вскорости наведается ко мне опять, но с уже меньшими церемониями.

В тот же день, спустя несколько часов после его ухода, ко мне явился его камердинер и с большой торжественностью и почтением вручил мне черную шкатулку, перевязанную алой лентой и запечатанную сургучной печатью, на которой был оттиснут герб, принадлежавший, как я заключила, его высочеству.

В шкатулке лежал ордер или приказ — не знаю, как это назвать, — подписанный его высочеством с повелением банкиру выплачивать мне две тысячи ливров ежегодно все то время, что я буду пребывать в Париже: сумма эта, как пояснялось, является чем-то вроде пенсии вдове мосье ювелира, сделавшегося жертвой зверского убийства.

Я приняла шкатулку со всем смирением и изъявлениями безграничной признательности его господину, и просила слугу заверить его высочество в том, что я всегда готова ему служить и прочее. Затем я отомкнула свой секретер и извлекла из него несколько монет, не забыв ими побренчать, и предложила ему пять пистолей.

Камердинер отступил на шаг и с величайшим почтением сказал, что смиренно благодарит меня, но не смеет принять от меня и гроша, — это вызвало бы у его высочества такое неудовольствие, сказал камердинер, что он был бы немедленно изгнан с глаз долой; однако он обещал довести до сведения принца этот знак уважения, коим я хотела его почтить.

— Уверяю вас, сударыня, — прибавил он, — что вы у его высочества пользуетесь бо́льшим расположением, нежели думаете; и я не сомневаюсь, что он и впредь не оставит вас своим вниманием.

Я начала понимать, к чему клонится дело, и твердо решила в следующий раз предстать перед его высочеством во всеоружии. Поэтому я сказала камердинеру, что если его высочество намерен оказать мне честь вновь меня посетить, я надеюсь, что он не застигнет меня врасплох, как то было в первое его посещение; мне хотелось бы, прибавила я, чтобы меня о том известили заранее, и я была бы признательна, если б он это взял на себя. Камердинер заверил меня, что перед тем, как меня посетить, его высочество непременно вышлет его вперед себя, и что он берется предупредить меня о том заблаговременно.

Камердинер его высочества приходил ко мне еще не один раз, и все по поводу пенсии, для получения каковой требовалось уладить кое-какие формальности, с тем, чтобы я могла получать свои деньги, не обращаясь к принцу всякий раз за новым распоряжением. Я не очень разбиралась в этих тонкостях, но как только дело было улажено, — а заняло оно более двух месяцев, — однажды после полудня пришел камердинер и объявил, что его высочество намерен посетить меня нынче вечером, но просит принять его без всяких церемоний.

Я приготовилась к встрече, убрав пристойным образом не только комнаты, но и себя. Когда он пришел, в доме не было никого, кроме его камердинера и моей служанки Эми; относительно последней я просила камердинера объяснить своему господину, что она англичанка, не понимает по-французски ни слова и что на нее можно положиться во всех отношениях.

Когда принц вошел в комнату, я упредила его намерение меня поцеловать и пала к его ногам. В заранее подготовленных самых почтительных и подобающих случаю выражениях я поблагодарила его за щедрость и доброту, явленные им бедной обездоленной женщине, на которую обрушилось столь ужасающее несчастье, и отказывалась подняться с колен, покуда он не дозволит мне поцеловать ему руку.

— Levez vous donc *, — отвечает принц и, подняв меня сам, заключает в объятия. — Я намерен сделать для вас больше, нежели эта пустяковая услуга. — И дальше: — Отныне вы можете рассчитывать на друга, какого не ожидали встретить, и я намерен показать вам, сколь далеко распространяется мое благоволение к той, что является в моих глазах самым очаровательным существом на свете.

Платье, в которое я оделась к его приходу, еще хранило следы траура, но уже менее строгого, ибо я начинала понимать, к чему клонится поведение принца. Голову мою (хотя я еще не позволяла себе лент и кружев) я убрала таким образом, чтобы как можно лучше оттенить мою красоту. Его высочество провозгласил меня самой красивой женщиной на свете.

— Где же я жил, — воскликнул он, — и как жестоко обошлась со мной судьба, что так поздно распорядилась показать мне первую красавицу Франции!

Лучшего способа пробить брешь в моей добродетели, если бы я таковой обладала, нельзя было придумать. Ибо к этому времени я сделалась самой тщеславной женщиной на свете и моя красота составляла главный предмет моего тщеславия; чем более ее превозносили, тем сильнее и безрассуднее я в себя влюблялась.

После этого он сказал мне еще несколько любезностей и просидел со мной с час и даже немного более. Затем, поднявшись, распахнул дверь настежь и кликнул камердинера:

— A boire! ** — приказал он, и камердинер тотчас внес маленький столик, накрытый салфеткой из тончайшего дамаска; столик был так невелик, что слуга с легкостью внес его один; однако на нем разместились два графина — в одном было шампанское, в другом вода — и шесть серебряных блюд. Столик был высотой примерно дюймов в двадцать [24] и имел несколько круглых полочек. На верхних, в сервизе тончайшего фарфора, были поданы изысканнейшие сладости, внизу — блюдо с тремя жареными куропатками и одной перепелкой. Как только слуга расставил все эти яства, принц приказал ему удалиться.

— А теперь, — сказал он, — я намерен с вами отужинать.

После того, как он удалил камердинера, я поднялась и предложила прислуживать его высочеству за столом; но он решительно отверг мое предложение.

---

* Встаньте (*франц.*).
** Пить! (*франц.*).

— Нет, — сказал он. — Завтра вы будете вдовой м-сье ювелира, но нынче вечером вы — моя госпожа. Поэтому, прошу вас, садитесь вот тут, — сказал он, — и кушайте вместе со мной. Иначе я встану и примусь вам подавать.

Я хотела было призвать мою служанку Эми, но решила, что это было бы невежливо, и сказала, что, поскольку его высочество не дозволяет своему слуге ему прислуживать, я не решаюсь призвать и свою служанку; но если ему угодно дозволить мне ему услужить, я бы почла за честь наполнить бокал его высочества. Но он по-прежнему об этом и слышать не хотел, так что я уселась за стол рядом с ним и мы стали ужинать.

— Сударыня, — сказал принц, — позвольте мне забыть о своем звании и будем разговаривать непринужденно, как равные. Мое происхождение отдаляет меня от вас и требует соблюдения известных церемоний. Но ваша красота поднимает вас не только вровень со мной, но выше, и я хотел бы говорить с вами как простой влюбленный; впрочем, я не искушен в этом языке. Позвольте же мне просто сказать вам, что вы мне нравитесь до чрезвычайности, что ваша красота меня поражает и что я твердо решился сделать вас счастливой и быть вами осчастливлен.

Я не сразу нашлась, что ему на это ответить, и покраснев, взглянула ему в лицо, говоря, что я счастлива уже одним тем, что могла угодить столь благородной особе и что мне его не о чем просить, кроме как о том, чтобы он поверил в безграничность моей к нему признательности.

После того, как мы поели, он высыпал мне на колени конфеты и, так как вино кончилось, вновь призвал слугу и велел убрать столик; тот сначала снял скатерть и убрал остатки еды; затем, постлав свежую скатерть, придвинул столик к стене, уставив его великолепной посудой, которая, должно быть, стоила по крайней мере 200 пистолей. Затем, снова поставив на столик два полных графина, как вначале, удалился. Этот малый, как я убедилась, прекрасно знал свое дело и не менее прекрасно понимал дела своего господина.

Примерно полчаса спустя после этого принц сказал, что поскольку я изъявляла желание ему прислуживать, быть может, я не откажусь наполнить его бокал; я подошла к столику, налила вина в бокал и поднесла его принцу на прекрасном серебряном подносе, в другой руке неся графин на случай, если бы принц пожелал разбавить вино водою.

Он улыбнулся и предложил мне взглянуть на поднос, что я и сделала, выразив свое восхищение им, а он и в самом деле того заслуживал.

— Я дал распоряжение слуге оставить этот поднос у вас, дабы я мог им пользоваться всякий раз, как к вам приду, — сказал принц. — Из этого вы можете заключить, что я намерен часто проводить время в вашем обществе.

В ответ я выразила надежду, что его высочество меня не осудит за то, что я лишена возможности принимать его так, как следует принимать

столь высокопоставленное лицо, и обещала обращаться с этим подносом со всей осторожностью, прибавив, что чрезвычайно ценю честь, оказываемую мне посещениями его высочества.

Дело шло к ночи, и принц заметил, что становится поздно. — Впрочем, — прибавил он, — я не в состоянии с вами расстаться. Быть может, у вас найдется комната, где бы я мог переночевать?

Я сказала, что жилище мое слишком скромно для такого гостя. На это он ответил любезностью, которую я не могу здесь повторить, присовокупив, что мое общество полностью искупает все прочие недостатки.

Около полуночи, объявив камердинеру, что остается здесь ночевать, он послал его с каким-то поручением. Через некоторое время слуга возвратился с его халатом, комнатными туфлями, двумя спальными колпаками, шейным платком и рубахой; все это принц просил меня снести в предназначенную для него комнату, а камердинеру велел идти домой; затем, обратившись ко мне, он просил меня оказать ему честь принять на себя обязанности его дворецкого, а также камердинера.

Я с улыбкой отвечала, что почту за честь служить ему в каком угодно качестве.

Около часу ночи, еще до того, как он отослал слугу, я попросила дозволения удалиться, полагая, что его высочество нуждается в покое. Поняв мой намек, он сказал:

— Я еще не собираюсь ложиться; возвращайтесь поскорее, прошу вас.

Я воспользовалась случаем, чтобы переодеться в другое платье, представлявшее собой род *дезабилье*; однако оно было так изысканно, нарядно и изящно, что принц был поражен.

— Я полагал, — сказал он, — что вы не могли бы одеться более к лицу, чем в прежнем платье. Но теперь я вижу, что вы в тысячу раз очаровательнее прежнего, хоть я и не представлял себе, что это возможно.

— Я всего лишь надела более просторное платье, — сказала я, — чтобы ловчее вам прислуживать.

— Ваша любезность превосходит всякие ожидания! — воскликнул он и прижал меня к своей груди. Затем, присев на край кровати, произнес:

— А теперь вы будете принцессой и увидите, что значит оказать любезность благодарнейшему из смертных.

С этими словами он меня обнял... Я не смею далее распространяться о том, что произошло между нами, но короче говоря, кончилось все тем, что остаток ночи я провела в его постели.

Я остановилась на подробностях этой истории, дабы показать темные происки, с помощью которых великие мира сего губят несчастных женщин; ибо, если стремление выбиться из нужды является неодолимым соблазном для обездоленных, то для прочих роскошь и утоление тщеславия являются не менее сильным искушением. Сделаться предметом ухаживания принца крови, выступившего в роли благодетеля, а затем поклонника; слышать, как тебя величают первой красавицей Франции, чувствовать, что принц крови обращается с тобою, как с равной — устоять про-

тив всего этого может лишь женщина, лишенная какого бы то ни было тщеславия, а главное — порочности; у меня же, как я уже говорила, и того и другого было хоть отбавляй.

Сейчас меня не преследовала бедность; напротив, еще до того, как принц начал оказывать мне помощь, в моем распоряжении было целых десять тысяч фунтов. И, обладай я силой воли, будь я менее покладиста и окажи я отпор первой атаке, я была бы в полной безопасности; но я давно уже утеряла добродетель, и дьявол, который нашел способ одолеть меня соблазном одного рода, с легкостью одержал надо мною победу с помощью другого соблазна. Итак, я отдалась тому, кто, несмотря на свое высокое положение, оказался самым обходительным и любезным человеком, какого мне когда-либо доводилось встречать.

Я пыталась представить принцу те же доводы, какие в свое время выдвигала первому своему соблазнителю. Я сомневалась, следует ли мне сдаться, не оказав никакого сопротивления, но его высочество уверил меня, что принцам крови не пристало ухаживать за женщиной так, как ухаживают простые смертные; что в их распоряжении имеются более веские доводы; и поскольку принца крови легче обескуражить, нежели простолюдина, любезно пояснил он, то его домогательствам следует и скорее уступать; этим он намекал, — впрочем, тонко и деликатно, — на то, что, получив от женщины отказ, принцу крови не положено, как другим, прибегать к настойчивым просьбам и стратегическим уловкам или устраивать длительную осаду. Подобные ему лица, сказал он, привыкли брать крепость штурмом, а наталкиваясь на отпор, не возобновляют атаки. И в самом деле, на его стороне была простая справедливость, ибо если длительная бомбардировка женской добродетели ниже их достоинства, то и риск, что их любовные похождения будут разоблачены, значительно больше, чем у простых людей.

Такой его ответ полностью меня убедил, и я сказала его высочеству, что я того же мнения, что и он, касательно характера его наступательных действий, прибавив, что и сам он, и его доводы неотразимы; нет никакой возможности сопротивляться человеку столь высокородному, обладающему к тому же столь беспредельным великодушием, сказала я далее, и нет такой добродетели, — разве у тех, кто рожден принять мученический венец, — которая бы могла перед ним устоять; если я прежде полагала, что никакие силы не могут сбить меня с моей позиции, то теперь я вижу, что нет такой силы, которая помогла бы мне свои позиции сохранить; что столь великая доброта в соединении со столь высоким положением покорили бы и святую: в заключение я призналась, что он одержал надо мною победу, причем достоинства победителя много выше тех, какими обладает побежденная.

Он ответил с ласковой учтивостью и, наговорив мне множество красивых слов, которые чрезвычайно льстили моему тщеславию, исполнил мою душу непомерной гордыней, так что я и в самом деле почувствовала себя достойной сделаться возлюбленной принца крови.

Когда я явила принцу последнее доказательство моего к нему распо-

ложения и он взял от меня все, что я ему дать могла, он, в свою очередь, не остался в долгу и просил меня обращаться с ним с тою же свободою во всем и, не чинясь, требовать у него всего, что посчитаю для себя нужным. Я, однако, ни о чем его не просила, дабы не выказать жадности и не произвести впечатления, будто изо всех сил спешу нажиться на его счет; напротив, я повела дело столь искусно, что он во всем предвосхищал мои желания. Он просил единственно о том, чтобы я не думала переезжать в другой дом, каковым намерением я поделилась с его высочеством, полагая нынешнее свое жилище недостаточно роскошным, чтобы его в нем принимать; но он сказал, что мой дом во всем Париже наиудобнейший для любовных дел, особливо для него, так как имеет выход на три улицы и скрыт от соседей, благодаря чему он может входить и выходить, не опасаясь соглядатаев; одна из дверей открывалась в темный узкий проулок, соединявший собой две другие улицы, так что входящему в дом или выходящему из него оставалось лишь убедиться, что никто не следовал за ним по проулку. Такая с его стороны просьба казалась мне справедливою, и я заверила его высочество, что поскольку он не гнушается моим скромным жилищем, я не стану его менять.

Он также просил меня не брать в дом более слуг и не заводить кареты, по крайности на первое время; ибо в противном случае люди тотчас заключат, что я осталась богатой наследницей и мне начнут досаждать назойливые поклонники, толпы коих будут привлечены не только красотой молодой вдовы, но и ее деньгами; а их присутствие к тому же может помешать его собственным посещениям. А то еще решат, что я сделалась чьей-либо содержанкой, и не успокоятся, покуда не узнают имени моего покровителя. Если же его откроют, то всякий раз, что он будет входить ко мне или от меня выходить, на него будут устремлены взоры соглядатаев, которых никоим образом уже нельзя будет обмануть; и тогда во всем Париже не останется дамы, которая бы не делилась со своей камеристкой во время утреннего туалета последней новостью, а именно, что вдова ювелира сделалась любовницей принца ***ского.

Я не могла противиться столь справедливым доводам и, отбросив щепетильность, высказала его высочеству, что поскольку он соблаговолил сделать меня своей любовницей, он вправе заручиться полной уверенностью, что я всецело принадлежу ему, и только ему; я готова принять любые меры, какие он только мне укажет, сказала я, дабы оградить себя от дерзких домогательств; если он найдет нужным, я согласна замкнуться в четырех стенах, объявив, что дела, связанные с несчастьем, постигшим моего мужа, потребовали моего присутствия в Англии по крайней мере на ближайший год или два. Мои слова пришлись ему по душе, но он только сказал, что ни в коем случае не допустит подобного заточения, ибо оно может неблагоприятно отозваться на моем здоровье. Он предложил мне снять дом в какой-нибудь деревне, подальше от столицы, где бы меня никто не знал и куда я могла бы время от времени отлучаться.

Я возражала, что заточение меня не страшит, прибавив, что нет такого дома, который показался бы мне темницей, коль скоро его высоче-

ство будет меня посещать, и посему отклонила мысль о загородном доме, который отдалил бы меня от него и лишил меня частых свиданий с ним. Итак, я осталась в своем доме, никого не принимала и сама никому не показывалась. Эми, правда, выходила наружу, и на расспросы слуг и соседей отвечала на ломаном французском языке, что хлопоты, связанные с моим наследством потребовали моего присутствия в Англии, куда я и уехала; таким образом, весть эта со временем обошла всю улицу. Ибо надо сказать, что там, где дело касается соседей, тем более одинокой женщины, парижане — и в особенности парижанки — ужас как любопытны и притом, что сами они на весь свет прославились своими интрижками; должно быть, любопытство их как раз и объясняется этой чертой, ибо это хоть и затасканная истина, что

Чужую тайну те скорее открывают,
Кто сами от людей свою скрывают [25],

тем не менее она верна.

Таким образом, его высочество мог проникать в мой дом без всяких затруднений и не боясь нескромных глаз; обычно он наведывался ко мне раза два или три в неделю; бывало же, что он проводил у меня две-три ночи кряду. Однажды он приходит ко мне и объявляет, что намерен мне наскучить так, чтобы я пресытилась его обществом и что, кроме того, ему хочется испытать самому, каково быть узником; с этой целью он дал слугам понять, будто уехал в ***, куда он часто ездил охотиться, и что вернется оттуда не ранее, чем через две недели. Эти две недели он полностью провел со мною, ни разу не выходя из дому.

Ни одной женщине моего положения не доводилось провести две недели в таком совершенном счастье; ибо наслаждаться безраздельно обществом самого образованного, самого любезного и самого воспитанного принца на свете; беседовать с ним весь день и, как ему угодно было меня заверить, — услаждать его всю ночь — можно ли вообразить более полное блаженство, в особенности для такой гордячки, как я?

Чтобы завершить картину безмятежного счастья этой поры, надо упомянуть новый трюк, который со мной сыграл лукавый, заставив меня уверовать в то, что нынешняя моя связь является законной, что я не вправе была отказать столь величественному, столь высокопоставленному, столь бесконечно надо мною возвышающемуся принцу, который к тому же завоевал меня, явив ни с чем не сравнимую щедрость; следовательно, нашептывал мне лукавый, то, что я делаю, вполне законно, тем более, что я к этому времени принадлежала одной себе, поскольку первый мой муж пропал без вести [26], а того, кто считался вторым, не было в живых.

Можете не сомневаться, что убедить меня в истинности подобных доводов было тем проще, что они как нельзя лучше способствовали моему душевному спокойствию.

Тому, что Выгоду и Счастье нам сулит,
Поверить Разум нам тем более велит.

К тому же у меня не было друга, искушенного в вопросах совести, к которому я могла бы обратиться за разрешением своего сомнения. А лукавый, к голосу которого я все это время прислушивалась, внушал мне обратиться к католическому священнику и, под предлогом исповеди, изложить ему в точности мой случай, дабы тот либо уверил меня, что здесь нет никакого греха, либо снял его с моей души, наложив на меня какую-нибудь легкую епитимью [27]. У меня было сильное искушение прибегнуть к этому способу, и не знаю, что меня остановило, но только я не могла перебороть своего отвращения к католическим священникам.

И, как ни удивительно, для меня, дважды, при различных обстоятельствах отказавшейся от всех заветов добродетели, продавшей свое целомудрие, согласившейся на открытое прелюбодеяние, все же оставалось нечто, через что я не в состоянии была переступить. Я не могу, говорила я себе, быть нечестной в том, что почитается святыней; не могу, придерживаясь одного образа мыслей, притворяться, будто придерживаюсь другого. К тому же я не могла идти на исповедь, не зная толком, как должно себя в этом случае держать; священник тотчас раскусил бы, что я гугенотка и это могло бы плохо для меня кончиться. Главное же то, что, пусть я и шлюха, я все же шлюха протестантская [28], и — каковы бы ни были обстоятельства — не могла вести себя, как шлюха католическая.

Словом, повторяю, я усыпила свою совесть довольно странным доводом, а именно — что, поскольку сопротивляться было свыше моих сил, следовательно, поведение мое не является беззаконным; ибо, рассуждала я, небеса не допустят, чтобы мы несли наказание за то, чего мы не в состоянии избежать. И вот, успокоив свою совесть подобными нелепостями, я убедила себя в законности своей связи с принцем с такой же легкостью, как если бы и в самом деле была с ним обвенчана и никогда прежде не была замужем за другим. Человек способен погрязнуть в грехе так глубоко, что становится совсем уже глухим к голосу совести — а страж сей, стóит лишь его усыпить, спит сном непробудным, покуда источник наслаждения не иссякнет или какое-нибудь мрачное, поистине ужасное происшествие не заставит нас прийти в себя.

Признаюсь, я сама дивилась отупению, в котором пребывала моя мысль всю ту пору, дурману, усыпившему мой дух, и тому, как могло статься, что я, которая в первом случае, когда искушение было много сильнее, а доводы — неотразимее, тем не менее постоянно сокрушалась по поводу своего неправедного образа жизни, как могла я теперь жить в столь глубоком и ничем не нарушаемом спокойствии духа и, более того, испытывать радость и полное блаженство, несмотря на то, что нынешнее мое прелюбодеяние было гораздо более явным, чем прежнее. Ибо тогда мой друг, именовавший себя моим мужем, имел хотя бы то оправдание, что законная жена его покинула, отказавшись исполнять свой супружеский долг. Что до меня, то я сейчас находилась точно в таком же положении. Зато принц мало того, что был женат на прекрасной женщине, в жилах которой текла самая благородная кровь, одновременно содержал двух или трех любовниц помимо меня и ничуть этого не стыдился.

Впрочем, повторяю, я, со своей стороны, наслаждалась совершенным душевным покоем; и если принц был единственным божеством, коему я поклонялась, то и он меня, можно сказать, боготворил; не знаю, каковы были его отношения с принцессою, но другие его любовницы почувствовали перемену, и, хоть им так и не удалось меня обнаружить, они — о чем мне стало достоверно известно — прекрасно догадывались, что у их господина появилась новая фаворитка, лишившая их его общества, а также, быть может, в некоторой степени и щедрых даров, какие они привыкли от него получать. Здесь будет уместно упомянуть жертвы, которые он приносил своему новому идолу, а они были, смею вас уверить, немалые.

Подобно тому, как любовь его была поистине княжеской, он и вознаграждал предмет своей любви по-княжески. Ибо, хоть он и не позволял мне появляться в свете во всей моей новоявленной роскоши, он убедительно доказал, что к подобному запрету его побуждала отнюдь не скупость. Поэтому он объявил мне, что вознаградит меня за мое отшельничество иными способами. Первым делом он прислал мне туалетный столик, вся утварь которого была из серебра, вплоть до самой крышки стола; затем он мне подарил тот самый столик, или сервант, с серебряной посудой, упомянутый мною выше; все принадлежности, относящиеся к этому столу, были также из тяжелого серебра; словом, я, хоть убей, не могла бы придумать, чего мне не хватает из столовой утвари.

Поэтому единственное, чем он мог меня еще одарить, — это драгоценностями и нарядами, либо деньгами на оные. Он послал своего камердинера к торговцу шелком и бархатом, приказав ему купить мне платье тончайшей парчи, затканной золотом, и другое — серебром, и еще третье — алой вышивкой. Таким образом у меня было три наряда, в каждом из которых не погнушалась бы показаться сама королева французская. Сама я, однако, нигде не показывалась, но как наряды эти были подгаданы к истечению срока моего траура[29], я их надевала — то одно, то другое попеременно — всякий раз, что меня посещал принц.

Помимо названных трех нарядов, было у меня еще не меньше пяти платьев, приличных утренним часам, так что мне никогда не приходилось показываться ему дважды подряд в одном и том же наряде. Ко всему этому он прибавил кружева и несколько штук тонкого полотна, причем все это в таком количестве, что мне не только не оставалось желать большего, но и того, что было, хватало с лихвой.

Однажды, посреди вольностей любви, я позволила себе заметить, что его щедрость чрезмерна, что я обхожусь ему слишком дорого в качестве любовницы и что я была бы не менее преданной его рабой, если бы он не затрачивал на меня столько средств. Мне не о чем больше было просить, объяснила я ему, и нарядов и драгоценностей, коими он меня одарил, сказала я, столь много, что я не успеваю их надевать; они были бы нужны, продолжала я, если бы я держала великолепный выезд, а это, как ему известно, сказала я, в такой же мере нежелательно для меня, как и для него. Он обнял меня с улыбкой и сказал, что, покуда я при-

надлежу ему, он будет следить за тем, чтобы мне не было нужды его о чем-либо просить, сам же он между тем намерен просить меня каждый день о какой-нибудь новой милости.

Когда мы встали (ибо проведенную выше беседу мы вели, лежа в постели), он пожелал, чтобы я надела лучший свой наряд. Это было дня два спустя после того, как его велением мне были доставлены мои новые платья. Я ответила, что — с его дозволения — мне хотелось бы одеться в то платье, которое, как я знала, больше всего нравится ему самому. Он спросил, как могу я судить, какое платье ему должно понравиться, когда он еще ни одного из них не видел. Я сказала, что возьму на себя смелость угадать его вкус по своему собственному. С этими словами я покинула спальню, надела второе из платьев — то, что было расшито серебром, — и возвратилась во всем параде — с головой, убранной кружевами, цена которым в Англии была бы 200 фунтов стерлингов, не меньше. Все было отлично на мне прилажено стараниями Эми, которая в этом деле знала толк. В таком-то виде я встала в двустворчатых дверях уборной, которые открывались прямо в его спальню.

Принц долгое время сидел и глядел на меня, не проронив ни слова, точно онемев от восторга. Наконец, я сама подошла к нему и, опустившись на одно колено, попыталась против его воли поцеловать ему руку, что мне почти удалось. Однако он поднял меня, встал с кресла сам и крепко прижал меня к своей груди; по моим щекам струились слезы, и он был немало этим удивлен.

— Душа моя! — воскликнул он. — Что означают эти слезы?

— Господин мой, поверьте, — произнесла я наконец, когда мне удалось немного совладать с собой, — поверьте, молю вас, что слезы эти выражают не печаль, а радость. При мысли о том, как из самых глубин злополучия, в кои меня бросила судьба, я вдруг очутилась в объятиях принца столь доброго и великодушного и пользуюсь столь участливым его расположением, я не в состоянии удержаться от слез. Благодарность переполняет мое сердце и нет-нет дает о себе знать в проявлениях, бурность коих соразмерна лишь щедрости, с какою вы меня осыпаете своими дарами, и любови, какою ваше высочество удостаивает столь недостойное существо, как я.

Не стану повторять все добрые слова, которые он сказал мне в ответ, ибо это слишком походило бы на роман. Не могу, однако, удержаться от того, чтобы не привести одну небольшую сценку.

При виде слез, струившихся по моим щекам, он вынимает свой платок тончайшего батиста с тем, чтобы вытереть их, но тут же удерживает руку, словно чего-то испугавшись. Итак, он удерживает свою руку, как я сказала, и кидает платок мне, чтобы я сама вытерла слезы. Я тотчас смекнула, в чем дело, и сказала ему с игривым укором:

— Ужели, мой господин, — воскликнула я, — столько раз меня целовавши, вы так и не поняли, чему я обязана своим цветом лица — природе или белилам с румянами? Прошу ваше высочество убедиться, что я не прибегаю ни к каким ухищрениям, дабы понравиться вам. Дозвольте же

мне на сей раз проявить некоторое тщеславие и доказать вам, что я к вам явилась не под чужими знаменами.

С этими словами я вложила платок ему в руку, и, не отпуская ее, заставила его тереть мне лицо с такой силой, что он пытался уклониться от этого действия из боязни причинить мне боль.

Он был поражен более, чем когда-либо, и принялся божиться — а я впервые со времени моего знакомства с ним слышала, чтобы он божился, — что никогда бы не поверил, сказал он, что цвет лица, подобный моему, возможен без помощи искусства.

— Я хочу представить вашему высочеству более убедительное доказательство, что одна природа повинна в том, что вам угодно считать моей красотой.

С этими словами я подошла к двери и, позвонив в колокольчик, вызвала свою камеристку Эми; затем я приказала ей принести кружку с горячей водой, что она и сделала; его высочество я просила проверить, достаточно ли горяча вода в кружке, что он и сделал; после чего я тотчас у него на глазах обмыла все свое лицо этой водой. Это было в самом деле доказательством, подкрепленным действием, а не верой, и он осыпал мои лицо и грудь поцелуями, выражая свое безграничное изумление всевозможными междометиями и восклицаниями.

Природа не обделила меня также и фигурой. Несмотря на то, что я подарила своему покойному другу двух детей, а законному супругу — шестерых[30], на фигуру свою у меня, как я сказала, не было оснований обижаться, и принц мой (да простится моему тщеславию за то, что я его называю своим!) любовался мною, покуда я прохаживалась перед ним по комнате. Вдруг он отводит меня в самый темный угол комнаты, и, зайдя мне за спину, велит поднять голову, а сам обхватывает мне шею обеими руками, словно желая измерить, насколько она тонка, — а шея у меня, надо сказать, была длинной и тонкой; но он так долго сжимал ее в своей руке, что я вынуждена была наконец пожаловаться ему, что он причиняет мне боль. Зачем он это сделал, я не знала, и чистосердечно полагала, что единственной его целью было измерить толщину моей шеи. Когда же я пожаловалась, что мне больно, он, как будто разжал руки, а в следующую минуту подвел меня к трюмо, и я вдруг увидела, что шея моя обвита великолепным бриллиантовым ожерельем; меж тем, я не почувствовала, как он его на меня надевал и ни на мгновение не заподозрила, чем он был занят, думая, что он просто обхватывает мою шею рукой. Казалось, вся кровь, до последней капли, прилила к моим щекам, к шее и к груди. Я так и вспыхнула вся и не знала, что со мной делается.

Впрочем, желая показать ему, что я умею принимать благодеяния с изяществом, я повернулась к нему и сказала:

— Мой господин, — сказала я, — ваше высочество стремится во что бы то ни стало своею щедростью превзойти самую благодарность в сердце своих слуг: это чувство невольно вытесняет все прочие, и, не будучи в силах сравняться с поводом, его вызвавшим, бледнеет и увядает рядом с ним.

— Милая моя девочка, — сказал он на это. — Я люблю во всем соответствие. Красивое платье, юбка, красивые кружева, венчающие голову, прекрасное личико и точеная шейка — все это становится совершенным лишь с присоединением сюда ожерелья. Но что это, душа моя, вы краснеете? — вопрошает принц.

— Господин мой, — ответила я, — все ваши дары вызывают у меня румянец стыда, но краснею я главным образом оттого, что так мало заслужила вашу доброту и так мало имею надежды заслужить ее в будущем.

Во всем этом (рассуждала я далее уже про себя) я могу служить вехою, указующей, сколь далеко простирается слабость великих мира сего, когда те вступают на стезю порока и, не задумываясь, растрачивают несчетные богатства на совершенно недостойных тварей; иначе говоря, поднимают цену той, кого по сердечному капризу им угодно сделать своей избранницей, поднимают ей цену, говорю, к собственному разорению; непомерно дорогими подарками вознаграждают ласки, которые вовсе этого не стоят, так что в конце концов нет ничего более нелепого, чем цена, которою мужчины готовы оплатить собственную гибель.

Я не могла — даже находясь на самой вершине моего возвеличения, не могла, говорю, не задуматься обо всем этом, хоть совесть моя, как я уже говорила, молчала, ничем не препятствуя моему окончательному погрязанию в пороках. Тщеславие мое находило столь обильную пищу, что не оставляло, казалось, места для добродетельных размышлений. И, однако, я не могла подчас не дивиться безрассудству вельмож, кои, столь же необузданные в своей щедрости, сколь они не ограничены в средствах, одаривают обильно и без всякой меры наименее почтенных представительниц моего пола за то, что те дозволяют им, употребляя себе во зло все, чем они одарены свыше, губить самих себя; а заодно и их, грешных.

И вот я, которая еще помнила, какой я была всего несколько лет назад: убитая горем, обливающаяся слезами, со страхом взирающая на возникающий предо мной призрак нищеты, окруженная малыми детьми, покинутыми своим отцом; я, что продавала и закладывала последнюю рубашку, чтобы купить им пищу, и, сидя среди ветоши, в полном отчаянии, не ожидая помощи ниоткуда, с ужасом предвидела неминуемую голодную смерть детей, которых у меня забрали, чтобы отдать в приют; я, которая затем, ради куска хлеба, сделалась шлюхой и, распростившись с целомудрием и совестью, вступила в сожительство с чужим мужем; отвергнутая с презрением всеми родственниками, в том числе и родственниками моего законного мужа, в совершенном одиночестве, всеми покинутая и беспомощная, не зная, как удержать душу в теле, — вдруг оказываюсь возлюбленной принца крови, который осыпает меня своими щедротами за сомнительную честь обладания продажной плотью, служившей до того утехой людям, стоявшим неизмеримо ниже его. Та самая я, которая не так давно, быть может, не отказала бы его собственному лакею, если бы это сулило мне кусок хлеба!

Так вот, говорю я, трудно было не задуматься над слепотой и животной сутью человеческого рода: хороший цвет лица и миловидность, ко-

торыми наделила меня природа, оказались настолько соблазнительной приманкой, что побуждали людей на поступки гнусные и неизъяснимые, лишь бы этой красотой завладеть.

Только для того я и останавливаюсь с такой подробностью на тех знаках благоволения, коими меня одаривал ювелир, а за ним принц ***ский; а отнюдь не затем, чтобы рассказ мой соблазнил кого-либо ступить на стезю порока, в следовании которою я нынче столь чистосердечно раскаиваюсь, — боже упаси, чтобы столь гнусное употребление было сделано из замысла, предпринятого со столь добрыми намерениями! Нет, я хочу нарисовать правдивый портрет человека, сделавшегося рабом своей яростной и порочной страсти; показать, как можно исказить образ божий в своей душе, низвергнуть разум с престола, заставить совесть отречься от власти и возвести на опустевший трон чувственность; показать, как можно унизить в себе человека и возвысить зверя.

О, если бы нам было дано услышать укоры, кои благородный этот человек обращал к себе, когда он отвернулся от порока и ему опостылела та, что некогда столь его восхищала! Сколь полезно было бы читателю сей истории получить подробный пересказ этих укоризн! Но кабы мой принц мог знать всю грязную историю моих подвигов на жизненном поприще, кои я успела свершить в тот короткий срок, что провела в свете, насколько суровее были бы укоры, какими он себя казнил! Впрочем, я еще к этому вернусь.

Я провела в своем веселом отшельничестве без малого три года, и все это время страсть наша была столь сильна, сколь вряд ли она когда бывала в такого рода связях. Щедрость и великодушие принца не знали границ. Он уже не мог подарить мне больше, чем подарил с самого начала из одежды, домашней утвари, лакомств и вин.

Отныне он дарил меня одним золотом, и дары его были постоянны и обильны, часто по сто пистолей зараз, и уж во всяком случае не меньше пятидесяти; и, надо отдать мне справедливость, я не проявляла при этом ни хищности, ни алчности, принимая его даяния с видом крайнего равнодушия. Не то, чтобы я от природы лишена была жадности или не предвидела, что пора урожая когда-нибудь кончится и что нужно его собирать, пока еще светит солнце; но щедрость его в самом деле всякий раз предвосхищала не только мои ожидания, но даже желания; и он давал мне деньги так часто, что они просто лились на меня потоком, лишая меня возможности просить о них; так что я не успевала истратить пятидесяти пистолей, как у меня уже заводилась еще сотня.

По прошествии полутора лет, которые я провела, можно сказать, в его объятиях, я обнаружила, что стала тяжела. Я ничего о том не говорила, покуда не уверилась окончательно. И тогда, однажды рано поутру, — мы еще лежали в постели, — я ему сказала:

— Ваше высочество, должно быть, никогда не задумывались о том, что было бы, если бы мне выпала честь забеременеть от вас.

— Дорогая моя, — ответил он, — у нас полная возможность содержать дитя, буде такое случится. Я надеюсь, что вас это не пугает.



ЛЕДИ КАСЛМЕЙН.
Портрет работы П. Лели.



ФРЕНСИС СТЮАРТ, ГЕРЦОГИНЯ РИЧМОНД.
Портрет работы П. Лели.

— Ничуть, мой господин, — возразила я. — Напротив, я почитала бы себя счастливой, если бы могла подарить вашему высочеству сына. Я бы надеялась, что покровительство его отца и его собственные заслуги доставили ему со временем чин генерал-лейтенанта королевских войск [31].

— Моя девочка может не сомневаться, — сказал он, — что если бы ей случилось родить сына, я бы не отказался признать его своим, хоть он и был бы, как говорится, незаконнорожденным. И ради его матери я не оставил бы его своими попечениями.

Принц после этого стал всякий раз расспрашивать, уж не жду ли я в самом деле ребенка, но я решительно это отрицала, покуда не могла дать ему в том самому удостовериться — ибо дитя уже начало шевелиться во чреве.

Он был несказанно счастлив своим открытием, но объявил, что отныне мне непременно следует выйти из своего заточения, которому, как он сказал, я себя подвергла ради него. Здоровье мое, а также необходимость сохранить мои роды в тайне требовали, чтобы я переехала куда-нибудь в деревню. Я, конечно, и представления не имела, где искать себе новое жилище. Впрочем, принц, привычный к разгульной жизни, имел на примете, как видно, несколько прибежищ подобного рода, коими, надо полагать, он в подобных случаях и пользовался. Итак, через своего камердинера он подыскал для меня весьма удобный домик, примерно милях в четырех к югу от Парижа, в деревушке ***, где в моем распоряжении были уютные комнаты, просторный сад, словом, все мои нужды были предусмотрены. Некое обстоятельство, однако, пришлось мне не по душе, а именно: ко мне приставили старуху, которая находилась тут же в доме, дабы подготовить все надлежащим образом к моим родам и принять ребенка.

Старуха эта мне не приглянулась вовсе. Мне казалось, что она приставлена за мною шпионить или (как я подчас себя пугала) — отправить меня на тот свет, если роды примут неблагоприятный оборот.

Когда его высочество посетил меня (а это случилось через два-три дня), я заговорила с ним об этой старухе; мое красноречие вместе с доводами, какие я привела, убедили его в том, что присутствие старухи в доме совершенно нежелательно и что оно, напротив, для него опасно, так как рано или поздно послужит к его разоблачению, а заодно и к моему. Я заверила его, что моей камеристке, поскольку она англичанка, до сих пор так и не известно, кем является его светлость, что я всегда величаю его графом де Клерак и что больше ничего она о нем не знает и не узнает; что если только он дозволит мне самой выбрать людей, от которых мне потребуются услуги, все будет обставлено таким образом, что никому из них не станет известно о его высочестве и что они даже, быть может, никогда и не увидят его в лицо. А дабы у его высочества не зародилось и тени сомнения в том, что младенца его не подменят, то — подобно тому, как его высочество присутствовал при зачатии этого младенца — он может, если ему угодно, находиться в комнате во время родов, и таким образом не будет нужды в каких-либо иных свидетелях.

Мои доводы полностью его убедили, и он в тот же день распорядился, чтобы его камердинер уволил старуху; я же отправила мою девушку Эми в Кале, а оттуда в Дувр, где она договорилась без всякого затруднения с английской повитухой и кормилицей, чтобы те поехали с нею во Францию на целых четыре месяца, в течение которых им предстояло служить у знатной англичанки, как Эми меня им отрекомендовала.

Эми обязалась выплатить повитухе сто гиней, а также оплатить ей весь путь от Дувра до Парижа и обратно. Бедной женщине, что согласилась быть у меня кормилицей, было обещано двадцать фунтов и, так же как и повитухе, деньги на путевые расходы.

Я обрела полное спокойствие, когда Эми вернулась, тем более, что она привезла в помощь повитухе еще одну женщину с добрыми и приятными чертами лица, которая могла мне очень пригодиться; сверх того она договорилась с акушером в Париже, который согласился в случае нужды тоже приехать к родинам.

После того, как все было улажено, граф, как мы его величали на людях, продолжал ко мне наведываться столь часто, сколь это можно было ожидать, и его ласковое со мной обращение не изменилось ничуть.

Однажды, когда мы беседовали между собой о предстоящем событии, я сказала ему, что хоть все приготовления сделаны как следует, у меня было странное предчувствие, что я умру родами. Он улыбнулся.

— Моя дорогая, — сказал он, — в подобных случаях все дамы так говорят.

— Пусть так, милорд, — ответила я. — Но справедливость требует, чтобы все то, что вы в вашей непревзойденной щедрости истратили на меня, не пропало зазря.

Тут я вытащила из лифа лист бумаги, сложенный, но незапечатанный, и прочитала ему вслух начертанные на нем мои распоряжения в случае несчастья: все серебро и драгоценности и дорогая мебель, коими меня одарил его высочество, должны быть возвращены ему моей камеристкой, а ключи немедленно вручены его камердинеру.

Далее я просила выдать моей камеристке Эми сто пистолей — при условии, что она вручит упомянутые ключи его камердинеру и представит от него расписку его высочеству.

Принц обнял меня:

— Девочка моя, — сказал он. — Неужели ты писала завещание и заботилась о том, как распорядиться своим имуществом? Кого же, скажи мне на милость, ты намерена сделать своим главным наследником?

— Это так, ваше высочество, я почитала своим долгом написать последние распоряжения на случай своей смерти, — отвечала я. — Кому же было мне отказывать все те сокровища, что я получила из ваших рук в залог вашего ко мне расположения и доказательства вашей щедрости, кому же, как не даровавшему мне все это? Если дитя будет живо, ваше высочество, я не сомневаюсь, поступит с ним со всем присущим вам великодушием, и я не опасаюсь за его будущность, поскольку она в ваших руках.

Я увидела, что речи мои пришлись ему по душе.

— Ради вас, — сказал он, — я бросил всех моих парижских красавиц, и с тех пор как вас узнал, я с каждым днем укрепляюсь в моем мнении, что вы умеете ценить расположение благородного человека. Успокойтесь же, дитя мое! Вы не умрете, я уверен, а все ваше имущество принадлежит полностью вам одной, и вы вольны им распоряжаться, как вам заблагорассудится.

До родов оставалось месяца два, и они быстро миновали. Когда я почувствовала, что время мое уже подошло, он, к счастью, оказался дома и я молила его задержаться на несколько часов.

Я послала к нему в комнату сказать, что, если его высочеству угодно, он может, как мы о том договорились, войти ко мне; и еще я просила ему передать, что постараюсь не беспокоить его своими стонами. Он тотчас ко мне вошел, произнес несколько слов ободрения, сказав, что мои страдания скоро уже будут позади, и вышел; а полчаса спустя Эми принесла ему весть, что я благополучно разрешилась от бремени, подарив ему прелестного мальчика. Он дал ей десять пистолей за эту новость, подождал, когда меня немного приберут, затем вновь вошел в комнату, принялся меня снова подбадривать, говоря всякие ласковые слова, взглянул на младенца и вышел. А на другой день пришел снова навестить меня.

Много спустя, оглядываясь на эту пору взором, очистившимся от греха, в коем я тогда погрязала, я увидела свои поступки в их истинном свете, и мне открылась вопиющая неправедность их; когда меня уже не слепил наружный блеск, который и ввел меня в заблуждение и, как то случается с людьми в подобных обстоятельствах (если позволено судить по себе), полностью овладел моей душой, итак, говорю, по миновании многих лет я часто задавалась вопросом: как мог мой принц радостно, или хотя бы покойно, смотреть на несчастное дитя, которое, как бы он к нему ни привязался, неминуемо должно было впоследствии служить ему вечным напоминанием о грехе его молодости? Более того — знать, что этому невинному существу суждено нести на себе незаслуженную печать позора, которым его будут попрекать при всяком случае, и все это из-за безрассудства его отца и порочности матери?

Правда, великие мира сего не испытывают недостатка в средствах для воспитания своих незаконнорожденных детей, иначе говоря, бастардов. А это главное несчастье в тех случаях, когда таковой недостаток испытывается, и нет возможности воспитать внебрачное дитя, не нарушая этим благосостояния семьи. Ведь в этих случаях либо страдают законные дети, что совершенно противоестественно и несправедливо, либо несчастная мать незаконнорожденного дитяти стоит перед страшным выбором: быть изгнанной с ним на улицу, умирать там с голоду и т. д. или — видеть, как ее младенца, запихнув в его пеленки какую-нибудь незначительную сумму, отдают одной из тех женщин — палачей в юбке, что берут детей, как это называется *на воспитание*, а на самом деле морят их голодом, словом, убивают.

Великие мира сего, как я сказала, не ведают подобных тягот, ибо никогда не испытывают недостатка в средствах; им достаточно через Лионский банк или Парижскую Биржу[32] распорядиться, чтобы определенная сумма, размеры которой они назначают по собственному усмотрению, переводилась на содержание внебрачного отпрыска.

Так, в случае с этим моим сыном, покуда моя связь с принцем не прекратилась, не было нужды предварительно договариваться о выделении отдельной доли на содержание младенца и его кормилицы, ибо денег, которые выдавались мне на руки, было более чем довольно для всего этого.

В дальнейшем, однако, когда время и некое неожиданное событие положило конец нашей связи (а подобные связи всегда имеют конец и, как правило, обрываются неожиданно), итак, впоследствии я обнаружила, что он выделил определенную пенсию нашим детям в виде ежегодной ренты, исправно выплачиваемой Лионским банком.

Благодаря этой пенсии они получили превосходное воспитание (хоть и не в открытых заведениях)[33], достойное благородной крови, что текла в их жилах. Что до меня, однако, я оказалась совершенно покинутой и заброшенной. Дети же эти выросли и до сей поры так и не знают о своей матери ничего, кроме того, что решено было им сказать и о чем будет поведано особо.

Но, возвращаясь к моему замечанию, которое, я надеюсь, послужит к пользе моих читателей, повторяю, радость, которую проявил этот человек по случаю рождения сына, и восторг, с каким он к нему относился, изумляли меня; он, бывало, подолгу просиживал у колыбельки, с видом торжественным и важным; особенно же, я заметила, любил он смотреть на дитя, когда оно спало.

Мальчик был и в самом деле прелестен, с выражением лица не по возрасту живым и осмысленным. Принц не однажды повторял мне, что это, по его мнению, не совсем обыкновенный ребенок, и что его, несомненно, ожидает блистательная будущность. Его слова, как бы я им в глубине души ни радовалась, в другом отношении отзывались во мне такою болью, что я не могла удержаться от вздоха, а то даже и от слез всякий раз, как он их произносил; а однажды боль эта была так остра, что я не могла сдержать свои чувства, когда же он увидел, как по моим щекам катятся слезы, я уже не могла утаить от него причину их: принц, когда дело касалось чего-либо важного, умел быть настойчивым, и в конце концов я всегда ему уступала. Поэтому я ответила ему со всем прямодушием:

— Меня до глубины души огорчает, мой господин, — сказала я, — что, какими бы великими ни оказались в будущем заслуги этого маленького существа, на его гербе всегда будет значиться позорная полоса бастарда[34]. Злополучное его происхождение будет не только несмываемым пятном на его чести, но и помехой в карьере. Наша любовь обернется для него вечным несчастием, а грех матери будет служить неизбывным укором. Самые славные подвиги не смоют позорного пятна, а коли он до-

стигнет зрелых лет и заведет семью, — заключила я, — его бесславие падет также на его ни в чем не повинное потомство.

Он выслушал меня молча. Впоследствии он мне признался, что слова мои произвели в нем впечатление более глубокое, нежели он пожелал мне выказать. Тогда, впрочем, он отговорился тем, что этому помочь уже нельзя, но что для храброго человека подобное обстоятельство не помеха, что в иных случаях оно даже воодушевляет его на славные подвиги и отвагу; что если и будут при упоминании его имени также присовокуплять обстоятельство его незаконного рождения, то личная добродетель ставит человека чести выше всего этого; поскольку он неповинен в нашем грехе, продолжал принц, то и пятно на его чести не должно его заботить; к тому времени, как его достоинства поставят его выше сплетен, бесславие его рождения утонет в славе, какую он завоюет своими подвигами. Среди людей родовитых, утешал он меня, подобный грешок не редкость, и поэтому у них столь велико число незаконнорожденных детей, а воспитание, какое им дают, столь превосходно, что у множества великих людей на гербе красуется злополучная полоса и это не имеет для них ни малейшего значения, особенно после того, как укрепляется слава, заслуженная личными их достоинствами. В подтверждение своих слов принц перечислил множество знатных родов Франции, а также и Англии, на гербах которых имеется такая полоса.

На этом тогда наш разговор прекратился; однако некоторое время спустя я его возобновила, заговорив на этот раз не о влиянии, какое наше прегрешение может иметь на судьбу наших детей, а о справедливом укоре, какого заслужили мы, их родители. Я говорила об этом с бо́льшим жаром, чем следовало, и заметила, что мои слова производят на него впечатление более глубокое, нежели я того желала. Наконец, он сам признался, что мои речи действуют на него почти так же, как слова его исповедника, и что эта проповедь может оказаться более опасной, чем я думаю, и чем нам бы того хотелось.

— Душа моя, — сказал он, — ведь коли между нами пойдет речь о раскаянье, нам придется заговорить так же и о расставании.

Если до этого на мои глаза навернулись слезы, то теперь, после его слов, они полились ручьем, и я ему слишком хорошо доказала, что высказанные мною суждения не настолько еще овладели моим умом и что мысль о разлуке страшила меня не меньше, чем его самого.

Он наговорил мне множество ласковых слов, великодушных, как он сам, и в оправдание нашего преступления дал мне понять, что для него разлука столь же немыслима, как и для меня. Таким образом мы оба, можно сказать, вопреки своим убеждениям и разуму, продолжали грешить. Да и младенец еще больше привязал принца ко мне, ибо он крепко полюбил сына.

Сын наш, выросши, сделался человеком весьма достойным. Сперва он был произведен в офицеры французской Garde du Corps *, а затем [35]

* Лейб-гвардии (*франц.*).

возглавил драгунский полк в Италии, где и имел немало случаев отличиться, показав себя не только достойным своего отца[36], но также заслуживающим того, чтобы быть его законным сыном и иметь лучшую мать. Но об этом дальше.

Можно со всей справедливостью утверждать, что жила я в то время, как королева, или, если угодно, как королева потаскух. Ибо свет не видывал, чтобы простую наложницу, каковою, по существу, являлась я, столь высоко ценил и лелеял человек столь благородного рождения, как мой принц. Был у меня, правда, один недостаток, какого обычно не сыщешь у женщин в таких обстоятельствах, как мои: недостаток этот заключался в том, что мне никогда ничего от него не было нужно, я ни разу его ни о чем не просила, и никто ни разу не воспользовался мною в своих целях, вынуждая меня ходатайствовать за них, как то слишком часто бывает с любовницами великих мира сего. Просить что-либо для себя мне препятствовала его щедрость, для других — мое уединение. Это последнее обстоятельство служило не только к его выгоде, но и к моей.

Единственным случаем, когда мне довелось его о чем-нибудь просить, было мое заступничество за его камердинера, того самого, который с первых дней был посвящен в тайну наших отношений. Слуга этот как-то вызвал недовольство своего господина недостаточным усердием и с тех пор впал у него в немилость.

И вот он поведал об этом моей камеристке Эми, умоляя ее просить моего заступничества, на что я согласилась, и ради меня слуга снова был прощен и принят на службу, за что негодник отблагодарил меня, забравшись в постель к своей благодетельнице Эми, чем весьма меня рассердил. Впрочем, Эми великодушно признала, что произошло это столь же по ее собственной вине, сколь и по его, ибо она так сильно влюбилась в этого малого, что, если бы он не попросился к ней в постель, она, вернее всего, сама бы его пригласила. Должна сказать, что это меня успокоило и я лишь настаивала на том, чтобы он не узнал от нее, что мне об этом известно.

Здесь я могла бы рассказать немало забавных приключений и разговоров, какие у меня бывали с моей девушкой Эми. Но я их опускаю, слишком уж необыкновенна собственная моя история. Кое-что, однако, из того, что касается Эми и ее молодчика, я должна сообщить.

Я спросила Эми, как ей случилось оказаться в столь близких отношениях с ним, но Эми уклонилась от объяснений на этот счет. Со своей стороны я тоже не стала донимать ее расспросами, зная, что та в ответ могла задать мне встречный вопрос: «А как могло случиться, что вы вошли в такие тесные отношения с принцем?». Поэтому я не настаивала, и через некоторое время она сама, по своей воле рассказала мне все. Вкратце, историю ее можно бы свести к пяти словам: какова госпожа, такова и служанка. Поскольку им доводилось проводить вместе по многу часов кряду, ожидая своих господ, рано или поздно им должно было прийти в голову: почему бы им внизу не заняться тем, чем были заняты их господа наверху?

Как я уже говорила выше, по этой причине я не могла в душе своей сердиться на Эми. Правда, я опасалась, как бы моя девушка не оказалась беременной тоже, но этого не случилось, а, следовательно, никакой беды тут не было; ведь у нее, так же, как у ее госпожи, был *почин*, и, как известно, с тем же лицом, что у меня.

Когда я оправилась от родов, поскольку младенец был обеспечен хорошей кормилицей и к тому же приближалась зима, пора была думать о возвращении в Париж. Но к этому времени у меня был собственный выезд и лакеи, и с разрешения моего господина я позволяла себе время от времени вызывать карету в Париж, чтобы в ней проехаться по аллеям Тюильри и прочим приятным местам города [37]. Однажды моему принцу (если мне дозволено его так называть) захотелось доставить мне развлечение и прокатиться вместе со мной. Дабы осуществить свое намерение, и вместе с тем не быть узнанным, он приехал за мной в карете графа де***, лица весьма влиятельного при дворе; лакеи, сопровождавшие карету, были одеты в ливреи графа де***, словом, по экипажу было нельзя догадаться ни о том, кто я такая, ни — кому принадлежу; для вящей же осторожности принц приказал мне сесть в карету возле дома портного, куда он имел обыкновение заходить — по амурным ли делам, или еще каким, о том мне дознаваться не следовало. Я не имела понятия, куда ему было угодно меня везти; но, усевшись в карете рядом со мною, он сказал, что повелел своим слугам сопровождать меня во дворец, чтобы дать мне случай взглянуть на beau monde *. Я сказала, что мне безразлично, куда ехать, раз он удостаивает меня своего общества. Итак, принц повез меня в великолепный Медонский дворец, где в то время пребывал дофин [38], с одним из домочадцев которого он был на короткой ноге; последний предоставил в наше распоряжение свое жилище на все то время, что мы там были, а провели мы там три или четыре дня.

Так случилось, что в это самое время туда из Версаля ненадолго прибыл король проведать супругу дофина, тогда еще здравствовавшую [39]. Принц из-за меня все это время жил там *инкогнито* и, услышав, что король гуляет по саду, не выходил из дому; однако придворный, у которого мы гостили, собрался со своей супругой и несколькими своими знакомыми взглянуть на короля. Я тоже была удостоена чести их сопровождать.

Посмотрев на короля, — тот появился в саду совсем ненадолго — мы поднялись на просторную террасу с тем, чтобы выйти к парадной лестнице. Когда мы пересекали залу, глазам моим предстало зрелище, от какого я едва не лишилась чувств. Не думаю, чтобы на всем свете сыскалась женщина, которая могла бы сохранить спокойствие в подобных обстоятельствах. По какому-то случаю во дворце оказался полк лейбгвардии, или, как у них это называется, Gens d'armes **; то ли они несли там дежурство, то ли ожидался смотр, я не знаю, ибо в делах этого рода

* Высший свет (*франц.*).
** Жандармы (*франц.*).

я ровно ничего не смыслю; как бы то ни было, я увидела, что в караульню, обутый в сапоги и при мундире, как то бывает, когда наши гвардейцы несут дежурство в Сент-Джеймском дворце[40], входит мистер ***, мой первый муж, пивовар.

Я не могла обмануться: я проходила мимо него так близко, что едва не коснулась его подолом и взглянула ему прямо в лицо, правда, прикрыв свое веером, дабы не быть узнанной. Я-то его узнала тотчас, тем более, что он при мне с кем-то заговорил, так что я его, можно сказать, узнала вдвойне.

Несмотря на то, что я была ошеломлена, — а как велико было мое изумление, догадаться не трудно, — я все же, пройдя два-три шага, обернулась и, задав какой-то вопрос даме, которая шла рядом, остановилась, как бы для того, чтобы окинуть взором великолепную залу, караульню и прочее; на самом же деле мне хотелось как следует разглядеть его мундир, чтобы иметь возможность навести о нем справки в дальнейшем.

Пока я стояла, занимая спутницу своими расспросами, он прошел мимо меня, опять совсем близко, беседуя с человеком, одетым в такой же мундир, как у него самого; к величайшему моему удовлетворению, — в котором, впрочем, было мало радости, — я услышала, что он говорит по-английски со своим товарищем, который, по-видимому, тоже был англичанином[41].

Между тем я обратилась к своей спутнице еще с одним вопросом.

— Не скажете ли вы мне, сударыня, — спросила я, — кто эти солдаты? Это личная охрана короля?

— Нет, это конная гвардия, — ответила она. — Должно быть, сегодня назначили небольшой отряд конногвардейцев сопровождать короля; обычно же у его величества свои телохранители.

С нами была еще одна дама, и она тоже вступила в разговор.

— Мне кажется, сударыня, вы ошибаетесь, — сказала она. — Я слышала, что гвардейцы находятся здесь по особому распоряжению, и что кое-кто из них ожидает приказа выступить походом к берегам Рейна[42]; завтра, однако, они возвращаются в Орлеан.

Не довольствуясь полученным разъяснением, я нашла способ разведать, к каким частям принадлежат эти господа, и заодно узнала, что через неделю их ожидают в Париже.

Два дня спустя мы возвратились в Париж; беседуя с моим господином, я вскользь упомянула, будто слышала, что через неделю в Париже ожидают гвардейцев и что мне очень хотелось бы видеть, как они будут дефилировать по городу. Любезность принца в делах такого рода была всегда такова, что стоило мне намекнуть на какое-нибудь мое желание, и оно бывало тотчас исполнено. Он дал повеление своему камердинеру (мне бы следовало его называть отныне *камердинером моей камеристки)* разыскать для меня на этот случай дом, откуда я могла бы видеть, как будут проходить гвардейские полки.

Так как на сей раз принц меня не сопровождал, я позволила себе взять с собою мою камеристку Эми; мы с ней расположились так, чтобы

получше видеть то, что меня интересовало. Я рассказала Эми, кого я видела, и она жаждала приобщиться к моему открытию не меньше, чем жаждала я — произвести дальнейшие наблюдения в ее обществе; что до существа открытия, то Эми была почти так же поражена, как и я. Короче говоря, гвардейцы вступили в город, как и ожидалось, и парад их был поистине блистательным,— все в новых мундирах, при оружии и со знаменами, которые архиепископ Парижский должен был торжественно благословить. Вся процессия имела весьма праздничный вид, а так как кони шли шагом, в моем распоряжении было довольно времени для пристального обозрения всей колонны. И вот, в одном из рядов, привлекших мое внимание благодаря необычному росту правофлангового [43], я вновь увидела своего молодчика, и, должна сказать, он не уступал никому из своих товарищей ни в осанке, ни в бравости, хоть ему и было далеко до чудовищного роста упомянутого мной огромного малого,— сей последний, впрочем, как мы узнали, принадлежал к знатному гасконскому роду и был прозван *Великаном Гаскони*.

К счастливому для нас стечению обстоятельств присоединилась еще одна удача — в ту самую минуту, когда интересующий нас отряд поравнялся с моим окном, в шествии произошла какая-то заминка, и вся колонна остановилась. Это дало нам возможность как следует разглядеть его вблизи и окончательно удостовериться в том, что здесь не было ошибки: это был, вне всякого сомнения, он.

Эми, в силу ряда причин посчитав, что ей можно с меньшим риском, нежели мне, заняться расспросами, обратилась к своему приятелю, сказав, что ей хотелось бы разузнать поподробнее о некоем гвардейце, который привлек ее внимание; дело в том, объяснила она, что она увидела здесь одного англичанина гарцующим на коне, меж тем как жена его, посчитав, что его нет в живых, вышла замуж вновь и покинула Англию. Приятель Эми не знал, как ей в этом помочь. Зато какой-то человек, стоявший с ними рядом, вызвался разыскать ее англичанина, если только она сообщит имя, и в шутку прибавил, что этот джентльмен, верно, ее бывший любовник. Эми со смехом отклонила его предположение, но продолжала свои расспросы с настойчивостью, показавшей ее собеседнику, что ею движет отнюдь не праздное любопытство. Оставив шутливый тон, он спросил, в каком отряде она обнаружила своего знакомца. Она необдуманно назвала ему имя моего мужа, чего ей делать вовсе не следовало: затем показала пальцем на знамя удаляющегося отряда и сказала, в каком примерно ряду ехал наш молодчик, но только она не могла назвать имя капитана, в чьем подчинении он находился. Неутомимая Эми, однако, следуя советам господина, с которым разговорилась, разыскала нашего красавца. Оказалось, что он даже не удосужился переменить имя, так как не предполагал, чтобы его стали здесь разыскивать; словом, как я уже сказала, Эми его разыскала, смело направилась в расположение его роты, попросила его вызвать, на что он тотчас к ней вышел.

Думаю, что, увидев Эми, он был поражен не менее, чем я, когда впервые увидела его в Медоне. Он вздрогнул и побелел как полотно. По мне-

нию Эми, если бы эта первая встреча произошла где-нибудь в укромном месте, где он мог ее убить, не опасаясь огласки, он не остановился бы перед подобным злодеянием.

Итак, как я уже сказала выше, он вздрогнул от изумления.

— Кто вы такая? — спросил он по-английски.

— Сударь,— отвечала она.— Неужели вы меня не узнаете?

— Разумеется, я вас знал,— говорит он.— Я знал вас, когда вы были живы. Но кто вы теперь: призрак или живой человек — этого я не ведаю.

— Успокойтесь, сударь,— сказала Эми.— Я та самая Эми, что работала у вас в услужении, и заговорила я с вами без всякого намерения причинить вам зло. Просто я вчера случайно увидела вас, когда вы ехали среди гвардейцев, и подумала, что вам, быть может, приятно было бы узнать кое-что о ваших лондонских знакомых.

— Ну что ж, Эми,— сказал он (к этому времени несколько оправившись от испуга),— как же они все поживают? Что? Неужели и госпожа ваша здесь?

И между ними произошел следующий разговор.

Эми: Моя госпожа, сударь! Увы! Неужели вы спрашиваете меня о ней? Бедняжка, вы оставили ее в весьма плачевном состоянии!

Он: Что верно, то верно, Эми. Но я ничего не мог сделать. Мое собственное положение было достаточно плачевным.

Эми: Верно, сударь. Иначе вы, конечно, не покинули бы ее таким образом. Ибо, не скрою, оставили вы их в самых отчаянных обстоятельствах.

Он: Как же они жили после моего отъезда?

Эми: Жили, сударь?! О, чрезвычайно худо, смею вас уверить. Да и могло ли быть иначе?

Он: Да, да, вы правы. Но скажите мне, Эми, пожалуйста, что же случилось со всеми ними дальше? Ибо я любил их всей душой и бросил их лишь оттого, что не вынес мысли о нищете, которая на них надвигалась, а предотвратить ее было не в моих силах. Что мне было делать?

Эми: Я вас понимаю, сударь. Вот и госпожа ваша говорила,— я это слышала от нее не раз, — несчастный, верно, мыкается, не меньше моего, где бы он ни был.

Он: Как? Неужели она полагала, что я жив?

Эми: О да, сударь. Она всегда утверждала, что вы, должно быть, живы, потому что, если бы вы умерли, сударь, говорила она, то уж наверное бы она об этом услышала.

Он: Да, да, да. Положение мое было ужасно, иначе я бы ни за что не уехал.

Эми: Однако, сударь, вы поступили очень жестоко с бедной моей госпожой; уж как она изводилась — сперва от страха за вас, сударь, а потом — что от вас нет никаких вестей.

Он: Увы, Эми! Что я мог? Ведь уже к тому времени, как я уехал, дела наши пришли в полное расстройство. Я бы лишь помог им умереть

с голоду, если бы остался. К тому же, мне было невыносимо на все это смотреть.

Эми: Видите ли, сударь, я не могу судить о том, что было прежде; зато я была печальной свидетельницей всех злоключений моей бедной госпожи все то время, что я при ней оставалась. Сударь! У вас содрогнулось бы сердце если бы я вам поведала обо всех ее злоключениях!

(Здесь она рассказала всю мою историю вплоть до того дня, когда приход взял одного из моих малюток; эта часть ее рассказа, как она заметила, весьма его расстроила; когда же она рассказала о жестокости его родни, он покачал головой и отозвался об них с большой горечью.)

Он: Ну, хорошо, Эми. Что же с ней произошло дальше?

Эми: Я не могу вам об том поведать сударь, ибо госпожа моя не дозволила мне оставаться у нее долее. Она не могла оплачивать мои услуги, сказала она, ни кормить меня. Я сказала, что согласна служить ей без жалованья, но, как вы понимаете, сударь, без хлеба не проживешь. Так что мне пришлось, скрепя сердце, оставить бедную мою госпожу. Впоследствии я слышала, будто домовладелец отобрал у нее всю ее обстановку и утварь и, видимо, выгнал ее из дому; во всяком случае, месяц спустя, когда я проходила мимо вашего дома, он был заколочен; а еще через две недели там уже работали плотники и обойщики — видно, готовят его для новых жильцов, подумала я. Никто из соседей, однако, не мог сказать мне, что сделалось с моей бедной госпожой; единственное, что они знали, это что она была в такой нужде, что чуть ли не побиралась; и еще — что кое-кто из порядочных людей оказывал ей помощь, чтобы не дать ей умереть с голоду.

В заключение своего рассказа Эми сообщила, что больше о ее госпоже никто ничего не слышал, но что ее (то есть, меня) будто видели раза два в городе, бедно и чрезвычайно убого одетой; как полагали, она зарабатывает себе на хлеб иглой.

Все это негодница рассказала так искусно, с таким умением и ловкостью, плача и утирая слезы с такой натуральностью, что он все это принял так, как ей того требовалось; она даже заметила, что раза два у него самого в глазах блеснули слезы. Ее рассказ чрезвычайно его растрогал и опечалил, сказал он, прибавив, что он и сам тогда чуть не умер с горя; кабы не крайность, повторил он несколько раз, он не покинул бы семью, но он ничем не мог ей помочь и только был бы свидетелем гибели своих близких от голодной смерти, о чем ему было слишком тяжело думать, и если бы это случилось при нем, он непременно пустил бы себе пулю в лоб. Он ведь оставил ей (то есть мне), продолжал он, все деньги, какие у него были, взяв с собою всего лишь 25 фунтов, а это самое меньшее, с чем можно было отправиться искать счастья. Он был уверен, что его родные, будучи людьми состоятельными, снимут с меня заботу о несчастных малютках; он и вообразить не мог, что они окажутся брошенными на общественное призрение. Что же до его жены, рассуждал он, она еще молода и красива и может еще выйти замуж вторично, и — как он надеялся — удачнее, чем в первый раз.

Поэтому-то он ей никогда и не писал и не давал о себе весточки: через какое-то время, полагал он, она вступит в брак и, быть может, вновь поднимется на ноги. Сам же он твердо решил никогда не заявлять своих прав и был бы только рад узнать, что она благополучна; по его мнению, следовало бы издать закон, дозволяющий вступать в брак женщине, если та по прошествии определенного срока не имеет никаких вестей о своем муже; срок же этот он положил бы в четыре года [44], как достаточный для получения известия из самого отдаленного уголка земли.

На это Эми возразила, что, по ее убеждению, ее госпожа вступила бы в новый брак лишь в том случае, если бы она узнала об его смерти наверное, из уст человека, присутствовавшего на его погребении.

— К тому же, — прибавила Эми, — госпожа моя пришла в такое ничтожество, что ни один благоразумный человек не стал бы о ней и думать — разве какой-нибудь нищий решил бы обзавестись подругой и вместе клянчить милостыню на улице.

Убедившись, что ей удалось полностью обмануть гвардейца, Эми затем рассказала ему о себе — будто некий лакей без средств обманным путем уговорил ее выйти за него замуж. «Ибо, — сказала она, — он ни больше, ни меньше, как самый обыкновенный лакей, хоть и выдает себя за камердинера высокопоставленного вельможи. Вот он и затащил меня сюда, на чужбину, и того и гляди превратит меня в нищенку».

Здесь Эми снова принимается выть и причитать, да так натурально, что хоть все это было чистейшее с ее стороны притворство, он полностью ей поверил, от первого до последнего слова.

— Однако, Эми, — возразил он, — на тебе изрядное платье; никак не скажешь, что ты стоишь на грани нищеты.

— Да чтобы им всем пусто было! — воскликнула Эми. — Здесь все стараются обряжаться, как барыни, даже если под платьем у них ничего другого и не надето. Что до меня, то мне не нужно сундуков, набитых нарядами доверху, — мне денежки подавай! К тому же, сударь, я еще донашиваю одежонку, что мне подарили новые хозяева, к которым я тогда перешла от своей госпожи.

Во время этой беседы Эми удалось вызнать у него, каковы его обстоятельства и средства, обещав ему, со своей стороны, что если ей когда доведется вновь попасть в Англию и встретить свою старую госпожу, не выдавать, что видела его живым.

— Но, увы, сударь! — воскликнула она. — Навряд ли мне когда доведется попасть в Англию вновь, а хоть бы и довелось, то десять тысяч шансов против одного, что я не повстречаю мою бывшую госпожу — ведь я не знала бы, где и искать-то ее, в каком конце Англии! Ах нет, — говорит она, — я и ведать не ведаю, у кого о ней справиться. Если же мне и посчастливилось бы ее встретить, я сама бы не захотела причинить ей такой вред, рассказав ей о вашем местопребывании — разве что обстоятельства ее оказались таковы, что известие это могло послужить на пользу ей, да и вам, сударь, тоже.

После этих ее слов он почувствовал к ней еще большее доверие и го-

ворил дальше уже без малейшей утайки. Что до его собственных дел, сказал он, то у него ни малейшей надежды подняться выше того положения, в коем она его застала сейчас, ибо, не имея во Франции ни друзей ни знакомых, — и, что хуже, — денег, ему не на что рассчитывать; не далее как неделю назад, прибавил он, благодаря покровительству некоего жандармского офицера, с которым у него были приятельские отношения, его чуть не произвели в лейтенанты, дав ему под начало эскадрон легкой кавалерии; дело стало за восемью тысячами ливров, кои следовало внести офицеру, исправлявшему эту должность и получившему разрешение ее продать [45].

— Но где мне было достать восемь тысяч ливров? — воскликнул он. — Мне, который ни разу с той поры, как очутился во Франции, и пятисот ливров не держал в руках?

— Какая жалость, сударь! — воскликнула Эми. — Ведь если бы вам удалось получить чин, я думаю, вы бы вспомнили мою бедную госпожу и постарались бы ей немного помочь. Бедняжка, наверное, нуждается в вашей помощи — вот как!

И Эми вновь ударяется в слезы.

— Как досадно, право, — продолжает она, — что вы так бедны, и это в самую ту пору, когда вам удалось заручиться рекомендацией у приятеля!

— Увы, Эми, это так, — сказал он. — Но что поделаешь, коль ты на чужбине и не имеешь ни денег, ни связей.

Эми вновь принялась сокрушаться обо мне.

— Ну что ж, — говорит она, — это большая потеря для моей госпожи, хоть бедняжка о том и не ведает. Воображаю, как бы она обрадовалась! Ведь вы, сударь, разумеется, изо всех сил постарались бы ей помочь.

— Разумеется, Эми, — сказал он. — От всей души. Но даже и в нынешнем моем положении я был бы рад послать ей какую нибудь толику, если бы думал, что она в ней нуждается, — да только боюсь, как бы ей это не повредило — узнать, что я жив, — на случай, если она устроила свою жизнь или вышла замуж.

— Вышла замуж, сударь! — воскликнула Эми. — Увы, кто же взял бы ее за себя, видя ее бедственное положение?

На этом покуда и окончилась их беседа.

Все это, разумеется, было не более как болтовня и пустые слова с обеих сторон. Продолжая наводить о нем справки, Эми дозналась, что никто никогда не предлагал ему патента на чин лейтенанта или чего-либо в этом роде и что он просто молол языком все, что ни приходило ему в голову. Но об этом — в своем месте.

Как вы сами понимаете, весь этот разговор, который Эми тотчас мне пересказала, чрезвычайно меня взволновал, и я поначалу даже хотела тут же послать ему эти восемь тысяч ливров, чтобы он мог купить себе офицерский патент, о котором говорил; но как нрав его был мне знаком более, чем кому-либо другому, я решилась прежде выведать кое-что обо всем этом деле и велела Эми порасспросить кого-нибудь, кто служил с ним в одном эскадроне, дабы узнать, как о нем там думают и правда ли

то, что он рассказал о чине лейтенанта, какой он, по его словам, мог бы приобрести.

Впрочем, Эми вскоре его раскусила, ибо узнала, что он пользуется здесь самой неприглядной репутацией; что слова его не имеют ни малейшего веса и что это был, короче говоря, просто-напросто плут, который ни перед чем не остановится, лишь бы добыть денег, и что словам его нельзя придавать никакой веры, особенно в том, что он говорил о возможности производства его в лейтенанты — здесь, как ей дали понять, не было и капли правды; более того, ей сказали, что он имеет обыкновение прибегать к этой уловке, чтобы, разжалобив людей, брать у них деньги взаймы якобы для покупки офицерского патента; он всем говорил, что у него в Англии жена и пятеро детей, которых он будто бы содержит на свое жалованье; прибегая к этой хитрости, он уже задолжал в разных местах, и на него поступило столько жалоб за это, что ему грозит увольнение из гвардии; короче говоря, ему нельзя верить, ни одному его слову, и на него нельзя положиться ни в чем.

Когда Эми все это разузнала, ее усердие несколько уменьшилось и она больше не захотела с ним возиться; она также предупредила меня, что всякая попытка с моей стороны ему помочь сопряжена с большим риском и может зародить у него подозрения, которые поведут к расспросам и все это может привести к моей погибели.

Вскоре я получила подтверждение тому, что о нем говорилось, ибо в следующую свою встречу с ним Эми удалось окончательно его раскусить. Она стала обнадеживать его, говоря, будто у нее есть кто-то, кто готов предоставить ему на льготных условиях деньги для приобретения патента на офицерский чин, но он переменил тему, отговариваясь тем, что будто бы уже поздно и патент этот уже отдан другому. В заключение он унизился до того, что попросил взаймы у бедной Эми 500 пистолей.

Эми отвечала, что сама нуждается, что средства ее весьма ограниченны и что таких денег она собрать не в силах. Он стал постепенно снижать сумму — сперва до 300, затем до 100, до 50, и, наконец, попросил ее дать ему взаймы один пистоль, каковой она ему и вручила, после чего он, и в мыслях не имея возвратить ей долг, старался больше не показываться ей на глаза. Итак, убедившись, что он все тот же пустой, никчемный человек, я отбросила всякую мысль о нем; меж тем, будь он существом маломальски разумным, наделенным хотя бы малейшими понятиями о чести, я, быть может, вернулась бы в Англию, послала бы за ним и снова с ним зажила бы как честная женщина. Но муж-дурак не только последний человек, который может помочь жене, он также и последний человек, которому может помочь жена. Я с радостью бы оказала ему помощь, но он не годился ни на то, чтобы такую помощь принять, ни на то, чтобы употребить ее себе на пользу. Если бы я даже вместо восьми тысяч ливров послала ему десять тысяч крон [46], поставив при этом условием, чтобы он часть этих денег употребил на приобретение офицерского чина, а часть послал в Англию, дабы вызволить из нужды свою несчастную обнищавшую жену и спасти детей от приюта, то и тогда, я не сомневаюсь, он

так и остался бы рядовым солдатом, а жена его и дети умерли с голоду в Лондоне или жили бы кое-как, крохами благотворительности — иначе говоря, пребывали бы в том состоянии, в каком, по его сведениям, они и находились.

Так что мне не пришлось протянуть руку помощи моему первому погубителю, и я решила удержаться от желания сделать доброе дело до более благоприятного случая. Теперь мне оставалась одна забота — всеми способами избегать встречи с ним, а, если вспомнить низкое положение, какое он занимал, это не должно было составить особенного труда.

Приняв такое решение, мы с Эми стали обсуждать главную задачу, а именно — какими средствами обезопасить себя от возможности вновь на него случайно наткнуться, ибо такая встреча могла бы открыть ему глаза, а это было бы поистине роковым открытием. Эми предложила учредить постоянное наблюдение за жандармскими частями, дабы во всякую минуту знать, где они расквартированы и таким образом их избегать. Это был один из возможных способов.

И однако я не могла полностью на этом успокоиться; простые расспросы о перемещениях гвардейцев показались мне недостаточными: я нашла человека, который годился для роли сыщика (а во Франции людей такого рода хоть пруд пруди) и велела этому малому вести постоянный и неусыпный надзор над моим молодцом и наблюдать за всеми его перемещениями: я настаивала на том, чтобы он ходил за ним, как тень, не спуская его с глаз ни на минуту. Сыщик ревностно исполнял мое поручение, давая мне подробный отчет обо всем, что изо дня в день совершал его поднадзорный, и, как ради собственного удовольствия, так и ради дела, следовал за ним по пятам, куда бы тот ни пошел.

Подобные услуги обходились недешево, но вполне окупались, и сыщик исполнял свою должность с такой безукоризненной аккуратностью, что мой горемыка и шагу ступить не мог без того, чтобы я не узнала, в какую сторону он пошел, с кем водит компанию, когда сидит дома и когда выходит.

Прибегнув к этому необычайному способу, я себя обезопасила и выезжала либо сидела дома в зависимости от того, где в это время пребывал он — в Париже ли, в Версале, либо еще в каком месте, куда я намеревалась отправиться. И хоть способ этот был довольно обременителен для моего кошелька, он казался мне совершенно необходимым, и я не жалела денег, зная, что безопасность стоит любых затрат.

Благодаря этой системе я могла убедиться, сколь никчемную и безрассудную жизнь ведет этот несчастный и ничтожный лентяй, бесхарактерности которого я была обязана началом своей гибели; он вставал поутру лишь затем, чтобы ночью вновь улечься в постель; если не считать передвижений эскадрона, в которых он был обязан участвовать, это было неподвижное животное, не приносящее обществу ни малейшей пользы; он был из тех, о ком можно сказать, что они хоть и живы, но призваны в жизнь лишь для того, чтобы со временем ее покинуть. У него не было друзей, он не имел любимых развлечений, не играл ни в какие

игры и ровно ничем на свете не занимался — словом, он шатался без всякого смысла туда и сюда — и живой ли, мертвый — не стоил и двух ливров; он был из тех людей, что ни в грош не ставят свою жизнь, и, покидая свет, не оставляют по себе и памяти о том, что когда-нибудь на нем существовали; он произвел на свет пятерых нищих и уморил с голоду жену — вот все, что можно было о нем сказать.

Дневник, повествующий о его поведении, который мне присылался каждую неделю, составил бы самую бессмысленную книгу в этом роде: описание жизни, не заключавшей в себе ни грана серьезности, вместе с тем не давало пищи даже для шуток. Дневник этот столь бесцветен, что ничем не позабавил бы читателя, и по этой причине я его здесь не привожу.

И однако я была вынуждена неотступно следить за этим бездельником, ибо на всем свете он один был способен причинить мне вред. Я должна была избегать встречи с ним, как если бы он был привидением или даже самим сатаной; и мне приходилось выкладывать сто пятьдесят ливров в месяц — при этом я еще считала, что дешево отделалась — лишь для того, чтобы не упускать из глаз этого ничтожества. Иначе говоря, я вменила моему шпиону в обязанность следить за этим негодяем ежечасно, дабы получать о его деяниях самый подробный отчет; впрочем, образ жизни его был таков, что задача эта не представляла особенного труда; ибо сыщик мог быть уверен, что на протяжении нескольких недель кряду застанет его либо подремывающим на скамье у дверей харчевни, где он квартировал, либо пьянствующим внутри нее, — и это по меньшей мере десять часов в сутки!

Хоть неправедная жизнь, которую он вел, подчас вызывала у меня к нему жалость, не говоря уже об изумлении, что столь воспитанный джентльмен, каковым он некогда все же являлся, выродился в столь никчемное существо, я не могла его не презирать и твердила, что меня следовало выставить всей Европе напоказ — глядя на меня, женщины убедились бы вживе, сколь пагубно выходить замуж за дурака. Конечно, от превратностей судьбы никто не огражден; но если человек разумный и может впасть в ничтожество, у жены его остается надежда, что он так же может и подняться; с дураком же — стоит тому раз споткнуться, и он погиб навсегда; попал в канаву, в канаве и подыхай; обеднел, так помирай с голоду.

Однако довольно о нем. Некогда я жила одной надеждой — увидеть его вновь; теперь у меня была одна мечта — никогда больше его не видеть, а главное — не быть увиденной им. Что до последнего, то я, как то описано выше, приняла надежные меры.

Итак, я вернулась в Париж. Мой благородный отпрыск, как я его называла, оставался в *** — том самом поместье, где я произвела его на свет и откуда по просьбе принца переехала в Париж. Тотчас по моем прибытии он явился поздравить меня с приездом и поблагодарить за то, что я подарила ему сына. По правде сказать, я была уверена, что он собирается сделать мне какой-нибудь подарок (как оно и случилось на дру-

гой день). В этот же день он, оказывается, решил со мною пошутить. Так, проведя у меня весь вечер, отужинав со мною в полночь и оказав мне честь (как это у меня в ту пору именовалось) делить со мною ложе весь остаток ночи, он шутя объявил мне, что лучший подарок за рожденного сына, какой он мне может предложить, — это дать мне залог следующего.

Но это было всего лишь шуткой. Как я уже намекнула выше, наутро он выложил на мой туалетный столик кошелек, в котором было триста пистолей. Я заметила, как он кладет его на стол, но не подала виду и только как бы неожиданно его обнаружила; я громко вскрикнула и принялась его бранить, как всегда, ибо в этих случаях он давал мне полную волю говорить что и как мне вздумается. Я сказала ему, что это жестокость, что он не дает мне возможности ни о чем его попросить и вынуждает меня краснеть от стыда за то, что я ему стольким обязана, и все в таком духе; подобные речи, я знала, доставляли ему удовольствие, ибо если он был щедр, не зная меры, то он так же был безгранично мне благодарен за то, что я никогда не докучала ему просьбами; в этом мы были квиты, ибо за всю свою жизнь я не попросила у него ни гроша.

После того как я его разбранила, он сказал, что я либо превосходно владею искусством угождать, либо мне от природы без всякого усилия дано то, что представляет величайшую трудность для других, прибавляя, что ничто так не досаждает благородному человеку, как просьбы и домогательства.

Откуда же взяться просьбам и домогательствам, отвечала я, когда он не оставлял мне возможности чего-нибудь пожелать; надеюсь, однако, прибавила я, он не затем осыпает меня дарами, чтобы оградить себя от возможных домогательств. И я уверила его, что только крайняя нужда могла бы вынудить меня обеспокоить его ими.

Человек благородный, сказал он, обычно знает, как ему поступать; что до него самого, он делает лишь то, что не выходит за пределы благоразумия и поэтому заклинает меня не стесняться и просить его о чем только мне заблагорассудится; я так ему дорога, сказал он, что нет такой просьбы, в какой бы он посмел мне отказать, но ему особенно приятно притом слышать от меня, что я довольна его приношениями.

Мы еще долго обменивались комплиментами в этом духе, и поскольку большую часть нашей беседы мы вели, покоясь друг у друга в объятиях, то мои благодарные излияния он останавливал поцелуями.

Пора, однако, упомянуть, что принц мой, хоть и проживал все это время в Париже и часто бывал при дворе, где, как я полагала, занимал или рассчитывал получить какой-то немаловажный пост, не являлся подданным французского короля [47]. Говорю же я об этом потому, что через несколько дней после описанного свидания он сказал, что принес самую неприятную новость, какую мне доселе приходилось слышать из его уст. Затем, отвечая на мой удивленный взор, он продолжал:

— Не тревожьтесь, весть эта столь же безрадостна для меня, как и для вас; но я пришел с вами посоветоваться, нельзя ли нам несколько облегчить ее последствия для нас обоих.

Эти слова меня еще больше изумили и встревожили. Наконец, он объявил, что ему, по всей видимости, придется ехать в Италию; и хоть поездка эта ему приятна была во всех отношениях, однако при одной мысли о разлуке со мной его охватывали тоска и уныние.

Я оцепенела и потеряла дар речи, как если бы над моей головой внезапно разразилась гроза. Мне вдруг представилось, что я лишаюсь его навсегда, а такая мысль была поистине нестерпима. Впоследствии он сказал мне, что я даже побледнела.

— Что с вами? — тревожно спросил он. — Я вижу, что оглушил вас своим известием.

И, подойдя к буфету, он налил мне глоток живительной настойки (которую сам же и принес).

— Не бойтесь, — сказал он, — я никуда без вас не поеду.

Невозможно и вообразить все те ласковые слова, которые он затем стал мне говорить, а также нежность, с какою он их произносил.

Неудивительно, впрочем, что я побледнела, ибо я в самом деле была поначалу поражена и решила, что все это, как оно обычно и бывает в подобных случаях, всего лишь уловка, придуманная для того, чтобы меня бросить и прекратить затянувшуюся связь. Тысяча предположений вихрем пронеслось у меня в голове в те короткие мгновения, что я оставалась в неизвестности. Как я уже сказала, я была в самом деле поражена и, быть может, даже побледнела, но падать в обморок я не собиралась.

Мне, впрочем, было приятно видеть, как он встревожился, и чувствовать его заботу обо мне. Но прежде чем глотнуть целительный напиток, который он поднес к моим губам, я взяла рюмку из его рук и сказала:

— Мой господин, ваши слова имеют для меня больше целебной силы, нежели этот лимонный напиток; ибо, как нет большей для меня горести, нежели вас утратить, так и самая для меня большая радость — услышать из ваших уст заверения, что мне не грозит такая беда.

Он усадил меня на диван, и, усевшись рядом и наговорив мне множество ласковых слов, повернул ко мне лицо.

— Неужели вы отважитесь ехать со мной в Италию? — с улыбкой спросил он.

У меня, было, дух захватило. Но я и виду не показала, говоря, что удивлена его вопросом, ибо нет такого места на земле, куда бы я за ним не последовала, и, ради счастья быть его спутницей, я готова хоть на край света.

Затем он посвятил меня в цель его поездки, рассказав, что его посылает в Италию сам король, и прибавив подробности, которые я не нахожу возможным здесь привести, ибо с моей стороны было бы весьма неразумно дать читателю хоть малейший повод разгадать, кто был мой высокий покровитель[48].

Словом, чтобы не затягивать этой части моего повествования и описания нашего путешествия и жизни за границей, которого одного хватило бы на целую книгу, скажу лишь, что остаток вечера прошел в оживленных разговорах о предстоящем путешествии — как мы поедем, какое

он возьмет себе имя, кто будет состоять у него в свите, и, наконец, каким образом ехать мне. Мы перебрали множество различных способов; ни один из них, однако, не казался нам годным, так что в конце концов я сказала, что моя поездка была бы, очевидно, слишком обременительна и потребовала бы слишком больших расходов, к тому же не могла не вызвать толков и, словом, представила бы слишком много для него неудобств; хоть потерять его для меня было бы почти равносильно смерти, я все же предпочла бы это и готова на все, говорила я, только бы не оказаться ему в тягость.

В следующее его посещение я снова заговорила о трудностях задуманного нами предприятия и, наконец, предложила на его рассмотрение план, который сводился к тому, чтобы мне оставаться покуда в Париже или в любом другом месте, какое ему угодно мне указать, и только получив известие о его благополучном прибытии, пуститься в путь самой и поселиться по возможности ближе к его резиденции.

Но он и слушать не хотел о таком предложении: поскольку я отваживалась, как он говорил, на такое путешествие, то он не желает лишать себя радости, какую ему доставляет мое общество; что до расходов, то это, сказал он, не моя забота; и в самом деле, его путешествие, как я узнала, оплачивалось за счет королевской казны, равно как и вся его свита, ибо ехал он с секретным поручением чрезвычайной важности.

Говорили мы с ним, говорили, пока он, наконец, не пришел к следующему решению, а именно, что поскольку он будет ехать *инкогнито*, никому и дела не будет — ни до него самого, ни до тех, кто его сопровождает; а коли так, то я могу ехать с ним в одной карете, и таким образом на протяжении всего путешествия ничто не будет ему препятствовать наслаждаться (как ему было угодно выразиться) моим приятным обществом.

Его любезность превосходила все, что можно себе представить. Придя к такому решению, он стал готовиться к предстоящему путешествию: то же самое, во всем следуя его указаниям, делала и я. Но передо мной возникло одно чрезвычайно важное затруднение, и я ума не могла приложить, как его разрешить; дело в том, что я не знала, как распорядиться своим имуществом, которое была вынуждена оставить во Франции. Я была богата, очень богата, и не знала, что делать с моим богатством, кому его доверить. На всем свете у меня не было никого, кроме Эми; без нее в дороге мне было бы очень трудно, к тому же мысль, что она останется единственной хранительницей моего добра, меня страшила — ведь если бы с ней что случилось, меня постигло бы полное разорение; умри Эми, и неизвестно, в чьи руки попадет все мое имущество. Это заботило меня сверх всякой меры, и я не знала, что делать; говорить об этом с принцем я не решалась, ибо боялась, как бы он не понял, что я богаче, нежели он полагает.

Но принц и здесь пришел мне на помощь; однажды, когда мы обсуждали меры, необходимые для нашего путешествия, он сам завел обо всем этом разговор и шутливым тоном спросил меня, кому я доверю присматривать за моим состоянием в мое отсутствие.

— Состояние мое, сударь, — сказала я, — не считая того, чем я обязана вашим щедротам, хоть и невелико, однако, должна признаться, доставляет мне некоторую заботу, ибо у меня нет в Париже знакомых, кому бы я могла его доверить, да и вообще мне некого оставить в доме, кроме моей девушки; а как мне обойтись без нее в пути я, право, не знаю.

— Что до ваших удобств в пути, — сказал принц, — о том не заботьтесь; я достану вам такую прислугу, какая придется вам по душе; а что до вашей девушки, коли вы ей доверяете, оставьте ее здесь, а я помогу вам распорядиться вашей собственностью так, что вы можете быть спокойны за ее сохранность, как если бы вы никуда не уезжали.

Я ответила ему поклоном; кому, как не ему могу я вверить все, чем владею, сказала я, изъявив готовность точно следовать его указаниям. Больше мы об этом в тот вечер не говорили.

На следующий день он прислал мне большой кованый сундук, он был так велик, что шесть дюжих молодцов еле втащили его в дом. В этот-то сундук я и сложила все свои богатства; ради моего спокойствия он поселил у меня честного старика с женой, дабы те составили моей Эми компанию, и еще он приставил к ней двух слуг — девушку и мальчика; таким образом в доме поселилось целое семейство, отданное под начало Эми, которая воцарилась над ним полноправной хозяйкой.

Итак, устроив все дела, мы выступили в путь *инкогнито*, как ему было угодно выразиться; впрочем, мы составляли целый караван: две кареты, в каждую из которых было запряжено по три лошади, две коляски и человек восемь слуг, ехавших верхами и вооруженных до зубов.

Трудно представить себе женщину, занимавшую положение, подобное моему, а именно — наложницы, которая бы пользовалась таким почетом. Мне прислуживали две женщины под началом некой мадам ***, пожилой, бывалой дамы, которая превосходно исполняла все обязанности дворецкого: сама же я не знала никаких забот. Прислуга занимала одну из карет, мы с принцем, вдвоем, — другую; и только временами, когда он считал это необходимым, я переходила в первую карету, а мое место рядом с принцем занимал кто-либо из его свиты.

Не стану распространяться о нашем путешествии, скажу только, что, когда мы достигли этих поистине ужасающих альпийских гор, ехать в карете стало невозможно, и мой принц заказал для меня носилки, в которые вместо лошадей впрягли мулов, а сам поехал на лошади верхом. Кареты были отправлены другим путем обратно в Лион. В Сузе нас ожидали кареты, высланные нам навстречу из Турина[49], а оттуда на перекладных мы добрались до Рима, где дела моего принца (какие, о том мне ведать не следовало) заставили нас задержаться на некоторое время. Когда он окончил там все свои дела, мы двинулись в Венецию.

Он в точности исполнил свое обещание и на протяжении почти всего пути я наслаждалась его обществом, словом, была его единственной собеседницей. Ему нравилось показывать мне все, что достойно внимания путешественников, и еще больше — рассказывать мне что-либо из истории всего, что проходило перед моими глазами.

Сколько бесценных усилий было им затрачено напрасно на ту, которую ему рано или поздно суждено было покинуть с раскаянием в душе! Человек его благородного происхождения и неисчислимых личных достоинств — можно ли было так себя уронить? Я потому только и останавливаюсь на этой части моего повествования, которая иначе бы того не стоила, чтобы показать всю тщету подобной неправедной страсти. Будь на моем месте его жена или дочь, можно было бы сказать, что он, как и должно, заботится об развитии их умственных сил, расширении их кругозора, и это было бы достойно одной лишь похвалы. Но все это — ради обыкновенной шлюхи, ради той, которую он возил с собою, побуждаемый причиной, которую никак нельзя было считать достойной уважения, ибо заключалась она в желании потакать самой низменной из человеческих слабостей — вот что было удивительно! Сколь, однако, всесильна порочная страсть! Короче говоря, блуд являлся излюбленнейшим его пороком, единственным его отступлением от стези добродетели, ибо во всех прочих отношениях это был один из самых превосходных людей, каких только знает свет. Других недостойных страстей у него не было ни одной, ни вспышек безудержной ярости, ни показной гордости — в этом его не мог бы попрекнуть никто. Нет, это был смиреннейший, любезнейший и добродушнейший из смертных. Он никогда не божился, ни одно непристойное слово не вылетало из его уст, и все его обращение, все его поступки (за исключением названного мною выше) были совершенно безукоризненны. Впоследствии, оглядываясь на эту пору, я не раз предавалась мрачным размышлениям, вспоминая, что лукавый избрал меня для того, чтобы расставить свои силки на пути такого человека, как мой принц: что это под моим воздействием он был вовлечен в столь тяжкий грех, что это я явилась орудием дьявола и причинила ему столько вреда.

Наше «кругосветное путешествие», как можно бы его назвать, длилось без малого два года; большую часть этого времени я провела в Риме и Венеции, лишь дважды отлучившись во Флоренцию и однажды — в Неаполь. Во всех названных городах я имела случай сделать множество забавных и полезных наблюдений, особливо в части, касавшейся нравов, распространенных среди обитательниц сих мест. Ибо благодаря старой ведьме, что сопровождала нас в пути, я довольно много среди них обращалась. Она и прежде бывала в Неаполе и Венеции, а в первом из названных городов прожила несколько лет, где, как я узнала, вела достаточно разгульный образ жизни, свойственный, впрочем, почти всем неаполитанкам; словом, я увидела, что в этом мире интриг, каковым по всей справедливости можно назвать Неаполь, она чувствует себя как рыба в воде.

Здесь же, в Неаполе, господин мой купил мне в подарок рабыню — турецкую девочку, схваченную мальтийским фрегатом[50] и завезенную сюда; от нее я выучилась турецкому языку, переняла турецкую манеру одеваться и плясать, научилась петь кое-какие турецкие или, вернее, мавританские песенки; этой наукой несколько лет спустя я имела случай воспользоваться, как о том будет поведано в соответственном месте.

О том, что я выучилась итальянскому, и говорить нечего, ибо на этом языке, не прожив в стране и году, я уже довольно бегло болтала, а как времени у меня было довольно и язык мне сильно полюбился, я прочла все итальянские книги, какие только могла себе раздобыть.

Постепенно я так влюбилась в Италию, в особенности в Неаполь и Венецию, что с удовольствием вызвала бы к себе Эми и поселилась здесь на всю жизнь.

Что до Рима, то он мне не понравился совсем. Скопище попов всех мастей, с одной стороны, и кишащая на улицах гнусная чернь — с другой, делают Рим самым неприятным местом на всем свете. Число лакеев, камердинеров и прочих слуг здесь столь велико, что некогда говорили, будто среди простолюдинов в Риме не сыщешь никого, кто бы не служил прежде в лакеях, носильщиках или конюхах у какого-нибудь кардинала или посланника. Словом, там царит дух плутовства, мошенничества, свары и брани, и мне однажды довелось быть свидетельницей того, как лакеи двух знатных римских семейств сцепились между собой, повздорив о том, чья карета (а в каждой сидели дамы, представительницы двух знатных родов) должна уступить дорогу другой; спор этот привел к тому, что участники его насчитали тридцать человек раненых, человек пять или шесть, не имеющих отношения ни к той, ни к другой, были убиты, а обе дамы едва не умерли от страха.

Впрочем, я не имею намерения — во всяком случае здесь — описывать мои дорожные приключения в этой части света; их было слишком много.

Не могу, однако, не заметить, что принц все время нашего путешествия не переставал быть по отношению ко мне самым внимательным и заботливым спутником, какого видывал свет; к тому же постоянство его было столь необычно, что даже в стране, славящейся вольностью нравов, он — я имею все основания это утверждать — не только ни разу этой вольностью не воспользовался, но даже и не испытывал к этому ни малейшего желания.

Часто впоследствии задумывалась я над таким поведением моего благородного господина. Соблюдай он хоть вполовину такую верность, такое постоянство, такую неизменность чувств к самой благородной даме на свете — я имею в виду ее высочество — какие он явил мне, он мог бы почитаться венцом добродетели и никогда не испытал бы тех справедливых укоров совести, что начали его терзать, — увы, слишком поздно!

Мы часто и с удовольствием беседовали с ним о его постоянстве, а однажды он сказал голосом таким проникновенным, какого я от него еще не слышала, что чрезвычайно благодарен мне за то, что я отважилась на это рискованное и трудное путешествие и таким образом удержала его на стезе добродетели. При этих словах я вся так и вспыхнула и взглянула ему в лицо.

— Ну, конечно же, — повторил он. — Отчего это вас удивляет? Я утверждаю, что благодаря вам мне удается вести добродетельную жизнь.

— Не мне бы толковать смысл слов, кои вам угодно произнести, мой господин, — сказала я. — Но я хотела бы думать, что вы придаете им тот же смысл, что и я. Я надеюсь, — говорю, — что и вы и я, мы оба ведем себя настолько добродетельно, насколько это возможно в наших обстоятельствах.

— Что верно, то верно, — подхватил он. — И уж во всяком случае, кабы вас со мной не было, я вряд ли удержался бы в столь добродетельном состоянии. Не стану утверждать, что, не будь вас со мной, я не окунулся бы в веселую жизнь Неаполя, да и Венеции тоже, ибо здесь иначе смотрят на то, что в других широтах почитается за грех. И однако, — продолжал он, — я уверяю вас, что не был близок ни с одной женщиной в Италии, кроме вас, и, более того, ни разу не испытал желания такой близости. Поэтому я и утверждаю, что вы удержали меня на стезе добродетели.

Я молчала, радуясь тому, что он своими поцелуями меня перебивал или, вернее, не давал мне ничего сказать, ибо я и в самом деле не знала, как ему возразить. Я хотела было указать ему на то, что если бы при нем была его супруга, она несомненно оказала бы на него не менее благотворное действие и с бесконечно большей для него пользой, чем я; но подумала, что такие речи в моих устах могли бы его покоробить. К тому же, в том положении, в каком я находилась, они были бы даже несколько рискованными. Поэтому я предпочла оставить его слова без ответа. Должна, однако, признаться, я обнаружила, что в отношении женщин он оказался совсем не тем человеком, каким, насколько мне было известно, он был прежде. Не скрою, что это доставляло мне особенную радость, придавая его словам достоверность и убеждая меня в том, что он, можно сказать, принадлежал всецело мне.

За время нашего путешествия я вновь понесла и рожала в Венеции, но на этот раз мне посчастливилось меньше, чем в первый. Я снова родила ему сына, прекрасного мальчика, но он прожил на свете всего два месяца; и, по правде сказать, после того, как первые порывы горя (свойственные, я думаю, всякой матери) миновали, я не жалела о том, что он не выжил, ибо жизнь наша с ее постоянными переездами с места на место и без того представляла достаточные трудности.

Наконец, после всех наших странствий, господин мой объявил, что поручение его близится к концу и что мы скоро начнем подумывать о возвращении во Францию, чему я обрадовалась несказанно, главным образом из-за оставленного мною там состояния, которое, как вы знаете, было немалым. Правда, я часто получала письма от Эми и по ее отчетам все мое имущество было в сохранности, что весьма меня утешало. Тем не менее, поскольку принц выполнил то, что ему было поручено и ему было предписано возвращаться, я была чрезвычайно довольна. И вот мы поехали из Венеции в Турин, а по дороге я побывала в знаменитом городе Милане. Из Турина мы вновь, как тогда, перевалили через горы, а наши кареты встретили нас в Понтавуазене, что между Шамбери и Лионом [51]; итак, не спеша, мы благополучно добрались до Парижа после двухгодич-

ного отсутствия (если не считать не достающих до этого срока десяти или одиннадцати дней).

Небольшую семью наших домочадцев мы застали в том же состоянии, в каком оставили; Эми даже прослезилась на радостях, да и я чуть не последовала ее примеру.

Принц расстался со мной накануне, ибо, как он мне сообщил, он был извещен, что его должны встретить кое-какие важные персоны, и, быть может, среди них и сама принцесса. Поэтому мы остановились на разных постоялых дворах, опасаясь, как бы встречающие не нагрянули ночью, как то и случилось.

После этого я его не видела больше трех недель, во время которых он был занят семьей, а также и делами; впрочем, он послал ко мне слугу объяснить причину его отсутствия, и просить меня не тревожиться, чем вполне меня успокоил.

Несмотря на свое нынешнее благополучие, я не забыла, что уже испытала и богатство и нищету попеременно, и не могу рассчитывать, что нынешнее мое состояние пребудет вечно; у меня уже есть от него ребенок, говорила я себе, и я ожидаю другого, и если стану носить и рожать беспрестанно, рискую лишиться того, что ему было угодно именовать моей красотой. А она-то и являлась основой этого благополучия. Ведь стоит ей увянуть, как угаснет и огонь, ею зажженный, и тепло, в котором я нынче нежусь, начнет остывать, а сама я со временем, как то обычно бывает с любовницами великих мира сего, вновь буду брошена на произвол судьбы. По этой причине мне следовало заранее как говорится, подстелить соломки, чтобы мягче было падать.

Итак, говорю, я не забывала откладывать про черный день, как если бы все мои доходы сводились к одним лишь подачкам принца. Меж тем, как я уже говорила выше, у меня было не меньше десяти тысяч фунтов, которые я сколотила, а, вернее сказать, сохранила из состояния моего верного друга-ювелира. Если разбойники раскроят ему череп, беспечно шутил он, прощаясь со мною в последний раз, все это состояние я могу считать своим. Бедняга и не предполагал, что всего через час-другой его шутливое пророчество исполнится с такою неумолимою точностью! Я же, не теряя времени, приняла меры, чтобы удержать за собой все то, что он мне завещал.

Теперь задача заключалась в том, чтобы сохранить и упрочить мое богатство, ибо оно значительно увеличилось благодаря щедрости и великодушию принца, а также скромному, замкнутому образу жизни, какую, послушная его желаниям, я вела; желание его было продиктовано, как я уже говорила, отнюдь не скупостью, а необходимостью сохранить наши отношения в тайне, ибо тех средств, коими он меня снабжал, хватило бы на такой великолепный образ жизни, о каком я и не мечтала.

Дабы не задерживаться на этой, неправедной поре моего благополучия, скажу вам сразу, что примерно через год после нашего возвращения из Италии я подарила ему третьего сына. К этому времени я жила более открыто и держала собственный выезд, как то приличествовало графи-

не ***, ибо принцу еще в Италии было угодно, чтобы свет знал меня под этим именем. Впрочем, я не вправе предать это имя огласке. Вопреки обычному ходу дел такого рода, связь наша длилась целых восемь лет, на протяжении коих я соблюдала строжайшую верность; больше того, я убеждена, как я уже говорила выше, что и он был предан мне безраздельно и что, хоть у него всегда бывало две или три дамы на содержании, за все это время он не имел с ними никакого дела и был всецело поглощен мною, так что забросил их всех. Особенной экономии это ему не принесло, ибо, должно признаться, я оказалась любовницей весьма обременительной для его кошелька; но происходило это не из-за моей расточительности, а исключительно благодаря его необычайной ко мне любви, ибо, повторяю, он не давал мне повода о чем-либо его просить и поток его милостей был столь полноводен, что у меня не хватило бы духу и намекнуть о каких-либо своих желаниях сверх того, что он мне давал.

Мое утверждение — я имею в виду его верность мне и то, что он бросил всех прочих женщин, — не является пустой догадкой: старая ведьма, как я ее называла, та, что сопровождала нас во время путешествия (престранная старуха, надо сказать!), поведала мне тысячу разных историй, касающихся его, как она выражалась, *куртуазных* подвигов; так, она рассказала, что в свое время он содержал не меньше трех любовниц сразу — и всех трех, как явствовало из ее рассказов, она же ему и поставляла. Но вдруг, продолжала она, он бросил их всех, а заодно и ее; они догадывались, что он попал в чьи-то новые руки, но ей все не удавалось разузнать, кто их разлучница и где она обитает, покуда он не вызвал ее для сопровождения меня в пути. Старая ведьма заключила свой рассказ комплиментами его вкусу: она, де, ничуть не удивлена, что я так его заполонила — с этакой красотой и так далее.

Словом, то, что я от нее узнала, как вы сами понимаете, было мне весьма приятно, а именно, что он, как сказано выше, принадлежал мне всецело.

Однако за всяким приливом, каким бы он ни был могучим, следует отлив, и во всех делах этого рода наступающий отток бывает подчас более бурным, нежели первые волны прибоя. Принц мой, хоть и не занимал престола, был чрезвычайно богат, и вряд ли расходы на любовницу могли нанести сколько-нибудь ощутимый ущерб его благосостоянию. Кроме того, у него были различные дела, как во Франции, так и за ее пределами, ибо, как я уже говорила, он не был французским подданным, хоть и жил при французском дворе. Его жена, принцесса, с которой он прожил уже довольно много лет, была достойнейшей из женщин (так, во всяком случае, утверждала молва), знатностью рода она не только ему не уступала, но, быть может, и превосходила его, состояние принесла ему не меньшее, чем его собственное; что же касается красоты, ума и тысячи других достоинств, то здесь она не просто возвышалась над большею частью женщин, а, можно сказать, превосходила их всех до единой. Сверх того, она славилась, и притом заслуженно, своею доброде-

телью; говорили, что не только среди принцесс крови, но и среди всех женщин на свете, она слыла самой целомудренной.

Жили они в мире и согласии, ибо с такой женой и быть иначе не могло. Впрочем, принцесса не пребывала в неведении слабостей своего повелителя, зная, что он время от времени позволяет себе поглядывать в сторону и что среди его любовниц имеется одна, самая любимая, которая подчас занимает его более, нежели ей (принцессе) того хотелось бы, или с чем ей было легко смириться. Но это была столь превосходная, великодушная и поистине добрая жена, что она никогда не доставляла ему никакого беспокойства по этому поводу (если, конечно, не считать угрызений совести и раскаяния, пробуждаемых кротостью, с какою она переносила эту обиду, и неизменным уважением, какое, несмотря ни на что, она ему оказывала). Одно это, можно бы думать, должно было бы его исправить; подчас в нем и в самом деле просыпалось великодушие, и тогда он подолгу (так, во всяком случае, мне казалось), не покидал своего домашнего очага. Это стало мне вскоре очевидно благодаря его отлучкам, и я почти тогда же узнала о причине этих отлучек; раза два он даже сам мне в них признавался.

Все это, однако, лежало за пределами моей власти. Я несколько раз сама принималась его увещевать, говоря, чтобы он меня бросил и предался всецело жене, как того требовали закон и обычай; я указывала ему на великодушие принцессы, которое обязывало его так поступить; впрочем, все это было с моей стороны лицемерием, ибо, если бы мне в самом деле удалось уговорить его жить по совести, я бы его потеряла, а об этом я была не в силах и подумать. Да и он не мог не видеть, что слова мои идут не от сердца. Один такой разговор мне особенно врезался в память. Я принялась за свои обычные увещевания, говоря о добродетели, чести, благородном происхождении и еще более благородном отношении принцессы к его амурам на стороне, какие обязательства все это на него накладывало — словом, повторила все, что говорила и ранее, и вдруг почувствовала, что мои речи задели его не на шутку.

— Неужто вы в самом деле намерены уговорить меня вас покинуть? — спросил он. — И вы хотите, чтобы я поверил в вашу искренность?

Я с улыбкой взглянула ему в глаза.

— Покинуть меня ради какой-нибудь другой фаворитки, мой господин? — сказала я. — Нет. Мое сердце было бы разбито. Но ради ее высочества, принцессы... — вымолвила я и, не в силах дальше продолжать, залилась слезами.

— Что ж, — сказал он. — Если я когда и покину вас, то лишь вняв голосу добродетели; только ради принцессы, так и знайте: ни одна другая женщина не в силах оторвать меня от вас.

— С меня такого заверения довольно, сударь, — сказала я. — Здесь я всецело подчиняюсь. И раз я буду знать, что вы бросили меня не ради другой любовницы, я обещаю вашему высочеству не убиваться, или, во всяком случае, не докучать вам моим горем, дабы оно не нарушило вашего блаженства.

Чего только я ни наговорила ему! А между тем я прекрасно знала, что ни я с ним, ни он со мною расстаться не можем. Да и сам он признался, что не в силах меня покинуть — нет, нет, даже ради самой принцессы!

Новый поворот судьбы решил наше дело, ибо принцесса внезапно занемогла, и, по мнению врачей, жизнь ее была в опасности. Она вызвала к себе своего супруга, желая поговорить с ним и проститься. В это печальное свидание принцесса обратила к нему слова, исполненные самой нежной любви, горько сетуя, что не оставляет по себе детей (у нее их родилось трое, но все они умерли) и намекая на то, что обстоятельство это в большой степени примиряет ее с предстоящею смертью; ибо, покидая этот мир, она тем самым дает принцу возможность получить наследников от ее преемницы. Смиренно и вместе с тем с жаром истинной христианки призывала она своего супруга — на кого бы ни пал его выбор — честно исполнять свой долг по отношению к этой новой принцессе, от которой он, в свою очередь, вправе ожидать таковой же честности: иначе говоря, она заклинала его быть верным ее ложу, как того требует торжественный обет, произносимый у алтаря. Затем она смиренно просила его высочество простить ей, если она в чем его обидела, и, призывая в свидетели небо, перед которым ей в скорости было суждено предстать, объявила, что ни разу не нарушала своей чести, не изменила супружескому ложу и в заключение вознесла молитву Иисусу Христу и Пречистой Деве, вручая своего мужа их милосердию. Так, простившись с ним сими умильными словами любви и нежности, на следующий день она отдала богу душу.

Прощальные речи принцессы, столь достойной и дорогой его сердцу, и ее скоропостижная смерть произвели на него действие столь глубокое, что он с отвращением оглядывался на свою прошлую жизнь, впал в меланхолию, замкнулся в себе, отошел от общества людей, среди которых привык обращаться, во многом изменил свой прежний образ жизни, положил себе отныне во всем руководствоваться строжайшими предписаниями добродетели и благочестия — словом, во всем сделался другим человеком.

Это бурное преображение не замедлило сказаться на моей судьбе самым чувствительным образом, ибо через десять дней после похорон ее высочества он прислал мне своего камердинера, поручив ему выразить мне в самых изысканных выражениях, которым была предпослана короткая преамбула, или вступление, надежду его высочества, что я не приму как личную обиду известие, заключавшееся в том, что он чувствует себя вынужденным отказаться от дальнейшего со мною общения. Камердинер пространно изложил мне новый распорядок жизни, коего отныне придерживается его господин, и прибавил от себя, что горе, вызванное кончиной ее высочества, так его сразило, что либо сократит его собственный срок жизни, либо заставит его удалиться в монастырь и там провести остаток дней своих.

Нет нужды описывать чувства, с какими я приняла сие известие. Поначалу, слушая то, что было поручено камердинеру мне сказать, я как бы

впала в столбняк, и мне пришлось призвать на помощь все мое самообладание; правда, камердинер облек свою речь в самую почтительную форму, оказывая мне всяческое уважение и соблюдая строжайшие требования этикета; и прибавив от себя, сколь прискорбно ему быть вестником в столь печальных обстоятельствах.

Однако, выслушав его рассказ до конца и со всеми подробностями, особенно ту его часть, в которой камердинер поведал мне о предсмертных речах принцессы, я успокоилась. Я прекрасно понимала, что принц поступил так, как должен был поступить всякий истинный христианин или даже просто честный человек, что он не мог не почувствовать справедливости всего, что ему сказала княгиня на своем смертном одре а, следовательно, и настоятельной необходимости переменить свой образ жизни. Итак, выслушав все это, я совершенно успокоилась. Признаюсь, можно было бы ожидать, что пережитое потрясение окажет некоторое воздействие и на мою душу тоже. Ведь у меня причин задуматься было уж никак не меньше, чем у принца, и я теперь не могла ссылаться на бедность или на тот всесильный довод, приведенный некогда Эми: *Уступить соблазну — жизнь, противостоять ему — смерть.* Итак, повторяю, я не страдала от нужды, которая подчас сводит нас с пороком, нет, у меня был полный достаток, больше того, я была богата и не просто богата, а очень богата, так богата, словом, что не знала, что делать со своим богатством; по правде сказать, ломая голову над этой задачей, я частенько думала, что решусь ума, ибо не знала, как распорядиться своей собственностью, и — не имея никого, кому бы могла ее доверить, — боялась, что чьи-нибудь плутни и козни меня ее лишат.

В заключение я должна прибавить, что, расставаясь со мной, принц отнюдь не бросил меня грубо, как бы под действием внезапного отвращения. Напротив, он и здесь явил присущие ему благородство и доброту — насколько это было совместимо с состоянием человека, порвавшего с прежними привычками и охваченного раскаянием за дурное обращение со столь достойной особой, каковою являлась покойная принцесса. Не с пустыми руками оставил он меня, нет, он во всем был верен себе и приказал своему камердинеру оплатить аренду за дом, в котором я жила, и все расходы по содержанию обоих его сыновей, а также сообщить мне о том, где и как они воспитываются; камердинер прибавил еще, по повелению своего господина, что я вправе в любую минуту их проведывать и проверять, как с ними обходятся, и, если мне что покажется не по душе, то будут немедленно приняты меры к исправлению.

Распорядившись таким образом с этими делами, принц переехал в свое имение, которое находилось, насколько мне известно, в Лотарингии или по крайней мере поблизости от тех краев, и с тех пор как в воду канул, то есть я хочу сказать, что наша любовная с ним связь распалась навсегда.

Отныне я была вольна ехать в любую часть света и распоряжаться своими капиталами по собственному усмотрению. Первым делом я решила тотчас поехать в Англию; там, думала я, среди соотечественников (ибо,

хоть я и родилась во Франции, я все же почитала себя англичанкой), мне легче будет распорядиться своим имуществом, чем во Франции, — во всяком случае, я меньше рискую попасться на удочку какого-нибудь плута или мошенника. Но как пуститься в такое путешествие со всеми моими богатствами? Этот вопрос представлял для меня наибольшее затруднение, и я не знала, как его разрешить.

Был в Париже некий голландский купец, славящийся своим богатством и честностью. Я, однако, с ним знакома не была и не знала, как бы мне с ним сойтись покороче и открыть ему все свои обстоятельства. Наконец, я решилась послать к нему свою девушку Эми (несмотря на все, что о ней здесь поведано, я все же буду именовать ее *девушкой*, ибо она прислуживала у меня на правах девушки), итак, говорю, я послала к нему свою девушку Эми, которая, не знаю уж через кого, получила рекомендательное письмо, дававшее ей к нему доступ.

Дело мое, впрочем, от этого все равно не продвинулось ни на йоту. Ибо, даже если я и пойду к этому купцу, то что же мне делать? У меня были деньги и драгоценности на большую сумму; все это, положим, я могла оставить — ему или нескольким другим купцам в Париже, и все они дали бы мне за них векселя на предъявителя, по которым можно бы получить деньги в Лондоне. Но с этим был сопряжен известный риск, поскольку в Лондоне у меня не было никого, на чье имя я могла перевести эти векселя с тем, чтобы дожидаться здесь известия, что они акцептованы; ведь в Лондоне у меня не было ни души, так что я по-прежнему не знала, как мне быть.

В таковых обстоятельствах мне оставалось лишь всецело кому-то довериться, и вот я, как сказано, послала Эми к этому голландскому негоцианту. Он несколько удивился, когда Эми заговорила с ним о переводе в Англию суммы, составляющей примерно 12 000 пистолей и даже заподозрил было здесь подвох. Узнав, однако, что Эми является всего лишь служанкой, и когда вслед за нею пришла я сама, он переменил свое мнение.

Его прямой, открытый разговор и честность, сквозившая в каждой черте его лица, побудили меня без всякой опаски рассказать ему все мои обстоятельства, а именно, что я вдова и хочу продать кое-что из принадлежащих мне драгоценностей, а также переслать известную сумму в Англию, куда намерена последовать сама, но, будучи неопытной в вещах такого рода и не имея деловых знакомств в Лондоне, да и вообще нигде, не знаю, как обеспечить сохранность моего имущества.

Он отвечал мне без всяких околичностей и, внимательно выслушав мой обстоятельный рассказ, посоветовал переслать векселя в Амстердам и держать путь в Англию через этот город; там, сказал он, я совершенно спокойно могу вверить свое имущество банку; в довершение всего он взялся дать мне рекомендацию к человеку, знающему толк в драгоценных камнях, которому можно доверить их продажу.

Я поблагодарила купца; однако мне страшно пускаться в столь дальний путь, сказала я, в незнакомую страну, тем более, имея при себе дра-

гоценности; как бы хорошо мне ни удалось их спрятать, все равно я не могла на это решиться. Тогда он сказал, что попытается продать их здесь, то есть в Париже, и обратить их в деньги, с тем, чтобы перевести все мое имущество в векселя. Дня через два мой купец привел ко мне ростовщика-еврея, который, по его словам, занимался скупкой драгоценных камней [52].

Как только этот человек взглянул на мои камни, я спохватилась и поняла, что совершила чудовищную глупость, ведь десять тысяч шансов против одного, что я себя окончательно погубила и что меня, быть может, ожидает самая ужасная казнь, какая только бывает на свете! Мысль эта повергла меня в столь сильный страх, что я чуть было не пустилась бежать со всех ног, оставив голландцу и деньги мои, и драгоценности, не взяв у него ни векселя на них, ничего. Вот как все получилось.

Как только еврей увидел мои драгоценные камни, он принялся лопотать моему негоцианту что-то то ли на голландском, то ли на португальском языке, и вскорости я заметила, что они оба пришли в крайнее изумление. Еврей воздел руки вверх, с ужасом воззрился на меня, затем опять заговорил по-голландски и принялся извиваться и корчиться, строить гримасы, топать ногами, размахивать руками, словно он не просто сердится, а охвачен каким-то неистовством. Время от времени он кидал на меня взгляды, исполненные ужаса, точно видел во мне некое исчадие ада. В жизни мне не доводилось встречать ничего более омерзительного, чем эти кривляния!

Наконец я вставила слово.

— Сударь, — обратилась я к негоцианту. — Что сие обозначает и какое имеет отношение к моему делу? Что привело этого господина в такую ярость? Если ему угодно вести со мною дело, я попросила бы его говорить со мной на языке, мне доступном; если же у вас с ним какое-то неотложное дело, позвольте мне удалиться и прийти в другой раз, когда у вас будет досуг.

— Что вы, сударыня, — ответил голландец самым любезным тоном. — Не уходите ни в коем случае, мы говорим о вас и о ваших камнях, и вскоре вы все узнаете. Разговор наш имеет прямое отношение к вашей особе, уверяю вас.

— К моей особе? — повторила я. — Отчего разговор о моей особе вызывает у этого господина такие судороги и содрогания? И отчего он смотрит на меня, как черт на кадило? Кажется, он вот-вот меня проглотит.

Еврей, очевидно, понял мои слова и яростно заговорил, на этот раз по-французски.

— О да, сударыня, это дело весьма и весьма затрагивает вашу особу, — сказал он, тряся головой; и несколько раз повторил: «Весьма и весьма».

Затем, вновь обратился к голландцу.

— Сударь, — сказал он, — не угодно ли вам поведать ей, в чем дело?

— Нет, — отвечал купец. — Еще не время. Надо сперва как следует все обсудить.

С этим они удалились в другую комнату; там они продолжали разговаривать достаточно громко, но на языке, мне незнакомом. Я ломала голову, пытаясь понять смысл того, что мне сказал еврей; вы можете представить, как мне хотелось до этого смысла добраться и с каким нетерпением я дожидалась возвращения голландца; наконец, я не выдержала и, вызвав лакея, велела передать его господину, что мне угодно с ним поговорить.

Как только голландец ко мне вышел, я попросила у него извинения за свою нетерпеливость, но сказала, что не успокоюсь, покуда он не объяснит мне, что все это означает.

— Видите ли, сударыня, — сказал купец. — Я и сам, откровенно говоря, весьма озадачен. Этот еврей превосходно разбирается в ювелирных изделиях, поэтому-то я и позвал его, в надежде, что он поможет вам их продать. Он же, едва на них взглянул, тотчас их признал и, как вы сами видели, пришел в ярость, уверяя, будто это те самые камни, которые некий английский ювелир повез в Версаль (тому лет восемь назад), чтобы показать принцу ***скому, что из-за этих-то камней и был убит злополучный ювелир. И вот он неистовствует, пытаясь заставить меня спросить вас, каким образом эти камни достались вам, говоря, что следует вам вчинить иск о грабеже и убийстве и допросить вас, кто совершил это преступление, дабы привлечь виновных к ответу.

Во время нашей беседы еврей, к моему великому удивлению, нагло, не спросившись, вошел к нам в комнату.

Голландский негоциант довольно хорошо говорил по-английски, в то время, как, он знал, что еврей ничего в этом языке не смыслит, так что последнюю часть своего сообщения, во время которого еврей к нам ворвался, он произнес по-английски; я улыбнулась этой уловке, что вызвало у еврея новый приступ ярости. Тряся головой и строя свои сатанинские гримасы, он, казалось, пенял мне за то, что я осмеливаюсь смеяться. Это дело такого рода, лепетал он по-французски, что мне будет не до смеха, и все в таком духе. На это я еще раз засмеялась, чтобы его поддразнить и выказать мое к нему презрение.

— Сударь, — обратилась я затем к голландскому купцу, — человек этот прав, говоря, что камни эти принадлежали английскому ювелиру, мистеру *** (я смело назвала его имя), но утверждая, что меня следует подвергнуть допросу относительно того, как они попали в мои руки, он лишь показывает свое невежество, которое тем не менее могло бы быть выражено в несколько более пристойной форме, поскольку он даже имени моего не знает. Я думаю, что вы оба успокоитесь, — продолжала я, — узнав, что перед вами несчастная вдова того самого мистера ***, который был столь зверски убит по дороге в Версаль, и что грабители взяли у него не эти камни, а другие, ибо эти мистер *** оставил мне на случай нападения разбойников. Неужели, сударь, вы полагаете, что, если бы драгоценности попали в мои руки иным путем, я имела бы глупость пытаться их продать здесь, в стране, где было совершено преступление, вместо того, чтобы увезти их куда-нибудь подальше?

Мое сообщение явилось приятным сюрпризом для голландского купца; он мне поверил, не задумываясь, ибо сам не привык говорить неправды. Поскольку то, что я им сказала и в самом деле было истинной правдой, как буквально, так и по существу (если не считать, что мистер *** не был моим законным мужем), я говорила с таким невозмутимым спокойствием, что моя непричастность к преступлению, которое приписывал мне еврей, была очевидна.

Услыхав, что я и есть вдова убитого ювелира, еврей был поражен и обескуражен, но, взбешенный тем, что я сказала, будто он на меня смотрит, как черт на кадило, и подстрекаемый злобой, он сказал, что мой ответ его нимало не удовлетворяет. Вновь вызвав голландца в другую комнату, он ему сообщил, что намерен расследовать это дело.

Во всей этой истории одно обстоятельство оказалось для меня счастливым и даже, я бы сказала, избавило меня от большой опасности. В своей ярости этот дурак проговорился голландскому купцу (с которым, как я сказала выше, они вторично уединились в соседней комнате, сказав, что намерен непременно возбудить против меня дело об убийстве, и что заставит меня дорого заплатить за то, что я его так оскорбила); с этим он и покинул голландца, поручив тому известить его, когда я вновь сюда приду. Если бы еврей мог заподозрить, что тот не замедлит поделиться со мною всеми подробностями их беседы, он, разумеется, настолько бы не оплошал, и не выдал ему своих намерений.

Но душившая его злоба взяла верх над рассудком, а голландец был настолько добр, что раскрыл мне его планы, и в самом деле достаточно низкие: осуществление же их нанесло бы мне бо́льший вред, нежели если бы на моем месте была другая, ибо при расследовании дела обнаружилось бы, что я не в состоянии доказать законность своего брака с ювелиром, и у обвинения было бы больше оснований заподозрить меня в соучастии; к тому же мне пришлось бы иметь дело со всеми родственниками покойного ювелира, которые, узнав, что я была ему не женой, а всего лишь любовницей, или, как это в Англии принято называть, шлюхой, тотчас заявили бы свои права на драгоценности, поскольку я признала, что они принадлежали ему.

Все эти соображения пронеслись у меня в голове, как только голландский купец сообщил мне о злобных намерениях, которые зародились у проклятого ростовщика; голландский купец имел возможность убедиться, что слова злодея (иначе я не могу его называть) не являются пустой угрозой; по двум-трем фразам, которые тот обронил, он увидел, что вся эта затея служила к тому, чтобы заполучить драгоценности в свою собственность.

Когда он еще впервые намекнул голландцу, что драгоценности принадлежали такому-то (имея в виду моего мужа), он одновременно высказал удивление по поводу того, что я так успешно до сих пор их скрывала. Где же они находились все это время? гадал он вслух. Кто такая эта женщина, что их принесла? Ее, то-есть меня, следует немедленно схватить и отдать в руки правосудия. В этом месте как раз он и начал корчиться

и извиваться, как я уже говорила, и кидать на меня свои сатанинские взгляды.

Голландец же, слыша все эти речи и поняв, что еврей не шутит, сказал: «Придержи-ка свой язык. Это дело серьезное, а раз так, давай перейдем в другую комнату и его обсудим». Тогда-то они меня и покинули в первый раз и перешли в смежную комнату.

А я, как уже говорила, встревожилась и вызвала его через слугу; и, услышав, как обстоит дело, объявила, что являюсь женой ювелира, вернее его вдовой, на что злобный еврей сказал, что такое объяснение никоим образом его не удовлетворяет. После чего голландец вновь позвал его в другую комнату; и на этот раз, уверившись, как уже говорилось, что тот намерен привести свою угрозу в исполнение, немного слукавил, сделав вид, будто полностью с ним согласен и вступил с ним в сговор о дальнейших шагах, какие они предпримут.

Так, они договорились обратиться к адвокату или стряпчему за советом, как лучше поступить. Они условились встретиться на следующий день, причем негоциант должен был перед тем назначить мне время, чтобы я снова принесла ему свои драгоценности на предмет продажи. «А впрочем, — предложил он, — я пойду дальше того; я предложу ей оставить драгоценности у меня, якобы для того, чтобы показать их другому покупателю, который, мол, даст за них больше». — «Правильно, — сказал еврей. — А уж я позабочусь о том, чтобы она больше их никогда не увидела. Либо, — продолжал он, — мы у нее их заберем именем закона, либо она сама будет рада уступить их нам, лишь бы избавиться от пыток, какие ей будут грозить».

На все предложения, какие выдвигал еврей, купец отвечал согласием, и они условились наутро встретиться вновь, меж тем, как негоциант должен был уговорить меня оставить драгоценности и прийти в четыре часа пополудни следующего дня, сказав, что поможет мне их выгодно продать. На этом они и расстались. Однако, возмущенный варварским замыслом еврея, честный голландец тотчас мне все пересказал.

— А теперь, сударыня, — заключил он свой рассказ, — вам следует как можно скорее принять какое-нибудь решение.

Я сказала ему, что если бы я была уверена в добросовестности правосудия, я бы не опасалась козней этого негодяя, но мне неведомо, как такие дела решаются во Франции. Главное, что меня беспокоит, сказала я ему, это как доказать суду, что я в самом деле являлась женой покойного, ибо венчались мы в Англии, и притом в довольно глухом месте Англии, а главное, мне было бы трудно представить свидетелей, ибо венчались мы тайно.

— Это бы все ничего сударыня, — возразил он. — Но вас ведь будут также допрашивать по поводу смерти вашего мужа.

— Ну, нет, — ответила я. — По этому делу никто не вправе меня в чем-либо обвинять. Во всяком случае в Англии, — прибавила я, — если бы кто и осмелился учинить человеку подобное оскорбление, то от него потребовали бы представить доказательства[53], либо веские причины,

дающие повод к подозрению. Что муж мой был убит, это известно всем: но что он был также и ограблен и что́ именно у него взяли, этого никто не может знать, даже я сама. Да и почему меня никто не допросил тогда же? Ведь я все время после гибели мужа жила в Париже, открыто, ни от кого не таясь, и ни одна душа до сих пор не дерзнула высказать относительно меня подобное подозрение.

— Я-то, разумеется, не сомневаюсь в вас нисколько, — сказал негоциант. — Но поскольку мы имеем дело с таким негодяем, что мы можем сказать? Ведь ему ничего не стоит присягнуть в чем угодно. А что, как он объявит под присягою, будто ему точно известно, что в день, когда ваш муж отправился в Версаль, он взял с собой именно те камни, что вы мне принесли, что убитый показывал их ему, дабы оценить их и посоветоваться, сколько запросить за них у принца ***ского?

— Уж коли на то пошло, — возразила я, — он с таким же успехом, если найдет нужным, может присягнуть, что я убила собственного мужа!

— Это верно, — согласился негоциант. — И если бы он в этом присягнул, вас бы ничто не спасло. Впрочем, — прибавил он, — я знаю, каковы его ближайшие намерения: он намерен сперва упрятать вас в Шатле[54], чтобы придать своим подозрениям больше весу, затем, по возможности, вырвать драгоценности из ваших рук и в последнюю минуту, если вы добровольно согласитесь от них отказаться, прекратить дело за неимением улик. Итак, я предлагаю вам подумать, как всего этого избежать.

— Увы, сударь, — сказала я. — Вся беда в том, что у меня нет ни времени взвесить свое положение, ни человека, к которому я могла бы обратиться за советом. И вот, оказывается, что жизнь всякого человека зависит от милости наглеца, который не остановится перед тем, чтобы, прибегнув к ложной присяге, загубить невинную душу. Но неужели, сударь, — продолжала я, — здешнее правосудие таково, что, покуда я буду находиться под следствием, этому негодяю дозволят завладеть моим имуществом и прибрать к рукам мои драгоценности?

— Не знаю, сударыня, — отвечал он, — как в таком случае обернется дело. Но даже, если не он, то суд может ими завладеть, и, право, не знаю, легче ли вам будет вызволить вашу собственность из их рук. Во всяком случае, может статься, что половина их стоимости уйдет на судебные издержки. Поэтому, на мой взгляд, лучше было бы, чтобы они вовсе не попадали в руки правосудия.

— Да, но коль скоро уже известно, что они у меня, как поступить, чтобы они к ним не попали? — спросила я. — Если меня схватят, то непременно потребуют, чтобы я представила им эти драгоценности, или, быть может, бросят в тюрьму и продержат меня там, покуда я их не представлю.

— Нет, — сказал он, — они не запрут вас в тюрьму, а подвергнут, как сказал этот скот, допросу, иначе говоря, пыткам, под предлогом того, чтобы вырвать у вас признание и заставить назвать убийц вашего мужа.

— Признания? — воскликнула я. — Но как же могу я признаться в том, чего не знаю?

— Коли дело дойдет до дыбы, — сказал он, — вы признаетесь[55] в том, что убили собственного мужа, даже если это и не так, и тогда ваша песенка спета.

Слово «дыба» напугало меня чуть ли не до смерти, и вся душа у меня ушла в пятки.

— Убила собственного мужа?! — воскликнула я. — Но ведь это невозможно!

— Напротив, сударыня, — говорит он. — Очень даже возможно. Невиннейшие люди подчас признавали себя виновными в совершении дел, которых не только не совершали, но о которых до того, как их начинали пытать, и слыхом-то не слыхали.

— Что же мне делать? — спросила я. — Что вы мне присоветуете?

— Что делать? — переспросил он. — Да я бы на вашем месте уехал. Вы собирались уезжать через четыре или пять дней, так поезжайте через два; если вам это удастся, я сделаю так, что он хватится вас не раньше, чем через неделю.

Затем купец рассказал мне, как этот негодяй собрался подстроить, чтобы я на следующий день принесла сюда свои драгоценности на продажу, а сам между тем подослал бы стражу меня схватить и как он (купец) сделал вид, будто хочет войти с ним в пай и берется доставить мои драгоценные камни в его руки.

— А теперь, — заключил купец, — я выдам вам векселя на деньги, как вы тогда хотели, тотчас, и притом такие, что вам их немедленно погасят. Берите ваши драгоценности и этим же вечером отправляйтесь в Сен-Жермен-ан-Лэ[56]. Я дам человека в провожатые, который доставит вас завтра в Руан, откуда как раз отчаливает один из моих кораблей; вы поплывете на нем до Роттердама[57] — дорогу я оплачу; и кроме того пошлю с вами письмо к одному своему приятелю в Роттердаме, чтобы он вас там опекал.

Мне в моих обстоятельствах ничего иного не оставалось, как с благодарностью принять столь любезное предложение. Тем более, что я уже давно уложилась и в любую минуту могла уехать, прихватив свои два-три сундука, несколько узлов да мою девушку Эми.

Далее купец рассказал мне о мерах, какие он решился принять, дабы обмануть еврея и дать мне время уехать. План его и в самом деле был отменно хорошо задуман.

— Первым делом, — сказал купец, — когда он наутро сюда заявится, я ему скажу, что предложил вам оставить драгоценные камни у меня, как мы договорились, но что вы на это не согласились и вместо этого пообещали сами их мне принести после полудня; поэтому, я предложу ему дожидаться вас у меня и так продержу его до четырех часов дня; когда же этот час минует, а вас все не будет, я покажу ему письмо, якобы только что вами присланное, в котором вы просите извинения за то, что не можете быть ко мне сегодня, так как к вам неожиданно нагрянули гости, и

вы просите меня передать господину, которому угодно купить ваши драгоценности, чтобы он явился на другой день в тот же час и что тогда уже вы будете непременно. На другой день, — продолжал мой купец, — мы будем снова вас ждать, и когда вы так и не появитесь в назначенный час, я начну выражать беспокойство и удивление по поводу вашего отсутствия. Наконец, мы с ним порешим следующий же день возбудить против вас судебное дело. Между тем я наутро пошлю ему сказать, что вы якобы ко мне приезжали, но, не застав его, назначили другое время. В этой же записке я приглашу его к себе для дальнейших переговоров. Когда он придет, я скажу ему, что вы ничуть не подозреваете об опасности, какая вам грозит, и что были весьма недовольны тем, что его не застали, и что вам никак нельзя было отлучиться из дому накануне, но очень просили меня пригласить его к себе на следующий день в три часа. А на следующий день я получу от вас записку, в которой вы мне сообщаете, что занемогли и не можете быть, а придете завтра, уже наверняка; назавтра же от вас уже и записочки никакой не будет, и вообще никаких больше вестей мы от вас не получим, ибо к этому времени, сударыня, вы уже будете в Голландии.

Разумеется, я одобрила его план, поскольку он был продуман так хорошо и с такой дружеской заботой о моих интересах; видя такое искреннее доброжелательство с его стороны, я без всяких колебаний решила вверить ему свою судьбу. Я тотчас пошла к себе и послала Эми за вещами, которые понадобятся в пути. Дорогую мебель я также упаковала и отправила к негоцианту на хранение. Затем, прихватив с собой ключ от дома, в котором проживала, я снова к нему пришла. Мы покончили с ним наши денежные дела и я вручила ему 7 500 пистолей векселями и деньгами, копию трехпроцентного билета за моею подписью для предъявления в Парижскую Биржу[58] на сумму в 4 000 пистолей и доверенность на получение процентов два раза в год. Самый же билет я оставила у себя.

Я могла бы спокойно доверить ему все свое имущество, ибо это был человек безупречной честности и не имевший каких-либо намерений причинить мне зло; и в самом деле, разве после того, что он мне, можно сказать, спас жизнь, или, во всяком случае, спас меня от позора и верной гибели — как можно было, я спрашиваю, сколько-нибудь в нем сомневаться?

Когда я к нему пришла, он приготовил все, как обещал. Что касается денег, он в первую очередь дал мне акцептованный вексель для предъявления в Роттердамский банк на 4 000 пистолей; вексель этот был взят из генуэзского банка роттердамским купцом на имя некоего парижского купца, а тот переписал его на имя моего нового друга. Он уверил меня, что там мне выплатят деньги аккуратнейшим образом, в чем я впоследствии убедилась сама; остальные деньги он выплатил мне переводными векселями, которые подписал собственноручно для предъявления нескольким купцам в Голландии. Когда я хорошенько спрятала свои драгоценные камни, он посадил меня в карету одного из своих знакомых, которую он заказал для меня заранее, и отправил в Сен-Жермен, откуда на другое

утро я пустилась в Руан. Сверх всех названных одолжений голландский купец послал своего слугу сопровождать нас верхом и заботиться обо мне в дороге. Этот же слуга вручил капитану судна, которое стояло на реке в трех милях от Руана, распоряжения своего господина, в соответствии с которыми нас тотчас взяли на борт. Через два дня наш корабль снялся с якоря, а на третий мы очутились в открытом море. Таким образом я покинула Францию и избежала весьма неприятной истории, которая, если бы ей было дано развернуться, привела к моему полному разорению, и в итоге я вернулась бы в Англию такой же нищей, какой я была незадолго до того, как я ее покинула.

Теперь мы с Эми могли на досуге подумать о невзгодах, которых нам удалось избежать. Будь у меня крупица религиозного чувства, или хотя бы веры в существование провидения, располагающего, руководящего и управляющего как причинами, так и следствиями, имеющими место в этой жизни, я думаю, что постигнувший меня случай должен был бы заставить меня задуматься и почувствовать горячую благодарность к этой верховной силе, которая мало того, что сохранила мне мои драгоценности, но и отвела от меня неминуемое разорение. Однако у меня не было ничего похожего на веру. Если я что и чувствовала, то это искреннюю благодарность моему избавителю, голландскому купцу, или негоцианту, за его бескорыстную дружбу и верность, которые — не говоря о более страшных вещах — уберегли меня от нищеты.

Итак, как я только что сказала, я с благодарным чувством думала о его доброте и верности и положила в душе явить ему доказательство моей благодарности, как только окончатся мои скитания. Но я не могла еще знать, что́ меня ждет впереди, и эта неуверенность причиняла мне немалое беспокойство. Пусть взамен моих денег у меня на руках ценные бумаги и благодаря истинно дружескому попечению голландца мне удалось, как я уже говорила, выбраться из Франции. Однако торжествовать победу мне казалось преждевременно, ведь если мне не удастся выручить деньги за векселя, которые мне дал мой голландец, я снова окажусь на мели. Как знать, быть может, он нарочно подстроил всю эту историю с евреем, чтобы запугать меня и заставить бежать, словно мне грозила смертельная опасность? И если векселя окажутся подложными, значит я сделалась жертвой двух мошенников. Эти и подобные им мысли роились у меня в голове. Впрочем, в сторону праздные домыслы, которые, как оказалось, не имели под собой никакого основания, ибо этот честный человек поступил, как то свойственно честным людям, в соответствии со своими правилами, бескорыстно и открыто, а также с искренностью, какую редко встретишь на свете. От этой финансовой операции он не получил ничего, кроме предусмотренной законом выгоды.

Когда наше судно проходило между Дувром и Кале, и я увидела свою милую Англию, которую я считала своей родиной, хоть я там и не родилась, а лишь воспитывалась, мною овладел неизъяснимый восторг. Желание ступить на ее землю сейчас же охватило меня с такой силой, что я предложила капитану двадцать пистолей, лишь бы он причалил к анг-

лийским берегам и высадил меня у ее меловых скал. Когда же он сказал, что не может, а, вернее, не смеет меня там высадить, хоть бы я ему за это посулила и сто пистолей, я в душе своей стала мечтать, чтобы поднялась буря и пригнала корабль к берегам Англии, так чтобы волей-неволей им пришлось меня высадить — там ли, здесь ли, мне было безразлично — лишь бы в Англии!

Этим своим грешным мечтам я предавалась часа три, а то и больше, но когда шкипер взял курс на север, как то было предусмотрено его рейсом, и мы потеряли Англию из виду, а справа, или, как говорят моряки, *по правому борту*, уже показались берега Фландрии, я перестала мечтать о том, чтобы высадиться в Англии и поняла, как глупо было этого желать. Ведь если бы я и высадилась в Англии, мне все равно пришлось бы оттуда ехать в Голландию из-за моих векселей; сумма, которую я должна была по ним получить, была столь велика, что, не имея там своего доверенного лица, я могла ее затребовать только лично. Однако спустя еще два-три часа после того, как мы потеряли Англию из виду, погода начала меняться; завывания ветра становились все громче и громче, и матросы говорили между собой, что к ночи поднимется шторм. До захода солнца оставалось часа два, мы уже миновали Дюнкерк, и кто-то даже, кажется, сказал, что видит Остенде[59]. Но тут ветер разыгрался не на шутку, поднялась большая волна и всех; в особенности тех из нас, кто не был искушен в мореходстве и ничего не видел дальше того, что делалось у него перед глазами, объял страх. Короче говоря, сделалось темно, как ночью, ветер все крепчал, и за два часа до наступления настоящей ночи, разразился страшный шторм.

Мне доводилось и прежде плавать по морю, ибо, как я уже говорила, в детстве меня перевезли из Рошели в Англию[60]; а позднее, уже взрослая, я ступила на борт корабля, стоявшего на Темзе, и поплыла обратно из Лондона во Францию. Но, услышав над головой страшный шум, который матросы подняли на палубе, я встревожилась, ибо никогда не бывала на море во время шторма и ничего подобного не испытывала. А когда я решилась приоткрыть дверь и выглянуть на палубу, меня обуял ужас, — темень, свирепый ветер, огромные волны, торопливые движения голландских матросов, ни одного слова из речей которых я не могла понять, ни когда они посылали проклятия, ни когда возносили мольбу богу — все это вместе, говорю, наполнило меня таким ужасом, что я, словом, перепугалась насмерть.

Вернувшись в каюту, я застала Эми в жесточайшем приступе морской болезни, для облегчения которой я незадолго до того давала ей глоток особой настойки. Увидев, что я села, не проронив ни слова, и ничем не отвечала на ее тревожные взгляды, она так и бросилась ко мне.

— Ах, сударыня! — воскликнула она. — Что случилось? Отчего вы так бледны? Да вы совсем больны! Что случилось?

Я же все не могла вымолвить слова и только два-три раза всплеснула руками. Эми продолжала осыпать меня вопросами.

— Открой дверь и выгляни сама, — сказала я наконец.

Она тотчас кинулась к двери и приоткрыла ее, как я ей велела. Бедняжка обернула затем ко мне лицо, и на нем были написаны такой ужас и потерянность, каких мне не доводилось видеть прежде ни на одном лице. Заломивши руки, она принялась кричать: «Я погибла, погибла! Я утону! Мы все погибли!» И заметалась по каюте, как помешанная, как существо, лишенное последних остатков разума. Да и как могло быть иначе?

Я и сама трепетала от страха, но вид того, как терзается бедная девушка, вернул мне самообладание, и я принялась ее увещевать, пытаясь внушить ей, что не все еще потеряно. Сколько кораблей, говорила я, попадают в шторм и благополучно из него выходят! Почему же она думает, что наш корабль непременно утонет? Это верно, что нам, пассажирам, буря кажется ужасной, но матросов она, по-видимому, не пугает. Я стремилась утешить ее как только могла, хоть у самой у меня на душе было ничуть не легче, чем у Эми, и я чувствовала, что смерть смотрит мне прямо в лицо, — да и разве одна смерть? Меня мучило еще кое-что, а именно, совесть, и я была в страшной тревоге, но только меня некому было утешать и уговаривать.

Однако состояние Эми было много хуже моего, во всяком случае, страх, который она испытывала при виде бури, был еще больше, чем у меня, и поэтому я была занята ее утешением. Она же, как я уже говорила, совершенно обезумела и носилась по каюте с воплями: «Я погибла, погибла! Я утону!» — и все в таком духе. Наконец, судно наше, должно быть, под напором какой-нибудь особенно могучей волны, резко качнулось в сторону, и бедную Эми, и без того обессиленную морскою болезнью, швырнуло наземь. Она упала лицом вперед, ударившись о то, что у моряков называется *переборкой*, и так и осталась лежать на полу, бездыханная, как камень, и на вид не более живая, чем он.

Я принялась звать на помощь. С таким же успехом можно было кричать с вершины горы, окруженной со всех сторон пустыней без единой души, ибо матросы были так заняты и так шумели сами, что никто меня не услышал, никто ко мне не подошел. Я открыла дверь каюты и выглянула наружу, чтобы кого-нибудь призвать, но то, что представилось моим глазам, лишь удвоило мой ужас: два матроса, упав на колени, молились, а тот, что стоял у штурвала, тоже издавал какие-то стенания, которые я было приняла за молитву. Однако, он, как оказалось, отвечал кому-то, кто выкрикивал ему сверху, куда держать курс.

Мне негде было искать помощи ни для себя самой, ни для моей бедной Эми, которая лежала так недвижно и с такой бледностью на лице, что я не знала, жива она, или нет. Перепуганная насмерть сама, я наклонилась к ней и подтащила ее вперед, усадив ее на палубе, спиной к переборке. Затем вынула из сумки флакончик с нюхательной солью, поднесла его к самому ее носу, принялась тереть ей виски, словом, проделала над ней все, что могла, но Эми по-прежнему не подавала признаков жизни. Я нащупала ее пульс, но так и не могла понять, жива она или нет. Но вот, после долгого времени, она начала оживать и примерно через полчаса

совсем уже пришла в себя, но и после того долго не могла понять, что с ней произошло.

Когда же к ней вернулось сознание, она спросила меня, где она находится? Я сказала, что покуда на корабле, но надолго ли, известно одному богу.

— Как же так, сударыня? — воскликнула она. — Разве буря не утихла?

— Ах, нет, Эми, — ответила я. — Нет, не утихла ничуть.

— Возможно ли, сударыня? — возразила Эми. — Ведь только что море было спокойно.

(Она имела в виду то время, что лежала без чувств, потеряв сознание оттого, что при падении ударилась головой).

— Спокойно? — переспросила я. — Увы, Эми, буря не унялась; быть может, море и успокоится со временем, когда все мы пойдем на дно, а души наши вознесутся на небеса.

— На небеса, сударыня! — воскликнула Эми. — Зачем вы говорите о небесах? Как будто я могу попасть на небо! Увы, сударыня, если я потону, то меня ожидают проклятия ада! Разве вы не знаете, сколь я греховна? Я жила, как шлюха, сперва с одним, потом с другим, и целые четырнадцать лет погрязала в грехе. Ах, сударыня, вы это знаете сами, и господу богу тоже об этом известно. И вот настал мой час умереть, утонуть в море. О, что со мною будет! Я навеки погибла. Да, да, сударыня, навеки. На веки-вечные! О, я погибла, погибла! Если я утону, я навсегда погибну!

Как вы сами понимаете, каждый возглас Эми был для меня, как нож в сердце. И я тут же про себя подумала: «Бедная моя Эми! Как ты себя величаешь, так должна величать себя и я. Все, в чем ты винишь себя, во всем этом должна винить себя и я. Больше того — я повинна не только в собственных грехах, но и в твоих». И тут я вспомнила, что я не только ничуть не лучше Эми, но что я была орудием сатаны и вовлекла ее в грех; что я собственноручно раздела ее и заставила сделаться полюбовницей того, с кем сама делила ложе разврата, что Эми всего лишь следовала по моим стопам. Это я показала ей губительный пример, я ввергла ее в соблазн, и теперь, поскольку мы вместе грешили, мы, верно, вместе и потонем.

Мысли эти вновь и вновь проносились в моей голове, и каждое восклицание Эми вызывало новый прилив раскаяния. «Это я всему виною, Эми, — твердила я себе. — Это я тебя погубила. Во всем, что с тобою сейчас случилось, виновна я, и вот ты должна понести наказание за грехи, в которые ввергла тебя я; и коли ты погибла навеки, то что же ожидает меня?».

Правда, между мною и Эми была некоторая разница: так, я все эти речи произносила лишь в мыслях и хранила свои вздохи и печаль про себя, меж тем как Эми, у которой нрав отличался большей горячностью, чем мой, говорила все вслух, крича и рыдая, как человек, которого подвергают невыносимым терзаниям.

Утешить ее мне было нечем, — в самом деле, что я могла сказать? Однако я кое-как ее утихомирила, дабы те, кто были с нами на корабле, не могли понять, что́ она такое говорит. Но и успокоившись, она продолжала говорить об ужасе и раскаянии, охватывающих ее при мысли о ее неправедной жизни, и время от времени вскрикивала, что она проклята и так далее. Каково было все это выслушивать мне, которая знала, что в будущей жизни ожидает меня!

Я тоже настроилась на серьезный лад и, испытывая живейшее раскаяние за мои прежние грехи, раза два-три тоже тихонько воскликнула: «Смилуйся надо мной, о господи!» И мысленно приняла множество решений касательно дальнейшей моей жизни, если богу будет угодно не отнять ее у меня на этот раз; я буду жить уединенно и добродетельно, говорила я себе, раздавая милостыню из своих неправедно доставшихся мне богатств.

В ожидании ужасного конца я с отвращением и гадливостью оглядывалась на свою жизнь. Краска бросилась мне в лицо, и я поражалась своим поступкам, тому, как, отбросив стыд и честь, продавала себя за барыш: если только богу будет угодно пощадить меня на этот раз и не дать мне умереть, говорила я себе, я переменюсь совсем и никогда уже не вернусь к прежнему!

Эми зашла еще дальше моего. Она молилась вслух, принимала решения, давала клятву, что начнет совершенно новую жизнь, если только богу будет угодно пощадить ее на этот один-единственный раз. Меж тем начала заниматься заря, ибо шторм продолжался всю ночь. Все же было радостно увидеть свет нового дня, ведь никто из нас не чаял его встретить. Волны, однако, продолжали вздыматься, как высокие горы, и шум воды был столь же ужасен для слуха, как вид этих гор для зрения. Суши нигде, куда ни кинешь глазом, и никто из матросов не знал, куда нас забросило. И вдруг, к нашей неизъяснимой радости, на горизонте появилась суша, и суша эта оказалась Англией: мы были у берегов графства Саффолк [61]. А так как судно наше порядком потрепало, капитан решил попытаться причалить любой ценой. Моряки с большим трудом добрались до Гарвича [62], где нам, по крайней мере, не грозила уже гибель. Однако в трюм набралось столько воды и все судно пришло в такое плачевное состояние, что если бы мы в тот день не причалили, то, по мнению моряков и портовых рабочих, которых капитан нанял, чтобы задраить пробоины, оно к ночи наверняка бы утонуло.

Услыхав, что матросы завидели землю, Эми воспрянула духом и поднялась на палубу. Но затем тотчас спустилась ко мне:

— Ах, сударыня, — сказала она. — Это верно, что земля виднеется; но она похожа на гряду облаков, и как знать, может, это и в самом деле всего лишь облака; а если это и впрямь суша, то до нее еще очень далеко, а море еще так бурлит, что мы, наверное, утонем прежде, чем достигнем берега. Страшнее этого моря я ничего не видела. Волны, что горы, и они того и гляди нас проглотят, даром что рядом суша.

Я же верила, что, раз показалась земля, мы спасены, и сказала Эми, что она просто ничего не понимает, и что, раз матросы увидели землю, они возьмут курс прямо на нее и постараются войти в ближайшую гавань. Но Эми была права — до суши было еще ужасно далеко; и она в самом деле походила на гряду облаков; волны высились, как горная цепь, и судно рисковало затонуть прежде, чем достигнет берега. Эми пребывала в унынии; однако ветер дул с востока и гнал корабль к берегу с такой силой, что, когда через полчаса я приоткрыла дверь каюты и выглянула наружу, земля оказалась куда ближе, чем можно было судить со слов Эми. Так что я вернулась к ней и стала ее подбадривать, а заодно приободрилась и сама.

Часом позже мы увидели, к своему величайшему облегчению, открытую гавань Гарвича, куда и устремился наш корабль. И вот, через несколько минут, к нашей несказанной радости, мы плыли уже по спокойным водам. Так, вопреки моим желаниям и подлинной выгоде, исполнилась моя мечта — высадиться в Англии, хотя бы для этого понадобилась буря.

Нельзя сказать, что буря эта послужила нам с Эми на пользу, ибо, как только опасность миновала, с ней миновались также и страх смерти и того, что нас ожидало после нее. Омерзение, какое мы почувствовали было к своей прежней жизни, как бы отлетело, а с возвратом к жизни к нам возвратилась наша грешная приверженность к ней, и мы снова стали такими же, какими были, а то и хуже. Раскаяние, вызванное страхом близкой смерти, длится не долее, чем самый этот страх, и всем этим покаянным речам, что произносятся на смертном одре, или (что почти одно и то же) на море, во время бури, — грош цена. Я не хочу сказать, однако, что перемена эта произошла с нами тотчас — отнюдь: страх, объявший нас в море, держался еще и некоторое время спустя, во всяком случае, буря улеглась много раньше, нежели изгладилось страшное впечатление, какое она оставила в нашей душе. Это относится в особенности к бедной Эми, которая, едва ступив на землю, припала к ней долгим поцелуем и принялась горячо благодарить бога за то, что он вывел ее из моря. Поднявшись же с земли, она обернулась ко мне и сказала:

— Надеюсь, сударыня, вы никогда больше не отправитесь в море.

Не знаю, что тому причиной, — право, не могу сказать! — но почему-то Эми гораздо больше моего терзалась раскаянием во время бури, а, попав на сушу, гораздо больше радовалась своему избавлению, чем я. Меня же охватило какое-то оцепенение — не знаю, как это иначе назвать. Душа моя во время бури была преисполнена ужаса, и я чувствовала близость смерти не меньше, чем Эми, но чувства и мысли мои не находили себе исхода, как у нее. Мое горе было молчаливо и угрюмо, и я не могла его излить ни в словах, ни в рыданиях, и тем самым его было много труднее переносить.

Я испытывала ужас за свою прошлую жизнь, я твердо верила, что иду ко дну, где смерть потребует от меня отчета во всех моих поступках. Поэтому, как я уже говорила, я озиралась на прожитую мною жизнь

с отвращением. Но того раскаяния, что вытекает из источника, из которого вытекает истинное раскаяние, я не ощущала. Порок и разврат, в котором я утопила свою душу и жизнь, не представлялись мне и тогда преступлением, совершенным по отношению к богу, осквернением святыни, злоупотреблением высшей милостью, пренебрежением божественной добротой. Короче говоря, не было в моей душе ни подлинного раскаяния, ни осознания всей чудовищности моих грехов, ни веры в божественного искупителя, ни надежды на его благость. Мое же раскаяние было того рода, какое бывает у преступника, когда его подводят к эшафоту: он жалеет о том, что совершил преступление не оттого, что это *преступление*, а оттого, что его за это повесят.

Правда, у Эми раскаяние выветрилось так же бесследно, как и у меня, но все же не так скоро. Впрочем, обе мы на некоторое время утратили обычную свою беспечность.

Как только нам удалось заполучить шлюпку из города, мы спустились на берег и тотчас направились на постоялый двор в Гарвиче, чтобы там обсудить как следует, что нам дальше предпринять — отправиться ли в Лондон или дожидаться здесь, пока чинят корабль, что, как нам сказали, будет длиться недели две, и плыть затем в Голландию, как мы и собирались сначала и как того требовали дела.

Разум повелевал ехать в Голландию, ибо там мне причиталось получить деньги; там же я могла обратиться к надежным людям с хорошей репутацией, к которым мой добрый купец в Париже снабдил меня рекомендательными письмами; от этих людей я, в свою очередь, могла рассчитывать получить письма к лондонским негоциантам и таким образом завязать знакомство с лицами значительными (а я это страсть как любила). Между тем сейчас во всем Лондоне я не знала ни души, да и вообще мне больше некуда было обратиться. Итак, побуждаемая всеми этими соображениями, я решила ехать в Голландию, а там — будь что будет!

Однако Эми и слышать о том не хотела; при одном упоминании о море ее бросало в дрожь и в слезы. Она умоляла меня не пускаться в плавание, или, коль я на то решилась, оставить ее на суше — она готова была побираться — лишь бы не в море! На постоялом дворе над нею начали шутить да подтрунивать, говоря, что у нее, должно быть, совесть нечиста, и что она, верно, боится выболтать какой-нибудь свой грех; если она когда и спала с мужем своей госпожи, говорили они, то, случись ей попасть в бурю, она непременно в том признается; таков обычай всех этих бедняжек — чуть буря, они тотчас выбалтывают имена своих полюбовников. Так, некая служанка, находясь в море со своей госпожой, муж которой был тем-то и тем-то и жил в Лондоне на такой-то улице, как только поднялась буря, с перепугу призналась, что спала с хозяином и со всеми его подмастерьями тогда-то и тогда-то и в таком-то месте. Бедная ее госпожа, возвратившись в Лондон, так и набросилась на мужа. И вот вследствие бури была разбита семья. Такой конец, впрочем, Эми не грозил, ибо хоть она и в самом деле переспала со своим хозяином, то было с ведома и

согласия хозяйки и, что хуже, по ее же наущению. Я еще раз на этом останавливаюсь, дабы выставить на позор мой грех во всей его разнузданности.

Я думала, что к тому времени, как починят судно, страхи Эми утихнут, но они, напротив, разгорались со все большей силой. Когда дело дошло до того, что нам надо было либо садиться тотчас на корабль, либо окончательно отказаться от путешествия, ужас Эми достиг такой степени, что с нею сделался припадок, и судно отправилось без нас.

Однако, как я уже говорила, ехать мне было совершенно необходимо, и некоторое время спустя я была вынуждена сесть на пакетбот и оставить Эми в Гарвиче, наказав ей, однако, отправиться в Лондон и там ожидать от меня писем и дальнейших распоряжений.

И вот, из дамы легкого поведения я превратилась в деловую женщину; да и то сказать, денежные дела мои приобрели немалый размах.

В Гарвиче мне удалось приискать себе служанку, которая бывала прежде в Роттердаме, хорошо знала этот город и говорила по-голландски, что было для меня весьма удобно, и мы с ней отправились в путь.

Мы быстро добрались до места, нам сопутствовала прекрасная погода, и в Роттердаме я без труда разыскала купца, к которому у меня было рекомендательное письмо. Он говорил со мной чрезвычайно почтительно, принял вексель на 4000 пистолей и впоследствии выплатил мне по нему сполна. Кроме того, его попечениями мне выплатили по другим векселям, которые мне надлежало получить в Амстердаме, а по одному из этих векселей — на тысячу двести крон, который был опротестован в Амстердаме, он выплатил мне сам — из уважения, как он сказал, к поручителю, то есть к моему другу, парижскому купцу.

Роттердамский купец помог мне также с продажей моих бриллиантов. Он свел меня с ювелирами, один из которых был особенно мне полезен, так как оценил мне их по достоинству. Он был большой знаток по части драгоценных камней, но к описываемому мною времени не занимался их скупкой. К нему-то и обратился мой роттердамский покровитель с просьбой проследить, чтобы меня не обманули.

Так, в заботах по устройству моих финансовых дел, прошло без малого полгода. Все это время занимаясь делами и обращаясь с крупными суммами, я сделалась опытнейшей купчихой. В банке у меня лежала солидная сумма денег, а также векселя и чеки на еще большие суммы.

Примерно месяца через три я получаю письмо от Эми, в котором она сообщает, что ее *друг*, как она величала камердинера моего принца, который и в самом деле приходился ей весьма близким другом, ибо, по ее собственному признанию, она переспала с ним раз сто (иначе говоря, столько, сколько ему было угодно, так что за их восьмилетнюю связь, наверное, много больше ста раз), так вот она мне пишет, что получила от своего друга письмо. В письме этом, среди прочих материй, служивших предметом их переписки, он сообщил новость о моем близком приятеле, а именно, о моем законном муже, что поступил в жандармы: тот, оказывается, был убит в какой-то потасовке, происшедшей между жандармами, и моя де-

вица поздравляла меня с обретенной свободой. «Так что, сударыня, — заключала она свое письмо, — вам остается лишь вернуться, приобрести великолепный выезд с кучером и лакеями, и если красота и удача не доставят вам титула герцогини, то я уж не знаю, что его может доставить». Я, впрочем, такой цели себе еще не ставила. Вновь вступать в брак у меня не было ни малейшего желания. С первым моим мужем мне так не повезло, что мне претила одна мысль о замужестве. Я убедилась, что с женой обращаются пренебрежительно, любовницу же боготворят; на жену смотрят, как на старшую горничную, на любовницу — как на королеву; жена вынуждена отказаться от своей собственности, а если она пытается что-либо из нее удержать, на нее начинают коситься, ее попрекают даже деньгами на булавки, между тем как о любовнице справедливо говорят, что все, что принадлежит ее возлюбленному, — ее собственность, притом что все, чем она владеет сама, остается при ней; жена обязана безропотно переносить миллион оскорблений или покинуть мужа и тем самым себя погубить и обесславить: оскорбленная любовница — владычица своей судьбы и может тотчас взять себе другого.

Такими-то лукавыми доводами я пыталась оправдать свой блуд; в опровержение этих доводов я даже не пыталась привести разницу между положением жены и любовницы в другом отношении, иначе говоря, — во всех отношениях. Я не говорила себе, во-первых, что жена открыто и смело показывается на людях в обществе мужа, живет в доме мужа, который является и ее собственным домом, повелевает слугами мужа, ездит в каретах мужа, которые она имеет полное право считать своими, принимает гостей мужа, воспитывает его детей, которые платят ей любовью и уважением, ибо это и ее дети тоже; а если муж ее умирает, то, в соответствии с английским законом, она имеет право притязать на оставшееся по нем имущество[63].

Наложница меж тем прячется по наемным квартирам, ее навещают в темноте ночи, при всяком случае от нее отрекаются перед богом и людьми, и как бы щедро ее ни содержали — это лишь временно, ибо в конце концов с нею расстаются и ее постигает вполне заслуженная несчастная судьба. Если у нее рождаются дети, все ее старания устремлены не на то, чтобы их воспитывать, а на то, чтобы избавиться от них, и если ей случится дожить до того, как они вырастают, они ей платят презрением и ненавистью и стыдятся ее. Покуда бушует порочная страсть и ее возлюбленный в руках сатаны, он ей принадлежит, и покуда он ей принадлежит, она из него веревки вьет: но стоит ему захворать или если на него обрушится еще какое несчастье, виновата будет она, в чем он не преминет ее попрекнуть. Стоит ему поддаться раскаянию, его первые же шаги на пути исправления обратятся против нее, он ее бросает, воздает ей по заслугам, начинает ее ненавидеть, испытывать к ней отвращение и гонит с глаз долой. И при всем этом надо помнить об одном непременном условии, а именно — что чем искреннее и неподдельнее его раскаяние, чем больше он устремляется к праведности, чем пристальнее вглядывается в себя, тем сильнее возрастает его отвращение к ней, и он начинает про-

клинать ее всей душой. Хорошо, если в порыве неслыханного великодушия этот новообращенный грешник пожелает, чтобы бог простил соучастницу его прегрешений, — на большее ей и рассчитывать нельзя.

Словом, различия между обстоятельствами, в коих оказывается жена и наложница, столь велики и многочисленны, и удостовериться в них мне довелось столь великой ценой, что я могла бы перечислять их и описывать бесконечно. Однако мое дело — поведать историю моей жизни, тем более, что я еще далеко не исчерпала всех безрассудств, кои мне еще предстояло совершить. Быть может, когда я дойду до морали, какую следует извлечь из моей повести, мне еще придется вернуться к этой ее части, и тогда я остановлюсь на ней во всех подробностях.

Пока я была в Голландии, я получила несколько писем от моего друга (а у меня было достаточно оснований называть его так), голландского негоцианта в Париже, в которых он описал мне дальнейшее поведение негодяя-еврея, рассказав о шагах, какие тот предпринял после моего отъезда; о его нетерпении, когда мой друг держал его в неизвестности, уверяя его, что ждет меня со дня на день, и о его ярости, когда он обнаружил, что я так и не пришла.

Оказывается, после того как он понял, что ему меня не дождаться, он с помощью неустанных расспросов, какие он обо мне вел, выведал, где я жила прежде, и что я состояла на содержании у некоего высокопоставленного лица, имя которого ему все же так и не удалось узнать. Единственное, что он узнал о моем высоком покровителе, это — цвет ливреи, в какую были облачены его слуги. Ему даже удалось напасть на его след, однако точно удостовериться в верности своей догадки он не мог, равно как и представить какие-либо доказательства, ее подтверждающие. Он разыскал камердинера принца, но говорил с ним так дерзко, что тот угостил его, как говорят французы, à coup de bâton, иначе говоря, основательно отлупил его палкой, как тот того и заслуживал. Когда же и после этого он не угомонился и не излечился от своей наглости, двое неизвестных настигли его однажды ночью, в поздний час на Pont Neuf *, набросили на него широкий плащ[64], и затащили в укромное местечко; там ему отрезали оба уха, сказав, что это ему возмездие за его дерзкие речи о высокопоставленных лицах. При этом его предупредили, что если он впредь не научится благонравию и будет давать волю своему языку, то ему оный язык вырежут.

Дерзость его, таким образом, была пресечена, однако он еще раз возвратился к моему другу, угрожая возбудить против него судебное дело за сговор со мною, обвиняя его в соучастии в убийстве ювелира и прочее.

Из разговора с ним купец узнал, что злодей предполагает, будто я пользуюсь покровительством упомянутого принца ***ского; более того, негодяй утверждал, что я и сейчас нахожусь в Версале, ибо он не имел ни малейшего представления о том, куда я отправилась на самом деле. В одном он не сомневается, сказал он купцу, что я в Версале и что тот

---

* Новом мосту (*франц.*).

об этом знает. Мой друг только посмеялся над его угрозами. Негодяй, однако, доставил ему немало хлопот и даже попытался вчинить купцу иск в том, что он способствовал моему побегу; если бы это удалось, купцу пришлось бы привести меня на суд, так как моя неявка грозила бы ему большим денежным штрафом.

Однако купец его перехитрил и, упредив его, донес на негодяя сам, уличив его в мошенничестве и рассказав все, как было; как тот намеревался выдвинуть против вдовы ювелира обвинение в убийстве мужа, и все ради того, чтобы вынудить ее расстаться с ее драгоценными камнями; как он склонял купца принять участие в этом деле с тем, чтобы поделить драгоценности; как посвятил его в свое намерение заполучить камни в свои руки, обещав по их получении отказаться от иска. Таким образом купцу удалось сорвать замысел негодяя, отправить его в Консьержери (или, по-нашему, в Брайдуэлл[65]) и отмести от себя все подозрения. Через некоторое время и не без помощи денег негодяй вышел из тюрьмы и еще долго потом досаждал купцу. Наконец он даже пригрозил убить его насмерть; купец рассудил, что негодяй способен на все, что угодно; а так как за два месяца до того он овдовел и был теперь человеком одиноким, он решил покинуть Париж; и вот он тоже очутился в Голландии.

Можно с достоверностью утверждать, что ключом или, так сказать, источником, из которого на этого доброго человека обрушились все заботы и невзгоды, являлась я; и поскольку в моей власти было впоследствии полностью воздать ему за его хлопоты, а я этого не сделала, то следует признать, что к числу моих проступков можно прибавить и неблагодарность. Но подробнее об этом я расскажу в дальнейшем.

Занимаясь своими векселями в конторе роттердамского купца, — того самого, которому рекомендовал меня мой друг, — я только было собралась писать ему в Париж, как вдруг услышала цоканье копыт. В городе, где все обычно передвигаются по воде, шум этот был непривычен. Мой друг, оказывается, переехал на пароме через Маас из Виллемстадта[66] и, таким образом прибыл к самой двери роттердамского купца.

Заслышав конский топот, я выглянула в дверь и увидела, как кто-то слезает с лошади и направляется к воротам. Я ничего не знала и никого не ждала и, как я уже говорила, была удивлена, — могу сказать, чрезвычайно удивлена, — узнав в приблизившейся фигуре моего благодетеля и спасителя — голландского купца из Парижа.

Признаться, сюрприз этот был для меня приятен, и я чрезвычайно обрадовалась, увидя того, кто обошелся со мной с такою честностью и добротой, и, более того, спас мне жизнь. Завидев меня, он тотчас ко мне подбежал, обнял меня и принялся меня целовать, чего никогда ранее себе не позволял.

— Сударыня, — сказал он, — как я рад видеть вас благополучной в этой стране! Еще два дня, — и вы бы погибли, если бы задержались в Париже.

Я так ему обрадовалась, что не сразу могла отвечать. Я разрыдалась и с минуту не могла вымолвить ни слова. Однако оправилась и сказала:

— Сударь, я вам обязана даже более, чем предполагала. Ведь вы спасли мне жизнь. Я рада вас видеть здесь, — прибавила я, — еще и затем, что нам нужно привести в порядок счета, по которым я перед вами в большом долгу.

— С этим делом мы легко уладим, — сказал он, — поскольку мы теперь так близко друг от друга. Где же вы остановились, сударыня?

— У честных и добрых людей, — сказала я, — которым меня рекомендовал этот господин, ваш друг.

И я показала на купца, в чьем доме мы с ним встретились сейчас.

— И вы, сударь, также можете остановиться у них, — подхватил тот. — Если вам это будет удобно и не помешает вашим делам.

— С превеликою радостью! — воскликнул мой друг. — Итак, сударыня, — прибавил он, оборотясь ко мне, — я буду вблизи от вас, и у меня будет время поведать вам историю, довольно длинную, но вместе с тем довольно занятную — о том, какие неприятности и дьявольские козни чинил мне по вашему поводу еврей и какую адскую ловушку он расставил для вас на случай, если бы он напал на ваш след.

— А я, сударь, — сказала я, — расскажу вам обо всем, что приключилось со мной с той поры. А приключений, смею вас уверить, было немало.

Короче говоря, он расположился в том же доме, где и я, и дверь его комнаты открывалась, как он того и хотел, прямо напротив моей. Мы могли бы даже переговариваться друг с другом, каждый из своей постели. Это меня ничуть не смущало, так как я считала его человеком чести, каким он и оказался на самом деле, да по правде говоря, об этой стороне дела я не очень-то и пеклась.

Первое время мой друг должен был посвятить неотложным делам, и мы начали делиться своими приключениями лишь на третий день после его приезда. Зато, раз начав, мы чуть ли не две недели только о них и говорили. Сперва я подробно описала ему все то важное, что со мной случилось в пути; как страшная буря прибила нас к Гарвичу, как мне пришлось оставить на берегу служанку, которая была так напугана этой бурей, что не осмеливалась вновь довериться судну, и как я сама никуда бы не поехала, если бы не его векселя, по которым можно было получить деньги лишь в Голландии; из чего следует, заключила я, что нет такого места в мире, куда бы женщина не решилась отправиться, коль скоро речь идет о деньгах.

Поначалу он было посмеялся над нашими женскими страхами: в здешних водах, сказал он, шторм — самое обычное дело; но так как до берега всюду близко и гаваней — великое множество, то гибель нам не угрожала. Ведь если судно не может добраться до одного берега, ему только стоит взять курс к другому и, так или иначе, куда-нибудь пристать. Однако, когда я ему описала, на какой развалюхе мы плыли и как, даже после того, что мы достигли покойных вод Гарвича, нам пришлось причалить к самому берегу, иначе судно затонуло бы в гавани, как, высунув голову из двери каюты, я поглядела направо и увидела матроса, на коленях шеп-

тавшего слова молитвы, и поглядев налево, — другого, точно в таком же положении, — после этого моего рассказа он согласился, что мои страхи были не так уж неосновательны. Однако тут же с улыбкой прибавил: «Впрочем, сударыня, — сказал он, — такая праведная и благочестивая женщина, как вы, всего лишь отправились бы на небо немного раньше, чем можно было ожидать; разница для вас была бы не столь существенна».

Признаться, когда он произнес эти слова, кровь так и застыла в моих жилах, и я думала, что лишусь сознания. «Несчастный, — подумала я, — хорошо же ты меня знаешь! Ах, кабы я и в самом деле была такой, какой я тебе представляюсь!». Он заметил мое смущение, однако ничего не сказал, ожидая моих слов.

— Ах, сударь, — сказала я. — Смерть, в каком бы виде она ни предстала перед нами, не может не вызвать трепета; когда же она является в образе бури на море и тонущего корабля, неизъяснимый страх, какой она вселяет в наши сердца, вдвое и даже втрое сильнее. Даже если бы я и была столь праведной, какой вы меня почитаете (а что я не такова, о том известно богу), все равно такая смерть поистине ужасна. Нет, сударь, я бы предпочла умереть покойно. — Он сказал мне еще много хорошего, искусно чередуя серьезные материи и любезности; я, однако, слишком была подавлена сознанием своей греховности, чтобы внимать его речам с должным удовольствием. Поэтому я направила беседу в другое русло, заговорив о том, что, хоть необходимость и вынудила меня поехать в Голландию, я мечтаю благополучно вновь пристать к английским берегам.

Он сказал, что рад случаю, приведшему меня в Голландию, и тут же намекнул, что мое благополучие ему столь дорого, что если бы ему и не посчастливилось найти меня в Голландии, он отправился бы разыскивать меня в Англию, признавшись, что желание видеть меня и было главной причиной, побудившей его покинуть Париж.

Я сказала, что весьма обязана ему за то, что он проявил такой интерес к моим делам, но что и без того чувствую себя в неоплатном долгу перед ним и поэтому ничто уже не в состоянии увеличить моей благодарности, ибо я обязана ему спасением жизни, — а что может быть дороже этого?

Он возразил с величайшей любезностью, что готов предоставить мне возможность отблагодарить его за эту услугу, равно как и за все прочие, какие он мне оказал или когда-либо окажет в дальнейшем.

Тут я начала смекать, к чему он клонит, а именно, к любви, однако, решила не подавать виду; к тому же, мне было известно, что он женат и что жена его в Париже. У меня же — во всяком случае в ту пору — не было никакой охоты к любовным интригам. Внимание мое, впрочем, было привлечено одной случайно оброненной им фразой, когда, рассказывая мне о чем-то, он прибавил: «Это было еще при моей жене». «Как, — воскликнула я в изумлении, — что вы хотите этим сказать, сударь? Разве ваша жена не в Париже?» «Отнюдь, сударыня, — ответил он. —

Моя жена умерла еще в начале сентября прошлого года», — иначе говоря, как я прикинула, вскоре после моего отъезда из Парижа.

Все это время мы жили в одном доме, и, поскольку комнаты наши были одна против другой, обстоятельства способствовали полному нашему сближению, если бы только мы того захотели. Для порочных душ внешние обстоятельства играют далеко не последнюю роль; и то, о чем они иначе, быть может, и помышлять бы не стали, начинает казаться само собою разумеющимся.

Впрочем, хоть он и ухаживал за мной с такой прилежностью на расстоянии, намерения его были совершенно честными. Подобно тому, как я нашла в нем бескорыстного друга и безукоризненно честного человека, которому я в свое время доверила все свое имущество, подобно этому, говорю, он показал себя человеком строгой добродетели, каковым бы и оставался, если бы я сама и, можно сказать, против его воли, не сбила его с пути; ну, да об этом будет рассказано в своем месте.

В некотором времени после нашего разговора он повторил еще раз то, что он мне уже полунамеками старался разъяснить, а именно, что он готов представить мне на рассмотрение план, согласно которому, если мне будет угодно принять его предложение, я могу погасить свой долг с избытком. Я сказала, что не столь безрассудна, чтобы в чем-либо ему отказать, и что за исключением одного, о чем, я надеюсь, он и сам не помышляет, — сочла бы себя неблагодарнейшим существом на свете, если бы не постаралась сделать для него все, что в моей власти.

На это он сказал, что не намерен обращаться ко мне с просьбой, исполнение которой не было бы в моей власти; иначе он не смел бы называть себя моим другом. Однако объявить, в чем же заключается его просьба, он не спешил, и разговор наш перешел на другое. Я даже подумала, не потерпел ли он какой неудачи в делах и что он, быть может, был вынужден покинуть Париж из-за кредиторов или еще из-за каких деловых неприятностей. А так как я всей душой была готова его вызволить, даже если для этого пришлось бы расстаться с большой суммой, — ведь меня к тому обязывала простая благодарность, поскольку он выручил все мое имущество, — я решила при первом удобном случае предложить ему денег; к большой моей радости, дня два или три спустя такой случай представился.

Несколько погодя он описал мне без утайки, — правда не все сразу, — неприятности, которые ему пришлось перенести от еврея, а также, каких все это стоило ему денег; ему, как я уже о том говорила, удалось, наконец, бросить того в тюрьму и предъявить ему иск на довольно солидную сумму — правда, у негодяя не было, чем ее выплатить. Еще он рассказал мне, как камердинер принца ***ского, возмутившись тем, как еврей обошелся с его господином, подстроил историю на Pont-Neuf *, о чем я уже говорила и чему от души посмеялась.

---

* Новый мост (*франц.*).

— Как досадно, — сказала я, — что остается сидеть сложа руки и что я не в состоянии вознаградить этого камердинера! — И прибавила: — Быть может, вы, сударь, научите меня, как тут поступить; я бы хотела сделать ему щедрый подарок в знак благодарности за то, что он вступился за мою честь, а также за честь его господина принца ***ского.

Он сказал, что готов сделать все, что я ему поручу, и я попросила его переслать камердинеру 500 крон.

— Это слишком много, — сказал он. — В истории с евреем он вступился не столько за вас, сколько за своего господина.

Впрочем, мы все равно ничего сделать не могли, ибо ни он, ни я не знали, куда ему адресовать письмо, ни как к нему послать человека. Придется подождать до того времени, сказала я, когда я вернусь в Англию, ибо он некогда волочился за моей служанкой Эми, которая и по сей день находится с ним в переписке.

— Однако, сударь, — сказала я, — если мне не должно забывать о благородном заступничестве камердинера, то мне тем более следует возместить убытки, которые пришлось понести из-за меня вам. Итак, вы истратили ..?

Здесь я остановилась, пытаясь подсчитать названные им в разное время суммы, которые ему пришлось выложить, когда у него шла тяжба с этим плутом и мошенником. Я прикинула, что вместе они должны были составить никак не меньше 2 130 крон. Я вытащила пачку векселей, по которым следовало взыскать у одного купца в Амстердаме, а также мой банковский счет, и принялась перебирать их, с тем чтобы ему вручить. Он же, очевидно, догадавшись о моем намерении, с горячностью меня остановил и попросил убрать все мои счета и векселя, говоря, что никаких денег у меня не возьмет и что вовсе не затем поведал мне о своих приключениях с евреем; нет, сказал он далее, это он сам на свою голову — пусть и с благими намерениями — привел негодяя ко мне, а посему и должен сам, в виде наказания за то, что послужил причиной моего несчастья, понести все расходы. Неужели, спросил он, я столь дурного о нем мнения и думаю, что он способен взять деньги у вдовы, попавшей в затруднительное положение, да еще на чужбине, и все — за небольшое одолжение, какое ему удалось мне оказать? Однако, продолжал он, ему хотелось бы повторить еще раз, что он мечтает со мною сквитаться более серьезным образом и помочь мне, как он уже говорил ранее, занять то положение, в каком я могла бы вознаградить его доброту (как мне угодно было именовать его услуги); тогда-то, сказал он, мы и поговорим об окончательном расчете.

Я уже ждала, что он выскажется до конца, но он по-прежнему откладывал самый главный разговор, из чего я вывела, что он не имел в виду любовь, ибо с этим делом обычно не мешкают. Следовательно, решила я, говоря об окончательном расчете, он имел в виду все же деньги. Придя к такому убеждению, я ему сказала, что поскольку он знает, что я чувствую себя обязанной ему всем и не откажу ему ни в чем, что в моих силах, и видя, что он затрудняется открыться мне, беру на себя смелость тре-

бовать, чтобы он откровенно рассказал мне, что его гнетет и как обстоят его дела в рассуждении денег и имущества; ведь ему лучше даже, чем мне самой, сказала я, известно, какими суммами я располагаю, и что если он испытывает нужду в деньгах, я предоставлю ему любую сумму в пределах пяти или шести тысяч пистолей, каковые он может мне отдать, когда ему то позволят его обстоятельства; если же он и не окажется в состоянии выплатить их мне, заключила я, я никогда их с него не стребую.

Выслушав меня, он поднялся со стула и, отвесив почтительный поклон, принялся благодарить меня в изысканных выражениях, и я поняла, что люди, среди которых он вырос, отличаются гораздо более любезными манерами, нежели то принято думать о голландцах[67]. Затем он подошел ко мне и стал меня уверять, пересыпая свои заверения словами благодарности за мое доброе предложение, что не нуждается в деньгах ни в малейшей мере; если не считать смерти жены и одного из детей, что, разумеется, причинило ему большое огорчение, сказал он, во всех прочих своих делах он не потерпел никакого урона; способ же, которым он намеревается предложить мне расквитаться за все, что он был в состоянии для меня сделать, не имеет ни малейшего касательства к его денежным делам: короче говоря, он хотел, поскольку провидение (словно нарочно) лишило его жены, чтобы я возместила ему эту потерю. В заключение он прижал меня к груди и принялся меня целовать; он не давал мне перевести дух, так что я даже не могла произнести слова «нет».

Наконец, когда мне удалось высвободиться из его объятий, я ему сказала, что — как я уже говорила прежде, — я не в состоянии отказать ему ни в чем, кроме одного и весьма сокрушаюсь, что он просит о том единственном, чего я не могу ему дать.

Я не могла не усмехнуться про себя, что он так долго кружил и подходил окольными путями к тому, что, — если бы он только знал, — не представляло собой столь большой драгоценности. Впрочем, была и другая причина, мешавшая мне принять его предложение, между тем, как, если бы он обратился ко мне с менее честными и добродетельными намерениями, я бы ему, верно, не отказала. Но об этом я скажу дальше.

Как я уже говорила, он долго кружил вокруг да около, прежде чем высказать свою просьбу; зато, высказав ее, был так настойчив, что не принимал моего отказа, или, во всяком случае, отказывался его принять. Я, однако, упорно стояла на своем, хоть и облекла свой отказ в самую почтительную и любезную форму, в какую могла, повторяя вновь и вновь, что ни в чем другом я бы ему не отказала; я испытываю к нему, сказала я, величайшее уважение и готова обращаться с ним свободно и непринужденно, как если бы он был мне братом.

Он всеми способами пытался меня переубедить, но я оставалась непреклонна. Наконец, он избрал средство, которое, как он себе льстил, окажется безошибочным, — таким оно, наверное, и было бы с любой другой женщиной на свете. Заключалось оно в том, чтобы, застигнув меня врасплох, мною овладеть, после чего само благоразумие, казалось бы, должно было заставить меня с готовностью вступить с ним в брак.

К этому времени мы позволяли себе такие вольности, какие приняты лишь между супругами — во всяком случае, они допустимы лишь между людьми, состоящими в законном браке; впрочем, мы никогда не переходили границ приличия и благопристойности. Но однажды вечером мы выпили больше вина, чем обычно, и мне показалось, что он нарочно подливает мне еще и еще; я решила сделать вид, что охмелела не меньше его, с тем чтобы, словом, если он мне что и предложит, особенно не упорствовать.

Около часу ночи — так мы с ним засиделись — я сказала: — Смотрите, уже пробило час! Мне пора ложиться.

— Ну что ж, — сказал он. — Я лягу с вами.

— Нет, нет, — сказала я. — Ступайте к себе.

Он снова сказал, что ляжет со мной.

— Право, — сказала я, — раз вы так говорите, я не знаю, что и ответить. Я не могу устоять против вас, коль скоро вы решились.

Впрочем, я от него вырвалась и прошла к себе в спальню, однако дверь не закрыла, благодаря чему он мог свободно видеть, что я начала раздеваться; тогда он отправляется в свою комнату — она была ведь на одном этаже с моей — наскоро раздевается тоже и в комнатных туфлях и халате подходит к моей двери.

Полагая, что он ушел совсем и что, стало быть, он только пошутил и либо робел, либо и не имел серьезного намерения исполнить то, о чем говорил, я закрыла дверь, но не заперла ее на ключ, так как это вообще не было в моем обычае, и даже не задвинула засова. Не успела я лечь, как появляется он в своем халате и, приоткрыв дверь чуть-чуть, так что он не мог даже просунуть в нее голову, говорит тихонько:

— Как? Вы в самом деле уже легли?

— Да, да, — говорю я. — Ступайте к себе.

— Ну, нет, — говорит он. — Никуда я не пойду. Вы же сами сказали, что позволите мне с вами лечь, а теперь «ступайте». Нет и нет!

И входит в комнату, запирает дверь изнутри и в ту же минуту оказывается подле моей постели. Я нарочно начинаю браниться и обороняться и с еще большей горячностью, чем прежде, велю ему меня покинуть. Все, однако, напрасно; на нем ничего не было, кроме туфель, халата да еще нижней рубахи. Он скинул халат, отвернул мое одеяло и забрался ко мне в постель.

Некоторое время я еще противилась, но это было только для вида, ибо, как я уже говорила, я с самого начала задумала, что позволю ему, если он захочет, лечь со мною, а дальше — будь что будет!

Итак, он провел со мной и ту ночь, и следующую, и третью тоже; днем же все это время мы очень веселились. На третью ночь, однако, он сделался несколько серьезней.

— Вот что, душа моя, — сказал он, — хоть я зашел дальше, нежели намеревался, а также дальше, нежели вы того ожидали, ведь я к вам обращался не иначе как с честным предложением, — так вот, чтобы поправить дело и доказать вам совершенную искренность намерений, какие я имел

с самого начала, а также верность, кою обязуюсь соблюдать всегда, я и сейчас готов вступить с вами в брак и хочу обвенчаться завтра утром — на тех же справедливых условиях, какие я предлагал раньше.

Следует признать, что это в самом деле свидетельствовало как о честности его намерений, так и о великой его ко мне любви. Я же истолковала его слова совсем в другую сторону, а именно — что он зарится на мои деньги. Как же он изумился, как смутился, когда, выслушав его предложение с холодным равнодушием, я вновь повторила, что он просит меня о том единственном, чего я не в силах ему даровать.

Он был поражен.

— Как? — воскликнул он. — Вы мне отказываете? И когда же? После того, как я с вами спал!

Я отвечала ему холодно, но по-прежнему учтиво.

— Это верно, — сказала я, — к вящему моему позору, это так. Вы застигли меня врасплох и завладели мною. Не примите, однако, за обиду, но я все равно не могу согласиться сделаться вашей женой. Если у меня родится ребенок, — продолжала я, — я поступлю с ним, как вы укажете; надеюсь, вы не выставите меня на всеобщее позорище за то, что я выставила себя на позор вам. Но, воля ваша, дальше я не иду.

На этом я твердо стояла и не желала слушать о браке.

Все это может показаться не совсем понятным. Попытаюсь объяснить свой поступок, насколько я сама его тогда понимала. Я знала, что на положении любовницы я, по установленному обычаю, получала бы содержание от любовника; между тем как вступивши в брак, я теряю все свое имущество, которое перейдет в руки мужа и сама я должна буду во всем ему подчиняться. Поскольку денег у меня было достаточно и положение брошенной любовницы в будущем меня не страшило, мне не было никакой причины дарить ему двадцать тысяч за то, чтобы он на мне женился, — слишком дорогая цена за кров и стол!

Таким образом, его план сойтись со мною, дабы меня обезоружить, обратился против него самого, и он оказался ничуть не ближе к своей цели — сделаться моим мужем, — чем прежде. Он исчерпал все свои доводы в пользу брака, ибо я решительно отказалась выходить за него замуж, и так как он отклонил предложенную мною тысячу пистолей в возмещение убытков, которые он понес в Париже из-за еврея, в надежде, что на мне женится, теперь, когда он понял, что этой надежде не суждено сбыться, он был ошеломлен и, как мне казалось, я имела основания полагать, раскаивался в том, что не взял этих денег.

Так, впрочем, обычно и бывает с людьми, которые добиваются осуществления своих желаний неправедными путями. Я, та самая я, что ощущала себя в неоплатном перед ним долгу, теперь говорила с ним так, точно уже с ним расквиталась, словно оценивала счастье разделить ложе с потаскухой в тысячу пистолей, мало того, этим как бы покрывалось все, чем я была ему обязана: и жизнью и всем моим имуществом.

Но он сам был в том повинен, и пусть это была невыгодная сделка, она с начала до конца была затеяна им, и он не имел никаких оснований

винить меня в том, что я его в нее впутала. Но если он задумал со мною переспать, рассчитывая таким образом побудить меня на брак с ним, то и я оказала ему эту *милость* (как ему угодно было именовать наш грех), чтобы таким образом расквитаться с ним за все его милости и с чистой совестью удержать свою тысячу пистолей.

Видно, просчет этот его немало огорчил и он долгое время не знал, что придумать; овладев мною, он рассчитывал добиться моего согласия на брак, иначе бы он не стремился к этой победе; но если бы он не знал, что у меня есть денежки, рассуждала я, вряд ли он захотел бы на мне жениться после того, как я позволила ему разделить со мной ложе. Ибо какой мужчина захочет жениться на обесчещенной потаскухе, пусть даже он сам ее и обесчестил? А поскольку я знала его за человека неглупого, я вряд ли была несправедлива, полагая, что, кабы не мои деньги, он бы не стремился на мне жениться — да притом еще после того, как я ему и так уступила, позволив ему делать со мной, что вздумается, без всяких предварительных условий.

Итак, до сего времени каждый мог лишь догадываться о намерениях другого; но так как он продолжал настаивать на своем желании на мне жениться, несмотря на то, что спал со мной и мог со мною спать сколько ему вздумается, а я — столь же упорно отказывалась выходить за него замуж, естественно, что вопрос этот служил у нас постоянным предметом обсуждения и что рано или поздно мы должны были объясниться начистоту.

Однажды утром, когда мы предавались нашим незаконным ласкам, иначе говоря, лежали вдвоем в постели, он вздохнул и сказал, что хотел бы задать мне некий вопрос и одновременно просить меня ответить с той же простодушной непринужденностью и открытостью, с какой я привыкла с ним обращаться. Я пообещала. Отчего же, спросил он, отчего я не соглашаюсь выйти за него замуж, раз я все равно позволяю ему все те вольности, что дозволены между мужем и женой? Вернее, поправился он, отчего, моя милая, раз уж ты так добра, что пускаешь меня к себе в постель, отчего не хочешь назвать меня своим всецело, взять меня к себе навсегда, дабы мы могли наслаждаться нашей любовью, не пороча себя?

По той же причине, по какой брак, о чем я ему призналась с самого начала, есть то единственное, в чем я вынуждена ему отказать, сказала я ему в ответ, по той же причине я не в состоянии открыть ему, сказала я, причины, вынуждающей меня отклонить его предложение. Это верно, продолжала я, что я даровала ему то, что считается величайшей милостью, какую может даровать женщина; однако, как он сам мог убедиться, сила моей благодарности к нему за то, что он вызволил меня из тягчайшего положения, в какое я когда-либо попадала, такова, что я не в состоянии ему ни в чем отказать; он должен понимать, что если бы я могла вознаградить его еще большими милостями, я сделала бы для него все, что угодно, — исключая один лишь брак. Ведь из всех моих поступков он может видеть, сколь велика моя к нему любовь; однако, что касается брака,

то есть отказа от свободы, я, как ему известно, это однажды уже испытала, и он видел, в какой благодаря этому я попала переплет, какие бури и невзгоды мне пришлось пережить. Все это вызвало у меня отвращение к браку, сказала я, и я прошу его больше никогда на этом не настаивать. В том, что к нему самому у меня нет ни малейшего отвращения, он мог убедиться; если же у меня будет от него ребенок, я завещаю ему все мое имущество в знак моей любви к его отцу.

Он долго обдумывал свой ответ и наконец сказал:

— Послушай, милая, на свете еще не было женщины, которая отказалась бы выйти замуж за человека, после того, как допустила его до своей постели. За этим, должно быть, кроется какая-нибудь причина. Исполни же еще одну просьбу — если я правильно эту причину угадаю и устраню ее, тогда ты уступишь мне, наконец?

Я сказала, что если бы ему удалось причину эту устранить, мне пришлось бы уступить, ибо я, разумеется, соглашусь на все, против чего не имею причины возражать.

— Итак, душа моя, либо вы дали слово другому или даже состоите в браке, либо не желаете вручить мне деньги, которыми владеете, рассчитывая с таким приданым на более выгодную партию. Коли верна моя первая догадка, я не скажу более ни слова, будь по-вашему; но если причина кроется в другом, я готов ее устранить и отмести все ваши возражения.

По поводу первого его предположения я его тотчас оборвала, говоря, что он, должно быть, очень дурного мнения, если допускает, что я способна была ему отдаться и продолжаю дозволять ему всякие вольности, будучи невестой или женой другого. И я заверила его, что его догадка никоим образом не верна, ни в какой ее части.

— Коли так, сказал он, — и если верно мое второе предположение, я могу устранить эту причину. Итак, я обязуюсь без вашего согласия не прикасаться ни к одному пистолю из вашего состояния — ни теперь, ни в какое другое время, и вы будете всю жизнь распоряжаться своим имуществом, как вам заблагорассудится, а после смерти — откажете его кому захотите.

Далее он сказал, что может полностью содержать меня на свои деньги и что не они заставили его покинуть Париж.

Я не в силах была скрыть от него изумления, в какое меня повергли его слова. Дело не в том лишь, что я ничего подобного не ожидала, но и в том, что я затруднялась, как ответить. Он ведь и в самом деле устранил главную, — а, впрочем, и единственную, — причину моего отказа, и теперь мне было нечего ему сказать; ибо, согласись я на его благородное предложение, я тем самым как бы признала, что причиной моего отказа до этого были деньги, и что в то время, как я с такой готовностью поступалась своей честью и рисковала репутацией, я вместе с тем не желала поступиться деньгами. Так оно, разумеется, на самом деле и было, однако не могла же я признаться в столь грубой корысти и на этом основании согласиться стать его женой! К тому же вступить с ним в брак и

не позволить ему управлять моими деньгами и всем моим имуществом было бы на мой взгляд не только варварством и бесчеловечностью, но еще и явилось бы постоянным источником взаимного недоверия и недовольства. Итак, мне пришлось дать всему делу совсем иной оборот, и я заговорила в высокопарном тоне, вовсе не соответствовавшем моим первоначальным мыслям, ибо, признаюсь, как я об этом уже говорила, передача имущества в другие руки, потеря власти над моими деньгами и составляла единственную причину, побуждавшую меня отказываться от вступления в брак. Однако я придала всему разговору иной оборот.

По всей видимости, начала я, мои взгляды на брак существенно отличаются от общепринятого; я считаю, сказала я, что женщина должна быть столь же свободна и независима, как и мужчина, что она родилась свободной и способна присмотреть за своими делами и с таким же успехом пользоваться свободой, что и мужчина; между тем брачное право зиждется на противоположных взглядах, и человеческий род в наше время руководствуется совершенно иными принципами, при которых женщина, например, всецело должна отказаться от собственной личности, вручив ее мужу; она сдается ему на милость для того, чтобы сделаться чем-то вроде старшей служанки в его доме и это — в лучшем случае; с той минуты, что она берет себе мужа, ее положение можно сравнить с положением слуги в древнем Израиле[68], которому просверливают дыру в ухе, вернее, прибивают его ухо гвоздем к дверному косяку — церемония, знаменующая его вступление в пожизненное рабство; короче говоря, суть брачного контракта сводится к тому, чтобы женщина уступала свою свободу, свое имущество, свою волю, словом все, что имеет, мужу, после чего она и в самом деле до конца своей жизни остается женой, или, иначе говоря, рабыней.

На это он ответил, что, хоть в некоторых отношениях дело обстоит так, как я описала, нельзя, однако, забывать, что все это уравнивается, ибо бремя забот по содержанию семьи возлагается на плечи мужчины, и что если ему и больше доверено, то ведь и трудиться приходится ему; на нем вся работа и забота; женщине между тем остается лишь сладко есть да мягко спать, сидеть, сложа ручки, да поглядывать вокруг себя; принимать ухаживания и восторги; ей все подают, ее любят и лелеют — в особенности, если муж ведет себя, как подобает; ведь в том и заключается главное назначение мужчины, чтобы женщина жила в покое и холе, ни о чем не заботясь; ведь это только так говорится, что она в подчинении у мужа; если у низших слоев общества женщине и приходится заниматься хозяйством и готовить пищу, то и здесь — ей выпадает более легкая доля, чем мужчине, ибо женщине, к какому бы разряду общества она ни принадлежала, дано право распоряжаться всем, что ее муж добывает для дома, иначе говоря, — тратить то, что он зарабатывает. Говорят, что женщины в подчинении у мужчин, — но это одна видимость: на самом деле в большинстве случаев верховодят они, и притом не только своими мужьями, но и всем, что у тех имеется; всем-то они заправляют! Если только муж честно исполняет свой долг, жизнь жены течет легко

и покойно, и ей не о чем заботиться, кроме как о том, чтобы всем вокруг нее было покойно и весело.

Я возразила, что женщина, покуда она незамужем, по своей самостоятельности может равняться с мужчиной; что она распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению, руководствуется в своих поступках собственным желанием; словом, не связанная браком, она все равно, что мужчина, ни перед кем не держит ответа, никем не руководима, никому не подчинена.

Здесь я спела ему куплет сочинения мистера ***:

Из девушек любого рода
Милее всех мне мисс Свобода.

И еще я прибавила, что всякая женщина, обладающая состоянием, которая соглашается от него отказаться, дабы сделаться рабыней — пусть даже высокопоставленного человека — просто-напросто дурочка, и ее достойный удел — нищета. По моему мнению, продолжала я, женщина способна управлять и пользоваться своим состоянием без мужчины ничуть не хуже, чем мужчина без женщины; если же ей нужны любовные утехи, она вольна взять себе любовника, подобно тому, как мужчина берет себе любовницу. До брака она принадлежит одной себе, если же она добровольно отказывается от этой власти, она тем самым заслуживает самой горькой участи, какая выпадает кому-либо на долю.

В ответ на это, он не мог привести ни одного убедительного довода, кроме того, что обычай, против которого я восстаю, принят во всем мире, и что он не видит причин, почему бы мне не довольствоваться тем, чем довольствуется весь свет; что там, где между супругами царит истинная любовь, нет места для моих опасений, будто жена становится служанкой и невольницей, что при взаимной привязанности не может быть речи о рабстве, что у обоих одна лишь цель, одно стремление — дать друг другу наиболее полное счастье.

— Против этого-то я и восстаю, — сказала я. — Под предлогом любви женщину лишают всего, что делает ее самостоятельным человеком; у нее не может быть собственных интересов, стремлений, взглядов; ей вменяется в обязанность разделять интересы, стремления и взгляды мужа. Да, — продолжала я, — она становится тем пассивным существом, какое описываете вы; живет в полном бездействии и верует не в бога, а в мужа; благоденствует, либо гибнет в зависимости от того, умный ли человек ее муж или глупый, счастлив в своих делах или неудачлив. Сама того не зная, полагая себя счастливой и благополучной, она вдруг без всякого предупреждения, без малейшего намека, ни минуты о том не подозревая заранее, — оказывается погруженной в нужду и невзгоды. Как часто мне доводилось видеть женщину, окруженную роскошью, какую только дозволяет огромное состояние, обладающую собственной каретой и выездом, великолепной мебелью и многочисленной прислугой, наслаждающуюся семейным благополучием и дружбой, принимающую высокопоставленных друзей, выезжающую в высший свет, — сколько раз, говорю, доводилось

мне видеть, как она всего этого лишалась в один день вследствие внезапного банкротства ее мужа! Изо всех ее нарядов ей оставляют лишь одно платье — то, что на ней; ее вдовья часть, если таковая имеется, а муж ее жив, уходит целиком в карман кредиторов; сама она оказывается на улице, и ей остается — либо зависеть от милости родственников, если таковые имеются, либо следовать за своим мужем и повелителем в Монетный двор[69] и разделять с ним жалкие остатки его былого богатства, покуда он не будет вынужден бежать и оттуда, бросив жену на произвол судьбы; ее родные дети голодают, сама она несчастна, чахнет и, рыдая, сходит в могилу. Такова участь многих женщин, — заключила я, — начавших жизнь с десятью тысячами фунтов приданого.

Он не мог знать, с каким непритворным чувством я нарисовала эту картину и какие крайности этого рода мне довелось испытать самой; как близка я была к тому концу, который описала, а именно — изойти слезами и умереть; и как чуть ли не два года кряду самым настоящим образом голодала.

Однако, покачав головой, он спросил, где же я жила, среди каких чудовищ, что я так напугана и лелею столь ужасные предчувствия? Быть может, такое и бывает, сказал он, — там, где люди пускаются на рискованные дела и неосторожно, не дав себе сколько-нибудь поразмыслить, ставят все свое состояние на карту и, не имея на это должных средств, идут на всевозможные авантюры и прочее; в нашем случае, однако, его собственное состояние равно моему, и мы вместе, если я решусь заключить с ним союз, могли бы, бросив дела, поселиться в Англии, Франции, Голландии или в какой мне угодно другой стороне; и жили бы там так счастливо, как только возможно жить на этом свете; если, не доверяя ему, мне захотелось бы управлять нашим общим имуществом самой, он не стал бы чинить мне препятствий и в этом, ибо готов полностью доверить мне свою часть. Словом, мы плыли бы на одном корабле, где я была бы за рулевого.

— Ну, да, — возразила я, — вы меня поставите за рулевого, но править судном будете все равно вы; так на море юнга стоит за штурвалом на вахте, но боцманом остается тот, кто дает рулевому команду.

Мое сравнение его рассмешило.

— Нет, нет, — сказал он. — Ты будешь у нас за боцмана. Ты поведешь корабль.

— Знаем мы вас, — ответила я. — Покуда на то будет ваша воля. Но всякую минуту ты можешь взять штурвал из моих рук, а меня усадить за прялку. Пойми, что сомнения мои относятся не к твоей особе, а к брачным законам, которые дают тебе власть надо мной и предписывают тебе повелевать, а мне — подчиняться! Пока еще мы с тобой на равной ноге, но через какой-нибудь час все может перемениться, и ты будешь восседать на троне, а твоя смиренная жена жаться к твоим ногам на приступочке; все же прочее — все то, что ты именуешь общностью интересов, взаимным уважением и так далее, зависит от твоей доброй воли, следовательно, это всего лишь любезность, за которую женщина, разумеется,

должна быть бесконечно благодарна. Однако в тех случаях, когда ей эту любезность не оказывают, она бессильна.

Несмотря на все мои слова, он все еще не сдавался и коснулся более важных сторон брака, полагая, что в этой области окажется сильнее меня. Он начал с того, что брак освящен небесами, что господь бог избрал этот союз для вящего блаженства человеческого, а также ради того, чтобы обосновать законный порядок наследования. Ведь только рожденные в браке дети имеют законные основания претендовать на имущество родителей, меж тем как все прочие обречены на позор и бесправие. Надо отдать ему справедливость, что касательно этой стороны дела, он рассуждал превосходно.

Но это ему не помогло. Я поймала его на слове.

— Коль скоро речь идет о нас с вами, сударь, — сказала я, — правда, разумеется, на вашей стороне. Но было бы невеликодушно с вашей стороны воспользоваться этим. Да, да, — продолжала я, — я всей душой согласна с вами, что лучше было бы мне выйти за вас замуж, нежели дозволить вам неосвященные законом вольности. Но поскольку я, по приведенным выше причинам, являюсь противницей брака, а вместе с тем питаю к вам достаточно нежные чувства и считаю себя более, чем обязанной вам, то мне пришлось уступить вашим домогательствам и пожертвовать своей добродетелью. Однако у меня есть два способа загладить свое бесчестие, не прибегая к столь крайней мере, как вступление в брак, а именно: принести чистосердечное покаяние за прошлое и не грешить больше в будущем.

Он казался весьма огорченным тем, как я приняла его слова, и стал уверять меня в том, что я неправильно их истолковала, что он не столь дурно воспитан и к тому же слишком сильно меня любит, чтобы несправедливо меня попрекать, тогда как сам же меня вовлек в грех; что слова его были всего лишь ответом на мои рассуждения, будто женщина, коли захочет, вправе брать себе любовника, подобно тому, как мужчина берет себе любовницу, и что я, как будто, оправдываю подобную связь, почитая ее столь же законной, как и брак.

После этого мы еще некоторое время обменивались любезностями, которые не стоят того, чтобы их здесь повторять. Наконец я сказала, что он, должно быть, полагал меня в своей власти после того, как я дозволила ему со мною лечь; в самом деле он имел все основания так думать, присовокупила я; однако, по той же причине, что я ему уже приводила, — в моем случае наша близость, напротив, служит препятствием к браку: коли женщина имела слабость отдаться мужчине до брака, то выйти замуж после этого и связать себя на всю жизнь с единственным человеком, который вправе попрекнуть ее этим грехом, значило бы к первой оплошности прибавить вторую; и если женщина, уступая домогательствам мужчины, соглашается на такое бесчестие, ведет себя, как дурочка, то, взяв его себе в мужья, она уже являет свою глупость всему миру. Нет, противиться соблазнителю есть высшее мужество и, явив его, женщина может рассчитывать на то, что грех ее со временем будет предан забвению

и все укоры отпадут сами собой. Послушные велениям судьбы, мужчина и женщина, каждый идут своим путем. И если оба будут держать язык за зубами, все толки об их безрассудстве умолкнут.

— Выйти же замуж за любовника, — сказала я, — неслыханное дело и — не в обиду вам сказано — все равно, что, извалявшись в грязи, так из нее всю жизнь не вылезать. Нет, и еще раз нет, — заключила я, — мужчина, который обладал мной как любовницей, не должен обладать мной как супругой! Иначе он, мало того, что увековечивает память о грехе, еще возводит его в семейное предание. Если женщина выходит замуж за человека, который был прежде того ее любовником, она несет это пятно до смертного часа; на сто тысяч мужчин найдется разве один, который бы раньше или позже ее не попрекнул; если у них родятся дети, они непременно, так или иначе, об этом узнают; и если дети эти впоследствии окажутся людьми добродетельными, они справедливо вознегодуют на свою мать; если же порочны, мать с сокрушением должна будет наблюдать, как они идут по ее стопам, оправдываясь тем, что она первая показала эту дорогу. Если же любовники попросту разойдутся, на том кончится их грех, и умолкнут толки: время сотрет память о нем; а, впрочем, женщине достаточно переехать с одной улицы на другую, чтобы не услышать больше и малейшего намека на свое приключение.

Он был поражен моим рассуждением и сказал, что должен признать его в основном справедливым и что в той его части, в какой я говорила об имущественном положении, я рассуждала, как настоящий мужчина. Да, он был даже склонен до известной степени со мной согласиться, но для этого, сказал он, надо принять, что женщины способны управлять своим имуществом; однако за редкими исключениями они подобной способностью не обладают, они так созданы и лучшее, что может для себя сделать женщина, — это избрать умного и честного мужа, который не только любил бы ее и лелеял, но также оказывал ей должное уважение — тогда она будет жить покойно и без забот.

На это я ему возразила, что подобное спокойствие достигается слишком большой ценой и что сплошь да рядом избавленная таким образом от забот женщина бывает заодно избавлена также и от своих денег. Нет, нет, сказала я, нашей сестре следует поменьше бояться забот да побольше тревожиться за свои деньги! Коли она никому не станет доверяться, некому будет ее обмануть, — держать жезл управления в своих руках — вернейший залог спокойствия.

Он отвечал, что взгляды мои являются новшеством и что какими бы хитроумными доводами я их ни подкрепляла, они полностью расходятся с общепринятыми; он далее признал, что они его весьма огорчают и что если бы он предполагал, что я их придерживаюсь, он ни за что бы не пошел на то, на что он пошел, — ибо у него не было бесчестных намерений, и он собирался полностью искупить свою вину передо мной; он чрезвычайно сожалеет, сказал он, что не преуспел в этом; никогда в будущем он не стал бы меня попрекать и был столь доброго обо мне мнения, что не сомневался в моем доверии к нему. Но раз я столь упорно отвечаю

ему отказом, единственный способ избавить меня от укоров — это ему возвратиться в Париж, дабы, в соответствии со взглядами, кои я изложила, все было предано забвению и никто впредь не мог меня попрекнуть.

Его ответ не доставил мне никакой радости, ибо я и в мыслях не имела его отпустить, хоть и не намеревалась дать ему надо мною власть, какую он получил бы, женившись на мне. Таким образом я пребывала в недоумении и нерешительности, не зная, что теперь предпринять.

Как я уже сказывала, жили мы с ним в одном доме, и я видела, что он готовится к отъезду в Париж, главное же, я обнаружила, что он переводит деньги в Париж, — как я о том узнала впоследствии, в уплату за вина, заказанные им в Труа, что в Шампани. Я не знала, как быть. Меньше всего хотелось мне с ним разлучаться. И еще я обнаружила, что понесла от него, о чем еще не успела ему сообщить; да и вообще я подумывала не ставить его о том в известность. Но я была в чужих краях, где не имела никаких знакомств, и хоть состояние мое было изрядно, это последнее обстоятельство было тем более опасно, поскольку я не имела друзей.

Все это понудило меня обратиться к нему однажды утром, когда мне показалось, что я вижу признаки уныния и нерешительности.

— Сдается мне, — так я начала, — что у тебя не хватит духу меня сейчас покинуть.

— А раз так, — отвечал он, — с твоей стороны вдвойне жестоко отказывать человеку, который не имеет сил с тобою расстаться.

— У меня столь мало жестокосердия к тебе, — сказала я, — что я готова следовать за тобою куда угодно, коли ты того пожелаешь, но только не в Париж, куда, как тебе известно, путь мне заказан.

— Как жаль, — сказал он, — что столь сильная взаимная любовь обречена на разлуку!

— Зачем же, — спросила я, — ты в таком случае от меня уезжаешь?

— Затем, — ответствовал он, — что ты отказываешься меня принять.

— Но коли я отказываюсь тебя принять здесь, то почему бы тебе не увезти меня в другое место — куда угодно, кроме Парижа?

Он отвечал, что ему никуда не хотелось бы отсюда уезжать без меня, но если уезжать, то есть всего два места, куда бы он мог направиться: либо в Париж, либо в Индию.

На это я сказала, что при дворе мне делать нечего, но что если ему необходимо надобно в Индию, я бы рискнула поехать с ним туда.

Особенной необходимости куда-либо ехать у него, слава богу, нет, сказал он, но просто в Индии его ожидало соблазнительное деловое предложение.

Я повторила, что не имею ничего сказать против Индии, и что хотела бы, чтобы он увез меня куда угодно, кроме Парижа, где, как он знает, мне появляться нельзя.

Он сказал, что у него нет иного выхода, как ехать туда, куда мне ехать нельзя, ибо видеть меня и не обладать мною слишком для него нестерпимая мука.

Я сказала, что более горьких слов он не мог произнести и что мне в самую пору обидеться на него — ведь я доказала ему свою любовь, соглашаясь принадлежать ему, и лишь в одном оставаясь непреклонной.

Слова мои повергли его в изумление. Хоть мне и угодно держаться с ним столь загадочно, сказал он, нет другого человека, кто бы имел такую над ним власть, чтобы помешать ему ехать туда, куда он задумал; мое же влияние на него столь велико, что я могу, — так он сказал, — заставить его совершить какой угодно поступок.

Да, сказала я, у меня есть способ удержать его от поездки, ибо, зная его справедливость, я уверена, что он не способен поступить со мной жестоко; и, чтобы прекратить его страдание, я открылась ему, что жду ребенка.

Не успела я это произнести, как он бросился ко мне, и, нежно меня обняв, поцеловал меня чуть ли не тысячу раз. Как же могла я быть столь жестокой к нему, пенял он, и не сказать ему о своем положении сразу?

Но разве не горько, сказала я ему, что для того, чтобы удержать его при себе, мне пришлось, словно преступнице, осужденной на виселицу, сослаться на то, что я брюхата?[70] Я полагала, что и без того явила ему достаточно знаков своей привязанности к нему, не уступающих, сказала я, супружеской; ведь я не только спала с ним, не только от него понесла, не только показала, сколь нестерпима для меня была бы разлука, но и изъявила готовность ехать с ним в Индию. И кроме одного-единственного его желания, которое для меня невыполнимо, чем еще могу я доказать ему свою любовь?

Долгое время он не мог вымолвить слова, и наконец, выйдя из оцепенения, сказал, что у него ко мне большой разговор, к которому он готов, однако, приступить не прежде, чем я заверю его, что не приму в обиду некоторую вольность в выражениях, к каким ему придется прибегнуть.

Я сказала, что нет такой вольности в словах, какую бы я ему не дозволила, ибо женщина, дозволившая все те вольности в поступках, какие дозволила я, не вправе возражать против вольности в разговоре с нею.

— Хорошо же, — приступил он. — Надеюсь, сударыня, вы не сомневаетесь в том, что я добрый христианин и что для меня существуют святыни, которые я уважаю. Когда я, впервые в жизни пренебрегши моей добродетелью, заставил вас поступиться своею, когда я внезапно и, можно сказать, силою, вынудил вас свершить то, чего ни вы, ни я и в мыслях дотоле не имели, — даже в ту минуту я действовал в расчете, что вы не откажетесь выйти за меня замуж, после того как отдались мне совершенно. Я имел самые серьезные намерения жениться.

Однако полученный мною отказ, на какой в ваших обстоятельствах не отважилась бы ни одна женщина, поразил меня несказанно. В самом деле, никому не доводилось слышать, чтобы женщина отказалась выйти за человека, с которым она уже делила ложе и — больше того — от которого ожидает ребенка! Впрочем, вы сильно расходитесь с общепринятым мне-

нием и хоть доводы, которые вы приводите, столь убедительны, что заставят любого мужчину растеряться, я все же вынужден признать, что нахожу ваше решение противным человеческой природе, а также весьма жестоким по отношению к вам самой. Главное же, это жестоко к нерожденному младенцу, которого — в случае, если бы мы поженились — ожидала бы самая блистательная будущность; в противном же случае, его следует считать погибшим еще до рождения; ему предстоит всю жизнь нести укор за то, в чем он ничуть неповинен, клеймо бесчестья будет на нем с самой колыбели, ему вменятся преступление и безрассудство его родителей, и он будет страдать за грехи, коих не совершал. Это с вашей стороны мне кажется жестоким и даже чудовищным по отношению к нерожденному еще дитяти. Или вы лишены естественного чувства, свойственного всякой матери, и не желаете, чтобы ваше дитя имело одинаковые права со всеми обитателями мира сего, а вместо того хотите, чтобы он, к вящему нашему позору, всю жизнь проклинал своих родителей? Поэтому, — продолжал он, — я все же прошу и заклинаю вас как христианскую душу, как мать: не дайте невинному агнцу погибнуть еще до своего рождения, не вынуждайте его впоследствии клясть и укорять нас за то, чего с такой легкостью можно избегнуть?

Итак, любезнейшая моя госпожа, — заключил он с величайшей нежностью в голосе (мне даже показалось, что у него выступили слезы на глазах) — позвольте мне еще раз повторить, что я сознаю себя христианином, а, следовательно, не могу расценивать мой неосмотрительный и необдуманный поступок, иначе, как беззаконие; а посему, хоть я и совершил — в расчете на обстоятельство, уже мною упомянутое, — один неосмотрительный поступок, я не могу с чистой совестью продолжать то, что мы оба с вами осуждаем в душе. И хоть я обожаю вас превыше всех женщин на свете, что и доказал, по моему мнению, решившись жениться на вас после того, что между нами было, а также отказавшись от каких бы то ни было притязаний на какую бы то ни было часть вашего состояния, и таким образом взять за себя женщину, с которой я уже спал, да еще без гроша приданого (а мои обстоятельства таковы, что я мог бы рассчитывать на блестящую партию), — итак, повторяю, несмотря на всю мою неизъяснимую к вам любовь, я все же не могу жертвовать своей бессмертной душой. Пусть я готов отказаться от всех выгод в этом мире, я не смею лишить себя надежд в другом. Я не думаю, душа моя, чтобы вы могли усмотреть в этом недостаточное уважение к вам.

Если только на свете существуют люди, чьи намерения соответствуют строжайшим требованиям чести, то мой друг безусловно принадлежал к их числу, и если можно вообразить женщину которая, будучи в своем уме, отвергла достойного человека по столь ничтожным и легкомысленным соображениям, то такой женщиной являлась я. В самом деле, это было величайшей глупостью, какую когда-либо совершала женщина.

Он был готов взять меня в жены, но не соглашался жить со мною, как с блудницей. Где это слыхано, чтобы женщина гневалась на благородного человека за его благородство? Какая женщина была бы настолько глупа,

чтобы избрать роль блудницы, когда она могла быть честной женой? Впрочем, нелепая мысль, раз укоренившись в уме, подобна бесовскому наваждению. Я упорствовала, по-прежнему разглагольствуя о женской свободе, покуда он меня не прервал.

— Милостивая государыня! — воскликнул он с горячностью, какой я еще от него ни разу не слышала, но сохраняя при том прежнюю почтительность. — Милостивая государыня, вы ратуете за свободу, а между тем сами же отказываетесь от той свободы, путь к которой вам указует господь бог, а заодно и природа; вместо этой свободы вы предлагаете свободу безнравственную, перечащую велениям чести и заветам религии. Неужели вы стоите за свободу в ущерб целомудрию?

Я отвечала, что он неправильно истолковал мои слова: я имела в виду всего лишь то, что женщина, если ей угодно, имеет такое же право брать себе любовника, не вступая в брак, какое имеет мужчина — брать любовницу. Но разве я говорю, продолжала я, что сама я готова на такое? И пусть он и вправе осуждать меня за прошлое, он убедится в будущем, что я способна с ним общаться, не испытывая ни малейшего намерения возвратиться к былым нашим отношениям.

Он сказал, что не может брать такого поручательства за собственное поведение и почитает невозможным подвергать себя такому соблазну; ибо, поскольку он не мог удержаться прежде, не отваживается искушать себя подобным же образом впредь, и что в этом-то и кроется истинная причина, побуждающая его возвратиться в Париж; и он вновь принялся заверять меня, что не стал бы со мной расставаться своею волею и что отнюдь не стал бы дожидаться моего приглашения, но что же ему делать, коль скоро он не может наслаждаться близостью со мною на законных основаниях, как то подобает благородному человеку и христианину? Надеюсь, сказал он, я не стану осуждать его за то, что ему тягостно думать о существе, отцом которого он является и которое попрекнет его за клеймо незаконнорожденности, кое пребудет с ним до конца его дней; при этом он вновь высказал великое изумление моей беспечностью, тем, что я с такой жестокостью могу относиться к нерожденному моему дитяти; одна мысль о том, сказал он, ему нестерпима, видеть же это ему и того горше, и по этой причине он надеется, что я не стану укорять его за то, что он не в силах дождаться рождения этого дитяти.

Я видела, что он вне себя и что с трудом сдерживает свое негодование, и посему решила на это время положить конец нашей беседе, выразив лишь надежду, что он подумает еще об этом предмете.

— Ах, сударыня, — воскликнул он. — Это вам надобно думать, а не мне!

С этими словами он вышел вон из комнаты в неизъяснимом смятении, коего он не мог скрыть.

Не будь я безрассуднейшим и вместе безнравственнейшим из творений божьих, я не могла бы вести себя так, как я себя вела. Самый благородный и самый честный человек, какого только видывал свет, был готов соединить свою судьбу с моею; в некотором смысле он спас мне жизнь,

причем спас ее от полной погибели и притом самым примечательным образом. Он любил меня до беспамятства и прибыл из Парижа в Роттердам затем лишь, чтобы меня видеть; он предложил мне руку даже после того, как я сделалась беременной от него; будучи достаточно состоятельным без моего приданого, выразил готовность отказаться от притязаний на мое имущество, доверив управление им мне самой. Я могла упрочить свою жизнь, обеспечив себя от любой невзгоды; сложив наши состояния, мы даже и сейчас могли рассчитывать более, чем на две тысячи фунтов в год, и я могла бы жить по-королевски, да притом счастливее всякой королевы; и, главное, получила бы возможность покинуть свою порочную и преступную жизнь, какую веду вот уже сколько лет, и предаться великому делу, коему я впоследствии имела столь много причин и случаев себя посвятить, а именно, покаянию.

Однако чаша моих прегрешений еще не исполнилась. Я продолжала упорствовать в своем отвращении к браку, и вместе с тем мысль отпустить его от себя была для меня нестерпима. Что до будущего ребенка, о нем я не слишком заботилась; я заверила моего друга, что его дитя никогда не попрекнет его своей незаконнорожденностью и что если родится сын, я воспитаю его, как подобает воспитать сына благородного отца и из любви к его отцу буду ему нежной матерью. Поговорив в таком роде еще некоторое время и убедившись в непреклонности его решения, я покинула его, но не могла при этом скрыть слез, что катились по моим щекам. Он кинулся ко мне, принялся меня целовать, умолять, призывая вспомнить все добро, что он мне явил, когда я была в крайности; справедливость, какую выказал при ведении моих денежных дел; уважение ко мне, побудившее его отказаться от предложенного мною вознаграждения в тысячу пистолей за убытки, понесенные им от коварного еврея; залог нашей несчастной любви, как он называл зачатого младенца, что я носила под сердцем; он заклинал меня всем, на что только способна искренняя привязанность, не гнать его от себя.

Но все напрасно. Я оставалась глуха и бесчувственна к его мольбам до конца; итак, мы расстались. Единственное обещание, какого он от меня добился, было известить его после родов и указать адрес, по которому он мог бы ответить на мое письмо. Я дала ему слово чести, что сдержу свое обещание; когда же он захотел узнать о моих дальнейших планах, я отвечала, что собираюсь тотчас выехать в Англию, в Лондон, где и намерена рожать, но коль скоро он решил со мною расстаться, присовокупила я, навряд ли его должна интересовать моя дальнейшая судьба.

Ночь он провел в своей комнате, но рано поутру уехал, оставив мне письмо, в коем повторил все, что высказал мне накануне, наказывал получше смотреть за ребенком и просил тысячу пистолей, которую я предлагала ему в вознаграждение убытков и неприятностей, претерпленных им от еврея, и которую он отклонил, отложить (вместе с процентами, какие на них нарастут) на воспитание ребенка; он горячо убеждал меня сохранить сию небольшую сумму для несчастного сиротки на тот случай, если я решусь, — а он не сомневался, что случай такой явится, — *выбросить*

остальную часть моего имущества, облагодетельствовав какого-нибудь смертного, столь же недостойного, как и мой искренний друг в Париже. Свое письмо он заключил советом — с таким же раскаянием, как и он, думать о безрассудствах, в коих мы оба участвовали; просил прощения за то, что он первый подвигнул меня на них; сам же от души прощал мне все, за исключением, как он писал, жестокости, с какой я отвергла его предложение: этого же простить мне, как того требовал долг христианина, он не в силах, ибо почитает, что своим отказом я причиняю себе вред, и что это лишь первый мой шаг на пути к полной моей погибели, шаг, о котором со временем я сама от всего сердца пожалею. Он предсказывал, что меня ожидают в будущем роковые бедствия и что кончу я тем, что выйду замуж за плохого человека, который меня и погубит; призывал меня к величайшей осторожности, дабы он оказался лжепророком; главное же, просил помнить, если попаду в беду, что у меня есть *верный друг в Париже*, который не станет пенять мне за мою былую жестокость к нему и готов во всякое время отплатить добром за все зло, что я ему причинила.

Его письмо меня поразило как громом. Трудно было представить, чтобы кто-либо, не имевший общения с нечистой силой, был способен так написать, ибо он говорил с такой убежденностью о некоторых вещах, которые впоследствии в самом деле со мной приключились, что я заранее перепугалась чуть ли не до смерти; когда же его предсказания сбылись, я уже не сомневалась, что он обладал познаниями, превышающими человеческие. Словом, его советы раскаяться были преисполнены любви, предостережения относительно ожидавших меня бедствий, дышали добротой, а обещания помощи, коли она мне понадобится, свидетельствовали о таком великодушии, какого мне в жизни не доводилось встречать; и хоть поначалу я особенного значения этой части его письма не придала, ибо его мрачные предсказания казались мне в то время нелепыми и недостойными моего внимания, все остальное так живо меня тронуло, что я впала в глубокое уныние и проплакала, почти не переставая, целых двадцать четыре часа кряду. Но все же, отдавшись столь всецело печали, — не знаю, что за сила меня околдовала! — все же я ни на минуту не пожалела всерьез о том, что не уступила его домогательствам и не согласилась сделаться его женой. Всей душой хотелось бы мне удержать его при себе, но мне по-прежнему претила мысль — как, впрочем, и всякая мысль о замужестве, — выйти за него. Голова моя была полна отчаянных надежд: я все еще довольно приятна, говорила я себе, молода и хороша собой, и могу понравиться какому-нибудь знатному человеку; и посему я решилась попытать счастья в Лондоне, а там — будь что будет!

Так, ослепленная тщеславием, я отказалась от единственной возможности устроить свое счастье и обеспечить себе такую жизнь, при какой мне никогда больше не грозила нужда; да послужит мой пример предостережением для тех, кто прочитает эту повесть, этот памятник опрометчивости и безумия, в кои нас ввергают собственные самонадеянность и силы преисподней; да пребудет она напоминанием о том, сколь дурно уп-

равляют нами страсти и каким опасностям подвергаем мы себя, следуя побуждениям честолюбия и тщеславия!

Я была богата, красива, привлекательна и еще не состарилась. Я испытала могущество, каким могу обладать над мужскими сердцами, в том числе над сердцами великих мира сего; я не могла забыть, как принц ***ский воскликнул, в минуту восхищения, что во всей Франции нет женщины, равной мне. Я знала, что могу блеснуть в Лондоне, и знала, как воспользоваться впечатлением, какое произведу. Я умела держаться, и, познав однажды восхищение принцев, думала не больше, не меньше, как о том, чтобы сделаться любовницей самого короля! [71] Однако вернусь к обстоятельствам, в коих пребывала в описываемую мной пору.

Не сразу оправилась я от разлуки с моим честным купцом. Мне было бесконечно горько с ним расставаться, когда же я прочитала его письмо, то и вовсе впала в уныние. Как только он оказался вне досягаемости и я поняла, что наша разлука окончательна, я почувствовала, что готова отдать половину моего состояния, лишь бы он вернулся. Все представления мои о жизни в одну минуту переменились, и я тысячу раз бранила себя дурой за то, что после плавания по бурному и чреватому опасностями океану распутства и прелюбодеяния, во время которого потерпели крушение мои честь, добродетель и правила, я вновь доверилась этим неверным волнам, и главное — в то самое время, когда мне представилась возможность бросить якорь в тихой и спокойной гавани; нет, видно, сердце мое и впрямь закоснело в грехе!

Предсказания моего друга повергали меня в трепет, его обещания помощи, если со мною приключится беда, вызывали слезы и вместе с тем страшили меня, внушая предчувствия, что меня и в самом деле ожидает беда, и поселяя в моей голове тысячи тревожных мыслей о том, как я, обладательница огромного состояния, могу вновь впасть в нищету и ничтожество.

Передо мной встала ужасная картина из поры моей молодости, когда я оказалась брошенной, одна с пятью детьми и так далее, о чем я уже рассказывала. Я стала думать, какие мои шаги могли бы привести меня вновь в такую крайность и как мне поступить, чтобы ее избежать,

Впрочем, мало-помалу тревоги мои улеглись. Что до моего друга, купца, он уехал, уехал безвозвратно, ибо я не дерзала следовать за ним в Париж по причинам, о коих уже говорила. Вместе с тем писать ему, чтобы он возвратился, я тоже не смела, опасаясь встретить с его стороны отказ, в чем я почти и не сомневалась. Итак, я сидела, праздно проливая горькие слезы в течение нескольких дней, или, вернее сказать, недель; но, как я уже говорила, отчаяние мое мало-помалу улеглось, тем более, что мне предстояло множество хлопот, связанных с моим состоянием, и неотложность некоторых из них отвлекла мои мысли и вытеснила впечатления, которые таким нестерпимым бременем легли мне на душу.

Драгоценности свои я продала еще раньше — все, кроме бриллиантового перстня, который носил мой друг-ювелир; перстень этот я надевала при случае и сама, равно как и бриллиантовое ожерелье, подаренное мне

принцем, и великолепные серьги стоимостью примерно в 600 пистолей. Остальное — драгоценную шкатулку, что он мне оставил перед тем, как отправиться в Версаль, а также футляр, в котором хранились рубины, изумруды и прочее — так вот, их, как я уже сказывала, я продала в Гааге за 7600 пистолей. Стараниями моего купца я получила все векселя в Париже, и вместе с деньгами, что я привезла с собой, они составляли еще 13 900 пистолей; таким образом, у меня было, помимо моих драгоценностей, наличными деньгами и в амстердамском банке более двадцати одной тысячи пистолей. Теперь моей ближайшей заботой было, как переправить все это богатство в Англию.

К этому времени мне уже не раз доводилось иметь дела с людьми, которым я продавала драгоценности великого достоинства и от которых получала большие суммы по векселям, благодаря чему я была знакома с самыми крупными негоциантами Роттердама, и получить совет о том, как перевести мои деньги в Англию, не составляло особого труда. Обратившись поэтому к нескольким купцам, дабы не ставить все свое состояние в зависимость от одного человека, а также не открывать никому истинных размеров моего состояния, — итак, обратившись к нескольким купцам, мне удалось получить на все свои деньги векселя, подлежащие оплате в Лондоне. Часть векселей я взяла с собой, другую (на случай нечаянного бедствия в море) — вверила первому купцу — тому самому голландскому негоцианту, которому меня в свое время рекомендовал мой парижский приятель.

Проведя таким образом девять месяцев в Голландии, отклонив выгоднейшую партию, на какую только могла рассчитывать женщина в моих обстоятельствах, с варварской, можно сказать, жестокостью расставшись с вернейшим другом и честнейшим человеком на свете, с деньгами в кармане и бастардом в брюхе, я села на пакетбот в Брилле[72] и благополучно прибыла в Гарвич, где меня встретила предварительно извещенная мною письмом моя служанка Эми.

С величайшей охотой отдала бы я десять тысяч фунтов из моего состояния, лишь бы избавиться от непрошеного гостя, поселившегося у меня в брюхе; но как сие было невозможно, мне пришлось оставить его до времени на месте, избавившись от него обычным путем, то есть терпеливым ожиданием и трудными родами.

Мне не пришлось перенести все те унижения, которым обыкновенно бывают подвергнуты женщины в моем состоянии. Я все обдумала заранее, выслав впереди себя Эми, которую я для того снабдила необходимыми деньгами. Я поручила ей снять для меня великолепный дом на *** улице, невдалеке от Черинг-кросса[73], нанять двух девушек и слугу, которого она обрядила в изящную ливрею; затем, севши в карету со стеклянными окнами[74], запряженную четвериком, она приехала в сопровождении упомянутого лакея в Гарвич еще за неделю до прибытия моего пакетбота. Таким образом у меня не было никаких забот, и я покатила в Лондон, в собственный дом, куда я прибыла в полном здравии под именем знатной француженки, госпожи ***.

Первым делом я предъявила все мои векселя, кои были (я опускаю подробности, дабы не затягивать своего рассказа) своевременно приняты и оплачены. Затем я решила поселиться где-нибудь в деревне неподалеку от Лондона, дабы разрешиться от бремени, так сказать, *инкогнито*. Все это, благодаря моим дорогим нарядам и великолепному экипажу, мне удалось проделать, избежав обычного в подобных обстоятельствах унизительного любопытства приходских властей. Некоторое время я не показывалась в моем новом доме, а впоследствии, по особым соображениям решила вообще туда не въезжать; вместо этого я сняла великолепные и просторные комнаты на Пел-Мел, в доме, в котором некогда проживал королевский садовник, отчего в нем имелась дверь, выходящая прямо в дворцовый парк[75].

К этому времени я успела привести свои дела в полный порядок; однако, поскольку меня больше всего тогда заботили деньги, я затруднялась, как ими лучше распорядиться, чтобы получать с них изрядный годовой доход. Со временем, впрочем, мне удалось при посредничестве славного сэра Роберта Клейтона[76] получить закладную на сумму в 14 000 фунтов стерлингов, вследствие чего я могла рассчитывать на годовой доход, равный 1 800 фунтам и сверх того на 700 фунтов процентами.

Это, вкупе с кое-какими другими доходами, приносило мне более тысячи фунтов в год — сумма, казалось бы, достаточная для того, чтобы женщина могла жить в Англии, не ведая нужды и не прибегая к блуду.

Примерно в четырех милях от Лондона я подарила миру здорового младенца-мальчика и, следуя данному обещанию, написала о том отцу новорожденного в Париж; в этом же письме я сказала, сколь жалею о том, что он меня покинул и одновременно давала понять, что если бы он приехал меня навестить, я обошлась бы с ним менее сурово, чем прежде. Он ответил мне письмом ласковым и любезным, однако ни единым словом не отозвался на ту часть моего письма, в котором содержалось приглашение меня проведать, и я поняла, что утратила его навсегда. Он поздравил меня с благополучным разрешением от бремени и намекнул, что надеется на исполнение мною его просьбы касательно несчастного дитяти, как я то ему обещала; я написала ему в ответ, что в точности исполню его веление; при этом я имела глупость или слабость во втором своем письме, несмотря на то, что, как я сказывала, он оставил мое приглашение без всякого внимания, чуть ли не просить у него прощения за мою непреклонность в Роттердаме и пала столь низко, что попеняла ему за то, что он оставил без внимания мое приглашение, более того, я чуть ли не повторила это приглашение еще раз, достаточно прозрачно намекая, что теперь, если бы он приехал, я согласилась бы выйти за него замуж. Однако он на это письмо не отвечал вовсе — возможно ли было яснее показать, что он окончательно со мною порвал? Так что я не только отказалась от дальнейших попыток, но от души себя бранила, что решилась его вновь позвать; ибо он, можно сказать, полностью мне отомстил, пренебрегши ответом и заставив меня дважды просить у него то, о чем он некогда столь настойчиво меня умолял сам.

Оправившись после родов, я вернулась на свою городскую квартиру, на Пел-Мел и, в соответствии со своим состоянием, которое было изрядно, зажила на широкую ногу. Опишу в нескольких словах свою обстановку, а также и то, какой я была в ту пору.

За свою новую квартиру я платила 60 фунтов в год, ибо оплата производилась погодично; зато квартира была и в самом деле роскошная и прекрасно обставленная. Я держала собственную прислугу, которая следила за чистотой и порядком; платила отдельно за дрова и завела собственную кухонную утварь. Словом, я жила достаточно богато, но и без излишней пышности: у меня была карета, кучер, лакей, моя горничная Эми, которую я наряжала, как барыню, сделав ее своей компаньонкой, и еще три служанки. Так прожила я несколько времени. Одевалась по последней моде и чрезвычайно богато, а в драгоценных украшениях у меня недостатка не было. Слуг я одела в ливрею, обшитую серебряными галунами, словом, так богато, как только дозволено людям, не принадлежащим к знати. В таком виде и явила я себя Лондону, предоставив свету гадать, кто я такова и откуда взялась: сама же я никому не навязывалась.

Иногда я прохаживалась вдоль Мел[77] со своей камеристкой Эми, но ни с кем не знакомилась и не водила компании. Наряжалась же я для этих прогулок как можно пышнее. Вскорости, однако, я обнаружила, что интерес, какой вызывает моя особа у людей, много превосходит любопытство, какое выказывала я по отношению к ним; первым делом соседи, как я о том узнала, старались дознаться, кто я такая и каковы мои обстоятельства.

Единственно, кто мог удовлетворить их любознательности и дать какие-либо обо мне сведения, была Эми; будучи от природы болтушкой и истинной кумушкой, она принялась за дело со всем свойственным ей искусством. Она дала им понять, что я богатая вдова некоего знатного француза и приехала присмотреть за наследством, доставшимся мне от родственников, которые умерли здесь, в Англии; что состояние мое равняется 40 000 фунтов и полностью находится в моих руках.

Это было большой ошибкой со стороны Эми, да и с моей тоже, о чем, однако, мы поначалу не догадывались; пущенная ею молва привлекла ко мне господ того разбора, что именуется *охотниками за приданым;* сии рыцари наживы постоянно *делают дамам осаду*, как это у них называется, дабы заключить их (как именовала это я) в тюрьму; иначе говоря — стремятся жениться на богатой наследнице и промотать ее наследство. Впрочем, если я и была неправа, ответив отказом на честное предложение голландского купца, который был готов предоставить мне распоряжаться моим состоянием, как мне вздумается, и обладал при этом состоянием не меньшим, нежели мое собственное, то теперь, отклоняя джентльменов благородного происхождения, успевших промотать до последнего гроша свое некогда изрядное состояние, я поступала совершенно правильно. Им необходимо было заполучить круглую сумму, дабы жить, *ни в чем*, как они выражались, *себя не стесняя*, — иначе говоря для того, чтобы расплатиться с долгами, возвратить своим сестрам их приданое и тому подоб-

ное, — после чего доверившаяся им женщина становилась пожизненной узницей и должна была жить так, как угодно было их милости.

Эти их происки я разглядела тотчас, и посему их ловушки не представляли для меня опасности. Однако, как я сказывала, слава о моем богатстве привлекла ко мне несколько джентльменов подобного рода, кои не мытьем, так катаньем добивались того, чтобы быть допущенными к моей особе; для всех них, однако, у меня был один ответ — что я не тягочусь своим одиночеством, не имею желания сменить свое состояние на их поместья и что, короче говоря, не вижу никакой выгоды от брака, какое бы блистательное положение он ни сулил; знатные титулы, говорила я, быть может, и доставили бы мне честь покрасоваться рядом с женами пэров Англии (я упоминаю об этом затем, что одно из полученных мною предложений исходило от старшего сына некоего пэра), но коль скоро мое состояние остается при мне, я прекрасно могу обойтись и без титула, и покуда я могу рассчитывать на свои 2 000 фунтов в год, я почитаю себя счастливее, нежели если бы оказалась титулованной пленницей вельможи, ибо только так смотрю на женщин, достигших этого положения.

Поскольку я упомянула сэра Роберта Клейтона, с которым мне посчастливилось познакомиться по случаю заклада, каковой он мне помог совершить, здесь будет уместно сказать, что таким образом я также имела счастье пользоваться его советами и в прочих своих делах. Поэтому-то я и говорю, что почитаю свое знакомство с ним за большую удачу. Ибо, поскольку он выплачивал мне столь изрядную сумму в год, как 700 фунтов, то я не могу не почитать себя его должницей, и не только вследствие скрупулезной честности, с какою он вел мои дела, но также и благодаря благоразумию и умеренности, кои он мне внушал своими советами касательно управления моим состоянием; убедившись же, что я не намерена вступать в брак, он неоднократно пользовался случаем, дабы намекнуть мне, как легко было бы довести мое состояние до неслыханной суммы, — стоит лишь мне наладить мою домашнюю экономию таким образом, чтобы ежегодно откладывать известную сумму, прибавляя ее к основному моему капиталу. Он убедил меня в истинности своих слов, и я понимала, сколь много могу выгадать, следуя его совету. Сэр Роберт, разумеется, полагал, — как из моих слов, так особенно из разговоров моей горничной Эми, — что мой годовой доход составлял 2 000 фунтов. Судя по моему образу жизни, сказал он, я не должна бы расходовать более 1 000 фунтов в год; следовательно, прибавил он, с моей стороны было бы разумно другую тысячу откладывать, из года в год присовокупляя ее к основному капиталу, а если я к тому же ежегодно стану к нему присоединять и проценты, то через десять лет, уверял он, мне удастся сберегать уже не одну, а целых две тысячи в год. Дабы я могла о том наглядно судить, он начертал мне, как он выразился, *план роста моего капитала;* если бы английские дворяне, говорил он, придерживались предлагаемой им методы, каждый дворянский род увеличил бы свое состояние во много раз, подобно тому, как купцы увеличивают свое; между тем, при нынешнем образе жизни, как утверждал

сэр Роберт, из-за привычки проживать свои доходы целиком и даже сверх того, наши дворяне, в том числе и самые знатные из них, кругом в долгах и живут в стесненнейших обстоятельствах.

Поскольку сэр Роберт часто меня посещал и (если верить собственным его словам) находил удовольствие в моем обществе, ибо он, разумеется, не имел ни малейшего представления о моей прошлой жизни, и, разумеется, о ней не догадывался,— итак, говорю, поскольку он частенько ко мне наведывался, он имел много случаев внушать мне свои мысли о преимуществах бережливости. Однажды явился он ко мне с бумагой, на которой —все с тою же целью— начертал план, показывающий, насколько я могу увеличить свои капиталы, если, следуя его предписаниям, сокращу расходы; по плану этому явствовало, что, если я стану откладывать по 1 000 фунтов в год, прибавляя к этой сумме ежегодно нарастающие на этот капитал проценты, через двенадцать лет на моем счету в банке окажется двадцать одна тысяча пятьдесят восемь фунтов, и я буду в состоянии откладывать уже по две тысячи фунтов в год.

Я возразила, что, будучи женщиной еще молодой и имея привычку ни в чем себе не отказывать и носить дорогие наряды, я не могу вдруг сделаться скупердяйкой.

Что ж, сказал он на это, коль мне моего состояния хватает, то не о чем и заботиться; но коли я хочу его увеличить, указанный им путь есть единственный верный путь, и, следуя ему, я через двенадцать лет могу сделаться столь богатой, что не буду знать, куда девать деньги.

— Прекрасно, сударь,— сказала я,— вы замышляете, как мне сделаться богатой старухой, но цель моя не в том; я предпочла бы иметь 20 000 фунтов сейчас, нежели 60 000, когда достигну пятидесяти лет[78].

— Должен ли я из того понять, сударыня,— сказал он,— что у вашей милости нет детей?

— Детей, которые бы не были обеспечены, сэр Роберт, у меня нет,— отвечала я, оставляя его в той же неизвестности, в какой он пребывал до моего ответа. Впрочем, я хорошенько обдумала его план, хоть в то время больше с ним о сем предмете толковать не стала; я решилась, не переставая блистать на людях, все же несколько сократить свои расходы, сжаться, жить расчетливее и откладывать кое-какую сумму, хоть и много меньшую, нежели предлагал сэр Роберт. Когда последний изложил мне свой проект, год уже был на исходе, и к самому его окончанию я явилась к нему в контору, сказав, что пришла благодарить его за предложенный им проект сберечь мои капиталы; по внимательном изучении сего проекта я поняла, что хоть мне и невозможно стеснить себя до такой степени, чтобы откладывать 1 000 фунтов в год, я тем не менее пришла ему сказать, что решилась откладывать по 700, иначе говоря, проценты от моего капитала; я решила, сказала я, в этом полугодии не снимать процентов и вообще их не трогать; его же я просила помочь мне повыгоднее этими деньгами распорядиться.

На это сэр Роберт, будучи блистательным дельцом и вместе с тем человеком безукоризненной честности, сказал:

— Я рад, сударыня, что вы одобряете предложенный мною метод, однако вы совершили неправильный шаг: вам следовало снять проценты за первое полугодие, и тогда вложить их в дело; теперь же вы потеряли проценты за полгода, наросшие на 350 фунтов, что составляет 9 фунтов. — (Весь залог мой доставлял мне всего 5% в год).

— Что делать, сударь, — сказала я. — Быть может, вы все же посоветуете мне, как лучше распорядиться этими деньгами?

— Пусть они полежат без движения до будущего года, сударыня, — отвечал он, — а там я вложу ваши 1400 фунтов зараз; покуда же я буду выплачивать вам проценты с тех 700 фунтов.

С этим выдал он мне вексель, по которому, как он мне сообщил, я могу рассчитывать получить не менее 6% (вексель сэра Роберта Клейтона был все равно что наличные деньги). Поблагодарив его, я оставила деньги, как он советовал, лежать без движения; так же я поступила и на следующий год, а на третий сэр Роберт устроил мне выгодный — шестипроцентный — залог на 2200 фунтов. Итак, к моему годовому доходу прибавилось 132 фунта, которые пришлись весьма кстати.

Но обращаюсь к моей повести. Как я уже сказала, я с самого начала совершила ошибку; заведенный мною обычай появляться на-люди приводил ко мне бесчисленное множество посетителей уже упомянутого мною рода. Молва объявила меня обладательницей неслыханного состояния, коим управляет сэр Роберт Клейтон, по каковой причине за сэром Робертом ухаживали не меньше, нежели за мной самой. Сэр Роберт, впрочем, знал, как отвечать этим искателям. Я сообщила ему мои взгляды на брак, подкрепив их теми же доводами, что приводила моему купцу, и он полностью их одобрил. Он признал, что мое мнение справедливо и, что, поскольку я дорожу своей свободой и знаю толк в деньгах, коими могу распоряжаться, как мне заблагорассудится, мне останется винить одну себя, коли я отдам их в чужие руки.

Однако сэру Роберту ничего не было известно о моих истинных намерениях, о том, что я метила попасть в полюбовницы к человеку, который определил бы мне роскошное содержание, и что я стремилась увеличить свой капитал и откладывать, как он того советовал, но только не тем путем, какой имел в виду он.

Но вот однажды сэр Роберт является ко мне и серьезно предлагает мне подумать о предложении, превосходящем по своей выгоде все, с какими к нему до сих пор обращались искатели моей руки. Жених этот был купец. Об этом сословии мы с сэром Робертом были согласного мнения[79]. Сэр Роберт утверждал, и я убедилась в правоте его слов, что купец, получивший преимущества, дарованные хорошим воспитанием, есть благороднейший джентльмен в нашем отечестве; что в своих познаниях, манерах и суждениях купец стоит иного дворянина, а, достигнув известного положения в свете, при котором он может уже не заниматься делами, хоть и не обладает родовым имением, неизмеримо выше большинства дворян, хотя бы и имеющих собственные поместья; что купец, преуспевший в делах и обладающий большим капиталом, может позволить себе бо́льшие

траты, нежели дворянин с имением, приносящим ему 5 000 фунтов годового дохода; что купец в своих тратах основывается на собственных средствах и притом никогда не расходует их до конца, а каждый год откладывает изрядную сумму. Имение, говорил он, есть пруд, стоячая вода, в то время как *дело* — бьющий ключом источник; заложенное имение никогда уже не очистится и навсегда останется обузой для закладчика; меж тем, имущество купца течет постоянным потоком; после сего рассуждения сэр Роберт назвал мне несколько купцов, живущих с более истинным великолепием и тратящих больше денег на роскошь, нежели мог себе позволить кто-либо из знатных дворян Англии; сверх того, купцы сии продолжают и по сию пору богатеть с неслыханным размахом.

Даже лондонские лавочники, продолжал сэр Роберт, если взять, разумеется, тех, у кого солидное дело, в состоянии выделять больше средств на содержание семьи и давать своим детям бо́льшую долю, нежели английское дворянство, имеющее в среднем всего 1 000 фунтов годового дохода, а то и меньше; причем упомянутые лавочники еще и приумножают свои богатства.

Сии рассуждения оказались всего вступительной частью, покончив с которой сэр Роберт перешел к существу дела, советуя мне доверить мое имущество известному негоцианту, одному из первых среди людей его звания; дела его процветают, средства неограниченны, в деньгах он не нуждается, и он готов по первому моему слову все мое состояние закрепить за мною и за нашими детьми и в то же время обязуется окружить меня истинно королевскою роскошью.

Все это было совершенно справедливо, и, последуй я его совету, счастье мое было бы устроено; однако душа моя стремилась к полной независимости, и я ответила сэру Роберту, что любое супружество в лучшем случае поставит меня в положение прислужницы, если не рабы; что я не чувствую ни малейшей склонности к браку, что наслаждаюсь совершенной свободой, вольна, как в первый день появления своего на свет, и что, обладая достаточным состоянием, не могу взять в толк, как вяжутся слова «почитать и повиноваться»[80] со свободой женщины, — ведь свободный человек не должен быть подвластен никому; мне неведома причина, по какой мужская часть рода человеческого присвоила все права себе и вынуждает женщин заключать брачный договор, условия которого определены самими мужчинами, и это даже в тех случаях, когда состояние невесты превосходит состояние жениха! Пусть я имела несчастье родиться женщиной, продолжала я, я твердо положила, что не дам этому обстоятельству омрачить мою судьбу, и поскольку свобода, по-видимому, считается исключительным достоянием мужчины, я намерена быть мужчиной среди женщин; ибо, рожденная свободной, я желаю такою же и умереть.

Сэр Роберт с улыбкой объявил мне, что мне угодно изъясняться на языке амазонок; что ему редко доводилось встречать женщин, разделяющих мой образ мыслей, а из тех, что его придерживались, немногие в конце концов поступали в соответствии со своими взглядами; однако, продолжал он, насколько он понимает, ведь и сама я, несмотря на мои рассуждения,

которые, по его мнению, не лишены оснований, в свое время отступилась от своих правил и состояла в супружестве. Это так, отвечала я, но разве он когда от меня слышал, чтобы прошедший мой опыт ободрил меня его повторить? Я благополучно вышла из этого испытания и, если соглашусь себя подвергнуть ему еще раз, то мне уже никого не придется за это винить, кроме себя.

Сэр Роберт от души рассмеялся на мои слова, однако прекратил дальнейшие уговоры, сообщив лишь, что беседовал обо мне кое с кем из достойнейших лондонских негоциантов, но поскольку я запрещаю ему заговаривать о сем предмете, обещал больше меня не беспокоить подобными разговорами. Он одобрил то, как я веду свои денежные дела, и предсказал, что со временем я сделаюсь чудовищно богатой; однако он не знал и не подозревал, что при всем своем богатстве я не более как потаскуха и непрочь умножить свое состояние за счет своей добродетели.

Возвращаясь к своему рассказу, я должна повторить сказанное мною ранее, а именно, что мой образ жизни никак не соответствовал цели, мною поставленной, привлекая ко мне одних охотников за приданым да мошенников, которые рассчитывали меня облапошить и прибрать к рукам мои денежки; словом, я сделалась предметом домогательств изрядного числа поклонников, красавчиков и щеголей благородного происхождения. Но не того мне было надобно; я метила на другое и, будучи столь высокого мнения о моей красоте, соглашалась довольствоваться в качестве любовника лишь королем — не меньше! Такое мое тщеславие вызвано было нечаянным словом, оброненным неким лицом, с коим мне довелось беседовать; человек этот, случись мне с ним встретиться несколько ранее, быть может, и был бы в состоянии мне в этом способствовать; к этому времени, однако, двор, как будто, начал отходить от сих забав[81]. Впрочем, коль скоро такое дело было упомянуто, и разговор этот как будто получил несколько излишнюю огласку, вокруг меня стало собираться великое множество народу, причем с намерениями отнюдь не добродетельными.

Новое поле деятельности открылось мне. Придворная жизнь в ту пору была беспримерно изысканной и оживленной; правда, тамошнее общество составляли преимущественно мужчины, ибо королева не слишком часто удостаивала придворные сборища своим присутствием[82]. С другой стороны, не будет клеветой сказать о придворных, что их проказы вполне отвечали возлагаемым на них надеждам. У короля было несколько любовниц, и все они были отменно хороши собой и нарядны, и в этом смысле двор был воистину великолепен. Коли сам государь позволял себе всевозможные вольности, то нельзя было от его придворных ожидать особенного целомудрия; настолько далеки они были от этого, что хоть я и не желаю представить их в более темном свете, чем они заслуживают, однако ни одна женщина мало-мальски приятной наружности не могла пожаловаться на недостаток поклонников.

Вскоре и я оказалась окруженной целым сонмом воздыхателей, и стала у себя принимать весьма высокопоставленных вельмож, которые проникали ко мне через посредство неких старых дам, сделавшихся отныне

близкими моими приятельницами; одна из них, как я впоследствии узнала, была нарочно ко мне приставлена, дабы попасть мне в доверенность с целью добиться того самого, что вскорости и воспоследовало.

Разговор в моей гостиной вполне соответствовал духу, царящему при дворе, никогда, впрочем, не переступая черты благоприличия. Наконец, кто-то из гостей предложил играть в карты и устроить то, что у них называлось *вечер*. Этому, по-видимому, способствовала одна из моих приживалок (как я уже сказала, у меня их было две), полагая, что таким путем ей удастся вводить ко мне, кого ей заблагорассудится; так оно и вышло. Ставки были высокие, игроки расходились поздно, — правда, извиняясь передо мной всякий раз и испрашивая моего разрешения прийти на завтра. Я держалась так же весело и беспечно, как мои гости, и однажды вечером сказала одному из джентльменов, милорду ***, что, хоть игорного стола я не держу, но, поскольку им угодно оказать мне честь проводить у меня время и они, по-видимому, испытывали желание у меня бывать, я хотела бы, если бы им то было приятно, задать на следующий вечер у себя небольшой бал. Приглашение мое было принято с великой охотою.

Вечером гости начали сбираться, и я им показала, что знаю толк в таких вещах. В доме была большая зала, служившая мне столовой. Остальные пять комнат на том же этаже я обратила в гостиные, приказав убрать из них на время все постели. В три комнаты я распорядилась внести столы, уставленные винами и лакомствами; в четвертой стоял стол с зеленым сукном для игроков, пятая же была собственно моей гостиной, где я восседала в ожидании гостей, которые приходили ко мне на поклон. Нарядилась я, как вы догадываетесь, со всем тщанием, надев все свои драгоценности. Милорд ***, с которым я накануне поделилась своей мыслью, предоставил к моим услугам великолепных музыкантов из театра, дамы танцевали, и мы весьма развеселились. Но вот, часу в одиннадцатом, мне докладывают, что ко мне намерены явиться маски. Известие сие явилось для меня сюрпризом, и я пришла в немалое замешательство, но, заметив это, все тот же милорд *** принялся меня успокаивать, говоря, что двери моего дома охраняются отрядом гвардейцев, которые не допустят никакого неприличия; сверх того еще один господин намекнул, что среди масок возможно ожидать появления короля. Кровь так и бросилась мне в лицо, и я высказала великое изумление. Впрочем, отступаться было уже поздно, и я оставалась в своей гостиной, распорядившись лишь, чтобы двери ее были распахнуты настежь.

Через некоторое время маски явились и начали отплясывать комический танец и на самом деле весьма забавный. Покуда они плясали, я удалилась, поручив одной из моих приживалок сказать гостям, что вскорости вернусь. Не прошло и получаса, как я вернулась, наряженная турецкой княжной, — облачение, которым я обзавелась в Ливорно, где, как я уже сказывала, мой заморский принц купил мне в подарок турчанку. Мальтийский военный корабль захватил в то время турецкое судно, направлявшееся из Константинополя в Александрию, на борту которого находилось несколько дам, державших путь в Великий Каир, что в Египте; дамы эти

были проданы в рабство, а заодно пошли в продажу и их великолепные наряды, — таким образом вместе с моей турчанкой я заполучила также роскошное ее одеяние. Платье ее и в самом деле было чудо как хорошо, и я купила его для курьезу, поскольку мне ничего подобного не доводилось видеть; кафтан был из тонкого персидского либо индейского дамаска, земля — белая, а по ней золотые и лазоревые цветы, шлейф длиною в пять ярдов; под кафтан надевалось платье из того же материала с золотым шитьем и там и сям нашитыми жемчугом и бирюзой; кушак на турецкий манер, шириной в пять или шесть дюймов, обхватывал мой стан, а пряжки, соединяющие оба конца, были отделаны бриллиантами — по восемь дюймов с каждой стороны — (бриллианты, правда, были поддельные, но того никто не мог знать, кроме меня).

Тюрбан к этому платью, иначе говоря, головной убор, завершался острой башенкой, дюймов пять, не больше, в высоту, с коей свисала лента из легкой флорентийской тафты; впереди же, над самым лбом, я вшила подлинный драгоценный камень.

Костюм этот достался мне в Италии примерно за шестьдесят пистолей, хоть в стране, откуда он был привезен, стоил много больше; не думала я, чтобы довелось мне когда сделать из него такое употребление, хоть я и неоднократно в него облачалась в прежние времена с помощью моей турчанки, да и после, наедине с Эми, — для того лишь, чтобы покрасоваться в нем перед зеркалом.

Еще днем я просила Эми приготовить этот наряд, так что мне только оставалось его надеть, и немногим больше, чем через четверть часа, я вновь появилась в своей гостиной. Когда я в нее спустилась, в зале уже было полно народу, но я велела минуты на две прикрыть двери, дабы сперва показаться моим дамам, которые осмотрели мой наряд со всех сторон и громко выразили свое восхищение им.

Впрочем, милорд ***, случившийся в это время в гостиной, незаметно выскользнул через боковую дверь и привел через минуту одну из масок, высокого, прекрасно сложенного человека, имени которого, однако, он не назвал, поскольку это в маскарадах не положено. Человек в маске изъявил мне на французском языке [83] свое восхищение моим нарядом, сказав, что ничего подобного дотоле не видел, и в изысканнейших выражениях пригласил меня на танец. Я изъявила свое согласие наклонением головы, но сказала, что, будучи магометанкой, не могу исполнять танцев, принятых в сей стране; вряд ли, сказала я, здешние музыканты могут сыграть мавританский танец. Он не без лукавства на это возразил, что я весьма похожу на христианку лицом, и, следовательно, он готов поручиться, что я искушена и в христианских танцах. Он никогда не поверит, прибавил он, чтобы магометанка могла обладать столь великой красотой. В ту же минуту двери моей гостиной распахнулись настежь, и он повел меня в залу. Гости, там собравшиеся, пришли в великое изумление, а музыканты даже приостановили свою игру, чтобы полюбоваться мною; наряд мой и в самом деле был достоин изумления, он был совершенно нов, весьма радовал глаз и поражал своей роскошью.

Мой кавалер, а кто он был, я так и не узнала, провел меня по зале, а затем предложил пройтись с ним в галопе, иначе говоря, повторить пляску танцоров в масках, либо, если мне угодно, исполнить какой другой танец самой. Я сказала, что предпочла бы, если угодно, что-нибудь другое; протанцевав со мной после этого всего два французских танца, он затем подвел меня к дверям моей гостиной, а сам присоединился к остальным маскам. После того как он оставил меня у дверей в гостиную, я, против его ожидания, туда не проследовала, а повернулась во все стороны, показав себя обществу, и, подозвав одну из состоявших при мне дам, распорядилась, чтобы та заказала музыкантам сыграть пьесу по моему выбору. Гости поняли, что я намерена исполнить для них танец и тотчас встали, как один, и любезно потеснились, чтобы дать мне место, ибо народу собралось превеликое множество. Музыканты замешкались (я заказала французский танец), так что я вынуждена была вновь подослать к ним мою женщину, выжидая все это время в дверях; однако, как только женщина переговорила с музыкантами вновь, они поняли, что́ от них требуется и я выступила на средину комнаты. Музыка дружно грянула, и я протанцевала фигуру, коей научилась во Франции в угоду принцу ***скому. Это и подлинно был отличный танец, изобретение славнейшего парижского танцмейстера для сольного исполнения дамой либо кавалером; но как танец сей был вследствие своей новизны никому из собравшихся неведом, он понравился им до чрезвычайности, и был принят всеми за турецкий; сверх того, среди гостей нашелся господин, имевший глупость объявить (если я не ошибаюсь, он даже побожился), будто сам был свидетелем, как этот танец исполнялся в Константинополе; разумеется, все это был сущий вздор.

Когда я закончила свой танец, раздались громкие рукоплескания; публика чуть ли не кричала от восхищения; некто же из присутствующих громко произнес: «Да ведь это сама Роксана [84], клянусь!» Благодаря этой смешной случайности, имя Роксаны укрепилось за мной в придворных кругах, словно оно мне и в самом деле было дано при крещении. Мне выпало счастье до крайности всем угодить в тот вечер, и в течение целой недели после него в городе только разговоров было, что о бале, а особливо о наряде, в котором я выступала. При дворе и в близких к нему кругах всюду пили здоровье Роксаны.

Дела мои пошли на лад, и я прославилась, как того хотела. Бал длился долго и кончился только тогда, когда я сама почувствовала усталость. Маски покинули нас часа в три ночи, остальные мужчины уселись за карты, музыка играла, не переставая, и, когда пробило шесть, кое-кто из дам все еще танцевал.

Но мне ужас как хотелось знать, с кем же это я танцевала. Кое-кто из милордов намекал, что я была удостоена великой чести. Один из них чуть было не проговорился, что моим кавалером был сам король. Впрочем, я впоследствии убедилась, что это было не так; другой возразил, что если бы это и был сам его величество, то он не уронил бы своего достоинства, танцуя в паре с такой дамой, как Роксана. Однако до сей ми-

нуты я так и не знаю, кто же это был; по манере держаться кавалер мой казался слишком юн, ибо тогда его величество был уже в том возрасте, в каком даже манера танцевать должна была выдать, что он перешел за черту молодости.

Как бы то ни было, поутру мне было передано 500 гиней с посыльным, который объявил, что особы, приславшие мне сию сумму, желают повторения бала у меня в следующий вторник, но просят, чтобы на этот раз я дозволила им взять все расходы на себя. Я была этому ужас как рада, конечно, но меня разбирало любопытство, кто же прислал мне деньги? Посланный, однако, молчал об этом, как могила, и, отвешивая мне учтивые поклоны, просил не спрашивать о том, о чем он вынужден столь нелюбезно отвечать мне молчанием.

Я забыла упомянуть, что господа, игравшие в карты, собравшись вместе, вложили сто гиней в *банк*, как они это именовали, а к концу игры призвали к себе мою *фрейлину* (так они изволили титуловать госпожу Эми!) и вручили эту сумму ей, раздав сверх того двадцать гиней остальной прислуге.

Сии великолепные поступки в равной мере удивляли и радовали меня и, словом, совершенно вскружили мне голову, а предположение, что танцевавший со мной кавалер был сам король, до такой степени возвысило меня в собственных глазах, что я не только перестала узнавать других, я едва помнила, кто я такая сама!

Мне следовало готовиться к будущему вторнику, но увы! все распоряжения шли уже помимо моей воли. В субботу ко мне явились три джентльмена, кои были, по-видимому, всего лишь слугами; один из них оказался тем самым посыльным, который доставил мне упомянутые 500 гиней, так что я могла не опасаться, что это какие-нибудь мошенники; итак, три джентльмена явились с винами всевозможных сортов и с корзинами, полными яств; количество принесенных ими припасов показывало, что пославшие их рассчитывают более чем на один подобный вечер и говорило о том, что дело поставлено на самую широкую ногу.

Впрочем, обнаружив кое-какие упущения, я распорядилась закупить несколько дюжин салфеток тончайшего дамаска и столько скатертей из той же материи, сколько нужно для того, чтобы покрыть все столы (считая по три скатерти на стол) и серванты. Сверх того, я купила изрядное количество посуды. Однако посланцы моих покровителей ни за что не соглашались на то, чтобы я ее пустила в употребление, говоря, что принесли с собой блюда и тарелки тончайшего фарфора и что при таких публичных оказиях они не могут ручаться за сохранность серебра; тогда я выставила его для всеобщего обозрения в горке, что стояла у меня в гостиной; и, надо сказать, вид был довольно внушительный.

Во вторник ко мне пожаловало такое множество гостей обоего пола, что комнаты мои никоим образом не могли всех вместить. Тогда те, кто, по-видимому, являлись главными распорядителями, велели никого больше наверх не пускать. Улица была запружена каретами с дворянскими гербами и великолепными застекленными портшезами; короче говоря, всех

принять было и в самом деле совершенно невозможно. Я сидела в своей маленькой гостиной, как и в первый раз, танцоры же заняли залу; остальные гостиные, равно как и три комнаты нижнего этажа, мне не принадлежавшие, были также заполнены народом.

Весьма удачно было то, что сторожить вход в дом на этот раз был призван усиленный отряд гвардейцев, ибо в противном случае собралось бы общество самое смешанное, среди которого сыскался бы не один нахал, и можно было ожидать всяких беспорядков и неприятностей; однако трое старших распорядителей все предусмотрели, и в дом были допущены лишь лица, коим заранее был сообщен пароль.

С кем довелось мне танцевать в предыдущую среду, когда я сама была распорядительницей бала в моем доме, я не знала, — не знаю этого и по сей день; однако, в силу обстоятельств, в которых, как я полагала, я не могла ошибиться, главным же образом потому, что здесь присутствовало пять особ без масок, из коих на троих красовались синие подвязки[85], и все они явились не прежде, чем я вышла танцевать, у меня не было ни малейшего сомнения, что нынешнее собрание почтил своим присутствием сам его величество.

Вечер прошел точно так же, как и предыдущий, но во внимание к некоторым присутствовавшим на этот раз гостям, с еще большим великолепием. Я восседала (пышно одетая, увешанная драгоценностями) посреди моей гостиной, как и прежде, приветствуя подходивших ко мне гостей; однако милорд***, тот самый, что говорил со мною открыто в первый раз, подошел ко мне и, откинув маску, объявил, что гости уполномочили его выразить надежду увидеть меня в наряде, в котором я явилась в первый вечер, ибо он и был причиной этого второго бала.

— К тому же, сударыня, — прибавил он, — в собравшемся обществе находится *лицо*, угодить которому было бы в ваших интересах.

Я поклонилась милорду*** и тотчас удалилась. Покамест я облачалась у себя наверху, вниз, в мою гостиную, по велению некоего знатного лица, некогда проживавшего с семьею в Персии, ввели двух дам, совершенно мне незнакомых; завидев их, я подумала, что они уж, наверное, заткнут меня за пояс или, во всяком случае, поставят на место.

Одна из сих дам была изысканнейшим образом наряжена знатной грузинской княжной, другая, столь же превосходно — армянскою; при каждой находилась прислуживающая ей рабыня. У обеих подол, собранный в мелкую складку, едва достигал щиколотки; сверх платья был надет небольшой передник с тончайшей кружевной отделкой, а на плечи наброшена накидка, род плаща с шлейфом и с длинными, — наподобие древнегреческих, — рукавами, свешивающимися сзади; на них не было никаких драгоценных камней, но волосы и лиф были украшены цветами. Лица у обеих были скрыты чадрой.

Рабыни восточных княжен не имели головного убора, и длинные черные волосы их были украшены лентами и заплетены во множество косичек, свисающих до самого пояса. Одеты они были чрезвычайно роскошно и не уступали в красоте (все четверо были без масок) своим госпожам.

Все они, княжны и рабыни, ожидали меня в моей гостиной. Там после того, как они совершили приветственный ритуал на персидский манер, они сели, скрестив ноги, на *сафру*, иначе говоря, на низенькую кушетку, составленную из подушек прямо на полу.

Это было поистине великолепно, и привело меня в немалое смятение. Затем они приветствовали меня на французском языке, и я отвечала им тем же. Когда растворили двери, они вышли в залу и исполнили танец, никем дотоле не виданный; два музыканта, которых привел все тот же милорд***, аккомпанировали, один — на инструменте, похожем на гитару, другой — на небольшом рожке, издававшем чрезвычайно приятные звуки.

Они трижды протанцевали вдвоем, ибо никто не мог выступить в качестве их партнера. Новизна их танцев приятно поражала, но все же чувствовалось в них нечто дикое и мрачное, ибо они в самом деле исполняли танец варварской страны, откуда их привезли. Я же в своем мусульманском облачении держала себя как француженка, что было не менее оригинальным, и вместе с тем много приятнее.

Показав свои грузинские и армянские платья и проплясав, как я уже сказала, три раза кряду, они отступили к дверям, поклонились мне (ибо я была царицей бала) и отправились переодеваться.

Затем закружилось несколько пар, все в масках, и когда они кончили, никто не вышел больше танцевать, но все принялись кричать: «Роксана! Роксана!» Той порой милорд*** ввел ко мне еще одну маску — кто он такой был, я не знала, могу только сказать, что это не был мой прежний кавалер. Сей знатный вельможа (ибо впоследствии я обнаружила, что это был герцог ***), поклонившись мне, повел меня на середину залы.

Я была в том же платье и кушаке, что и прежде, но сверх него надела, как то принято среди турчанок, накидку, в которой чередовались алые и зеленые полосы, причем зеленые были, сверх того, затканы золотом. *Тиара* моя, или головной убор, несколько отличалась от прежней — она поднималась выше и завершалась драгоценными каменьями, что придавало ей вид тюрбана, окруженного короной.

Я была без маски, а также без румян и белил, что не помешало мне выделяться среди прочих дам на балу, тех из них, во всяком случае, что также танцевали без масок; о тех же, что были в масках, я, естественно, судить не могла, и среди них, безусловно, могли быть женщины, превосходящие меня красотой. Следует признать, что наряд мой был чрезвычайно мне к лицу, а восхищенные взоры, какие я на себе чувствовала, немало усиливали мою привлекательность.

Протанцевав с означенным вельможою, я не вызвалась сама, как прежде, исполнить сольный танец; однако все вновь принялись взывать: «Роксана! Роксана!», а два джентльмена последовали за мною в гостиную с тем, чтобы умолять меня исполнить турецкий танец. Я не заставила себя долго упрашивать и, выйдя вновь в залу, исполнила тот же танец, что и на первом своем балу.

Танцуя, я заприметила группу из пяти или шести человек, державшуюся особняком, причем один из них оставался с покрытой головой [86];

я тотчас смекнула, кто он таков, и поначалу чуть было не смешалась: однако я дотянула до конца танца, раскланялась на хлопки собравшихся и последовала к себе. Только я вошла в дверь, как те пятеро пересекли залу и приблизились ко мне, меж тем как окруженный свитой знатных вельмож человек, который не снимал шляпы, тоже подошел ко мне и произнес: «Госпожа Роксана, вы превосходно танцуете». Я уже была предуготовлена и собиралась стать на колени перед ним и поцеловать ему руку, однако он от этого уклонился и сам меня поцеловал и, пройдя залу, вышел прочь.

Не стану говорить, кто был сей посетитель, скажу лишь одно, что впоследствии мне было дано кое-что узнать более определенно. Я бы с радостью удалилась к себе наверх и переменила наряд, так как чувствовала себя в нем слишком уж легко одетой — не затянутая, с открытой грудью, словно в одной рубашке, но это мне не удалось, так как мне тут же пришлось танцевать с шестью или семью джентльменами, большая часть которых, если не все они, принадлежали к самой высшей знати; а впоследствии мне сообщили, что один из них являлся г-гом М-тским [87].

Часам к двум или трем ночи гости, главным образом дамы, начали расходиться, оставшиеся мужчины спустились вниз и, поснимав маски, уселись за игру.

Эми не ложилась всю ночь, прислуживая игрокам, а утром, когда они прекратили игру, они высыпали ей в подол весь «прикуп», она при мне пересчитала деньги — их оказалось шестьдесят две гинеи с половиной; прочая прислуга тоже в обиде не осталась, Когда все ушли, Эми вбежала ко мне. «Господи Иисусе! — вскричала она, и некоторое время так и осталась стоять с открытым ртом. — Что же мне делать с такими деньгами?» Бедняжка чуть не потеряла голову от радости.

Я, наконец, попала в свою стихию. В обществе только и говорили что обо мне, и я не сомневалась, что из этого что-нибудь да выйдет, однако слухи о моем богатстве являлись скорее препятствием, нежели преимуществом для меня в моих планах — те джентльмены, которые в ином случае домогались бы моих милостей, не решались ко мне подойти, ибо *Роксана* казалась им недоступной.

Скромность велит мне набросить завесу молчания на последующие три или три с половиною года, кои *Роксана* провела вдали от света, ибо ей пришлось совершить путешествие такого рода и в обществе лица, имя которого долг и данное ему слово повелевают не открывать, по крайности еще долгие годы.

По прошествии названного срока я вновь явилась, но должна прибавить, что в течение этого моего так называемого затворничества я не теряла времени даром и, так сказать, ковала железо пока горячо, умножая сбережения, которые я откладывала про черный день. В другом отношении я кое-что потеряла, и вторичное мое пребывание в свете было менее блистательно; я уже не могла рассчитывать произвести столь же неотразимое впечатление, что и прежде; ибо поскольку кое-кто догадывался о том, где и с кем я провела это время, в свете распространилась молва, и, сло-

вом, все поняли, что Роксана и в самом деле всего лишь *Роксана*, а отнюдь не та почтенная, неприступная леди, за каковую ее поначалу приняли.

Итак, считайте, что прошло около семи лет с тех пор, как я прибыла в Лондон, и что прежние мои доходы, коими, как я намекала, ведал сэр Роберт Клейтон, не только возросли, как о том говорилось ранее, но что мне удалось сколотить неслыханное состояние за столь короткий срок. К этой поре, если бы только в душе моей шевельнулось малейшее желание отступиться от моей неправедной жизни, у меня к тому были все возможности, ибо общее всем развратницам побуждение, а именно: деньги для меня уже не играло никакой роли, и даже жадность моя к ним была полностью утолена; ибо, считая сбережения, сделанные мною благодаря тому, что я не трогала процентов, кои, как я уже сказывала, наросли на мои 14 000 фунтов, а также весьма щедрые подарки, сделанные мне одной лишь любезности ради в пору моих блистательных балов-маскарадов, длившуюся около двух лет, и, сверх того, мои доходы за три года самого великолепного затворничества (как я именовала эту эпоху своей жизни), какое когда доводилось испытать женщине, я полностью удвоила свое состояние и теперь у меня на руках было около 5 000 фунтов наличными, и это помимо серебряной утвари и драгоценных камней, подаренных мне, либо купленных мною, дабы блистать на моих вечерах.

Словом, к этому времени я обладала состоянием в тридцать пять тысяч фунтов, и поскольку я умудрялась не проживать своего основного капитала, откладывала в год не меньше 2 000 фунтов одними процентами.

Итак, к концу поры, что я именую своим *затворничеством*, скопив кругленькую сумму, я вновь явилась перед публикой, однако на этот раз я походила на старую серебряную утварь, что хранилась несколько лет в чулане, и выходит почерневшей и утратившей былой свой блеск. Словом, я вышла несколько пообвлиняв, подобно брошенной любовнице, каковою, собственно, и являлась. Впрочем, несмотря на то, что я несколько раздобрела и к тому же была четырьмя годами старше, я все еще могла почитаться красавицей.

Я сохранила живость характера, всегда была весела и благодушна в обществе и, если верить льстивым заверениям людей, меня окружавших, по-прежнему покоряла сердца; в таком-то состоянии я вновь явилась на сцене, и хоть уже не пользовалась таким успехом, как прежде (к чему я и не стремилась, зная, что это невозможно), я и теперь не испытывала недостатка в обществе, и притом в самом отборном — я имею в виду знатных посетителей, которые частенько ко мне наведывались; у меня попрежнему бывали веселые сборища и карты, и я развлекала своих гостей как только умела.

Никто не предъявлял мне притязаний известного рода, зная понаслышке о моем исключительном богатстве и полагая, что оно ставит меня выше унизительного положения содержанки, а, следовательно, о моей доступности не могло быть речи.

Наконец, однако, некий джентльмен знатного рода и (что в моих глазах имело не меньше значения) чрезвычайно состоятельный, отважился

предпринять на меня атаку. Начал он с пространного вступления касательно моего богатства. «Вот простак, — подумала я, взвешивая про себя предложение этого милорда. — И ты еще мнишь, будто на свете сыщется женщина, которая, согласившись унизиться до блуда, почтет ниже своего достоинства принять соответствующее вознаграждение. Ну, нет, милорд, коли вы чего от меня и добьетесь, то это вам будет тем дороже стоить, поскольку вы не посмеете предложить ничтожную сумму женщине, имеющей 2 000 фунтов годового доходу».

Итак, после долгих разглагольствований о сем предмете, заверяя меня, что не преследует каких-либо корыстных целей, не покушается на мое богатство и не намерен меня ограбить (чего, к слову сказать, я нимало не боялась, ибо я слишком много внимания уделяла своим денежкам, чтобы расстаться таким путем хотя бы с малой долей их), он принялся рассуждать о любви, предмете, столь для меня смехотворном, когда он не соединен с главным, то есть с деньгами, что у меня едва хватило терпения выслушать его до конца.

Я, впрочем, держалась с ним любезно и дала понять, что в состоянии выслушать гнусное предложение, не оскорбляясь, но что вместе с тем завоевать меня не такое легкое дело. Долгое время он приходил ко мне в качестве искателя, словом, ухаживал за мною не менее прилежно и внимательно, чем если бы речь шла о законном браке. Он сделал мне несколько ценных подарков, которые я, изрядно поломавшись для порядка, в конце концов принимала.

Мало-помалу я стала дозволять ему и некоторые другие вольности, так что, когда он, наконец, любезно предложил положить мне определенное содержание, говоря, что, хоть я и богата, это все же не освобождает его от обязанности вознаградить милости, коими я благоволю его удостоить, и что, если мне суждено ему принадлежать, я не должна проживать собственные деньги; за ценой же, заключил он, он не постоит. Я отвечала ему, что, хоть и не являюсь ни в какой мере мотовкой, мне все же не удается тратить на себя менее 500 фунтов в год; однако я не жажду определенного, заранее обусловленного содержания, ибо смотрю на это, как на род золотых оков, слишком напоминающих узы брака; хоть я и способна хранить верность человеку благородному, каковым я считаю его милость, сказала я, мне претит какое бы то ни было стеснение моей свободы; и пусть молва о моем богатстве несколько раздута, я все же и не так бедна, чтобы повесить себе хомут на шею ради какой-нибудь жалкой пенсии.

На это он возразил с совершенной искренностью, что намерен взять на себя все расходы на мое содержание; что не понимает, о каких узах может идти речь в частном договоре такого рода, какой мы с ним собираемся заключить; что он не сомневается, что честь моя будет служить единственными узами, нас связывающими, и что я не почту их обременительными; что касается прочих обязательств, он с презрением отметал все, кроме тех, кои, он убежден, я стану соблюдать, будучи женщиной чести; касательно же моего содержания он объявил, что я вскорости сама

могу убедиться, что он ценит меня много выше 500 фунтов в год; на этом мы с ним и порешили.

После означенного разговора я сделалась к нему несколько любезнее; время и многочисленные беседы наедине сильно нас сблизили, и мы уже начали подходить к главному предмету, а именно к 500 фунтам моего годового содержания[88]. Он тотчас согласился на такую сумму, причем тон его был таков, словно мое согласие являлось величайшим с моей стороны снисхождением; я же, которая и в самом деле считала такую сумму чрезмерной, в конце концов позволила себя убедить или уговорить ее принять, основывая, однако, наш союз на одной лишь устной договоренности.

Когда он таким образом добился своего, я сказала ему, что у меня было на душе. «Теперь вы сами видите, милорд, — сказала я, — сколь я бесхарактерна, уступив вам без всяких условий и без каких либо гарантий согласившись получать от вас лишь то, чего вашей милости можно будет лишить меня, когда бы вам ни заблагорассудилось; если я почувствую, что за мою доверчивость меня меньше ценят, я буду наказана карою, которую надеюсь не заслужить».

Он отвечал, что докажет мне, что не искал добиться меня путем выгодной сделки, к каковым часто принято прибегать; как я удостоила его доверия, сказал он, так и он мне покажет, что я доверилась человеку благородному, умеющему ценить любезность. С этими словами он вытащил из кармана вексель на имя некоего золотых дел мастера[89], достоинством в 300 фунтов, и, кладя его мне в руки, сказал, чтобы я смотрела на это, как на залог того, что, отказавшись с ним торговаться, я не прогадала.

Это было в самом деле очень мило и давало понятие о том, как будут складываться наши деловые отношения в дальнейшем; короче говоря, мое обхождение после этого невольно сделалось нежнее прежнего, и так одно повлекло за собой другое и я неоднократно явила ему доказательства того, что принадлежу ему всецело столь же по сердечному влечению, сколь по обязанности, чем его несказанно порадовала.

В скорости по заключении с ним нашего полюбовного договора я начала подумывать, что моему нынешнему положению не соответствует столь открытый образ жизни и, как я объявила моему господину, бóльшая уединенность избавила бы меня от домогательств и постоянных посещений известного ему рода людей, которые, к слову сказать, получив обо мне представление, коего я и в самом деле заслуживала, уже поговаривали о возобновлении этой вечной игры — любовных приключений и ухаживаний, о чем они, не церемонясь, давали мне понять; мне же все это было так отвратительно, как если бы я была добродетельной замужней женщиной. Эти люди мне и впрямь претили, тем более, что вели они себя назойливо и дерзко. Да и милорду*** они вряд ли пришлись бы по сердцу. Было бы довольно забавно описать все те способы, коими я отделывалась от подобных поклонников: я притворялась оскорбленной, говоря, что, к великому моему сожалению, они вынуждают меня просить их прекратить свои посещения и отказать им от дому, ибо не вижу иного

способа избежать клеветы, которую своими домогательствами они призывают на мою голову; как ни тяжело мне быть столь неучтивой, говорила я, я все же почитаю своим долгом не принимать у себя джентльмена, дерзнувшего сделать мне подобное предложение; впрочем, более обстоятельное описание всего этого задержало бы мой рассказ. Словом, по изложенным выше причинам я решила переменить свою квартиру, дабы жить более уединенно, о чем и доложила милорду; к тому же мне пришло в голову, что, коли я буду в состоянии жить на столь же широкую ногу, но не так открыто, мне удастся гораздо меньше тратиться, а пятиста фунтов в год, кои мне причитались от моего великодушного покровителя, будет более, — много более, — чем достаточно на мои расходы.

Милорд с готовностью поддержал меня в моем желании и пошел даже дальше, нежели я ожидала, приискав мне превосходную квартиру в доме, где его не знали (по-видимому, он подослал кого-нибудь арендовать эти комнаты вместо себя) и куда он мог проникать через дверь, выходящую в Сент-Джеймский парк — в ту пору это редко кому дозволялось.

Обладая собственным ключом, он мог попадать ко мне во всякое время дня и ночи, а поскольку в нашем распоряжении, сверх того, имелась дверца в нижнем этаже, замыкавшаяся на замок — а ключ у милорда подходил ко всем замкам, ибо это была отмычка, — он мог проходить прямо ко мне в спальню — и в двенадцать, и в час и два часа ночи.

N.B.: Я не боялась быть застигнутой с кем-нибудь другим в постели, короче говоря, я ни с кем, кроме милорда, не имела никаких дел.

Однажды ночью приключился с нами забавный случай; его милость ушел от меня в тот день поздно, и, не ожидая его посещения той же ночью, я взяла к себе в постель Эми; примерно в третьем часу заявился милорд и застал нас там обеих крепко уснувшими: он был слегка навеселе, впрочем, разум его ничуть не был помрачен и он не был, что называется, пьян. Он прямо прошел ко мне.

Эми перепугалась до смерти и громко вскрикнула. Я же спокойно сказала:

— Ах, это вы, милорд, я вас нынче не ждала и мы были несколько напуганы случившимся по соседству пожаром.

— Вот как! — воскликнул он. — Я вижу, у вас в постели уже есть гость.

Я принялась оправдываться.

— Не беспокойтесь, сударыня, — сказал милорд, я вижу, что это не гость, а гостья.

Но тут же, как бы спохватившись, прибавил:

— Впрочем, почем знать, — быть может, это, точно, гость?

— Ах, милорд, — сказала я, — неужели ваша милость не признали мою бедную Эми?

— Что это Эми, я вижу, — отвечал он. — Но откуда мне знать, что такое ваша Эми, ведь может статься, что это никакая не миссис Эми, а самый настоящий мистер Эми? Быть может, вы не воспротивитесь тому, чтобы я удостоверился сам?

Я сказала, извольте, ваша милость, проверяйте, коли вам то кажется нужным, но что до меня, я убеждена, что милорду известно, к какому полу она принадлежит.

Итак, он кинулся на бедную Эми, и я даже подумала, уж не зайдет ли он в своей шутке слишком далеко, да еще в моем присутствии, — ведь такое со мной уже случалось в обстоятельствах сходных с нынешними. Однако его милость не был столь разгорячен и всего лишь желал убедиться, является ли моя камеристка мистером Эми, или миссис Эми. Это ему, по-видимому, удалось, и, успокоив таким образом свои сомнения, он отошел в противоположный угол комнаты и оттуда — в смежный чулан, где и уселся.

Между тем мы с Эми встали, и я дала Эми свежие простыни, велев ей быстренько постлать милорду в другой комнате, что она немедля и исполнила. Там я уложила милорда и, по его просьбе, легла рядом. Правда, я поначалу пробовала уклониться, сказав, что перед тем лежала с Эми и не успела переменить рубахи, но ему к этому времени было уже не до щепетильности: с него было довольно того, что миссис Эми не являлась мистером Эми; на том вся шутка и кончилась; Эми, однако, не показывалась ему более на глаза ни в ту ночь, ни весь последующий день; когда же милорд, наконец, ее увидел, он так подтрунивал над ночным *следствием*, как он изволил выразиться, что Эми не знала, куда деваться со стыда.

Добродетель Эми, собственно, не отличалась столь суровой чопорностью, в чем мы имели случай убедиться, но в ту ночь она была застигнута врасплох и не совсем еще даже очнулась от сна; к тому же, в глазах милорда она была вполне добродетельной девицей, он не имел оснований в этом сомневаться; прочее же было лишь для посвященных.

Вот уже восемь лет — считая с моего возвращения в Англию — как я вела сей неправедный образ жизни, и хоть милорд не находил, к чему во мне придраться, я обнаружила без особого труда, что всякий, кто взглянет мне в лицо, поймет, что мне уже перевалило за двадцать; между тем, могу сказать, не хвастая, что для своего возраста — а мне уже пошел шестой десяток — я весьма и весьма хорошо сохранилась.

Я думаю, свет не видывал такой женщины, как я: прожить двадцать шесть лет, увязая в пороке, и не испытывать при этом ни тени раскаяния, или хотя бы сожаления, ни намека на желание положить такой жизни конец! Верно, за все эти годы привычка к пороку столь крепко во мне укоренилась, что я и не ощущала его как порок, и жизнь моя катилась гладко и безмятежно. Я купалась в золоте, которое, благодаря экономическим ухищрениям, кои мне внушил честный сэр Роберт, изливалось на меня столь обильным потоком, что к окончанию моего восьмого года в Англии я имела две тысячи восемьсот фунтов ежегодного дохода; при этом я его даже не трогала, ибо полностью перешла на содержание милорда ***, из щедрот которого я еще умудрялась откладывать более 200 фунтов в год; ибо, хоть он и не обязывался выплачивать мне ежегодное содержание в 500 фунтов, как я о том ему намекала, он давал мне

деньги столь часто и в таком количестве, что почти всякий год я получала от него по меньшей мере семьсот, а то и восемьсот фунтов.

Здесь я должна немного заглянуть назад, затем что, рассказав так откровенно о всех своих дурных поступках, я должна также упомянуть кое о чем, что, смею сказать, рисует меня и с хорошей стороны. Я не забыла, что, покидая Англию, — а тому прошло уже пятнадцать лет — я оставила пятерых младенцев, так сказать, на произвол судьбы, иначе говоря, — на милость родственников их отца. Старшей в ту пору еще не сравнялось и шести лет, ибо мы были женаты неполных семь лет, когда их отец нас бросил.

Возвратясь в Англию, я испытывала большое желание узнать, как сложилась их судьба, живы ли они и, если живы, то каким образом поддерживают свое существование; притом я решилась ни под каким видом им не открываться и оставить тех, кому довелось их воспитывать, в неведении, что на свете есть существо, являющееся их матерью.

Единственное лицо, которому я могла довериться, была Эми; ее-то я и послала в Спитлфилдс, где жили старая тетка и та бедная женщина, которая вынудила родственников взять на себя попечение о моих детях; ни той, ни другой она не застала, — вот уже несколько лет как обе покоились в сырой земле.

Тогда Эми решила наведаться в дом, куда она подкинула несчастных детей. Там она застала новых жильцов, от которых никакого толку добиться ей не удалось. Итак, Эми вернулась с ответом, который для меня отнюдь не являлся ответом, ибо не мог меня ни в коей мере удовлетворить. Я послала ее назад, чтобы она порасспросила соседей, что сталось с семьей, проживавшей прежде в доме, где поселились новые жильцы, и если они переехали, то куда и каковы их обстоятельства, а заодно, по возможности, разузнать, что с теми несчастными сиротками, как они живут и где, какое было с ними обращение и прочее.

Из второго своего посольства Эми принесла мне следующую весть: что касается моих родственников, то муж моей золовки, который, хоть и не являясь моим детям родным дядюшкой, был, однако, к ним добрее, умер, оставив свою вдову в обстоятельствах, несколько стесненных; не то, чтобы она нуждалась, но состояние ее оказалось много меньше, нежели то, какое молва приписывала покойному.

Что до несчастных малюток, то двоих из них она как будто продолжала держать при себе, во всяком случае, так было до смерти ее мужа; однако добрые соседи от души жалели бедных сироток; тетушка, как известно, приютила их против воли и обращалась с ними самым варварским образом, держа их чуть ли не на положении слуг, заставляя их выполнять всю черную работу по дому и прислуживать ей и ее родным детям; притом она едва даже раскошеливалась на то, чтобы их одевать по-человечески.

По-видимому, речь шла о двух моих старших дочерях; первой у меня родилась девочка, затем мальчик, за ним две девочки, и наконец, самый младший — мальчик.

Задержусь, однако, на печальной истории моих двух старших дочерей, чтобы уже покончить с нею. Как моей Эми сделалось известно все от тех же соседей, девочки, едва достигнув возраста, в котором можно уже самим искать работу, ушли от тетки; иные утверждали, что она их выгнала из дому, но, кажется, дело обстояло не совсем так; однако жестоким своим обращением она вынудила их покинуть ее дом, и старшая поступила в услужение к хорошим знакомым, жившим неподалеку; то была добрая женщина, жена довольно состоятельного ткача, и она взяла мою дочь к себе в горничные; некоторое время спустя, старшая подыскала место для второй сестры и вызволила ее из каторги, каковой было житье у тетушки.

Словом, это скучная и грустная история. Я направила Эми в дом ткача, у которого работала моя старшая, но тут выяснилось, что хозяйка, жена ткача, умерла, и никто не мог сказать, куда девалась ее горничная; говорили, будто та устроилась к какой-то знатной даме, проживавшей в другом конце города; однако имени этой дамы никто не знал.

Все эти справки заняли у нас недели три или четыре, к исходу коих я была ничуть не в лучшем положении, чем прежде, ибо то, что я узнала, никоим образом удовлетворить меня не могло.

Я послала Эми на розыски того доброго человека, который, как я говорила в начале моей повести, настоял на том, чтобы собрать деньги на воспитание моих детей и заставил взять младшего из приходского приюта. Человек этот был еще жив; Эми удалось также узнать, что мои младшая дочь и старший сын оба померли, но что младший сын, которому к этому времени миновало семнадцать, был, благодаря все тому же доброму попечительству своего дядюшки, подмастерьем, но что ремесло, к которому его определили, было самого низкого разбора, так что ему приходилось выполнять тяжелую работу.

Подстрекаемая любопытством, Эми тотчас отправилась его проведать; он был с ног до головы в грязи, и видно было, что он работает сверх всяких сил. Узнать его, она, конечно, не узнала, ибо в последний раз, когда она его видела, ему было всего два года.

Однако, разговорившись с ним, она обнаружила, что это славный, смышленый и обходительный малый; что о судьбе его родителей ему ничего не известно, и что он не имеет никаких иных видов на будущее, кроме как зарабатывать себе на жизнь прилежным трудом; Эми не захотела смущать его соблазнительными надеждами, опасаясь, как бы у него не вскружилась голова и он не сделался лодырем; однако она разыскала благодетеля, пристроившего его к месту, и, обнаружив, что это простой добросердечный человек, питавший лучшие намерения, сочла возможным быть с ним несколько откровеннее. Она рассказала ему длинную историю о том, что юноша внушает ей большую нежность, ибо она была очень привязана к его родителям; что она и есть та самая служанка, что привела всех детей к дому их тетушки и убежала; что ей очень хотелось бы знать о дальнейшей участи их несчастной матери, которая тогда осталась без каких бы то ни было средств к пропитанию. Под конец Эми

сообщила, что собственные обстоятельства ее поправились и что она в состоянии кое в чем помочь этим детям, если бы только могла их разыскать.

Он выслушал ее со всей учтивостью, какую только могло вызвать столь доброе предложение, и в свою очередь рассказал подробно обо всем, что ему удалось сделать для мальчика; как он его воспитывал, кормил и одевал, дал окончить школу и, наконец, пристроил в ученики. Эми сказала, что он показал себя истинным отцом ребенка.

— Однако, сударь, — продолжала она, — ремесло, в какое вы его отдали, весьма тяжелое, работа изнурительна, а мальчик меж тем худой и слабенький.

— То верно, — согласился он, — но мальчик сам избрал это ремесло и, поверьте, сударыня, мне пришлось из своего кармана выложить 20 фунтов за его обучение [90] и, сверх того, одевать его на свои средства, покуда не кончатся годы его ученичества. Что же до того, что работа трудная, — сказал он, — увы, такова участь бедняги, я же сделал для него все, что мог.

— Что ж, сударь, вы, я вижу, от души хотели ему помочь, — говорит Эми. — И это делает вам честь; но коль скоро я решилась принять в нем участие, я попросила бы вас, если можно, взять его с этой работы, она чересчур для него изнурительна, и я видеть не могу, как ребенок выбивается из сил ради куска хлеба; я надеюсь устроить ему судьбу так, чтобы он мог жить без столь тяжкого труда.

Добрый человек усмехнулся на эти слова.

— Разумеется, — сказал он, — я могу его взять от этого хозяина. Но только тогда мне не видать моих 20-ти фунтов, что я за него уплатил.

— Что до этого, сударь, — сказала Эми, — ваши 20 фунтов не пропадут, — и с этими словами вынимает из кармана кошелек.

Честный попечитель моего сына был заметно поражен; он поглядел ей в лицо с таким пристальным вниманием, что она не могла сделать вид, будто ничего не замечает.

— Сударь, — сказала она, — вы на меня смотрите так, словно стремитесь меня припомнить; однако, смею заверить, я никогда прежде в лицо вас не видела; по моему понятию, то, что вы сделали для этого ребенка, дает вам право почитаться его отцом; однако вы и так понесли большие расходы по его воспитанию, и было бы несправедливо, чтобы вы потерпели еще больший ущерб, — почему я и хочу возвратить вам ваши 20 фунтов, дабы вы взяли его с этой работы.

— Коли так, сударыня, — сказал он, — благодарствуйте и за мальчика и за меня, но укажите мне в этом случае, как мне с ним поступить дальше.

— Сударь, — сказала Эми, — раз уж вы были столь добры, что держали мальчика все эти годы при себе, прошу вас подержать его еще год, и я дам вам еще 100 фунтов на его содержание с тем, чтобы он мог продолжать учение, а вы по-прежнему будете его кормить и одевать; быть может, мне удастся определить его судьбу так, что и он будет в состоянии вознаградить вас за всю вашу заботу.

Добрый человек этот был, видимо, доволен, но вместе с тем и чрезвычайно изумлен. Он спросил далее Эми — все это в выражениях самых почтительных, — каким наукам должен, по ее мнению, в течение этого года обучаться юноша и к какому ремеслу хотелось бы ей его приуготовить?

Эми отвечала, что мальчику следует немного поупражняться в латыни, в счете, а также чтобы он выработал хороший почерк, ибо она намерена определить его счетоводом к какому-нибудь купцу из Левантийской Компании [91].

— Сударыня, — сказал он на это, — я рад за мальчика, что у вас такие на него виды, но известно ли вам, что купец потребует не меньше чем 400 или даже 500 фунтов?

— Да, сударь, — сказала Эми. — Я это прекрасно знаю.

— К тому же, — продолжал он, — чтобы поставить мальчика на ноги, понадобится не меньшая сумма.

— Да, сударь, — вновь ответствовала Эми. — И это мне известно также. — Затем, решившись произвести на своего собеседника впечатление, прибавила: — Не имея собственных детей, я намерена сделать его своим наследником, и если в дальнейшем, чтобы поставить его на ноги, понадобится хоть бы и десять тысяч, они ему будут предоставлены; я была всего лишь служанкой у его матери, когда он появился на свет, и от всей души оплакивала постигшее их семью несчастье, и я тогда же сказала себе, что непременно усыновлю это дитя, если только у меня появится такая возможность; и это слово я теперь решаюсь выполнить, хотя, правду сказать, и предвидеть не могла в те времена, что мои дела сложатся столь удачным образом.

Затем Эми принялась пространно сетовать на то, как ее томит неизвестность о моей судьбе и как она дала бы что угодно, лишь бы знать, жива я или нет, и, если жива, то что со мною; что если бы только ей удалось меня разыскать, в какой бы нищете я ни оказалась, она стала бы обо мне заботиться и добилась бы того, чтобы я вновь заняла подобающее мне положение в обществе.

Что до матери этого юноши, сообщил он, та была доведена до последней крайности и была вынуждена (как, он полагает, его собеседнице известно) разослать детей по родственникам мужа; кабы не его вмешательство, продолжал он, они остались бы на попечении прихода, но он уговорил остальных родственников взять расходы по их содержанию сообща; что сам он взял себе двоих, из коих старший погиб от оспы [92]; зато на того, что остался в живых, он смотрел, как на родного сына и в малолетстве его почти не делал различия между ним и своими собственными детьми; но что, когда пришла пора определить его к какому-нибудь ремеслу, он почел за лучшее пристроить мальчика к такому делу, где ему не понадобится впоследствии вкладывать свой капитал; что же до матери, ему так ни разу не привелось и словечка об ней услышать, — ни разу, хоть он самым тщательным образом пытался навести о ней справки; до него, правда, дошел слух, будто она утопилась, однако ему так никогда и не пришлось встре-

тить кого-либо, кто бы мог представить ему достоверный отчет о сем событии.

Эми пустила притворную слезу по своей бедной хозяйке, сказав, что отдала бы все на свете, лишь бы ее увидеть, коль та жива; таким образом беседа их продолжалась еще несколько времени; затем они вновь принялись обсуждать будущее мальчика.

Его воспитатель спросил Эми, отчего та не пыталась разыскать его до сего времени, с тем чтобы легче было его с более ранних лет приуготовить к будущему, к какому она его предназначала.

Она ответила, что все это время не была в Англии и лишь недавно возвратилась из Индии. Что ее не было до сей поры в Англии, было истинной правдой, равно как и то, что она всего лишь недавно в нее возвратилась; все же остальное было ложью, к которой она прибегла для отвода глаз и дабы положить конец дальнейшим расспросам, — в ту пору нередко случалось бедной молодой женщине, отправившись в Индию, привозить оттуда изрядное состояние [93]. Эми затем дала еще несколько наставлений относительно мальчика, и оба согласились на том, чтобы ему ни под каким видом не сообщать, что́ его ожидает, а лишь взять его обратно в дядюшкин дом, сказав, что дядюшка находит избранное для него ремесло непосильным и так далее.

Примерно через три дня Эми отправляется туда с обещанной сотней фунтов; на этот раз, однако, Эми явилась во всем блеске — в моей карете с двумя лакеями, нарядно разодетая, вся в драгоценностях и при золотых часах; да и правду сказать, ей не составляло труда изображать из себя благородную даму, ибо это была красивая, статная женщина, в совершенстве усвоившая хорошие манеры и тон; кучеру и лакеям было велено оказывать ей то же уважение, как если бы на ее месте была я сама, и в случае расспросов именовать ее *миссис Коллинз.*

Когда добряк узрел ее в столь великолепном виде, он изумился более прежнего, принял ее весьма почтительно, поздравил с поворотом фортуны и особенно радовался тому, что бедному юноше, вопреки всем ожиданиям, выпало такое счастье.

Эми держалась величественно и вместе с тем свободно и просто, сказав, что удачи не заставили ее задирать нос (а так оно и было в самом деле, ибо Эми, к ее чести, ничуть не кичилась и была добродушнейшим существом на свете), что она осталась такой же, как прежде, что всегда питала нежность к этому мальчику и намеревалась принять участие в его судьбе.

С этими словами она извлекла деньги и вручила ему сто двадцать фунтов; она ни за что не допустит, сказала она, чтобы воспитатель ее любимца потерпел какой-либо ущерб от того, что взял мальчика обратно в дом; и обещала вскорости наведаться вновь, дабы переговорить обо всем и устроить дела таким образом, чтобы никакой случай — смерть кого-либо из них или еще что — не мог дурно отразиться на судьбе мальчика.

Дядюшка его представил при этом свидании свою жену, добрую, заботливую, приятную и серьезную женщину; она с любовью говорила

о мальчике, к которому, как оказалось, была на протяжении всех этих лет очень ласкова, несмотря на то, что у нее был полон дом своих детей. После того как беседа продлилась достаточно долго, она обратилась к Эми со следующими словами: «Сударыня, — сказала она, — я от души радуюсь вашим добрым намерениям по отношению к бедному сиротке, и искренне за него рада, но вам должно быть известно, сударыня, что у него осталось в живых еще две сестры — не позволите ли вы нам замолвить словечко также и за них? Бедняжки, — заключила она, — им пришлось туже, чем брату, и они брошены на произвол судьбы».

— Где же они сейчас, сударыня? — спросила Эми.

— Бедненькие, — отвечала достойная женщина, — они где-то в услужении, а где, о том не известно никому, кроме как им самим; да, с ними фортуна обошлась весьма сурово.

— Что ж, сударыня, — сказала Эми. — Если бы я могла их разыскать, я попыталась бы им помочь, и хоть основная моя забота — *мой мальчик,* как я его называю, я сделаю все, чтобы он оказался в состоянии со временем сделаться опорой для своих сестер.

— Ах, сударыня, — возразила сия добрая, сострадательная душа, — но ведь, как знать, быть может, он и не питает нежных чувств к своим сестрам. Ведь он им не отец, а всего лишь брат. А бедняжкам пришлось-таки хлебнуть горя; мы подчас — это еще в ту пору, когда они считались на попечении их бесчеловечной тетки, — старались им помочь когда куском хлеба, когда — одежкой.

— Хорошо, сударыня, — отвечает Эми, — что же я могу сделать для них? Они ведь обе сгинули, и никто не знает куда. Если мне доведется напасть на их след, тогда и подумаем.

Добрая женщина продолжала настаивать, чтобы Эми каким-либо образом обязала брата, которому, по всему судя, предстояло немалое богатство, выделить что-либо сестрам от своих щедрот.

Эми на это ответствовала довольно сухо, однако сказала, что еще подумает; на этом они и расстались. Впрочем, они не раз еще встречались после сего, ибо Эми приходила проведать своего *приемного сына,* дабы распорядиться дальнейшим его учением, одеждой и прочим; при этом она обязала его домашних не говорить юноше ничего, кроме того, что они почли нынешнее его ремесло чрезмерно для него обременительным и решили взять его домой и предоставить ему возможность еще немного поучиться, дабы приготовить к поприщу, которое бы более соответствовало его силам; Эми по-прежнему являлась в качестве старинной знакомой его матери, которая в силу давней привязанности принимает в нем участие.

В таком-то положении примерно и пребывали дела год, как вдруг одна из моих служанок попросила у Эми дозволения отлучиться — Эми же ведала всеми моими слугами, нанимая их и увольняя по собственному усмотрению; итак, испросивши дозволения отлучиться в город, дабы проведать родственников, служанка эта возвратилась, горько рыдая; печаль, овладевшая ею, не покидала ее и на другой день и на третий, и во все последующие дни; наконец, Эми, заметив, что та пребывает в прежней горести,

что она без конца плачет и того и гляди вовсе разболеется, нашла случай поговорить с ней по душам и хорошенько обо всем расспросить.

Девушка поведала ей длинную историю о том, как она ездила навестить своего единственного брата, который, как ей было ведомо, работал учеником у ***, и как в один прекрасный день некая важная барыня приехала в карете к его дядюшке, у которого тот воспитывался, и заставила дядюшку забрать ее братца домой; и девушка подробно изложила всю известную уже нам историю, покуда не дошла до места, касающегося ее самой.

— А я, глупая, — заключила она свой рассказ, — не говорила им, где я живу, а то бы та дама взяла бы и меня и позаботилась бы обо мне, как и о моем братце, но никто не мог ей сказать, где меня найти, и теперь я потеряла все и мне суждено всю жизнь так и промаяться в прислугах. — И девушка вновь залилась слезами.

— Это еще что за басни? — сказала Эми. — И где, интересно, они выкопали такую барыню? Все это, верно, вранье, и не больше.

Но нет, сказала служанка, то не басня, ибо велением барыни они забрали ее братца домой, выкупив его у хозяина, обрядили его в новое платье и учат его теперь школьным премудростям; а вдобавок еще барыня посулила сделать его своим наследником.

— Воображаю себе это наследство! — воскликнула Эми. — Много ли в нем толку? Ей, наверное, и оставить-то нечего, вот она и заводит наследничков.

— Ах, нет, — возразила девушка, — она приезжала в великолепной карете, запряженной прекрасными лошадьми, при ней было видимо-невидимо лакеев, и она привезла с собой целый мешок золота и дала его моему дядюшке, тому, что воспитал братца, и велела купить ему одежду, а на остальные оплачивать учителей его и стол.

— Он воспитал твоего братца, говоришь? — спросила Эми. — Отчего же не взялся он воспитать заодно и тебя? Кто же в таком случае тебя воспитывал?

Здесь девушка поведала Эми печальную историю о том, как другая их тетушка взяла к себе ее и ее сестру и как бесчеловечно с ними обеими обращались — словом, все то, что мы уже знали.

К этому времени и ум и сердце Эми переполнились, и она боялась, что выдаст себя, и не знала, как ей поступить, ибо у нее уже не было никаких сомнений, что служанка эта является моей родной дочерью; сверх всего, та ей еще рассказала всю историю своих родителей и то, как их служанка отвела ее и оставила у дверей дома ее тетушки, о чем уже было сказано в начале моей повести.

Эми долгое время все это от меня скрывала, не зная, что и предпринять дальше, однако, будучи управительницей надо всей прислугой в моем доме, через некоторое время она, придравшись к случаю, и не говоря мне о том ни слова, уволила девушку.

Она правильно рассудила, хоть поначалу, когда она все это мне рассказала, я была ею недовольна; впрочем, впоследствии я и сама убедилась,

что она была права; ведь если бы она мне рассказала обо всем сразу, я была бы в большом затруднении, как поступить; с одной стороны, мне надобно было бы скрываться от родной дочери, с другой — опасаться, как бы родня моего первого мужа не проведала о моем нынешнем образе жизни; да и сам мой муж тоже; ибо, что до его смерти в Париже, то Эми, убедившись в моей решимости не выходить более замуж, призналась, что выдумала, будто он умер (это, когда я еще была в Голландии), на случай, если мне подвернется кто по сердцу.

Однако, несмотря на все мои поступки, в сердце моем еще оставалось довольно материнского чувства, и я не могла смириться с тем, что дочь моя вынуждена вести, можно сказать, каторжную жизнь судомойки и быть навсегда прикованной к кухне; сверх того, я опасалась, как бы она не вышла замуж за какого-нибудь лакея или кучера или еще за кого и тем окончательно не загубила свою жизнь. Так, несмотря на свое благополучие и роскошь, меня окружавшую, я пребывала в постоянной тревоге.

Послать к ней Эми уже было нельзя, ибо, будучи служанкой в моем доме, она знала Эми не хуже, чем Эми — меня; и хоть я и достаточно была от нее отдалена, все же могло случиться, что она из любопытства как-нибудь умудрилась на меня взглянуть, и — кабы я решилась ей показаться — она, несомненно, меня бы признала; словом, в этом направлении путь был закрыт.

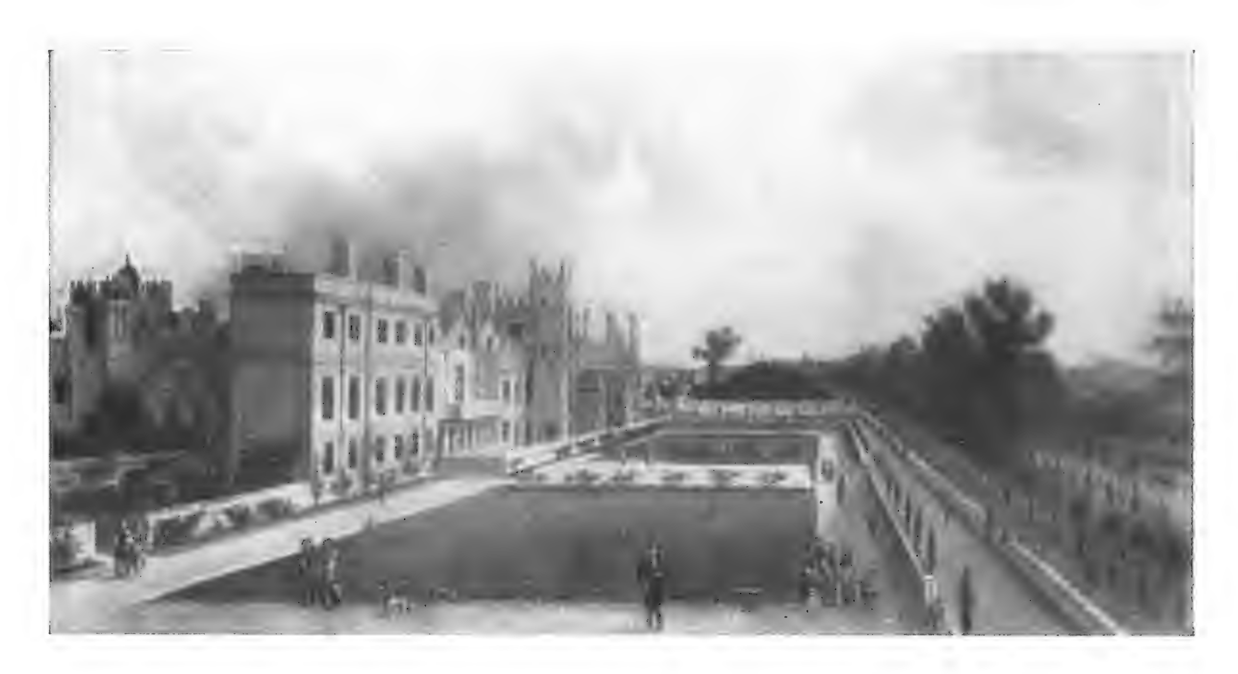
Однако Эми, эта неутомимая и упорная душа, разыскала некую женщину и дала ей поручение, послав ее в Спитлфилдс, где проживал благодетель моего сына, и куда, как полагала Эми, девушка непременно должна была явиться после того, как потеряла место у меня; женщине этой было велено дать ей обиняками и намеками понять, что так же, как и для ее брата, кое-что будет сделано и для нее; чтобы дочь моя не впала в отчаяние, подосланная должна была вручить ей 20 фунтов на то, чтобы она купила себе одежду; сверх того ей было поручено внушить девушке, чтобы она не шла никуда более в услужение, а думала об ином; чтобы она арендовала себе комнату у каких-нибудь честных людей и там дожидалась дальнейших указаний.

Девушка, как можно себе вообразить, была вне себя от радости, и поначалу даже чрезмерно о себе возомнила; она купила себе весьма нарядное платье и первым делом нанесла миссис Эми визит, дабы показаться ей во всем своем новоявленном великолепии. Эми ее поздравила, и выразила надежду, что все обернется так, как о том мечтает девушка, но предостерегла ее от слишком высоких ожиданий; скромность, сказала она, есть лучшее украшение благородной женщины, и, словом, надавала ей множество полезных советов, ничего ей, однако, не открыв.

Все рассказанное выше имело место в первые годы моего блистательного появления в свете, в пору балов и маскарадов; Эми успешно проследила за первыми шагами моего сына на его новом поприще, причем мы воспользовались мудрыми советами моего верного наставника сэра Роберта Клейтона, который подыскал для него учителя; тот впоследствии послал его в Италию, о чем будет рассказано в соответствующем месте



КОРОЛЕВСКАЯ БИРЖА.
Гравюра XVIII в.



СЕНТ-ДЖЕЙМСКИЙ ДВОРЕЦ.
С картины неизвестного художника (ок. 1690 г.).

моей повести; столь же успешно, хоть и через третье лицо, Эми распорядилась судьбой моей дочери.

Связь моя с милордом *** начинала близиться к концу, и, признаться, несмотря на его деньги, она затянулась столь долго, что их милость наскучил мне много более, нежели я ему. Он успел за это время состариться, сделался раздражителен и капризен и, что ни старше, то порочнее, настолько, что самый порок сделался мне отвратителен и невыносим; в делах этого рода у него завелись такие привычки, какие я не решаюсь здесь описывать, и так они мне омерзели, что, воспользовавшись как-то одним из его капризов, коими он мне все чаще докучал, я оказалась менее покладистой, чем обычно; зная его вспыльчивость, я позаботилась о том, чтобы вызвать у него приступ гнева, коим затем оскорбилась, что привело к крупному разговору; я объявила, что замечаю с его стороны известное к себе охлаждение; в пылу запальчивости он ответил, что так оно и есть. Тогда я сказала, что усматриваю в обхождении его милости со мною желание отвратить меня от него, что за последнее время он позволил себе по отношению ко мне поступки, каких никогда прежде не допускал, и, словом, просила милорда не стесняться, коли он задумал меня бросить; однако я не довела дела до прямого разрыва и не стала говорить, что и мне он надоел не меньше, так что я прошу его меня освободить, ибо знала, что это придет само собой; сверх того, я была обязана ему за многое и не хотела, чтобы разрыв произошел по моей вине, дабы он не имел случая попрекнуть меня неблагодарностью.

Однако он сам дал мне повод, ибо целых два месяца не показывался мне на глаза; я, впрочем, так и ждала, что за нашим разговором последует его отлучка на некоторое время, ибо так у нас уже бывало не один раз; правда, обычно она не превышала двух, от силы трех недель. Однако, прождав его с месяц, — а столь длительной разлуке, как я сказала, он меня еще не подвергал ни разу, я решилась на новую тактику, ибо положила, что отныне уже в моей воле — продолжать ли нашу связь далее, или совсем ее порвать. Поэтому к концу месяца я выехала из своего дома и поселилась возле Кенсингтонского карьера, неподалеку от дороги на Эктон; в доме же я оставила лишь Эми да одного слугу, дав им наставления, как себя держать, когда милорд опомнится и почтет нужным возвратиться, — а что так будет, в этом я нимало не сомневалась.

Примерно к исходу второго месяца он явился и, как обычно, в сумерки. Открывший ему дверь слуга доложил, что госпожи нет дома, но что миссис Эми у себя наверху: милорд не стал требовать, чтобы та к нему спустилась, и сам поднялся в столовую, куда к нему вышла миссис Эми. Он спросил, где я.

— Милорд, — отвечала Эми, — моя госпожа вот уже давно, как отсюда выехала и поселилась в Кенсингтоне.

— Скажите, пожалуйста! — воскликнул он. — Какими судьбами в таком случае, любезная миссис Эми, мне посчастливилось застать здесь вас?

— Милорд, — ответствовала Эми, — мы здесь остались до конца

месяца, ибо вещи еще не перевезены, к тому же нам поручено отвечать тем, кому будет угодно справиться о миледи.

— Так, — сказал он. — Что же вам поручено было передать мне?

— Право, милорд, — говорит Эми, — у меня никаких особых поручений к вашей милости нет, разве что сообщить вам, да и всякому, кто полюбопытствует, адрес, по коему миледи отныне пребывает, дабы никто не вздумал, что она сбежала.

— Ну, нет, миссис Эми, — возразил он, — что до этого, я не полагаю, чтобы она сбежала, но, по правде сказать, я не расположен следовать за нею так далеко.

В ответ Эми только молча присела в реверансе. Затем прибавила, что, по ее расчетам, я через некоторое время должна буду сюда прибыть на неделю-другую.

— Когда же вы ожидаете сего события, миссис Эми? — спросил милорд.

— Да я думаю, к следующему вторнику, — отвечала она.

— Отлично, — сказал милорд. — Тогда я к ней и наведаюсь. — И с этими словами повернулся и ушел.

Я соответственно прибыла во вторник и провела там две недели; он так и не являлся; тогда я вернулась в Кенсингтон, и посещения милорда, к несказанной моей радости, сделались весьма редкими; несколько же времени спустя я этому радовалась еще более, чем вначале, и по причине еще более важной.

Ибо к этому времени мне опротивел не только милорд, но и самый порок; а как у меня теперь возможности предаваться развлечениям и наслаждаться жизнью было более, чем у какой-либо другой женщины на свете, я обнаружила, что рассудок все более убеждает меня искать радостей в более благородных делах, нежели мне прежде приходило на ум; и как только я вступила на путь подобных рассуждений, я начала по справедливости судить о своем прошлом и обо всем моем прежнем образе жизни. И хоть в мыслях моих не было и малейшего признака того, что могло бы именоваться благочестием или пробудившейся совестью, и я была еще далека от раскаяния или хотя бы какого-нибудь родственного ему чувства, в особенности поначалу, тем не менее мое понимание жизни и знание света, и, сверх того, разнообразное множество сцен, в которых мне довелось играть свою роль, — все это мало-помалу, говорю, начало оказывать действие на мой ум; а однажды утром, когда я лежала в постели, уже пробудившись, но еще не вставая, все это отозвалось во мне с такой силой, словно кто-то со стороны вдруг задал мне вопрос: *«Теперь-то зачем тебе ходить в шлюхах?»* На таковой вопрос естественно было отвечать, что вначале меня на этот путь толкнули нужда и крайность, кои сатана представил мне в еще более безнадежном свете, дабы заставить меня поддаться соблазну; ибо должно признать, что отчасти вследствие того, что я была воспитана в добродетели, отчасти же благодаря врожденному благочестию, в молодости у меня было сильное отвращение к греху; однако дьявол и сила, еще более могучая, чем сам дьявол, — нужда одер-

жали верх, а главное, человек, подвергнувший мою добродетель осаде, повел ее в столь любезной и, смею сказать, неотразимой манере, и все это при содействии все того же нечистого духа — да будет мне позволено верить, что сей последний принимал, если не целиком, то хотя бы частичное участие в направлении моих дел! — словом, как я сказала, человек этот повел свою осаду столь неотразимым образом, что (как я и говорила, описывая события той поры) не в моей власти было противиться ему. Этими обстоятельствами, повторяю, заправляла бесовская сила, причем не только в ту пору, когда она меня склонила уступить; нет, она, эта сила, продолжала приводить бедственное мое положение в качестве довода, укреплявшего дух мой против доводов рассудка и вести меня по омерзительному пути, по коему я шла с такой неуклонностью, точно считала его законным и честным.

Однако здесь не место задерживаться на этом. Все это было лишь предлогом, пусть и не вовсе лишенным основания, но мне не следовало им воспользоваться; впрочем, отбросим сейчас все это, говорю, как не идущее к делу; теперь же сам дьявол не мог снабдить меня ни единым доводом, либо вложить мне в голову хоть какую-нибудь причину, — нет, как бы он того ни хотел, он не мог бы придумать ответа на этот вопрос: *теперь-то зачем мне ходить в шлюхах?*

Какое-то время я еще могла, положим, ссылаться в качестве оправдания на то, что дала известные обязательства этому порочному старому лорду и что честь не дозволяет мне его покинуть; как глупо и нелепо, однако, звучит это слово *честь* в столь бесчестном деле! Как будто женщина вольна продавать свою честь во имя бесчестия — какая омерзительная непоследовательность! Честь требовала, чтобы я возненавидела свой грех, да и самого человека, с которым его вершу, требовала, чтобы я с самого начала противилась всем нападениям, коим подвергалась моя добродетель; и все та же честь, кабы я не была глуха к ее зову, сохранила бы меня честной. Ибо

Что *честь*, что *честность* — все едино.

Все это, впрочем, показывает нам, сколь ничтожными оправданиями и пустяками тщимся мы себя тешить, подавляя попытки совести возвысить свой голос, когда желаем предаться приятному нам греху и сохранить наслаждения, с коими претит нам расстаться.

Однако последнее мое оправдание уже больше не годилось, ибо милорд сам нарушил, отступился от своего обязательства (не стану более называть это честью) и своим небрежением дал мне справедливый повод совсем с ним расстаться; словом, поскольку и с этой причиной было покончено, мой вопрос — *чего ради быть мне шлюхой теперь?* — так и оставался без ответа. Ибо ничего не могла я уже привести себе в оправдание, даже наедине с собой. Как я ни была порочна, я не могла, не краснея, ответить, что мне мил разврат и что мне просто-напросто нравится быть шлюхой, — я не могла в том признаться самой себе, наедине с собой, к тому же это и не было бы правдой. Никогда-то не могла я по справед-

ливости и правде сказать, что я настолько порочна; но, в то время как вначале меня развратила нужда, а бедность сделала шлюхой, побуждали меня продолжать в начатом роде чрезмерная жадность к деньгам и чрезмерное тщеславие, ибо я не в силах была устоять против лести великих мира сего; против соблазна слышать, как меня провозглашают самой прелестной женщиной во Франции, против любезностей принца крови, а впоследствии против собственной гордыни, заставившей меня рассчитывать, и по глупости уверовать (разумеется, без малейших к тому оснований), будто я снискала себе любовь великого монарха. Таковы были приманки, таковы оковы, коими опутал меня сам дьявол. Рассудок же мой в ту пору был слишком ими пленен, чтобы я эти оковы могла разбить,

Теперь же со всем этим было покончено. Самая крайняя алчность не могла служить мне более предлогом, сама судьба уже была бессильна уменьшить мое состояние. Я была недосягаема для нужды, и даже отдаленная опасность повстречаться с нею вновь мне уже не грозила, ибо у меня было по меньшей мере 50 000 фунтов — впрочем, куда больше: ведь с этой суммы, которую я весьма выгодным образом обратила в недвижимое имущество, я получала 2 500 фунтов годового дохода, помимо тех трех или четырех тысяч, которые я держала при себе на текущие расходы, не говоря о драгоценностях, серебряной утвари и прочем добре, составлявших вместе еще около 5 600 фунтов. Итак, перебирая в уме свои богатства, — а я, разумеется, этому занятию предавалась беспрестанно, — я с еще большей силой ощутила важность вопроса, о котором я сказала выше, и он не переставая звучал в моих ушах: *«Что же дальше? Зачем мне теперь ходить в шлюхах?»*

Но хоть это верно, что мысли эти не давали мне покоя ни днем ни ночью, они, однако, не оказывали на меня того действия, какого можно было бы ожидать от размышлений о предмете столь основательном и серьезном.

Впрочем, кое-какие последствия даже и в ту пору они имели, заставив меня несколько изменить мой прежний образ жизни, о чем будет сказано в надлежащем месте.

Но тут примешалось одно особенное обстоятельство, доставившее мне в то время немало беспокойства, которое потянуло за собой целую череду событий иного рода. В небольших отступлениях, которыми я время от времени перебивала свой рассказ, я уже говорила, как меня заботила мысль о моих детях, а также, как я распорядилась в этом деле. Продолжу немного эту часть моего рассказа, дабы привести ее в единый строй с последующими происшествиями.

Мальчика моего, моего единственного оставшегося в живых законного сына, удалось спасти от тяжкой участи подмастерья простого ремесленника, дав ему возможность продолжать образование; обстоятельство это, которое хоть оно в конечном счете и давало неисчислимые преимущества, оттягивало срок, когда он мог стать на ноги, почти на три года, ибо он уже почти год промаялся у своего первого хозяина, к которому его поместили, а для того, чтобы подготовить его к поприщу, на коем он имел

теперь надежду со временем подвизаться, требовалось еще два года; таким образом, ему было уже 19 лет, если не все 20, прежде чем он мог приступить к тем занятиям, к каким я его предназначала. Впрочем, срок этот миновал и я устроила его в ученики к преуспевающему купцу, у которого были дела в Италии; тот послал его в Мессину, что на острове Сицилия. Незадолго до события, о котором я собираюсь рассказать, я, иначе говоря, миссис Эми, получила от моего сына несколько писем, и в них сообщалось, что время его ученичества приходит к концу и что у него есть возможность там же устроиться в английский торговый дом и притом на весьма выгодных условиях — если только размеры помощи, на какую он может рассчитывать, будут соответствовать его нынешним нуждам; в этом случае, писал он, ему хотелось бы, чтобы предназначенная для него сумма была направлена ему сейчас, предлагая миссис Эми справиться о подробностях у его хозяина, лондонского купца, того самого, у кого он служил в учениках; последний же дал моему верному и неизменному советчику сэру Роберту Клейтону столь благоприятный отзыв, как о деле, в которое мой мальчик намеревался вступить, так и о нем самом, что я, не колеблясь, выдала 4 000 фунтов, то есть на 1000 фунтов больше, чем он требовал, или, вернее сказать, просил; мне хотелось его таким образом ободрить, дабы обстоятельства, при каких он вступает в жизнь, оказались лучше его ожиданий.

Лондонский купец со всей добросовестностью переслал своему ученику упомянутую сумму, и, узнав от сэра Роберта Клейтона, что молодой джентльмен (так ему было угодно величать моего сына) — человек обеспеченный, послал в Мессину рекомендации, благодаря чему у него там был кредит не менее верный, чем наличные деньги.

Мне тяжко было примириться с тем, что все это время я должна скрываться от собственного сына, и что он будет почитать себя обязанным за все эти блага не мне, а человеку стороннему; вместе с тем у меня не хватало духу открыться сыну, который бы в этом случае узнал, что за птица его мать и чем она занимается; ведь тогда, считая себя бесконечно обязанным мне благодарностью, он, будучи человеком добродетельным, одновременно решил бы, что обязан возненавидеть свою мать и проклясть ее образ жизни, доставивший ему его нынешнее благополучие.

Я потому и упоминаю об этой части жизни моего сына, которая хоть и не имеет прямого касательства к моей повести, но, однако, побудила меня задуматься, как бы покинуть неправедный путь, каким я шла, с тем чтобы собственный мой сын, когда он возвратится в Англию состоятельным и видным купцом, мог меня не стыдиться.

Угнетала меня, впрочем, еще более тяжкая забота, которая камнем легла мне на душу, — я имею в виду мою дочь; как я уже говорила, я распорядилась вызволить из нужды и ее, поручив это женщине, избранной Эми. Девице моей было предложено завести хорошие наряды, арендовать для себя комнаты, нанять горничную, обрести манеры, иначе говоря, выучиться танцам и светскому обращению, дабы, глядя на нее, всякий сказал, что это девушка из благородной семьи; в этом качестве — так

ей было дано понять — ей со временем удастся вступить в свет и забыть былые невзгоды. Единственное условие, какое ей было поставлено — это не торопиться с замужеством, покуда за ней не закрепят состояния, размеры которого помогут ей распорядиться своей рукой соответственно не нынешнему ее положению, а тому, какое ей суждено занять.

Эта молодая особа достаточно сознавала свое положение, и полностью выполнила все мои предписания; к тому же, у нее хватило ума понять, что не в ее интересах нарушить предложенные ей условия.

Вскорости после всего этого, облачившись в один из своих нарядов, какими она успела, как ей то было предписано, обзавестись, она — как уже говорилось — нанесла визит миссис Эми, дабы поведать той о привалившем к ней счастье. Эми притворилась, будто чрезвычайно удивлена такой перемене, выразила свою радость за нее, ласково ее приняла и хорошенько угостила; когда же та приготовилась уходить, Эми, якобы испросив у меня разрешение, отправила ее домой в моей карете; узнав, где она поселилась, — а поселилась она в Сити [94], Эми обещалась отдать ей визит, что и исполнила. Словом, между Эми и Сьюзен (а дочь моя была наречена моим именем) завязалась близкая дружба.

Одно неодолимое препятствие стояло на дороге бедняжки, а именно — то, что она некоторое время была служанкой в моем доме; если бы не это обстоятельство, я бы не выдержала и открылась ей. Но я и мысли не допускала, чтобы моим детям сделалось известно, какова та, коей они обязаны своим появлением на свет; я не намерена была дать им повод укорить свою мать за ее безнравственное поведение, а еще менее — своим примером оправдать подобные же поступки у них.

Таковы были мои побуждения, коими я руководствовалась; так именно и обстояло дело, ибо, если высшие силы не имеют над человеком достаточного влияния, то его подчас от худых дел удерживает мысль о детях. Но об этом после.

Впрочем, одно обстоятельство чуть было не ускорило моей встречи с бедной девушкой.

После того, как она узнала Эми покороче и обе не один раз побывали друг у дружки в гостях, моя дочь, — по годам уже взрослая женщина, — разговорившись однажды о веселье, какое царствовало в моем доме в ту пору, что она в нем служила, не без досады заметила, что ей так ни разу не удалось увидеть свою госпожу (то-есть, меня). «Ну, не удивительно ли, сударыня, в самом деле, — сказала она, — что, прослужив чуть ли не полных два года в том доме, я ни разу не видела своей госпожи, кроме как в тот знаменитый вечер, когда она танцевала в своем восхитительном турецком наряде? Да и сказать по правде, все равно я бы ее не узнала в обыкновенном платье».

Эми обрадовалась, но будучи от природы особой смышленой, не попалась на удочку и сделала вид, что пропустила это мимо ушей; мне, однако, она тут же все эти слова пересказала; должна признаться, я втайне ликовала при мысли, что она меня не знает в лицо и благодаря этой счастливой случайности, когда то позволят обстоятельства, я могу открыться

ей и показать, что у нее есть мать, которой ей нет нужды стыдиться. Ведь все это время мысль, что моя дочь, быть может, знает меня в лицо, чрезвычайно меня сковывала, повергая в печальные размышления, а они, в свою очередь, и заставили меня обратить к себе вопрос, о котором я уже говорила выше; и, насколько горько было мне прежде, когда я думала, что дочь меня видела, настолько теперь мне было сладостно слышать, что это не так, и что, следовательно, она так и не узнает, кем я была, если когда-нибудь ей скажут, что я ее мать.

Впрочем, я решила в следующий раз, когда она придет к Эми, сделать опыт — войти в комнату, показаться ей и посмотреть, узнает она меня или нет. Но Эми отговорила меня, опасаясь — и вполне основательно — как бы я, поддавшись внезапному порыву материнского чувства, не выдала себя. Так что я решила покуда повременить.

Эти два обстоятельства, почему я о них и упоминаю, заставили меня задуматься о моем образе жизни и решить покончить с ним совсем, дабы моих близких не коснулось позорное пятно и я была в состоянии смело показаться собственным детям, собственной своей плоти и крови.

Была у меня еще и другая дочь, но сколько мы ее ни разыскивали, еще целых семь лет после того, как нашли старшую, мы не могли напасть на ее след. Пора, однако, вернуться к повести о моей жизни.

Теперь, когда я отчасти порвала с прежним своим положением, я могла рассчитывать на то, что и прежние мои знакомства прекратятся, а с ними вместе то мерзостное и гнусное ремесло, которым я так долго промышляла. Казалось бы, двери, ведущие к исправлению, если бы только я в самом деле искренне к нему стремилась, широко распахнулись передо мной. Однако мои старые *знакомцы*, как я их называла, разыскали меня в Кенсингтоне и стали вновь ко мне наведываться, и притом чаще, чем мне бы того хотелось. Но уж раз мое местопребывание сделалось известным, избавиться от их посещений можно было лишь недвусмысленным и оскорбительным для гостей отказом их принять, я же тогда еще не настолько утвердилась в своем новом решении, чтобы пойти на такое.

Хорошо уже было то, что мой старый и похотливый бывший фаворит, отныне ставший мне отвратительным, совсем от меня отстал. Однажды он, было, ко мне пришел, но я велела Эми сказать ему, что меня нет дома. Она произнесла это таким тоном, что милорд на прощание сказал ей холодно: «Ну что ж, миссис Эми, ваша госпожа, я вижу, не желает, чтобы ее посещали, передайте ей, что я больше не стану ей докучать— никогда». И уходя, еще дважды или трижды повторил: «*никогда*».

Мне было немного совестно, что я так жестоко с ним обошлась, — ведь как-никак я от него получила немало подарков; но, как я уже говорила, он сделался мне противен, и если бы я решилась перечислить некоторые из причин, благодаря которым он мне опротивел, я думаю, всякий бы одобрил мой поступок; но эту часть невозможно обнародовать, так что я оставляю ее и возвращаюсь к своему рассказу.

Я начала, как уже говорилось, подумывать о том, чтобы отстать от своей прежней жизни и начать новую, к чему меня больше всего побуж-

дала мысль о том, что у меня трое уже взрослых детей, а я меж тем — в том положении, в каком пребываю сейчас, — не могу с ними общаться или хотя бы открыться им; мысль эта весьма меня огорчала. Наконец, я заговорила об этом с моей камеристкой Эми.

Как я уже рассказывала, мы жили в Кенсингтоне, и хоть я и порвала со своим старым греховодником лордом ***, все же, повторяю, ко мне продолжали наведываться кое-кто из моих *старых знакомцев*, и, короче говоря, в городе я была известна многим, и, что хуже, известно было не только мое имя, но и репутация.

Как-то утром, лежа в постели рядом с Эми, я предавалась своим печальным размышлениям, и та, слыша, как я вздыхаю, спросила, не захворала ли я.

— Да нет, Эми, — сказала я, — на здоровье свое я жаловаться не могу, но на душе у меня неспокойно; вот уже давно, как меня сосет непрестанная забота.

И тут я ей сказала, как меня убивает то, что я не могу ни обнаружить себя родным моим детям, ни завести друзей.

— Но отчего же? — спросила Эми.

— Посуди сама, Эми, — говорю я. — Что скажут мои дети, когда узнают, что их матушка при всем ее богатстве — всего-навсего шлюха, да да, самая обыкновенная шлюха! Что же до знакомств, пойми, мой друг, какая порядочная дама захочет водить со мной, *шлюхою*, знакомство, какой дом согласится открыть мне, *шлюхе*, свои двери?

— То правда, сударыня, — отвечает Эми, — но здесь уж ничего не поделаешь — прошлого не воротишь.

— Знаю, Эми, что прошлого не воротить, но если б можно было хотя бы очиститься от сплетен?

Эми же мне в ответ:

— Право, сударыня, — говорит она, — я не знаю, как вам от них избавиться — разве что нам снова поехать в чужие края, поселиться среди чужого народа, где никто нас не знает, никогда не видел и не скажет поэтому, будто знал или видел нас раньше.

Эти слова Эми подали мне новую мысль, которою я тут же с нею и поделилась.

— А что, Эми, — сказала я, — что если мне покинуть эту часть города и жить где-нибудь в другом его конце, словно никто никогда не слыхал обо мне прежде?

— Это бы можно, — говорит Эми, — да только вам тогда следует отказаться от вашей пышной свиты, выездов, карет, лошадей и лакеев, переменить прислуге ливрею, да и собственные ваши наряды тоже, а если бы можно, и само лицо ваше переделать.

— Вот и хорошо, — сказала я. — Так я и сделаю, Эми, и сделаю тотчас, ибо не могу больше жить этой жизнью ни минуты!

Эми несказанно обрадовалась моему решению и со всей присущей ей стремительностью тотчас принялась хлопотать; не любительница мешкать, Эми заявила, что дело это не терпит отлагательства.

— Хорошо, Эми, — сказала я, — поедем, когда ты скажешь, но как нам приняться за дело, с чего начать? Не можем же мы в один миг рассчитать прислугу, отделаться от лошадей и кареты, бросить дом и преобразиться в новых людей! Прислугу надо предупредить заранее, все добро, лошадей и прочее продать, да и мало ли еще хлопот?

Все эти задачи нас смутили, и дня два или три мы ломали голову, как их побыстрее разрешить.

Наконец Эми, которая отличалась большой сообразительностью в предприятиях такого рода, предложила мне следующий, как она это называла, *план действий*.

— Я придумала, если вы еще не отказались от вашей мысли, сударыня, — сказала она, — я придумала план, как вам переменить весь ваш облик и обстоятельства в одни сутки и за двадцать четыре часа измениться так, как вам не удалось бы и за двадцать четыре года.

— Отлично, Эми, — сказала я, — рассказывай свой план, одна мысль о нем доставляет мне радость.

— Слушайте же, — сказала Эми. — Позвольте мне съездить сегодня в город, там я разыщу какое-нибудь честное, порядочное семейство, и попрошу их сдать комнаты даме из провинции, которая желает провести в Лондоне полгода вместе со своей родственницей (то есть со мной), состоящей при ней в качестве прислуги и компаньонки, и договорюсь, что вы будете платить им помесячно за кров и за стол.

— В дом этот, — продолжала она, — если он придется вам по душе, вы можете переехать хотя бы завтра утром, в наемной карете, прихватив с собой из людей одну меня, а из добра все те платья и белье, какие вам угодно (разумеется, самые простые); переехав, вы можете больше никогда не возвращаться сюда (Эми имела в виду дом, в котором мы находились сейчас) и не видеть никого из челяди. Я между тем всем им объявлю, что вы уезжаете по срочным делам в Голландию, не нуждаетесь более в прислуге и предложу им приискать себе место; с теми же из них, кто этого пожелает, я тут же рассчитаюсь, выдав им жалование вперед за месяц. Затем я попытаюсь как можно выгоднее продать вашу мебель; что касается кареты, ее можно перекрасить и заново обить, сменить упряжь и сукно на козлах и тогда вы можете либо держать ее у себя, либо продать — это по вашему усмотрению. Главное, чтобы ваше новое жилище находилось в какой-нибудь глухой части города — и тогда вас никто ни за что не узнает, все равно как если бы вы никогда прежде не были в Англии.

Таков был план Эми, и он так пришелся мне по душе, что я решила тотчас ее отпустить на розыски нового жилища, и даже сказала, что поеду с ней сама. Эми, однако, отговорила меня, сказав, что ей придется долго рыскать и шнырять в поисках подходящего жилья, и я не столько помогу ей, сколько помешаю; я не стала спорить.

Словом, Эми отправилась и пропадала пять долгих часов; зато, когда она вернулась, я по ее лицу увидела, что она не потеряла времени даром. Она ввалилась, смеясь и отдуваясь: «Ах, сударыня! — воскликнула она, —

я угодила вам так, как вам и не снилось!» И рассказала мне, что нашла дом в подворье возле Минериз [95], куда она попала совершенно случайно. Там оказалась семья, состоящая из одних женщин, так как хозяин дома уехал в Новую Англию [96], а у хозяйки четверо детей; она держит двух служанок, живет в достатке, но скучает без общества и поэтому согласилась взять постояльцев.

Эми приняла ее условия, не торгуясь, рассудив, что это лучший залог того, что со мною будут хорошо обращаться; итак, они поладили на том, что я ей буду платить 35 фунтов за полгода, а если я решусь взять служанку, то 50. Хозяйка заверила Эми, что они живут тихой жизнью, не предаваясь светским развлечениям; она принадлежала к квакерам, чему я была очень рада [97].

Я была так довольна выбором Эми, что решила на другой же день вместе с нею поехать посмотреть комнаты и познакомиться с хозяйкой. Мне понравилось все, и главное — особа, у которой мне предстояло поселиться; даром, что квакерша, это была по-настоящему воспитанная женщина, любезная, обходительная, вежливая, с прекрасными манерами — словом, лучшей собеседницы я еще не встречала; и, — что важнее всего — разговор ее, степенный и серьезный, был вместе с тем легок, весел и приятен. Я даже не знаю, как и выразить, насколько она пришлась мне по душе и восхитила меня; я была так довольна всем, что не захотела уезжать назад и в ту же ночь решилась у нее остаться.

Хоть ликвидация моего хозяйства в Кенсингтоне заняла у Эми чуть ли не целый месяц, я в своем рассказе могу на этом не задерживаться; скажу лишь, что, разделавшись со всем этим, Эми перевезла те вещи, какие было решено оставить, и мы зажили вместе в доме нашей доброй квакерши.

Уединение мое было совершенно; я была скрыта от взоров всех, кто когда-либо меня знал, и встреча с кем-либо из моей старой компании угрожала мне здесь не более, чем если бы я поселилась где-нибудь в горах Ланкашира [98]. Ибо виданное ли дело, чтобы рыцари синей Подвязки или запряженные шестерней кареты наведывались в узкие улочки Минериз и Гудманс-филдс [99]! Я была свободна не только от страха повстречать здесь кого-либо из моих прежних знакомцев, но и от малейшего желания их видеть, или даже слышать о них.

Первое время, когда Эми то и дело ездила в наш прежний дом, жизнь моя была немного суетлива, но как только там все было окончательно улажено, я зажила спокойно, уединенно, наслаждаясь обществом любезнейшей и приятнейшей *леди*, какую мне когда-либо доводилось встречать. Да, эта квакерша была настоящая *леди*, ибо, своими манерами и воспитанностью она не уступила бы герцогине; словом, как я уже говорила, это была приятнейшая собеседница из всех, кого я когда-либо знавала.

После того, как я уже обвыклась, я обронила как бы невзначай, что влюблена в квакерский наряд. Это ее так обрадовало, что она заставила меня примерить ее платье. Истинная же причина у меня была вот какая:

посмотреть, достаточно ли оно изменит мою наружность, сделает ли оно меня неузнаваемой?

Эми была поражена переменой, и хоть я с ней не поделилась своим замыслом, едва выждав, когда квакерша покинет комнату, воскликнула: «Я угадываю ваше намерение, сударыня, это превосходный маскарад! Вы совершенно другая женщина, да я бы сама вас не узнала, если бы встретила на улице. К тому же, — прибавила Эми, — вы в нем выглядите лет на десять моложе».

Я, разумеется, была несказанно рада таким ее словам, и когда она их повторила еще раз, так полюбила этот наряд, что попросила мою квакершу (не стану называть ее хозяйкой, это слишком низкое слово применительно к ней, она заслуживает совсем другого наименования), так вот, я попросила ее продать мне этот наряд. Он так мне полюбился, сказала я, что я готова дать ей за него взамен денег на новое платье. Сперва она было отказалась, но я вскоре увидела, что это лишь из вежливости, ибо, как она выразилась, не гоже мне щеголять в ее обносках; если же мне угодно, прибавила она, принять это платье в дар, она с удовольствием его мне подарит для ношения дома, а затем пойдет со мной в лавку выбрать мне платье, более меня достойное.

Но так как я сама говорила с ней открыто и откровенно, то я просила и ее не чиниться со мной; я сказала, что меня ничуть не смущает то, что платье ее не новое и что, если только она согласна его мне продать, я ей заплачу. Тогда она сообщила мне, сколько она за него заплатила, а я, чтобы вознаградить ее, дала ей три гинеи сверх цены.

Эта добрая (хоть и незадачливая) квакерша имела несчастье выйти замуж за человека, который оказался дурным мужем и, покинув ее, уехал за океан; добротный, хорошо обставленный дом принадлежал квакерше, кроме того, она могла распоряжаться своей вдовьей частью, так что она жила со своими детьми, не ведая нужды; тем не менее деньги, которые я платила ей за стол и квартиру, не были лишними; словом, она была не меньше моего довольна тем, что я у нее поселилась.

Впрочем, понимая, что лучший способ закрепить новую дружбу — оказать какие-либо знаки дружелюбия, я начала делать ей и ее детям щедрые подарки; однажды, развязывая свои тюки и услышав, что она в соседней комнате, я с дружеской фамильярностью крикнула ей, чтобы она ко мне вошла, а затем стала показывать ей свои богатые наряды и, обнаружив среди них штуку тонкого голландского полотна, купленного мною незадолго до моего переезда, примерно по восьми шиллингов за ярд, вытащила ее и положила перед ней.

— Вот, мой друг, — сказала я, — позвольте мне сделать вам небольшой подарок.

Я видела, что она от изумления не может и слова вымолвить.

— Что это значит? — произнесла она наконец. — Право, я не могу принять столь дорогой подарок.

И прибавила:

— Это годится для тебя, но никак не для такой, как я.

Я подумала, что она имеет в виду обычаи секты, к которой она принадлежала:

— А разве квакерам возбраняется носить тонкое белье? — спросила я.

— Нет, отчего же. Те из нас, кто может себе это позволить, носят тонкое белье. Но для меня это слишком большая роскошь.

Мне, однако, удалось ее уговорить, и она с благодарностью приняла полотно. Я достигла этим и другой цели, ибо таким образом могла рассчитывать на ее поддержку в случае, если мне когда-нибудь нужно будет ей довериться. А поддержка такой женщины, как она — честной и смышленой, — могла очень и очень мне пригодиться.

Привыкнув к ее беседе, я не только научилась одеваться, как квакерша, но и усвоила квакерскую манеру *тыкать*, и это с такой непринужденностью, словно всю жизнь прожила среди квакеров; словом, люди, не знавшие меня прежде, принимали меня за одну из них. Из дому я выходила редко; я так привыкла пользоваться каретой, что не представляла себе, как это люди ходят пешком; к тому же я подумала, что в карете легче скрыться от любопытных взоров. И вот я как-то объявила своей квакерше, что хотела бы подышать воздухом, что я слишком долго сижу взаперти. Она предложила взять наемную карету или покататься на лодке [100], но я сказала, что когда-то держала собственный выезд и хотела бы завести таковой снова.

Она немного удивилась — ведь я все это время придерживалась чрезвычайно скромного образа жизни; но я сказала, что за ценой не постою, и она не нашла что возразить. Итак, я решила вновь завести собственный выезд. Мы начали обсуждать, какую купить карету, она рекомендовала соблюдать скромность, и я была того же мнения. Я предоставила ей распорядиться всем, она послала за каретником и он предложил мне скромный экипаж, без позолоты и вензелей, обитый внутри светло-серым сукном. Кучеру сшили ливрею такого же цвета и дали ему шляпу без позументов.

Когда все было готово, я надела платье, которое у нее купила, и сказала:

— Сегодня я буду квакершей; и *знаешь* что — *давай* прокатимся вместе в карете!

Мы так и сделали, и во всем городе нельзя было бы найти квакершу, которая в сравнении со мной не показалась бы подделкой. Меж тем вся эта затея была мною предпринята лишь для того, чтобы получше замаскироваться, дабы из страха быть узнанной, не сидеть замурованной в четырех стенах; все же остальное было чистое притворство.

Так мы жили, покойно и безмятежно, и, однако, я не могу сказать, что в моей душе царили безмятежность и покой. Я была как рыба, вытащенная из воды: я чувствовала себя такой же молодой и веселой в душе, какой я была в двадцать пять лет; я привыкла к ухаживаниям и лести и скучала без этого, так что нередко вздыхала о былом.

Почти все, что со мной случалось в жизни, оставляло по себе лишь раскаяние и сожаление, но из всех моих нелепых поступков самым непро-

стительным и, можно сказать, безумным, о котором я сейчас не могла вспоминать без печали и горечи, был мой разрыв с голландским купцом, когда я отвергла его благородные и честные условия; и хоть его вполне справедливый (а в те времена показавшийся мне жестоким) отказ ко мне вернуться, несмотря на мои приглашения, вызвал у меня тогда негодование, мысли мои все чаще и чаще обращались к нему и к моему нелепому нежеланию связать с ним свою судьбу, и я никак не могла успокоиться. Я льстила себя надеждой, что если бы только мне удалось с ним встретиться, я бы его покорила вновь и заставила бы забыть все, что ему могло казаться в свое время жестокосердием с моей стороны; но поскольку на такую встречу надеяться не было никаких оснований, я пыталась выбросить из головы эти пустые мечты.

Однако они осаждали меня вновь и вновь, и я днем и ночью только и думала о человеке, о котором вот уже больше десяти лет как не вспоминала. Я поделилась с Эми тем, что у меня было на душе, и часто в постели мы с ней разговаривали об этом всю ночь напролет. Наконец Эми сама придумала способ помочь моему горю.

— Сударыня, — сказала она, — вы все убиваетесь из-за этого вашего купца, господина ***. Так позвольте же, — говорит она, — я съезжу и разведаю, что он и как.

— Ни за десять тысяч фунтов! — воскликнула я. — Даже если бы ты случайно повстречала его на улице, я бы тебе не позволила заговорить с ним обо мне.

— Да не о том речь, сударыня. Я и не собираюсь с ним заговаривать, а кабы и заговорила, то ручаюсь, я бы это устроила так, что ему и в голову бы не пришло, что это вы меня к нему подослали. Я просто хочу поразнюхать, жив ли он или нет. Если жив, я привезу вам весточку о нем, а нет — то и это будет для вас известием, и вы, быть может, успокоитесь.

— Ну что же, — ответила я. — Если ты обещаешь не вступать с ним ни в какие переговоры от моего имени, да и вообще не заговаривать с ним первой, я, быть может, и отпущу тебя. Посмотрим, что из этого выйдет.

Эми пообещала мне исполнить все, как я велю, и, — словом, чтобы не затягивать рассказа, — я ее отпустила; но при этом обставила ее предприятие столькими запретами, что ее поездка вряд ли могла принести какую-либо пользу. И в самом деле, если бы Эми вздумала соблюсти их все, она с таким же успехом могла сидеть дома и никуда не ездить. Ибо я велела, если ей случится с ним встретиться, не подавать даже виду, будто его узнала, а если уж он сам с ней заговорит, сказать, что она давно от меня ушла и ничего обо мне не слыхала; что она, Эми, то-есть, приехала во Францию шесть лет назад, вышла замуж и проживает в Кале — словом, что-нибудь в этом роде.

Эми, правда, ничего мне не обещала, ибо, как она сказала, нельзя же решить, что следует и чего не следует делать, пока не доберешься до места и не разыщешь господина, о котором у нас речь, или по крайней мере не услышишь о нем. Когда же она добьется встречи, — если я до-

верюсь ей теперь, как я всегда ей доверялась, — она ручается, что ничего не сделает такого, что бы послужило к моей невыгоде, а поступит так, чтобы заслужить полное мое одобрение.

Итак, получив от меня напутствие, Эми, несмотря на ужас, который ей внушало море, еще раз доверила ему свое бренное тело и отправилась во Францию. Ей предстояло навести четыре справки конфиденциального свойства для меня и еще одну, о чем я узнала от нее позже, — для себя самой. Я говорю «четыре», так как помимо первого и главного моего поручения — узнать все, что можно о моем голландском купце, я поручила ей, во-вторых, навести справки о моем муже, который служил в конной гвардии, когда я его видела в последний раз; в-третьих, я хотела что-нибудь знать об этом негодяе-еврее, одно имя которого мне было ненавистно, а лицо внушало такой ужас, что сам сатана показался бы мне рядом с ним подделкой; и наконец — о моем заморском принце. Все эти мои поручения Эми добросовестнейшим образом выполнила, хоть результаты оказались не столь блестящими, как мне бы того хотелось.

Эми благополучно переправилась через пролив, и спустя три дня после того, как она покинула Лондон, я получила от нее письмо из Кале. Из Парижа она прислала мне отчет о первом и главнейшем моем поручении, которое касалось голландского купца. Он еще тогда, писала она мне, вернулся в Париж, где пробыл три года, после чего переселился в Руан. Эми тотчас собралась в Руан.

Она уже заказала было себе место в дилижансе, отправляющемся в Руан, как вдруг совершенно случайно повстречала на улице *своего камердинера*, как я его называла (иначе говоря камердинера моего принца ***ского), который, как я о том рассказывала выше, состоял у нее в фаворитах.

Конечно, между ними завязался обмен любезностями всякого рода, как вы в свое время узнаете. Но главное, Эми расспросила своего приятеля о его господине, и получила полный отчет. Но и об этом после; затем она сказала ему, куда едет и зачем. Он велел ей подождать с поездкой, сказав, что на другой же день разведает все, что надо у одного купца, который был знаком с моим. На другой день он ей докладывает, что мой купец вот уже шесть лет, как уехал в Голландию, где и пребывает до сих пор.

Это была первая весточка, как я сказала, от Эми — то есть первая касательно моего купца.

Между тем Эми навела справки и о других лицах, которые меня интересовали, Что до принца, сказал камердинер, то он уехал в свои германские владения, да так там, оказывается, и остался; он пытался меня найти, поручив ему (то есть камердинеру) разыскивать меня повсюду, но тому не удалось напасть на мой след. По мнению камердинера, знай его господин, что я все это время была в Англии, он бы ко мне туда приехал, но, отчаявшись меня найти, после длительных поисков оставил их; впрочем, камердинер был убежден, что его господин непременно бы на мне женился, и очень горевал, что не может меня найти.

Я, разумеется, не могла довольствоваться отчетом Эми и послала ее в Руан, где она с величайшим трудом (ибо человека, к которому ее направили, не оказалось в живых), с величайшим трудом, говорю, ей удалось узнать, что мой купец в самом деле провел года два, а то и больше в Руане, но затем, со слов французского купца, с которым говорила Эми, его постигла крупная неудача, и он уехал к себе в Голландию, где провел еще два года; впрочем, он вновь приезжал в Руан, где, пользуясь всеобщим уважением, прожил еще с год, после чего уехал в Англию, и ныне проживает в Лондоне. Но Эми не знала адреса, куда бы можно было ему писать — и вдруг, в силу простого совпадения, она повстречала старого голландского шкипера, который некогда служил у моего купца и только что сам прибыл в Руан. Шкипер сообщил ей адрес и сказал, что лондонский дом, где живет мой купец, стоит на Сент-Лоренс-Патнилейн, но что всякий день он бывает на Бирже, под *французской аркой* [101].

Эми рассудила, что эту новость можно будет сообщить мне, когда она вернется в Англию; к тому же голландского шкипера она повстречала лишь четыре или пять месяцев спустя после того, как прибыла во Францию, во вторую свою поездку в Руан, — ибо она за это время возвращалась в Париж, откуда еще раз наведывалась в Руан в надежде что-нибудь там разузнать. Между тем она писала мне из Парижа, что ей никак не удается напасть на его след, что там его вот уже семь или восемь лет как не было и что он, как ей сказали, какое-то время обретался в Руане, куда она и намеревалась отправиться для дальнейших розысков; однако, услышав впоследствии, что он отбыл в Голландию, решила, что ей ехать в Руан незачем.

Таков, я говорю, был первый *рапорт*, полученный мною от Эми, но, недовольная им, я приказала ей все же съездить еще раз в Руан.

Пока у меня шла эта переписка, и я уже получила несколько весточек от Эми, со мной случилось странное приключение, о котором лучше всего будет рассказать в этом месте моего повествования. Я выехала, как обычно, подышать воздухом, вместе с моей квакершей; на этот раз мы доехали до леса в Эппинге и возвращались в Лондон, как вдруг на дороге между Боу и Майл-энд [102], нас обогнали два всадника.

Они нас обогнали не оттого, чтобы неслись на рысях, а оттого, что наша карета ехала очень тихо; они даже не взглянули в нашу сторону; их лошади шли бок о бок, а седоки о чем-то увлеченно беседовали, обратив лицо друг к другу; таким образом мне виден был затылок того, кто ехал рядом с каретой, спутник же его был обращен ко мне лицом. Они проехали так близко, что я отчетливо слышала их разговор — они говорили на голландском языке. Судите о моем смятении, когда в дальнем от меня всаднике, в том, чье лицо было обращено к карете, я узнала моего друга — голландского купца из Парижа!

Я пыталась скрыть свое смущение от доброй квакерши, но она оказалась слишком опытной в делах подобного рода и тотчас меня спросила:

— Разве ты понимаешь голландский язык?

— Почему ты так думаешь? — возразила я.

— Да потому, что ты заметно взволнована речами этих людей, — ответила она. — Наверное, они говорили о тебе.

— Право, дорогой друг, в этом ты ошибаешься, ибо, хоть я в самом деле прекрасно понимаю их язык, говорят они всего лишь о кораблях да товарах.

— В таком случае, — возразила она, — один из них должен быть хороший твой знакомый или что-нибудь в этом роде. Ибо, если язык твой не хочет в этом признаться, достаточно взглянуть на твое лицо, чтобы понять, что это так.

Я хотела было смело и дерзко солгать, сказав, что не знаю ни того, ни другого, но, поняв, что это невозможно, сказала:

— Это верно, что один из них мне знаком — тот, что подальше, но вот уже двенадцатый год пошел с тех пор, как я его видела в последний раз.

— Ну что ж, — сказала она, —во всяком случае в ту пору он, должно быть, не был тебе вовсе безразличен; иначе нынешняя встреча не произвела бы на тебя столь сильного впечатления.

— Это верно, — сказала я. — Я и в самом деле несколько поражена тем, что он здесь, я ведь думала, что он совсем в другой части света, и уверяю вас, я никогда не видела его в Англии.

— Тем более вероятия, что он приехал сюда ради тебя.

— Ах, нет, — сказала я. — Время странствующих рыцарей прошло, и на свете слишком много женщин, чтобы отправляться за ними в заморские земли.

— Как хочешь, а все-таки жаль, что он не мог разглядеть тебя, как ты его.

— Нет, нет, — сказала я. — Мне этого совсем не надобно. Ну, да он меня все равно не узнал бы в моем новом наряде, а уж о том, чтобы он не увидел моего лица, я позабочусь сама.

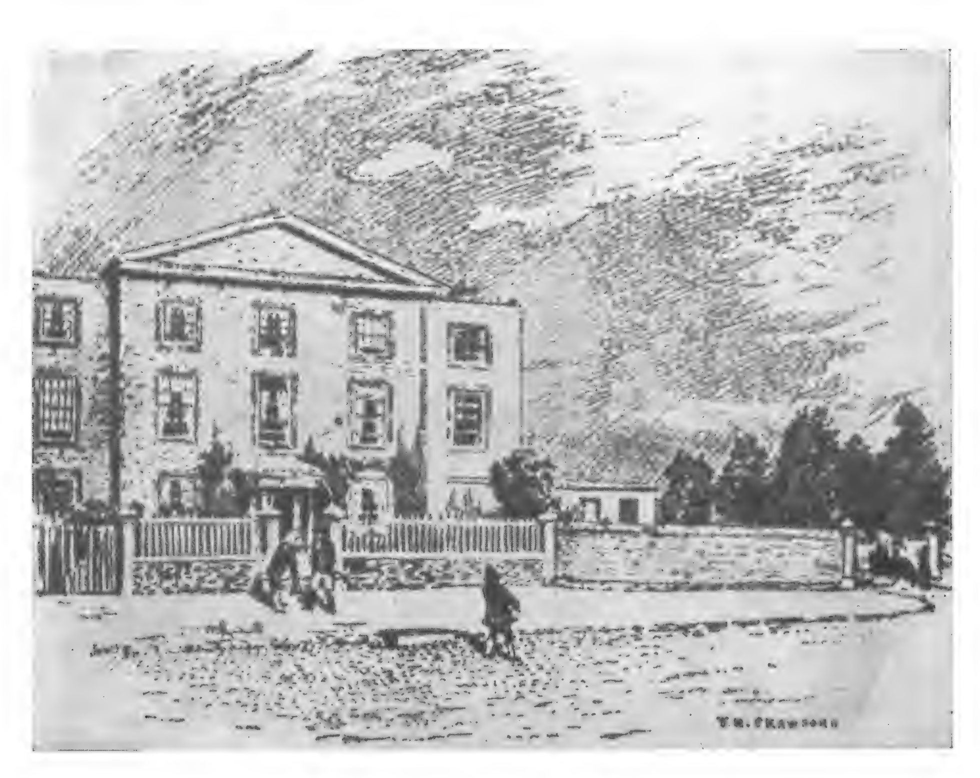
С этими словами я закрыла лицо веером, она же, убедившись, что я не шучу, оставила меня в покое.

Однако некоторое время спустя она возобновила разговор, но я продолжала упорствовать, говоря, что не желаю ему показываться на глаза. Наконец, я уступила ей в одном, признавшись, что, хоть я не желаю, чтобы он знал, кто я и где я живу, я не прочь узнать, где он остановился, и только не знаю, как об этом справиться. Она поняла меня с полслова, подозвала лакея, что стоял на запятках, и приказала ему не выпускать нашего джентльмена из глаз, а когда наша карета доедет до конца Уайтчепела, спрыгнуть и следовать за ним по пятам, чтобы узнать, где он привязывает свою лошадь и войти на этот постоялый двор и попытаться разузнать, кто он такой и где проживает.

Лакей прилежно шел за ним и, увидев, что тот завернул в ворота постоялого двора на Бишопсгейт-хилл [103], успокоился, решив, что теперь можно на время оставить преследование и заняться расспросами. Но не тут-то было. Двор оказался сквозным, и вторые его ворота выходили на



ЛОНДОН. ВИД НА ТЕМЗУ.
Гравюра XIX в.



ДОМИК ДЕФО В СТОУК-НЬЮИНГТОНЕ.
Рис. Т. Крофорда. 1724 г.

другую улицу; всадники же проехали этим двором, не думая в нем оставаться. Словом, лакей наш вернулся ни с чем.

Добрая моя квакерша была, казалось, еще более обескуражена, чем я, — во всяком случае, она сильнее выражала свое разочарование. Она спросила лакея, узнал ли бы он этого джентльмена, если бы вновь его увидел, и тот отвечал, что держался так близко от него и так внимательно его разглядывал, стремясь как можно лучше исполнить поручение, что наверняка бы его узнал, и уж, вне всякого сомнения, узнал бы его лошадь.

Последний довод казался достаточно убедительным, и добрая квакерша, не говоря мне о том ни слова, велела лакею дежурить на углу Уайтчепелской церкви [104] каждый субботний вечер, ибо в это время городской люд обычно выезжает туда прогуляться.

Лишь на пятую субботу слуга вернулся со своего дежурства с радостной вестью, что ему удалось набрести на след нашего джентльмена; это был, как выяснилось, французский купец голландского происхождения; он прибыл из Руана, имя его ***, а остановился он у мистера *** на Сент-Лоренс-Патни-хилл. Можете вообразить мое изумление, когда она вошла ко мне вечером и сообщила все эти подробности, утаив лишь то, что сама поставила лакея сторожить моего купца.

— А я нашла твоего голландского друга, — объявила она, — и могу тебе сказать, где он.

Я так и вспыхнула.

— Значит, ты имеешь дело с нечистой силой, — строго сказала я.

— Нет, нет, — сказала она. — Я не вожу знакомства с лукавым; но что я выискала для тебя твоего приятеля, это правда.

И тут же сообщила его имя и улицу, на которой он живет.

Я вновь чрезвычайно удивилась, ибо представить себе не могла, каким образом ей удалось все это разузнать. Впрочем, она не стала меня больше мучить и рассказала все, как было.

— Ну, что ж, — сказала я, — ты очень добра, но право же, не стоило так трудиться. Ибо я хотела все это знать из праздного любопытства. Ведь я ни за что на свете за ним не пошлю.

— Это уж как тебе угодно, — отвечала она, и прибавила: — К тому же ты совершенно права, что не хочешь мне больше ничего об этом сообщить — у тебя нет особых оснований доверять мне свои тайны. А только, если бы ты мне доверилась, я бы тебя никогда не предала.

— Ты очень добра, — сказала я. — И я тебе верю. Знай же, если я и решусь за ним послать, я тебе скажу, да еще попрошу тебя помочь.

Тысячи сомнений одолевали меня все эти пять недель. Я была убеждена, что не обозналась, что это был он самый (мой купец): слишком хорошо знала я его и слишком ясно видела его лицо, чтобы ошибиться. Чуть ли не каждый день я выезжала в своей карете, под тем предлогом, что хочу подышать воздухом, а на самом деле — в надежде еще раз его увидеть, однако мне все не везло, и я вдруг поняла, что так же далека от решения вопроса, как мне поступать, как и прежде.

Ни в коем случае я не намеревалась ни посылать за ним, ни, если бы и повстречалась с ним на улице, его окликнуть, — нет, говорила я себе, лучше смерть! Точно так же, гордость не позволяла мне подстерегать его возле его дома; словом, я пребывала в полнейшей растерянности — как быть, что делать?

К этому времени как раз и подоспело письмо от Эми, в котором она рассказала о своей встрече с голландским шкипером; оно полностью подтверждало сведения, какие она мне сообщила в предыдущем, и теперь уже не оставалось места сомнениям: увиденный мною из окна кареты всадник был моим голландским купцом. Но все равно самый изобретательный ум не мог бы мне подсказать, как с ним заговорить, не роняя достоинства. Ибо откуда было мне знать, каково его нынешнее положение? Холост ли он, или женат? Если женат, говорила я себе, щепетильность этого человека такова, что, попадись я ему на глаза, он и разговаривать со мною не станет и даже виду не подаст, что мы знакомы.

Во-вторых, он совсем меня бросил, а для женщины нет худшего оскорбления; он ведь ни на одно мое письмо не ответил; и, как знать, быть может, его сердце по-прежнему для меня закрыто. Так что я решила ничего не предпринимать до более благоприятного случая, который, быть может, укажет путь, какого мне следует держаться. Ибо в одном я была непоколебима — не давать ему повода еще раз выказать мне пренебрежение.

В таком умонастроении я пребывала еще три месяца, и наконец, не выдержав, решила вызвать Эми, дабы рассказать ей о положении дел — и ничего до ее возвращения не предпринимать. В ответ Эми написала, что постарается прибыть как можно скорее, заклиная меня до ее возвращения не вступать ни в какие переговоры — ни с ним, ни с кем-либо другим; о сути же того, что она имела мне сообщить, она по-прежнему ничего не писала. Это меня огорчало до глубины души — по разным причинам.

Однако, покуда шла эта моя переписка с Эми, причем ее ответа мне приходилось ждать дольше обычного, что мне нравилось много меньше, чем ее былое проворство, — так вот, за это время произошло следующее.

Однажды под вечер, примерно около четырех часов пополудни, когда я сидела наверху в комнате своей любезной квакерши, весело болтая с ней о том, о сем (ибо в ее обществе невозможно соскучиться), снизу вдруг раздался нетерпеливый звонок; прислуга куда-то отлучилась, и моя квакерша сама побежала открыть дверь: на пороге стоял некий господин и с ним его лакей; незнакомец пытался, по-видимому, произнести какие-то слова извинения, которых моя подруга толком не разобрала, ибо говорил он на ломаном английском языке. Он попросил дозволения видеть меня, назвав при этом имя, под которым я проживала в этом доме (кстати сказать, совсем не то, какое я носила в пору нашего с ним знакомства).

Квакерша отвечала со свойственной ей учтивостью, ввела его в великолепную гостиную внизу и сказала, что пойдет узнать, принадлежит ли названное им имя ее постоялице, после чего вновь к нему спустится.

Еще не зная даже, кто этот внезапный посетитель, я отчего-то всполошилась, ибо в душе предчувствовала все, что в дальнейшем и произошло (откуда бывает такое, пусть нам объяснят господа ученые); когда же моя квакерша поднялась и весело проворковала: «А вот и твой французско-голландский купец пришел тебя проведать», я чуть не умерла от страха. Я не могла ни шевельнуться, ни вымолвить слова и так и сидела на своем стуле, словно каменное изваяние. Она наговорила мне тысячу игривых комплиментов, но я словно оглохла. Она не выдержала и принялась меня тормошить.

— Ну что же ты, — приговаривала она. — Пора, наконец, прийти в себя. Проснись! Ведь он меня ждет внизу. Что мне ему сказать?

— Скажи, что такой в твоем доме нет, — приказала я.

— Ну, нет, — сказала она, — я так не могу, потому что ведь это неправда; и потом я ему уже призналась, что ты наверху. Не упрямься же, спустимся к нему вместе.

— Ни за что! — воскликнула я. — Ни за тысячу гиней!

— Ладно, я пойду скажу, что ты сейчас к нему спустишься.

И, не дожидаясь моего ответа, побежала вниз.

Миллион мыслей вихрем пронеслись в моей голове, когда она меня покинула, и я так ничего не придумала. Надо было к нему выйти — ведь ничего больше не оставалось — а вместе с тем я дала бы 500 фунтов за то, чтобы избежать этой встречи; однако, если бы я от нее отказалась, я бы, наверное, в следующий же миг согласилась дать еще 500 фунтов — лишь бы его повидать! Я была полна колебаний и нерешительности: то, чего я жаждала всем сердцем, едва оно становилось возможным, я тут же отвергала, а то, что я как будто отвергала, являлось тем самым, ради чего я потратила 40 или 50 фунтов, посылая Эми во Францию — наудачу, без тени надежды достичь желаемого; а ведь вот уже полгода как я так была озабочена этим, что не знала покоя ни днем, ни ночью, покуда Эми не предложила съездить за море и навести о нем справки. Короче говоря, все мысли мои смешались и пришли в полный беспорядок. Когда-то я его отвергла, затем от души в этом раскаивалась; после этого, истолковав его молчание в дурную сторону, вновь его мысленно отвергла и вновь об этом жалела. Теперь же, унизившись до того, что послала специально свою служанку его разыскивать (если бы ему было то известно, он, наверное, никогда бы ко мне не вернулся), неужели теперь мне предстоит отвергнуть его в третий раз? С другой стороны, быть может, и он, в свою очередь, раскаивался и, не зная ни о том, как я унизилась, послав на его розыски Эми, ни о годах моего распутства, приехал затем, чтобы меня найти; быть может, и теперь не поздно и я могла бы вновь с ним сблизиться на условиях столь же выгодных, как те, какие он предлагал прежде, — так неужели я откажусь с ним повидаться! И вот, пока я пребывала в этой сумятице чувств, моя верная квакерша вновь ко мне вбегает и, видя мое смятение, бежит к чуланчику и несет мне оттуда рюмку с какою-то наливкой. Я, однако, отказалась и даже не притронулась к ней.

— Понимаю, — сказала квакерша, — я тебя понимаю; но не бойся — я тебе дам потом чего-нибудь такого, чтобы отбить запах. Пусть он хоть тысячу раз тебя поцелует — ничего не почувствует...

А я подумала про себя: «А ты, голубушка, оказывается, прекрасно разбираешься в делах такого рода; ну что ж, коли так, руководи мною!» И с этим я решилась послушать ее и спуститься к гостю. Она дала мне глотнуть наливки и закусить какой-то аппетитной пряностью, такой крепкой, что самое острое чутье не уловило бы теперь запаха наливки.

Ну вот, после этого (все еще несколько колеблясь) я спустилась с ней черным ходом в столовую, рядом с гостиной, в которой он ожидал; здесь я остановилась и попросила ее дать мне минуту на размышление.

— Хорошо, — сказала она, — думай себе, пожалуй, а я потом за тобой зайду, — и покинула меня с еще большей стремительностью, чем в первый раз.

Хоть я и сопротивлялась и испытывала непритворное смущение, я все же подумала, что с ее стороны было жестоко покидать меня в эту минуту и что ей следовало бы немного более настойчиво меня уговаривать. Так глупо мы устроены: отталкиваем то, чего больше всего на свете желаем, и сами же над собою насмехаемся, притворяясь равнодушными к тому, потеря чего для нас равносильна смерти! Квакерша, однако, меня перехитрила, ибо пока я здесь стояла, пеняя ей в душе за то, что она меня не ведет к нему, она вдруг распахнула двойные двери в гостиную.

— Вот, — сказала она, вталкивая его в столовую, — та, о которой ты спрашиваешь.

И в ту же минуту учтиво удалилась, да так быстро, что мы даже опомниться не успели!

Я встала, но была так растеряна, что не могла решить, как мне с ним держаться, и с быстротою молнии сама же себе ответила: «как можно холоднее». И вот я напустила на себя вид строгий и чопорный и, как это ни трудно было, целых две минуты выдерживала этот тон.

Он, в свою очередь, тоже сдерживал себя, степенно ко мне приблизился и отвесил мне учтивый поклон; впрочем, его холодность происходила, по-видимому, от того, что он полагал, что квакерша все еще стоит у него за спиною; она же, как я уже говорила, слишком хорошо понимала все эти дела и в одно мгновение исчезла, дабы дать нам полную свободу, ибо, как она мне впоследствии сказала, по ее разумению, мы, должно быть, друг друга знали довольно близко, пусть и много лет назад.

Какую бы суровость я на себя ни напускала, его сдержанность меня удивляла и сердила, и я уже подумывала, зачем нам это церемонное свидание. Однако, убедившись, что мы одни, он, постояв с минуту в нерешительности, наконец произнес:

— Я думал, эта дама еще здесь.

С этими словами он обнял меня и трижды или четырежды поцеловал. Я, однако, раздосадованная до крайности холодностью его первого приветствия, когда еще не знала причины ее, теперь, хоть она мне и открылась, не могла расстаться со своим предубеждением, и мне казалось, что

его объятия и поцелуи были не столь пылки, как некогда, и мысль эта долгое время еще сковывала меня в моем обращении с ним. Но в сторону.

Он стал с восхищением говорить о том, что он наконец меня нашел, о том, как удивительно, что, проведя целых четыре года в Англии и употребив все средства меня разыскать, какие он только мог, он так и не напал на мой след. Подумать только, заключил он, что после того, как он уже более двух лет отчаялся меня найти и махнул наконец рукой на поиски, — вдруг на меня набрести!

Я могла бы объяснить ему, почему он не мог меня разыскать, рассказав истинные причины моего затворничества, но вместо этого я придала делу новый и совершенно лицемерный оборот. Всякий, сказала я ему, кто знаком с моим образом жизни, мог бы изъяснить причину, по какой он не мог меня найти. Вследствие отшельнического образа жизни, какого я придерживалась все последние годы, у него был один шанс против ста тысяч когда-либо меня разыскать. Я ни с кем не зналась, переменила имя, жила на окраине города, не сохранив ни одного знакомства, и посему неудивительно, что он меня нигде не видел; он может судить по моему платью, прибавила я, что у меня не было желания поддерживать какие-либо знакомства.

Тогда он спросил, не получала ли я от него каких писем. Я сказала, нет, коль скоро он не почел за должное оказать мне учтивость и ответить на мое последнее письмо, то я, естественно, не могла ожидать от него вестей после такого молчания, коим он удостоил мое письмо, в котором я унижалась как никогда в жизни. Далее я сказала, что после того я даже не посылала туда, куда я просила его адресовать письма ко мне. Я получила достойное наказание за свою слабость, сказала я, и мне оставалось лишь каяться в том, что я имела глупость отступиться от правила, которого так строго дотоле придерживалась; впрочем, что бы он ни думал, прибавила я, то, что я сделала, происходило не столько от слабости, сколько от чувства благодарности; я испытывала душевную потребность отплатить ему сполна за все то, чем я ему была обязана. И еще я прибавила, что у меня не было недостатка в случаях улучшить, в общепринятом смысле этого слова, свое положение и вкусить блаженство, которое якобы сулит брак, и могла бы составить весьма блестящую партию; однако, продолжала я, как бы я ни унижалась перед ним, я осталась верна своим убеждениям о женской свободе, с честью выдержав все искусы тщеславия и корысти; ему же, сказала я, я бесконечно обязана за то, что, предоставив мне возможность погасить единственное обязательство, которое могло стоить мне моей свободы, он не подвергнул меня вытекающей отсюда опасности. И теперь, я надеюсь, заключила я, что коль скоро я сама, добровольно, изъявила готовность наложить на себя оковы, он почтет мой долг ему погашенным; я же все равно буду чувствовать себя в неоплатном долгу за то, что он предоставил мне возможность сохранить мою свободу.

Слова мои повергли его в такое замешательство, что он не знал, что и отвечать, и некоторое время стоял передо мной в полном молчании;

затем, приободрившись, он сказал, что я возвращаюсь к спору, который, как он надеялся, был окончен и забыт, и что он не намерен его воскрешать. В том, что я не получила его писем, он убедился сам, ибо первым делом по своем прибытии в Англию, он отправился туда, куда эти письма были адресованы, и, за исключением первого, нашел их все на месте; люди, там проживавшие, не знали, куда их направить. Он надеялся от них услышать, где меня разыскивать, но, к крайней своей досаде, узнал, что они обо мне не имели и понятия. Он был чрезвычайно огорчен, сказал он, и я должна понять, в ответ на все мои обиды, что он был надолго и, как он надеется, довольно наказан за небрежность, в которой, по моему мнению, он повинен. Это верно, сказал он далее, — да и как могло быть иначе! — что после отпора, какой я ему дала, — в тех обстоятельствах, в коих он тогда находился, да еще после таких горячих с его стороны просьб, — после всего этого он со мною расстался, полный горечи и досады. Он, разумеется, раскаивался в своем грехе, но жестокость, какую я проявила по отношению к несчастному ребенку, которого в то время несла под сердцем, совершенно его от меня отвратила, и это чувство помешало ему ответить на мое письмо согласием; поэтому он некоторое время не писал мне вовсе. Однако примерно через полгода эта горечь была вытеснена любовью ко мне и заботой о бедном дитяти...

Здесь речь его прервалась, на глаза навернулись слезы, и он с трудом заключил свою речь, обронив как бы мимоходом, что и до сей минуты не знает, жив ли этот младенец или нет. Итак, продолжал он, былая горечь стала утихать; он послал мне несколько писем — помнится, он сказал — семь или восемь, и ни на одно из них не получил ответа. Вскоре дела вынудили его ехать в Голландию и по дороге туда он завернул в Англию. Тогда-то он и обнаружил, что за его письмами никто не посылал, но решил их там оставить и уплатил почтовые издержки[105]; возвратившись во Францию, он все не мог успокоиться и удержаться от рыцарской попытки еще раз поехать в Англию и вновь попробовать меня разыскать, хоть он и не знал, ни где, ни у кого обо мне справляться. Тем не менее он поселился здесь в твердой уверенности, что рано или поздно либо меня встретит, либо обо мне услышит и что счастливый случай наконец нас сведет; так прожил он здесь свыше четырех лет и, хоть вовсе утратил надежду, решил больше не менять своего местожительства, разве если, как то бывает со стариками, почувствует желание ехать умирать на родину. Покамест, однако, он такой тяги еще не ощущает. Теперь, когда мне стали известны все шаги, какие он предпринимал к моему розыску, быть может, сказал он, я соглашусь забыть его молчание, вызванное досадой, и посчитать, что *епитимья* (как он сказал), им самим на себя наложенная, заключавшаяся в его многолетних и неустанных поисках, является достаточным искуплением обиды, так сказать, amende honorable*, какую он мне причинил, не ответив на мое любезное письмо, в котором

* Почетное вознаграждение (*франц.*).

я звала его вернуться. Быть может, теперь, заключил он, мы в состоянии вознаградить друг друга за прошлые страдания.

Признаться, я не могла его слушать без внутреннего волнения, однако я не сразу сбросила свою напускную суровость и продолжала сохранять тон чопорный и сдержанный. Прежде чем отвечать ему по существу дела, сказала я, я считаю нужным успокоить его отцовскую тревогу и сообщить, что сын его жив и что теперь, увидев, с каким чувством он о нем говорит, и убедившись в том, что судьба сына его так волнует, я сожалею, что не изыскала прежде способа известить его; но я думала, что, поскольку он пренебрег матерью ребенка, вся его забота о сыне кончится на том, что он, как было сказано в его письме, обеспечит его, и что для него, как для многих отцов, — с глаз долой, из сердца вон, тем более, что он раскаивался в его появлении на свет. Я полагала, что, обеспечив ребенка много щедрее, нежели прочие отцы в подобных обстоятельствах, он на этом и успокоился.

Если бы я раньше удосужилась дать ему знать, отвечал он, что несчастный младенец жив, он о нем позаботился бы и объявил его своим законным сыном, — что ему было бы нетрудно сделать, поскольку никто ничего не знал об истинном его происхождении, и таким образом снял бы с бедняги бесславие, которое в противном случае должно сопутствовать ему всю жизнь; да и сам мальчик мог бы не подозревать о своем незаконном происхождении. Теперь же, сказал он, вряд ли можно это поправить.

Из всего его последующего поведения, прибавил он, я могла убедиться, что в его намерения никоим образом не входило причинить мне такое оскорбление, а также способствовать тому, чтобы свет пополнился еще une misérable * (это его слова), если бы не надеялся тогда же сделать меня своей женой. Но если и сейчас еще не поздно спасти ребенка от последствий несчастных обстоятельств, сопутствующих его рождению, он надеется, что я позволю ему это сделать, и тогда я могу убедиться, что у него для того достаточно и средств, и чувства. Несмотря на все неудачи, которые на него обрушились, ни одна родная душа, — тем более сын от столь дорогой ему женщины, — не будет нуждаться, покуда он в силах это предотвратить.

Речь его глубоко меня взволновала. Мне было совестно, что он высказывал больше чувства к ребенку, которого ни разу не видел, нежели я, которая его родила. Я же этого ребенка не любила и неохотно его навещала. И хоть я и обеспечила его всем нужным, но и то посредством Эми, а сама видела его от силы раз в два года, ибо в душе своей положила, что не позволю ему, когда он вырастет, именовать меня матушкой.

Я, впрочем, сказала, что о ребенке есть кому позаботиться и что ему нечего тревожиться, — не думает же он, что я люблю свое дитя меньше, нежели он, который никогда его не видел! Я напомнила ему мое обещание, а именно, что выделю для младенца ту тысячу пистолей, которую он в свое время отказался от меня принять; далее я уверила его, что соста-

---

* Одной несчастной (*франц.*).

вила завещание, по которому отказываю сыну 5 000 фунтов вместе с процентами в случае, если умру прежде его совершеннолетия; что я и сейчас от этого не отступаюсь, но что, если ему угодно, я согласна передать ребенка в полное его распоряжение, а в доказательство моей искренности сказала, что готова хоть сейчас передать ему ребенка, а также те 5 000 фунтов на его содержание, поскольку верю, что он в самом деле покажет себя настоящим отцом, как то явствует из чувства, которое он выказывает теперь.

Я приметила, что два-три раза во время разговора он намекал на какие-то неудачи в делах. Меня немного удивляло это сообщение, а главное, что он повторил его несколько раз. Впрочем, я решила до поры до времени не обращать на это внимания.

Он поблагодарил меня за мою заботу о ребенке с нежностью, не оставлявшей сомнений в искренности его слов, высказанных ранее; я же еще больше про себя посетовала, что так мало явила чувства к несчастному ребенку. Он сказал, что не намерен его у меня отнимать, но хотел бы представить его людям как своего законного сына, а это и сейчас возможно; проживя столько лет врозь с другими своими детьми (у него их было трое: два сына и дочь, которые воспитывались у его сестры в Нимвегене, что в Голландии[106]), он легко мог послать к ним еще одного сына десяти лет, чтобы он рос вместе с ними; в зависимости от того, как сложатся в дальнейшем обстоятельства, он может объявить мать этого ребенка умершей или живой. Поскольку я так щедро намерена одарить нашего сына, он присовокупит к этой сумме кое-что и от себя, и притом, как он надеется, достаточно внушительное. Правда, ему несколько не повезло в делах (повторил он в который раз), и поэтому он теперь не может сделать для сына все то, что намеревался прежде.

Здесь уже я, решив, что пора отозваться на его неоднократные намеки на какие-то постигшие его деловые неудачи, выразила сожаление по поводу того, что он понес урон в делах и сказала, что не хотела бы усугублять его и без того стесненное, быть может, положение, а тем более отнимать что-либо у других его детей. Я не могу согласиться отдать ему мальчика, сказала я, хоть это и было бы бесконечно для того полезно, разве что мне будет дозволено взять все связанные с этим расходы на себя; в случае, если он посчитает сумму в 5 000 фунтов недостаточной, я готова ее увеличить.

Мы так долго обсуждали судьбу нашего сына, а также прошлые наши дела, что больше ни о чем в этот первый его приход не успели переговорить. Я настойчиво просила его сказать мне, как он меня обнаружил, но он откладывал ответ на другое время, и, испросив у меня дозволения еще раз ко мне наведаться, откланялся и ушел. Я сама была рада остаться одна — так переполнена была моя душа всем, что я от него услышала. Чувства самого противоречивого свойства обуревали меня: то я была преисполнена любови и нежности, особенно припоминая, как горячо и страстно говорил он о нашем ребенке; то начинала задумываться и сомневаться относительно его финансовых обстоятельств. Иногда же меня одо-

левали страхи, как бы, — если я решусь продолжать с ним общение, — он ненароком не узнал о моих приключениях, когда я жила на Пел-Мел и в других местах, — это бы меня окончательно раздавило; и тогда я решала, что лучше бы его больше не принимать и отвергнуть навсегда. Все эти мысли и различные другие так быстро сменяли одна другую, что я мечтала поскорее отделаться от гостя, дабы разобраться в них наедине; так что, когда он, наконец, ушел, я вздохнула свободнее.

После этого мы виделись еще несколько раз, но было столько вопросов, которые надо было предварительно обсудить, что мы почти и не касались главного; правда, он заговорил было и об этом, но я только отшучивалась.

— Увы, — сказала я. — К этому уже немыслимо больше возвратиться; с тех пор, как мы с вами говорили о таких вещах, прошло уже два столетия и я, как видите, успела за это время сделаться старухой.

В следующий раз он снова пустил пробный шар, и я снова отразила атаку насмешкой.

— Как? — воскликнула я. — О чем ты говоришь? Разве ты не видишь, что я вступила в квакерское братство и мне отныне нельзя даже обсуждать подобные материи?

Все это я произнесла с видом чинным и степенным.

— Но отчего же? — возразил он. — Разве квакеры не вступают в брак, как прочие смертные? К тому же, — продолжал он, — квакерское платье вам очень даже к лицу.

Он продолжал шутить в таком духе и в третий раз. Однако с течением времени я, как говорится, становилась с ним все любезнее, и мы сделались очень коротки, так что, если бы не несвоевременно приключившийся случай, я бы, наверное, вышла за него замуж или согласилась бы выйти за него, как только он заговорит о том вновь.

Я уже долго не получала писем от Эми, которая, кажется, об эту пору отправилась в Руан вторично, чтобы навести справки о моем купце; и надо было ее письму прийти в этот злополучный момент! Вот что она имела мне сообщить:

I. Мой купец, которого я сейчас уже, можно сказать, держала в своих объятиях, покинул Париж, потерпев, как я и подозревала, большой урон в делах; в связи с этими самыми делами он и ездил в Голландию, куда и перевез своих детей; после того он прожил некоторое время в Руане; поехав туда, Эми (совершенно случайно) узнала от некоего голландского шкипера, что мой друг вот уже свыше трех лет как пребывает в Англии; что его можно встретить на Бирже под *французской аркой* и что он живет на Сент-Лоренс-Патни-лейн и так далее; самого же его, заключала Эми, я наверное вскоре разыщу, но он, по всей вероятности, беден и не стоит того, чтобы за ним гоняться. Писала же она так из-за следующей новости, которая прельщала мою проказницу по ряду причин.

II. Что касается принца ***ского, то он, как уже говорилось выше, отбыл в Германию, где были расположены его владения. Он покинул службу при французском дворе и жил в отставке; Эми повстречала его

камердинера, который оставался в Париже, дабы привести все его тамошние дела в порядок. Камердинер этот рассказал Эми, что его господин в свое время поручил ему разузнать обо мне и найти меня и что он, камердинер, много приложил к тому усилий; что, насколько ему удалось выведать, я уехала в Англию; после этого принц дал ему приказание ехать в Англию и имел намерение в случае, если тот меня разыщет, наградить меня титулом графини, жениться на мне и увезти к себе в Германию; камердинер был уполномочен заверить меня в том, что принц готов на мне жениться, если я соглашусь к нему приехать; он обещал послать своему господину известие, что напал на мой след и не сомневался в том, что получит приказание отправиться в Англию и там оказать мне уважение, сообразное с рангом, какой меня ожидает. Будучи особой честолюбивой и зная слабость, какую я питаю к великолепию, лести и ухаживаниям, Эми нагромоздила в своем письме всякой всячины, главным образом лести, рассчитанной на мое тщеславие, и уверяла меня, что камердинеру приказано жениться на мне по доверенности своего господина (как это принято у принцев крови), снабдить меня свитою и оказать мне бог весть какие еще почести; между тем, сообщала она, камердинеру она еще не открылась в том, что продолжает находиться у меня в услужении и не сказала, что знает, где я нахожусь, или куда мне писать, ибо хотела вперед все у него досконально выведать, дабы убедиться, что слова камердинера правдивы, а не пустая гасконада. Единственное, что она ему сказала, это что, если у него впрямь такое поручение от принца, она постарается меня разыскать.

III. Относительно еврея она сообщила, что ей не удалось узнать точно, что с ним случилось и в какой части света он пребывает; но что из достоверного источника ей стало известно, что он совершил преступление и был замешан в попытке ограбить какого-то богатого банкира в Париже, вследствие чего бежал и вот уже более шести лет ничего о нем не слышно.

IV. Что касается моего мужа, пивовара, она узнала, что, участвуя в какой-то битве во Фландрии, он был смертельно ранен под Монсом и умер в Доме Инвалидов[107].

Таков был ее отчет по четырем пунктам, ради которых я погнала ее за море.

Рассказ о принце и возврате его нежности ко мне со всеми лестными обстоятельствами и помпою, которые этому сопутствовали — заблиставшими особенно ярко под пером моей Эми, — этот-то рассказ о принце, говорю, пришел ко мне в самое неудачное время, когда я и мой купец стояли на пороге решительного объяснения.

Мои переговоры с купцом относительно нашего с ним предприятия вступали уже в завершающую фазу. Я бросила свою болтовню о платонических чувствах, о своей независимости, о желании остаться свободной женщиной; он же рассеял мои сомнения относительно его обстоятельств и коммерческих неудач, о которых упоминал; мы зашли в своих разговорах уже до обсуждения будущего нашего местожительства, дома, уклада жизни, количества слуг, и так далее.

Я пустилась было разглагольствовать о мирных прелестях деревенского житья и о том, как прекрасно мы могли бы зажить отшельниками, освободившись от бремени дел и светских обязанностей; но все это было одно жеманство, продиктованное главным образом страхом, как бы не подвернулся какой-нибудь придворный наглец и, с клятвой и божбой не закричал по привычке: «Роксана! Роксана! Клянусь, это она!»

Однако мой купец, всю жизнь привыкший ворочать делами и общаться с деловыми людьми, не представлял себе жизни без этого; он был бы как рыба, вынутая из воды, и затосковал бы смертельно. Тем не менее он со мною соглашался, настаивая лишь на том, чтобы жилище наше было как можно ближе к Лондону, так чтобы он мог время от времени наведываться на Биржу, узнавать, что делается в мире, как живут его родные и дети.

Я отвечала, что если он не хочет бросить дела, то ему, верно, приятнее было бы жить у себя на родине, где все знают его семью и где живут его дети.

Это предложение заметно его обрадовало, он улыбнулся и сказал, что охотно бы его принял, но что вряд ли жизнь вне Англии, к которой я так привыкла, пришлась бы мне по нраву, и как бы желательно для него это ни было, он не считает себя вправе лишать меня родины.

Я сказала, что он составил себе превратное мнение обо мне. Если я ему столько раз при нем называла супружество пленом, семейный дом родом крепости, а положение жены чем-то вроде положения старшей прислужницы, то из этого ему следовало понять, что, коли уж я решаюсь на брак, значит, готова вступить в беспрекословное подчинение и исполнять всякую прихоть моего повелителя. Если бы я не решилась следовать за ним, куда бы ему ни вздумалось поехать, я бы ни за что не согласилась выйти за него замуж. «Или вы не помните, — спросила я, — что я была готова ехать с вами в Индию?»

Все это было, разумеется, с моей стороны чистым притворством. Обстоятельства мои были таковы, что я не смела оставаться в Лондоне, во всяком случае не могла появляться там открыто, и потому твердо решила, если выйду за него замуж, жить либо где-нибудь в глуши, либо вовсе покинуть Англию.

Но вот, в самый разгар наших переговоров, в недобрый час пришло письмо от Эми, и заманчивые ее слова о принце и возможном величии подействовали на меня удивительным образом. Мысль сделаться принцессой и жить так, чтобы все, что со мной приключилось здесь, осталось бы в неизвестности и было предано забвению (если не считать совести), эта мысль была куда как заманчива! Быть окруженной слугами, именоваться пышными титулами, слышать из всех уст: «Ваше высочество», проводить дни в княжеском великолепии и — что больше — в объятиях человека столь высокопоставленного, который, как я знала, меня любил и ценил, — все это, говорю, ослепило меня, вскружило мне голову и в течение двух недель, по крайней мере, я была вне себя, можно сказать,

безумна, и, словом, отличалась от обитателей Бедлама[108] лишь тем, что, быть может, не зашла еще в своей болезни так далеко, как они.

О купце я уже думать не могла; я проклинала себя за то, что согласилась его принять; короче, я решила больше с ним не иметь дела и, когда на другой день он пришел, притворилась нездоровой и, хоть и спустилась к нему, дала ему понять, что слабость моя сделала меня совсем не пригодной для общения и что великодушие повелевает ему меня на время оставить.

На следующее утро он послал лакея осведомиться о моем здоровье, и я велела передать, что у меня сильная простуда и что я очень страдаю. Через два дня он пришел сам, я к нему спустилась, как тогда, но говорила таким хриплым голосом, что меня почти не было слышно; говорить же громче, чем шепотом, как я объяснила, причиняет мне неизъяснимые страдания. Словом, в таком ожидании я продержала его целых три недели.

Все это время я пребывала в состоянии странного восторга. Принц, вернее, мысли о нем, так завладели моей душой, что я большую часть времени проводила в мечтах о великолепии, меня ожидавшем; в воображении я уже наслаждалась пышностью этой жизни и одновременно самым непростительным образом обдумывала, как отделаться от моего купца.

Должна, однако, сказать, что временами я сама ужасалась собственной низости. Уважение и искренность, с какою мой купец обращался со мной на протяжении всего знакомства, и, сверх того, верность, какую он явил мне в бытность нашу в Париже, да и то, что он спас меня от гибели, — все это, говорю, стояло у меня перед глазами, и я часто пыталась себя образумить, напоминая себе о благодарности, какою я ему обязана и указывая на низость, какою было бы после всех этих обязательств и обещаний с ним порвать.

Но высокое звание, титул принцессы вместе с великолепием, какое они с собой несли, перевешивали все, и благодарность моя улетучилась, словно тень.

В другой раз я начинала думать о богатстве, хозяйкой которого я сделалась бы, выйдя за купца; с ним, говорила я себе, я могла прожить, как принцесса, даже не являясь таковою, ибо он (я уже знала размеры его неудачи) отнюдь не был ни бедным, ни, тем более, скупым; сложив наши состояния, мы имели бы три или четыре тысячи фунтов годового дохода, что могло равняться с доходами иного заморского принца. Но хоть все это так и было, однако слова *ваше высочество* и трепет, который они во мне производили, иначе говоря — гордыня, брали верх над всем и споры, какие я вела сама с собой, оканчивались не в пользу купца. Словом, я положила от него отделаться и дать ему решительный ответ в следующее его посещение, сказав, что некоторые обстоятельства вынуждают меня неожиданно переменить мои планы. Короче, я намеревалась просить его больше меня не беспокоить.

Я думаю, что столь грубое мое обращение с ним было следствием подлинного недуга, ибо состояние, в какое неустанная мысль о моем

возможном величии привела мой дух, в самом деле походило на горячку, и я не отдавала себе полного отчета в своих поступках.

Впоследствии я дивилась, как я вовсе не сошла с ума, и меня теперь ничуть не удивляют рассказы о людях, помешавшихся от гордости, мнящих себя королевами и императрицами, требуя, чтобы слуги преклоняли перед ними колени и протягивая посетителям руку для поцелуя и все в таком роде. Ибо, если гордыня не способна свести человека с ума, то уже ничто не может поколебать его разум.

Впрочем, когда мой купец пришел ко мне в следующий раз, у меня не хватило духу или жестокости поступить с ним столь невежливо, как я задумала; и, слава всевышнему, что так получилось, ибо вскоре я получила еще одно письмо от Эми с известием столь же досадным, сколько неожиданным, что мой принц (как я его про себя с удовольствием величала), охотясь на кабана, — жестокая и опасная забава, которой благородные дворяне в Германии часто предаются, — получил сильное увечье.

Это встревожило меня не на шутку, тем более, что, по словам Эми, камердинер, который тотчас отправился к своему господину, не был уверен, что застанет его в живых; однако он (камердинер) обещал тотчас по своем прибытии послать ей того же нарочного, который привез печальную весть с отчетом о здоровье своего хозяина и о главном деле; тот же камердинер просил Эми ожидать его возвращения две недели, так как она еще прежде обещала, на случай, если он получит распоряжение отправиться на мои розыски в Англию; со своей стороны, он должен был прислать ей чек на пятьдесят пистолей для покрытия путевых издержек. И теперь Эми ожидала ответа.

Это было для меня ударом во многих отношениях: во-первых, я пребывала в неизвестности — жив он или нет, а это меня весьма волновало, уверяю вас; ибо сердце мое и в самом деле хранило к нему неизъяснимую привязанность, даже когда у меня не было особой причины принимать в нем участие; но это не все, ибо, потеряв его, я теряла надежду на утехи и славу, овладевшие моим воображением.

В таком-то состоянии неизвестности, в какое привело меня письмо Эми, мне предстояло провести еще две недели, и, осуществи я свой умысел — резко порвать с купцом, я оказалась бы в поистине плачевном положении; так что, слава всевышнему, говорю, за то, что в последнюю минуту сердце мое дрогнуло.

Впрочем, я держала себя с купцом уклончиво, придумывая различные предлоги для того, чтобы не сближаться с ним более, дабы впоследствии поступить так или иначе — в зависимости от того, как обернется дело. Но что было досаднее всего, это то, что от Эми не было никаких известий, между тем как обещанные две недели уже миновали. Наконец, к великому моему удивлению, в ту самую минуту, когда я в крайнем нетерпении смотрела в окно, выглядывая почтальона, который обычно приносил чужестранные письма, в ту самую минуту, говорю, я была приятно удивлена, увидев подъезжающую к воротам нашего дома карету и выходящую

из нее Эми, которая в сопровождении кучера, несущего ее узлы, направилась к дверям.

Я бросилась вниз, как молния; новости, которые она привезла, однако, меня обескуражили.

— Что принц? — спросила я. — Жив?

Она же отвечала холодно и небрежно:

— Жив-то жив, сударыня, — сказала она. — Но что с того? Для вас он все равно, что умер.

С этим она поднялась в мою комнату и между нами начался серьезный разговор.

Сперва она пространно рассказала, как его ранил кабан на охоте, в каком он был после этого состоянии, как уже не надеялись, что он выживет, ибо рана вызвала у него сильную горячку; свой рассказ Эми приправила подробностями, которые для краткости я здесь опускаю. Долгое время после того как опасность миновала, он был еще очень слаб; камердинер его оказался человеком слова и послал курьера назад к Эми с точностью, словно она была королевой. В его письме содержался подробный отчет о состоянии его господина, о его болезни и излечении. Что же касалось до меня, то рассказ сводился к тому, что принцем овладело раскаяние и он дал некий обет в случае выздоровления, так что он больше обо всем этом не мог думать; тем более, говорил он, что даму его еще не нашли и, следовательно, его предложение не было ей передано, и он не нарушил своего благородного слова. Принц, однако, был признателен госпоже Эми за ее старания и выслал ей пятьдесят пистолей, как если бы она в самом деле предприняла поездку в Англию по его поручению.

Признаться, поначалу я была ошеломлена и думала, что уже не оправлюсь от удара. Видя это, Эми (по своему обыкновению) принялась трещать.

— Господи, сударыня! — воскликнула она. — Велика беда! он, как видите, попал в лапы попам, и они, верно, имели дерзость наложить на него епитимью и, быть может, послали его босиком на поклон к какой-нибудь мадонне, богоматери или, как это у них называется, — *Нотрдам*, а то и еще куда. Поэтому он покамест выбросил из головы всякие шашни. Но вот увидите, сударыня, как только он выполнит веление попов и вырвется из их лап, он снова начнет грешить, как прежде. Я, так, терпеть не могу все эти несвоевременные покаяния. Мало ли, что он кается; какое право имеет он отказываться от доброй жены? Как бы я ни желала видеть вас принцессой и все прочее, но раз не судьба, не стоит о том и печалиться, вы и без того довольно богаты, чтобы жить, как принцесса; и, слава богу, можете обойтись без принца.

Я тем не менее горько плакала и долгое время не могла успокоиться; но теперь при мне все время была Эми и в конце концов ее веселый нрав и острый язычок заставили меня забыть мою неудачу.

Я рассказала Эми свою историю с купцом, как он меня разыскивал в то самое время, когда я прилагала столько усилий найти его; он и

в самом деле, оказалось, жил на Сент-Лоренс-Патни-лейн. То, что он потерпел финансовый ущерб, о котором писала Эми, тоже оказалось правдой, и он сам — еще до того, как я получила это известие от нее, или во всяком случае до того, как я дала ему понять, что слышала о том, — откровенно рассказал мне, что потерял 8 000 фунтов стерлингов.

Эми была в восторге. «Ну, что же, сударыня, — сказала она, — стоит ли вам огорчаться из-за какого-то принца, с которым вам пришлось бы забиться в германскую глушь и выучить тарабарский язык, именуемый немецким? Нет, нет, — сказала она, — вам не в пример лучше оставаться здесь. Да господи, сударыня! — воскликнула она, — ведь вы же богаты как Крез!»

И все-таки еще долгое время я не могла окончательно сказать своей мечте «прости», — да, та самая я, которая некогда рассчитывала сделаться любовницей короля, теперь в десять тысяч раз сильнее мечтала о том, чтобы сделаться женою принца!

Так сильно овладевает нашей душой гордость и честолюбие, что стоит поддаться, как любая химера кажется нам уже как бы осуществленной в нашем воображении. Нет ничего нелепее тех шагов, что мы в таких случаях предпринимаем. Человек, будь то мужчина или женщина, становится подлинным malade imaginaire*, и, в зависимости от успеха или неуспеха его фантазии[109], может умереть с горя или сойти с ума от радости все равно как если бы мечта, зародившаяся в его мозгу, была явью и воплощение ее — в его руках.

В моем случае два человека были в состоянии вызволить меня из этих сетей, сотканных моим воображением: с одной стороны Эми, которая, зная о болезни, не в силах была ее вылечить, и с другой — мой купец, который, не зная о болезни, нес мне исцеление от нее.

Так, в одно из своих посещений, в ту самую пору, когда я особенно страдала от своего душевного разлада, мой купец заметил, что я как будто не совсем здорова, и, как тогда стояла летняя жара, предлагал мне выехать куда-либо из города, на деревенский воздух; моя болезнь, сказал он, какова бы она ни была, происходит, по его мнению, от некоего недуга, подтачивающего мне душу.

Слова его меня поразили.

— Как? — воскликнула я. — Неужели вы полагаете, что я помешалась? В таком случае вам следовало бы предложить мне переселиться в сумасшедший дом.

— Ах, что вы, сударыня, — отвечал он. — Я ничего подобного не полагаю, и уверен, что дело лишь в голове, а мозг не затронут.

Я понимала, разумеется, что он прав, ибо я и в самом деле держала себя с ним, как помешанная, он же продолжал настаивать на том, чтобы я выехала в деревню. Но я снова к нему придралась.

* Мнимым больным (*франц.*).

— Зачем, интересно, вам понадобилось куда-то меня отсылать? — спросила я. — В вашей воле избавиться от меня, не вводя ни себя, ни меня в такое беспокойство.

Он весьма этим оскорбился, говоря, что некогда я была более высокого мнения об его искренности, и спрашивая, чем он заслужил такое недоверие. Я упоминаю об этом лишь затем, чтобы показать вам, сколь далеко я зашла в своих стараниях от него избавиться, иначе говоря, сколь близка я была к тому, чтобы обнаружить перед ним всю низость, неблагодарность и подлость, на какие была способна. Впрочем, я убедилась, что в своих шутках зашла слишком далеко, что еще немного, и, как то было уже раз, совсем его от себя оттолкну. Поэтому я стала постепенно изменять свое обращение с ним и вернулась к переговорам о нашем деле.

Некоторое время спустя, когда мы с ним болтали с прежней открытостью и веселостью, он назвал меня, вкладывая в это слово особенное чувство, своей принцессою. Это слово задело меня за живое и заставило кровь прилить к моим щекам. Он, впрочем, не подозревал о причине моего волнения.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила я.

— Да ничего, кроме того, что для меня вы — истинная принцесса.

— Хорошо, коли так, — отвечала я. — Если хотите, однако, знать, я и в самом деле, кабы решилась бросить вас, могла бы сделаться принцессой, а если уж на то пошло, я и сейчас могу сделаться ею.

— Сделать вас принцессой, — сказал он, — не в моей власти. Но если мы останемся в Англии, я могу произвести вас в баронессы с превеликою легкостью; а коли покинем эту страну, то и в графини.

С большим удовлетворением выслушала я эти его слова, ибо гордыня моя, хоть и ущемленная, все еще оставалась при мне, и я подумала про себя, что такая возможность в какой-то степени возместит мне потерю титула, который так раззадорил мою фантазию; мне, конечно, не терпелось узнать, что он имел в виду, однако, я скорее откусила бы язык, чем позволила бы себе расспрашивать его, так что в тот день этот разговор не имел продолжения.

Когда он ушел, я передала Эми его слова, и ей так же, как и мне, не терпелось узнать, что он имел в виду. В следующий свой приход он (совершенно для меня неожиданно) сказал, что в прошлый раз обмолвился ненароком об одной вещи, не придавая ей серьезного значения; но, рассудив впоследствии, что вещь сия может иметь для меня некоторый вес и заслужить мне уважение у людей, среди которых я окажусь, он стал подумывать об этом всерьез.

Я сделала вид, что это меня ничуть не волнует и что, поскольку, как ему известно, я избрала жизнь уединенную, мне будет безразлично, как называться — баронессою ли, или графиней, все равно; но, ежели он намерен, как я выразилась, *вытащить меня в свет*, быть может, это ему самому будет приятно; впрочем, прибавила я, мне о сих вещах трудно судить, поскольку я не представляю себе, как возможно привести его намерение в исполнение.

Он сказал, что — хоть душевное благородство дается человеку лишь природою и кровью — купить титул можно почти в любой стране. С другой стороны, прибавил он, титул подчас в самом деле возвышает душу и сообщает благородство мыслям, в особенности, когда почва для этого подготовлена. Далее он выразил надежду, что если бы нам и достался титул, мы бы его не посрамили и носили бы его с должной скромностью, показав, что достойны его не менее кого-либо другого. Что касается Англии, сказал он, ему для этого всего-навсего пришлось бы добиться натурализации, а уж как раздобыть титул баронета, он знает. Если же я намерена жить за морем, то у него есть племянник, сын его старшего брата, обладающий графским титулом и небольшим родовым поместьем, которое он не раз предлагал продать своему дядюшке за тысячу пистолей — сумма незначительная, и, поскольку звание это имелось у них в роду, он — буде на то мое желание — тотчас же его приобретет.

Последнее, сказала я, мне было больше по душе, но я не желаю, чтобы он покупал этот титул на свои деньги, и требую, чтобы он взял на это тысячу пистолей у меня.

— Ну, нет, — сказал он. — Не для того отказался я от тысячи пистолей, когда я имел больше прав их от вас принять, чтобы дозволить вам тратиться самой.

— Отказаться-то вы отказались, — возразила я, — но как знать, быть может, вы в том раскаивались впоследствии?

— Разве я выражал когда сожаление? — спросил он.

— Вы нет, а я — да, — ответила я. — Я часто раскаивалась за вас.

— Я вас не понимаю, — сказал он.

— Ну, как же, — сказала я. — Я жалела, что позволила вам от них отказаться.

— Хорошо, душа моя, — сказал он. — Об этом мы еще успеем поговорить — как только вы решите, в какой части света вам угодно поселиться.

И он горячо и пространно говорил о том, как ему большую часть своих дней довелось провести на чужбине, то и дело меняя место жительства и испытывая всевозможные превратности судьбы; что и сама я не имела постоянного места жительства; и что теперь, когда оба мы уже в летах, он полагает, что и я бы предпочла осесть где-нибудь так, чтобы никуда больше не переезжать; что до него, он желал бы этого всей душой и настаивает единственно на том, чтобы выбор сделала я, ибо для него все страны равны, лишь бы я была с ним.

Я выслушала его слова с великой радостью, во-первых, оттого, что я твердо решилась уехать отсюда по причине, которую уже упоминала прежде, а именно из боязни, что в Англии меня кто-нибудь опознает, и вся история с *Роксаной* и балами выйдет на свет божий; но, кроме того, в неменьшей степени меня тронула его готовность предоставить выбор нашего постоянного местожительства мне; к тому же честолюбие мое торжествовало; я примирилась с тем, что принцессой мне уже не быть, и радовалась возможности сделаться графинею.

Все это я пересказала Эми, которая по-прежнему оставалась моим тайным советником; однако, когда я спросила ее мнения, она меня весьма потешила своим ответом.

— Который же титул из двух ты советуешь мне избрать, Эми? — спросила я. — Сделаться ли мне леди, иначе говоря женою английского баронета, или голландскою графинею?

Эми, как известно, была из тех, что за словом в карман не полезет, и, зная мое честолюбие почти так же хорошо, как я сама, отвечала без запинки:

— И тот, и другой, сударыня. Который из двух! — воскликнула она, передразнивая меня. — Почему бы вам не взять оба? Тогда вы и в самом деле, сударыня, сделаетесь принцессой. Ибо супруга английского баронета и голландского графа вместе взятые, уж, во всяком случае, равняются одной германской принцессе!

Все это Эми, разумеется, говорила в шутку, и однако слова ее запали мне в душу; короче говоря, я решила стать и той и другой, как она говорила, в чем, как вы увидите из дальнейшего, и преуспела.

Первым делом я дала моему купцу понять, что желаю обосноваться в Англии, но при условии, что мы не будем жить в Лондоне. Я изобразила дело так, будто задыхаюсь в городе, но согласна жить в любом другом месте. Затем я спросила, не годится ли ему какой-либо из портовых наших городов, ибо знала, что, хоть он и отстал от дел, но не может жить без общения с коммерсантами. При этом я предложила ему несколько городов на выбор: если его интересуют торговые дела с Францией, то пусть это будет Дувр либо Саутгемптон; если же ему хочется быть поближе к Голландии, — то Ипсвич, Ярмут либо Гулль [110]. Но я нарочно не предлагала ничего определенного. Единственное, что он должен был понять из моих слов, это что я хотела бы остаться в Англии.

Однако наступила пора привести наше дело к концу, так что примерно месяца через полтора мы договорились уже почти обо всем. Среди прочего он дал мне понять, что загодя примет английское подданство, с тем чтобы, как он выразился, я была невестой англичанина. С этим было довольно быстро покончено, ибо в ту пору как раз заседал парламент и, дабы сократить расходы, несколько иностранцев, желавших натурализоваться, подали общий билль [111].

Через три-четыре дня, не более, в продолжение которых я и понятия не имела, чем он был занят, он преподнес мне красивую сумочку, вышитую бисером, и, приветствуя меня, как миледи *** (здесь он назвал свою фамилию), вручил ее мне вместе со своим портретом, обрамленным бриллиантами, и с брошью из драгоценного камня достоинством в тысячу пистолей; в сумочке же лежал его патент на звание баронета. На следующее утро мы венчались. Так окончилась та часть моей жизни, что была посвящена интригам, жизни, исполненной греха и роскоши; воспоминания о той поре были тем мучительнее, что провела я ее в самых грубых пороках, и теперь, когда я о них размышляла, они представали

передо мною во все более черном свете, так что эти мысли омрачали все радости и благополучие, какими я могла отныне наслаждаться.

Впрочем, в новом моем положении я поначалу радовалась при мысли, что наконец прекратилась моя преступная жизнь, и чувствовала себя подобно человеку, возвращающемуся из Индии, который после долгих лет забот и лишений, благодаря неусыпным трудам и рискуя жизнью, достиг наконец богатства и прибыл в Лондон со всем своим достоянием, сказав себе, что никогда и ни за что больше не доверится морской пучине.

Тотчас после венчания мы поехали ко мне (благо церковь была рядом [112]), и вся церемония была обставлена так тихо, что никто, кроме Эми и моей подруги квакерши, ничего об этом не знал. Как только мы вернулись из церкви, он со словами «теперь ты моя» обнял меня и поцеловал.

— Ах, почему ты не согласилась сделаться моею одиннадцать лет назад?

— Быть может, я к этому времени уже давно бы тебе наскучила, — отвечала я. — Все к лучшему, ибо теперь все наше счастье впереди. К тому же, я и вполовину не была бы так богата.

Последнюю фразу я, впрочем, не высказала вслух, а только подумала про себя, потому что в мои расчеты не входило сообщить ему способы, коими я приобрела свое богатство.

— Ну, нет, — сказал он, — ты бы мне не наскучила никогда. Зато, кабы мы были вместе все время, я бы не потерпел такого урона в своих делах в Париже и не потерял свыше 8 000 пистолей; к тому же я был бы избавлен от множества изнурительных хлопот. Ну, да ничего, — прибавил он, — зато теперь, когда ты моя, ты заплатишь мне за все сполна.

Я чуть опешила от его слов и приняла строгий вид.

— Как? — сказала я. — Уже угрозы? Что ты хочешь этим сказать?

— Сейчас тебе все объясню. — (Он так и держал меня в своих объятиях все это время). — Отныне я не намерен заниматься более своей коммерцией, и таким образом я ни одного шиллинга не прибавлю к тому, что у тебя уже есть; вот тебе и убыток. Затем, я не намерен входить в какие бы то ни было хлопоты по управлению ни твоими деньгами, ни теми, что я к ним присовокуплю, а предоставлю всем этим управлять тебе, как то делают жены в Голландии. Таким образом, взвалю все заботы на тебя. В-третьих, я намерен приговорить тебя к вечному заточению с моей назойливой персоной, ибо привяжу тебя к себе на спину, как розничный торговец свой товар, и не буду спускать тебя с глаз, ибо ты, и ты одна — свет моих очей.

— Прекрасно, — сказала я. — Но предупреждаю, что вешу я изрядно, так что тебе придется иногда складывать свою ношу, чтобы отдохнуть.

— Что до этого, — сказал он, — то вряд ли тебе удастся меня утомить.

Все это, разумеется, говорилось в шутку и как бы аллегорически, однако, как будет рассказано в надлежащем месте, мораль сей притчи оправдалась целиком. Весь остаток дня мы провели в большом веселии, однако без шума и суеты, ибо он не пригласил никого из своих друзей, ни англичан, ни своих соотечественников. Добрая квакерша угостила нас

обедом, тем более обильным, что едоков было столь ограниченное число; всю последующую неделю она продолжала нас кормить и, казалось, только о том и мечтала, чтобы и впредь все продолжалось в том же духе; но я весьма этому противилась, во-первых, оттого, что, хоть нуждаться она не нуждалась, средства ее, как я знала, были ограниченны, во-вторых, она показала тебя таким верным другом, таким утешителем, да и советчиком тоже, что я твердо решила, когда кончатся свадебные дни, сделать ей подарок, который бы действительно ее поддержал.

Вернусь, однако, к обстоятельствам нашей свадьбы. Итак, после дня, проведенного в беспечном веселье, Эми и квакерша уложили нас в постель, причем добрая квакерша и не подозревала, что мы уже бывали в одной постели с ним одиннадцать лет назад; кстати сказать, это была тайна, о которой не знала даже сама госпожа Эми. Она улыбалась и гримасничала, изображая великую радость за нас, однако, за его спиной ворчала и шептала, что все это нам следовало проделать лет десять-двенадцать назад, а что теперь это утратило смысл; короче говоря, это означало, что ее госпоже было под пятьдесят [113] и что от нее нельзя было больше ожидать потомства. Я ей за то пеняла, квакерша же, смеясь, говорила мне комплименты, утверждая, что никогда не поверит, что мне столько лет, сколько говорит Эми, и что мне не больше сорока, так что я еще успею народить целую ораву ребятишек. Однако мы с Эми знали, как обстоит дело, лучше, чем квакерша; короче говоря, как бы моложаво я ни выглядела, мне было довольно лет, чтобы распроститься со всякой мыслью о материнстве. Впрочем, я приказала Эми попридержать свой язычок.

Наутро, когда мы еще не вставали с постели, моя квакерша навестила нас, заставив поесть пирожков и выпить по чашке шоколада; затем она нас покинула, посоветовав соснуть еще немного, что мы, кажется, и сделали. Словом, ее обращение с нами было радушно, щедро, исполнено истинного доброжелательства; из этого я вывела, что и квакерам доступны хорошие манеры, лучшим доказательством чему могла служить моя квакерша.

Она намеревалась и всю оставшуюся неделю угощать нас за свой счет, чему я сперва пыталась воспрепятствовать; однако, убедившись, что своим отказом наношу ей обиду, я перестала противиться, пригрозив лишь поквитаться с нею, что я и сделала впоследствии. Итак, она всю неделю продолжала нас угощать и прислуживать нам, да так щедро, что у нее появилась еще одна забота: куда девать остатки яств? Ибо, как ни вкусны были приготовленные ею лакомства и сколько бы их ни было, она не допускала, чтобы одно и то же блюдо появлялось у нас на столе больше одного разу.

Правда, у меня теперь была своя прислуга, и две мои девушки ей немного помогали (Эми же отныне была сама себе госпожа и садилась за стол с нами). Кроме того, у меня был кучер и мальчик на побегушках. У квакерши тоже был слуга, но только одна горничная, так что по случаю

нашей свадьбы она раздобыла у своих знакомых еще двух служанок и повара.

Единственное, чего ей не хватало, о чем она шепотом дала мне знать, это столового серебра. Я приказала Эми доставить мой большой сундук, который я держала в надежном месте, — в нем хранилась всякая драгоценная утварь, которую, как я уже о том рассказывала, я отложила на черный день; все это я вручила квакерше с просьбой не говорить, что это мое добро (тому была особая причина, о которой я со временем расскажу).

Отныне я именовалась леди ***, и, должна признаться, это мне чрезвычайно нравилось; так славно было слышать на каждом шагу: «ее милость» и «ваша милость»! Я уподобилась некоему вождю индейского племени в Виргинии [114], который после того, как англичане построили ему дом с замком на двери, просиживал целые дни с ключом в руках, запирая и отпирая им замок и снова запирая его на два поворота, несказанно радуясь такому новшеству; точно так и я была готова целый день сидеть и слушать, как Эми величает меня через каждое слово «миледи»; через некоторое время, однако, новизна этого титула изгладилась, и он больше не тешил мое тщеславие; я стала мечтать о другом, голландском титуле с такой же страстью, с какою до этого жаждала английского.

Эту неделю прожили мы в беспечных наслаждениях, а любезное обращение нашей добродушной квакерши было дополнительным источником радости. Музыки и танцев не было никаких, если не считать того, что я время от времени, чтобы потешить моего супруга, пела по его просьбе какую-нибудь французскую песенку. И то, что мы праздновали наш союз так тихо, в кругу только самых близких людей, лишь увеличивало нашу радость. Я не стала шить много платьев перед свадьбой, так как при мне всегда было множество еще не ношенных богатых уборов, которые требовали лишь некоторых изменений в угоду моде. На следующий день после свадьбы муж мой просил меня приодеться, хоть у нас и не предвиделось гостей. Сперва я было отшучивалась, но наконец сказала, что есть у меня один наряд, в котором он ни за что не признал бы своей жены, особенно если бы рядом были другие женщины. Ну, нет, сказал он, этого быть не может, и ему, конечно, захотелось увидеть меня. Я сказала, что надену его, если он обещается никогда не просить меня выходить в этом наряде при гостях. Он дал слово, но при этом спросил, что кроется за моей просьбой. Мужья, как известно, существа любопытные и непременно начнут допрашивать о том, что, по их мнению, от них скрывают. Впрочем, ответ у меня был готов. «Да оттого, — сказала я, — что в этих краях подобный наряд не почитается приличным и показался бы нескромен». Так оно и было на самом деле, ибо он немногим отличался от нижней рубахи, хоть и был в обычае той страны, откуда его вывезли. Ответ мой удовлетворил его любопытство, и он дал слово никогда не просить меня показываться в этом костюме при посторонних. После этого я прошла к себе, пригласила с собою Эми и квакершу, и Эми облачила меня в мой старый турецкий наряд, в котором я некогда танцевала и все прочее. Квакерша была очарована этим убором и сказала, что, войди он в моду в наших краях,

она бы не знала, как ей быть, ибо отныне квакерское платье потеряло свою привлекательность в ее глазах.

Когда я уже была полностью одета, я убрала платье драгоценностями, а большую брошь в тысячу пистолей, которую он мне подарил, поместила посреди тюрбана, откуда она весьма внушительно поблескивала. На шею я нацепила свое бриллиантовое ожерелье, и волосы мои, усеянные драгоценными камнями, — tout brilliant *. Портрет мужа, в оправе из бриллиантов, я пришила к лифу, немного слева, как бы на сердце (комплимент в восточном обычае), а как грудь моя была открыта, то там не было уже места для украшений. В таком-то виде, в сопровождении Эми, поддерживавшей шлейф, я и спустилась к нему. Он был совершенно поражен; меня он, разумеется, узнал, поскольку я его предупредила и, сверх того, в комнате, кроме Эми и квакерши, никого больше не было; зато Эми он вовсе не узнал, ибо она облачилась в наряд турецкой рабыни, который, как я уже упоминала, остался у меня от моей неаполитанской турчанки. Руки и шея у нее были обнажены, голова не покрыта, а волосы свисали вдоль спины длинной косой, оканчивающейся кисточкой; впрочем, негодница вскоре выдала себя, ибо не могла удержаться от улыбки и по своему обыкновению затараторила вовсю.

Ну, так вот, наряд мой так его очаровал, что он просил меня не снимать его к обеду, но одежда эта была слишком легкой, а спереди так открыта, что я боялась простудиться, тем более, что день выдался холодный. Тогда он велел растопить камин получше, закрыть все двери, и я, уступив его желанию, так и просидела в этом наряде. В жизни, сказал он, ему не доводилось видеть более красивого платья. Впоследствии я рассказала ему, что мой муж (так он называл убитого ювелира) купил мне наряд этот в Ливорно, вместе с турчанкой, с которой я рассталась уже в Париже; эта-то рабыня и научила меня носить турецкий костюм, а также кое-каким турецким обычаям и некоторым словам их языка. Рассказ мой, вполне правдивый во всех отношениях, кроме того, что костюм ко мне попал вовсе не от ювелира, не вызвал у моего слушателя каких-либо недоумений. У меня, однако, были достаточно веские основания для того, чтобы не показываться в нем в обществе, во всяком случае, в пределах Англии; перечислять их, я думаю, нет надобности; тем более, что об этом будет довольно говориться дальше.

Когда же я очутилась в другой стране, я часто в него наряжалась, и раза два или три даже танцевала в нем, но только, когда меня о том просил мой господин.

У квакерши прожили мы немногим больше года; я изобразила дело так, что мы, будто, не можем найти себе подходящего города для жительства в Англии, поскольку ему годился лишь Лондон, а для меня он был невозможен; поэтому я, как бы делая ему уступку, соглашалась уехать с ним в другую страну; я знаю, сказала я, что ему это будет приятно,

---

* Так и сверкали (*франц.*).

для меня же все страны равны: после того, как я прожила на чужбине столько лет в одиночестве, сказала я, мне ничуть не в тягость будет вновь там очутиться, тем более, что теперь я буду с мужем. Затем каждый из нас пытался переупрямить другого своей любезностью. Он сказал, что ничуть не тяготится жизнью в Англии и что привел свои дела в соответственный порядок; к тому же, как он напомнил, он ведь не намерен больше заниматься делами и предоставит управление всем нашим хозяйством мне, поскольку мы ни в чем не испытываем недостатка; да и вообще-то вся эта игра не стоит свеч; ведь для того, сказал он далее, он и принял британское подданство, приобрел титул баронета и т. д. Тем не менее, сказала я ему, хоть я и ценю его любезность, я не могу не знать, что ему приятнее всего жить у себя на родине, где воспитываются его дети, и если я и впрямь так ему дорога, то мое присутствие лишь умножит его радости. С ним, сказала я, мне всюду дом, и если мой муж будет рядом со мною, повсюду, где бы я ни была, я себя буду чувствовать в Англии. Так, короче говоря, мне удалось уговорить его принять мою мнимую жертву и согласиться переехать за море; на самом же деле я не чувствовала себя здесь в безопасности и вынуждена была все время сидеть взаперти из боязни, что рано или поздно откроется распутный образ жизни, какой я вела, и все мои прегрешения, коих я теперь не на шутку стыдилась.

Когда после нашего бракосочетания прошла неделя, во время которой моя квакерша была так к нам добра, я сказала ему, сколь много мы, по моему мнению, должны чувствовать себя ей обязанными за ее великодушие и доброту и каким верным другом она показала мне себя во множестве случаев; затем, поведав ему кое-что о ее семейных невзгодах, я сказала, что мы не только должны испытывать к ней благодарность, но и сделать что-то такое, что бы облегчило ее положение; у меня нет родни, прибавила я, которою бы я могла его обременить; все, с кем я связана фамильными узами, вполне обеспечены, и если он позволит мне щедро вознаградить эту честную женщину, я никому больше не стану делать в своей жизни подарки, не считая, конечно, Эми. Что же до Эми, мы ее не бросим, сказала я, и отпустим ее только в том случае, если ей самой подвернется счастье; к тому же Эми не бедна; ей удалось сберечь за все годы что-то около семисот или восьмисот фунтов. О том, каким образом, с помощью каких греховных дел сколотила она такую сумму, я, разумеется, промолчала; с него довольно было знать, что она не будет нам в тягость.

Мои слова о квакерше пришлись моему супругу по душе, и он, в свою очередь, произнес большую речь о благодарности, сказав, что это лучшее украшение благородной дамы; что чувство это, на его взгляд, столь неотъемлемо от честности и, даже более того, от религии, что он даже сомневается, возможны ли истинная честь и вера там, где нет благодарности. В том же, что я предлагала, была не только благодарность, но и подлинное милосердие, ибо я не могла избрать предметом моей благотворительности существо, которое бы больше ее заслуживало. Поэтому он всей ду-

шой давал свое согласие и просил меня лишь о том, чтобы я дозволила ему израсходовать на это его собственные деньги, а не мои.

Что до этого, сказала я, несмотря на все свои прежние разглагольствования, я хочу, чтобы у нас с ним был общий карман; и, что бы я ни говорила прежде о свободе и независимости женщины, пусть он и обещал, что мое имущество останется в моих руках, теперь, раз уж я согласилась сделаться его женой, я хочу жить так, как живут все честные жены, и если я решилась доверить ему себя, то он волен распоряжаться всем, что я имею. Если я и оставлю себе что, то только на случай его смерти, и то с тем, чтобы впоследствии отдать все его детям. Короче говоря, если он считает разумным объединить наше имущество, я предложила на следующее же утро подсчитать наши капиталы и, соединив их, сообразить, как распорядиться не только собою, но и тем, что мы имеем, а потом уже решать, где обосноваться. Он не мог не видеть, что я говорю это с совершенною искренностью, да и здравый смысл побуждал его со мною согласиться. Об этом мы еще поговорим, сказал он, а сейчас долг повелевает нам оказать доброму нашему другу квакерше не просто благодарность, но и истинную благотворительность; первым делом, сказал он, надо подарить ей тысячу фунтов, иначе говоря, шестьдесят фунтов годового дохода и устроить это таким образом, чтобы они не могли достаться никому, кроме нее самой. Такая щедрость, свидетельствующая о благородных правилах моего супруга, заслуживает упоминания в моем рассказе: мне, однако, названная им сумма показалась чрезмерной, тем более, что у меня была своя мысль, касающаяся столового серебра. Поэтому я сказала ему, что если он подарит ей кошелек, положив в него сотню гиней, а затем возьмется обеспечить ей 40 фунтов в год пожизненно, обставив это по ее желанию, то, по моему мнению, этого будет вполне достаточно.

Он согласился со мной, и в тот же день вечером, перед тем, как нам разойтись на ночь, взял мою квакершу за руку и, поцеловав ее, сказал, что, как она явила чрезвычайную доброту к нам обоим с самого начала его сватовства, а со слов жены он знает, что до того она была так же добра и к ней (то-есть ко мне) — то он почитает своим долгом показать ей, что она имеет дело с друзьями, которые понимают, что такое благодарность; что, со своей стороны, он просит ее принять как частичное вознаграждение вот эту вещицу (здесь он вручил ей кошелек с золотом), что же касается дальнейшего, то жена с нею переговорит о том после. С этими словами, едва дав ей время пролепетать: «Благодарствуй», он поднялся в спальню, оставив ее в великом замешательстве.

Когда же он ушел, она в самых трогательных выражениях принялась говорить о добрых чувствах, какие она питает к нам обоим, прибавив, что не ожидала за них никаких наград; ведь и так, сказала она, я ей в свое время сделала немало ценных подарков, и это была правда; ибо, помимо штуки полотна, которую я ей дала вначале, я подарила ей столовое белье тонкого дамаска из тех запасов, что некогда сделала для своих балов, а именно: три скатерти и три дюжины салфеток; в другой раз я подарила ей небольшое ожерелье из золотых бусинок и что-то еще

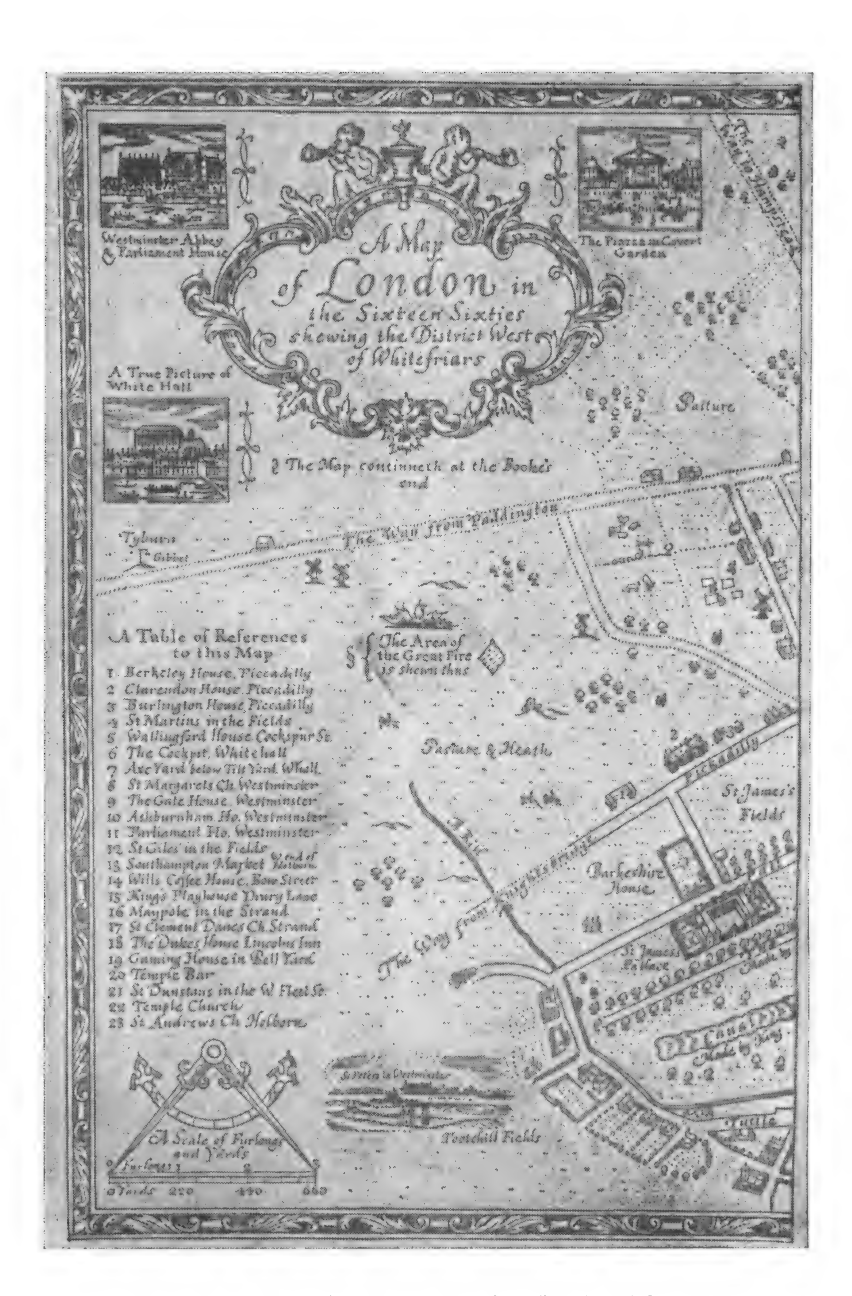
в таком роде, ну, да это в сторону. Но она сама перечислила все эти подарки, а также другие милости, какие я ей в свое время оказала; она не в состоянии отдарить нас иначе как своим вниманием и уходом, сказала она, и поэтому наша щедрость лишает ее возможности вознаградить нас за дружбу к ней, так что теперь она считает себя в еще большем долгу перед нами, чем прежде.

Все это она высказала со всей учтивостью и, несмотря на квакерскую сдержанность, очень мило, причем тон ее не оставлял сомнения в ее искренности; однако я прекратила ее излияния, попросив ее не говорить более ничего об этом предмете и принять подарок моего супруга, который был, как он сам ей сказал, лишь частью того, что мы намерены для нее сделать.

— А теперь спрячьте ваш кошелек, — сказала я, — сядьте рядом со мной и позвольте мне рассказать вам кое-что о том, что мы с мужем намерены для вас сделать.

— Что это значит? — спросила она удивленно. Кровь прилила к ее щекам и она не двигалась с места. Она было заговорила снова, но я ее перебила, сказав, чтобы она прекратила какие бы то ни было извинения, ибо то, что я хочу ей сейчас сказать, важнее всяких любезностей. Она была так дружелюбна и добра к нам все время, начала я, к тому же дом ее оказался местом нашей с ним счастливой встречи; меж тем я из ее собственных уст слышала кое о каких обстоятельствах ее жизни; поэтому мы с мужем порешили облегчить ее существование так, чтобы до конца жизни ей ни в чем не пришлось бы нуждаться. Затем я рассказала ей, что́ именно решили мы предпринять и просила ее сообщить мне, каким образом распорядиться этими средствами так, чтобы они достались ей одной, чтобы муж не мог на них притязать; если он предоставляет ей довольно средств для безбедного житья, так что она не нуждается в куске хлеба и прочих вещах, сказала я, то ей лучше не тратить сумму, которую мы будем ей выплачивать, а откладывать ее ежегодно и присоединять к основному капиталу, с тем чтобы увеличивать свой годовой доход, который со временем и, быть может, прежде, чем ей придется к нему обратиться, удвоится; мы хотим, объяснила я, чтобы все, что она таким образом скопит, досталось ей самой, а в дальнейшем тем, кого ей угодно будет назвать своими наследниками; что же касается капитала, с которого мы беремся обеспечить ей 40 фунтов ежегодного дохода, то после окончания ее жизни, которая, как мы надеемся, будет долгой и счастливой, он вернется в нашу семью.

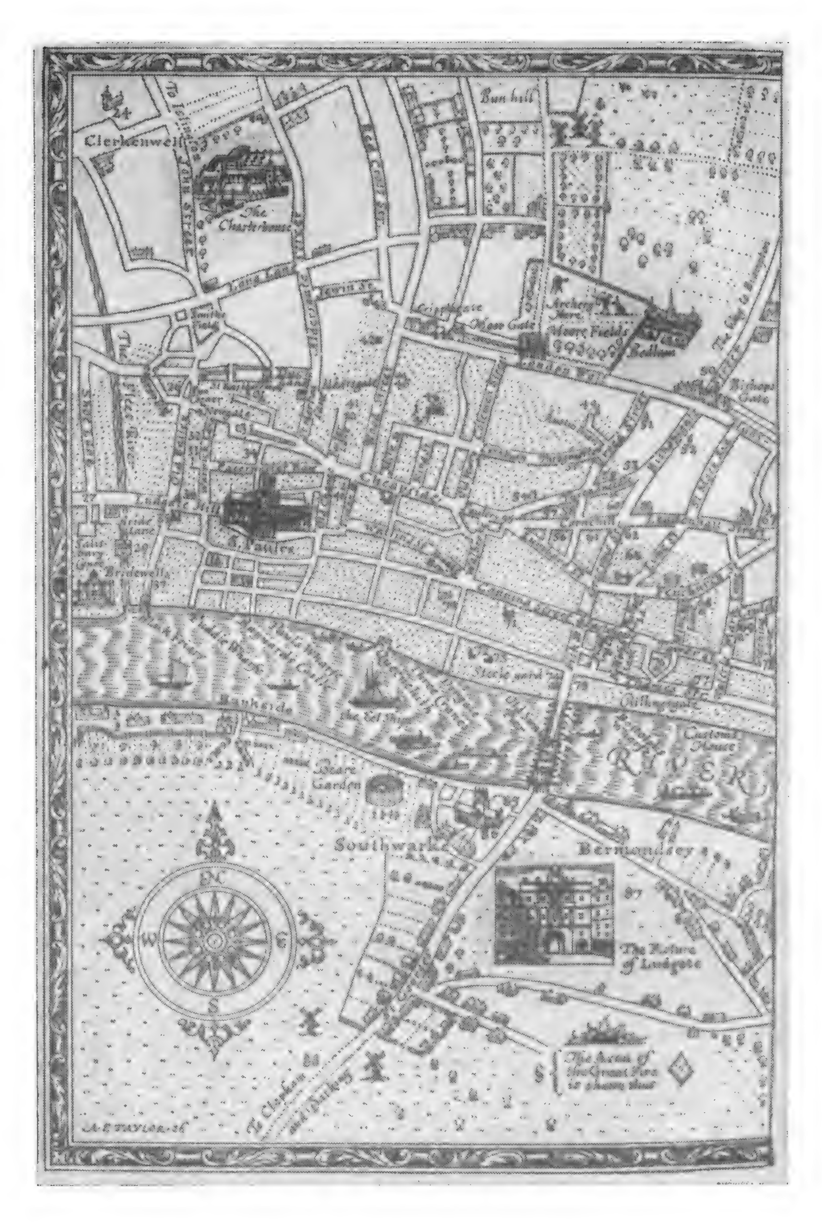
Пусть читатель не удивляется ни тому, что я с такой исключительной заботой отнеслась к бедной женщине, ни тому, что посвящаю этому столько места в моем рассказе. Уверяю вас, делаю я это вовсе не с целью выставить напоказ мою благотворительность или похвастать своим великодушием, заставившим меня столь щедро отблагодарить мою подругу, — а милости, какими я ее осыпала, и в самом деле были столь обильны, что, будь я и вдвое богаче, они могли бы показаться чрезмерными, — нет, в своей щедрости я руководствовалась другим чувством и только поэтому



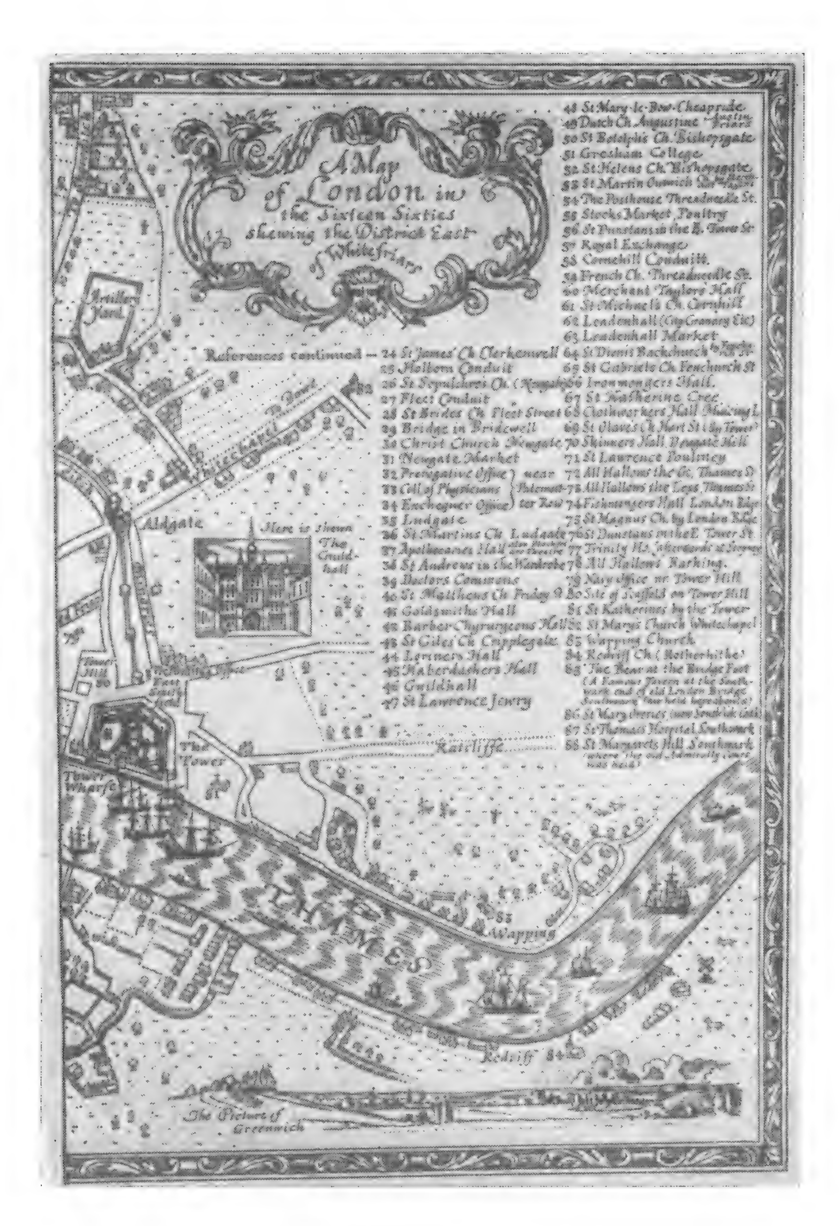
КАРТА ЛОНДОНА 60-х ГОДОВ XVII В. — ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ.



КАРТА ЛОНДОНА 60-х ГОДОВ XVII В. — ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ.



КАРТА ЛОНДОНА 60-х ГОДОВ XVII В. — ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ.



КАРТА ЛОНДОНА 60-х ГОДОВ XVII В. — ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ.

я об ней и рассказываю. Могла ли я думать о бедной брошенной женщине, матери четырех детей, покинутой мужем, от которого, по правде, толку скорее всего было бы не больше, если бы он оставался с ней, — могла ли я, спрашиваю, я, которая испила всю горечь подобного *вдовства*, видеть ее и, зная ее обстоятельства, оставаться безучастной? Нет, нет, ни минуты не могла я взирать на квакершу и на ее семейство (пусть она и не была так беспомощна и одинока, как я), не вспоминая собственного моего состояния, когда я отправляла Эми в ломбард заложить мой корсет, чтобы купить кусок баранины и пучок репы! Не могла я также без слез взирать на бедных ее детей, — хоть и не голодающих и не таких несчастных, как мои, без того, чтобы не вспомнить то отчаянное время, когда бедная Эми, подбросив моих птенцов к тетке в Спитлфилдс, убежала от них со всех ног! Вот что было источником, или ключом, из которого проистекали нежные мои чувства, заставившие меня помочь этой бедной женщине.

Когда несчастный должник, проведший долгое время в Комптере, или в Лэдгейте, или в Кингсбенче [115] за долги, наконец оттуда выбирается, вновь возрождается к жизни и богатеет, такой человек непременно до конца своих дней будет стремиться облегчить участь обитателей этих тюрем, а, быть может, и всех тюрем, какие попадаются на его пути; ибо он помнит мрачные дни своих бедствий; да и те, кто не испытал бедствий, память о которых побуждает человека к сочувствию и благотворительности, были бы, верно, столь же милосердны, если бы вспоминали почаще, что лишь благодаря снисходительности провидения их собственная судьба сложилась не так, как у тех несчастных.

Это и явилось, говорю, источником моей заботы о нашей честной, доброй и благодарной квакерше, и поскольку мне выпал столь счастливый удел, я твердо решила, что она будет вознаграждена за свою доброту ко мне сверх всяких чаяний.

Я заметила, что она слушает меня в чрезвычайном смятении чувств; внезапная радость ее ошеломила, она сперва покраснела, затем, задрожав всем телом, переменилась в лице и побледнела и была близка к обмороку, однако поспешно позвонила в колокольчик, на который не замедлила явиться горничная; квакерша сделала знак рукой (язык ей не повиновался), чтобы та налила ей вина, однако она так задыхалась, что чуть не захлебнулась. Я видела, что она совсем больна, и принялась приводить ее в чувство, как могла; с помощью вина и нюхательной соли мне удалось предотвратить обморок; чуть придя в себя, квакерша сделала знак горничной удалиться, и как только дверь за той закрылась, разразилась слезами, что в большой мере облегчило ей душу. Затем, несколько оправившись, она бросилась ко мне и обвила мою шею руками. «Ах, — воскликнула она, — ты чуть было меня не убила!» Так стояла она, прижавшись ко мне, спрятав свою голову у меня на груди, не умея и слова выговорить, но плача, как дитя, которое только что выпороли.

Я пожалела, что не заставила ее выпить стакан вина раньше, посреди моей речи, которая оказала на нее столь сильное действие; но об этом

уже поздно было жалеть; нечаянная радость чуть было ее не убила, казалось, один шанс из десяти, что она оправится.

В конце концов она, все же, пришла в себя и в выражениях самых трогательных принялась меня благодарить. Я, однако, прервала ее излияния, сказав, что я не все еще ей открыла, но что отложу этот разговор до следующего раза. Я имела в виду мой сундук с серебряной утварью, добрую половину которой я уже ей отдала (часть же я подарила Эми, ибо у меня было так много серебряных блюд и таких больших, что я боялась, как бы муж мой, увидя их, не задумался, зачем мне могло понадобиться такое количество посуды и к тому же столь ценной; особенно смущал меня большой серебряный сундук для бутылок с вином, который стоил сто двадцать фунтов, а также огромные подсвечники, слишком большие для обычного пользования. Их я приказала Эми продать; словом, Эми выручила за всю эту посуду больше трехсот фунтов). Квакерше я подарила серебряной утвари больше, чем на шестьдесят фунтов, Эми — на тридцать с чем-то, но все равно посуды у меня оставалось еще довольно для приданого.

Благодеяния, которые мы оказали квакерше, не ограничились сорока фунтами в год, ибо мы при всяком случае за те десять с небольшим месяцев, что прожили еще в ее доме, делали ей какие-нибудь подарки; словом, получилось, что не мы ее жильцы, а она — наша гостья, ибо хозяйство вела я, а она со своим семейством ела и пила с нами, хоть мы и платили ей за комнаты; короче говоря, я не забывала о времени своего вдовства и поэтому несколько раз на дню старалась влить радость в душу этой вдовицы.

Наконец мы с супругом начали подумывать о переезде в Голландию, где я и убеждала его осесть. Готовясь к будущему нашему образу жизни, я начала собирать мою наличность, дабы иметь ее в нашем распоряжении, как только понадобится. После этого, однажды утром я призвала к себе моего супруга.

— Вот что, милостивый государь, — сказала я ему. — У меня к вам два весьма важных вопроса; не знаю, что вы ответите мне на первый, зато на второй вы вряд ли можете мне ответить сколько-нибудь удовлетворительным образом; между тем, уверяю вас, вопрос этот весьма существенен как для вас самих, так и для дальнейшей нашей жизни, где бы она ни протекала.

Слова мои не слишком его смутили, ибо произнесены они были в игривом тоне.

— Ну что ж, душа моя, — сказал он, — задавайте ваши вопросы. Я же постараюсь ответить вам со всей откровенностью.

— Итак, — сказала я, — *вопрос первый:*

Вы изволили взять себе в жены некую особу, даровать ей дворянский титул, посулив ей титул еще более высокий в другой стране; задумывались ли вы, милостивый государь, над тем, в состоянии ли вы удовлетворить все ее притязания на пышность, когда она окажется на чужой земле, и содержать англичанку, отличающуюся гордостью и тщеславием, а, сле-

довательно, и расточительностью? Короче говоря, спрашивали ли вы себя о том, в состоянии ли вы ее содержать?

Второй: Вы изволили взять себе в жены некую особу, засыпаете ее дорогими подарками, содержите ее, как принцессу, и даже подчас именуете ее этим титулом; каково же, извольте отвечать, приданое, которое вы за нею взяли? Какую прибыль принесла она вам? Каково ее имущество, что вы окружаете ее такой пышностью? Боюсь, что вы поднимаете ее выше, нежели то позволяет ее состояние, и уж, наверное, полагаете ее состояние большим, нежели оно есть на самом деле; убеждены ли вы в том, что не попались на удочку и не наградили высоким титулом нищенку?

— Хорошо, — сказал он, — еще какие у вас ко мне вопросы? Лучше собрать их все воедино, и я, быть может, на все их отвечу в нескольких словах, так же, как и на эти два вопроса.

— Нет, это все — во всяком случае, на сегодня, — сказала я. — Это и есть два моих важных вопроса.

— Хорошо же, — говорит он. — Отвечу вам в двух словах, что я отнюдь не раб своих обстоятельств, а полновластный хозяин их, и могу, не наводя дальнейших справок, сообщить моей жене, что полностью в состоянии содержать ее соответственно ее титулу, куда бы она со мной ни поехала, и это — независимо от того, возьму ли я хоть один пистоль из ее приданого и имеется ли у нее таковое вообще или нет. И поскольку я никогда ее не спрашивал, есть ли оно у нее, да будет ей известно, что мое уважение к ней не зависит от этого обстоятельства и что ей не придется сократить свои расходы, даже если она не принесла мне никакого приданого; более того, если она соблаговолит поселиться со мною в моем отечестве, у нее будет титул благороднее теперешнего, и все связанные с этим расходы я беру на себя и даже не прикоснусь к ее имуществу; я полагаю, — заключил он, — что сказанное является ответом на оба ваши вопроса.

Он проговорил это тоном гораздо более важным, нежели я, когда задавала ему свои вопросы, и облек свою речь в самые учтивые выражения, так что и я была вынуждена, отбросив шутки, отвечать ему серьезно.

— Душа моя, — сказала я, — задавая свои вопросы, я лишь шутила, однако с помощью их я хотела завести серьезный разговор, а именно, поскольку мы собрались переезжать, поведать тебе то, что тебе следует знать о настоящем положении наших дел и о том, какое приданое я принесла тебе как жена, как им распорядиться, и тому подобное. Поэтому, — сказала я, — прошу тебя сесть и ознакомиться с тем, что тебе выпало в этой сделке; надеюсь, ты убедишься, что жена твоя не бесприданница.

На это он сказал, что, поскольку я желаю говорить всерьез, он просил бы меня отложить разговор до следующего дня, и тогда на утро после свадьбы, мы, по примеру бедняков, начнем шарить у себя по карманам и посмотрим, на что мы можем рассчитывать.

— Отлично, — сказала я, — с превеликим моим удовольствием. На этом наш разговор тогда и окончился.

После обеда супруг мой, объявив, что ему нужно наведаться к ювелиру, через три часа возвращается с носильщиком, навьюченным двумя большими сундуками; за ними идет слуга и несет еще один сундук, насколько я могла приметить, столь же тяжелый, что и те, какие были у носильщика, ибо бедняга весь обливался потом. Муж отпустил носильщика и вновь отправился куда-то со своим слугою; возвратившись поздно ввечеру, он привел еще одного носильщика с узлами и ящиками и приказал все это поднять в комнатку, соседнюю с нашей спальней. Утром же он велел внести туда большой круглый стол и начал вынимать содержимое сундуков.

Все они оказались набитыми конторскими книгами, деловыми бумагами и пергаментными листами, иначе говоря, документами и расчетами, а все это для меня ничего не значило, поскольку я в них не разбиралась. Он между тем разложил все эти бумаги по столу и стульям и занялся ими. Я удалилась, а он так был поглощен своими бумагами, что долгое время даже не замечал моего отсутствия. Но когда он покончил с бумагами и перешел к маленькой шкатулке, которую принес вместе с тяжелыми сундуками, он вновь меня призвал.

— Ну, вот, — сказал он, назвав меня *своей графинюшкой*, — теперь я готов ответить на ваш первый вопрос; соблаговолите присесть, пока я открою этот вот ларец. Сейчас мы с вами рассмотрим, как обстоят наши дела.

Итак, мы открыли ларец. В нем оказалось то, чего я никак не ожидала, ибо полагала, что имущество его скорее уменьшилось, нежели прибавилось; но он показал множество векселей на золотых дел мастеров, а также акции Английской Ост-Индской Компании в общей сложности на 16 000 стерлингов; затем он вручил мне девять векселей на Лионский банк во Франции и два — на Парижскую Биржу, составляющие вместе 5 800 крон per annum *, или, как здесь говорят, годовой ренты; и, наконец, чек на 30 000 риксдалеров [116], хранившихся в Амстердамском банке, не считая различных драгоценных камней и золотых украшений фунтов на 1 500 или 1 600, среди которых было прекрасное перламутровое ожерелье достоинством около 200 фунтов; последнее он извлек из ларца и собственноручно надел мне на шею, говоря, что это не должно приниматься в расчет.

Я была столь же обрадована, как и удивлена, и с неизъяснимым восторгом приняла известие о том, что он так богат. «Теперь я вижу, — сказала я, — что вы и в самом деле в состоянии сделать меня графиней и поставить дом соответственно этому высокому титулу». Короче, он был несказуемо богат, ибо сверх всего показал мне — для того он и углубился утром в свои бумаги, — какие деловые триумфы ему удалось одержать за морем; так, у него имелись восьмая доля в торговом судне Ост-Индской Компании, которое сейчас находилось в плавании, текущий счет у испанского негоцианта в Кадисе, около 3 000 фунтов ссуды под залог несколь-

* В год (*лат.*).

ких кораблей, плывущих в Индию, и большой груз товаров, который он поручил португальскому купцу сбыть в Лиссабоне[117]; таким образом, у него было расписано в бумагах еще 12 000 фунтов, так что вместе все это составляло около 27 000 фунтов стерлингов, иначе говоря, 1 320 фунтов годового дохода.

Я остолбенела, узнав о таком богатстве. И было с чего! Долгое время я не могла и слова вымолвить, он же все еще был занят своими бумагами. Через некоторое время, когда я уже готовилась высказать свое удивление, он остановил меня словами: «Погоди, душа моя, — сказал он, — это еще не все». Затем извлек какие-то пергаментные свитки со старыми печатями, в которых я ровно ничего не понимала, и объяснил, что это право на возвращение ему отцовского имения, а также закладная на 14 000 риксдалеров, по которой ему предстояло взыскать с прежнего владельца, что вместе составляло еще 3 000 фунтов.

— Изо всего этого, однако, я должен выплатить кое-какие долги, — сказал он, — и притом довольно изрядные.

Во-первых, объяснил он мне, у него было запутанное дело с теми самыми 8 000 пистолями, из-за которых у него шла тяжба в Париже, решившаяся не в его пользу, — это-то и был тот самый урон, о котором он мне сказывал, вынудивший его с досады оставить Париж; затем было еще несколько долгов, составлявшие в сумме около 5 300 фунтов стерлингов; однако, за вычетом всего, у него оставалось 17 000 фунтов чистого капитала наличными и годовая рента в 1 320 фунтов.

Наконец, наступила моя очередь заговорить.

— Что же, — сказала я, — весьма прискорбно, конечно, что столь состоятельный джентльмен вынужден приехать в Англию и жениться на бедной; однако пусть никто не попрекнет меня тем, что я утаила то немногое, что имею, и не вложила в общую кассу.

С этими словами я начала извлекать свои бумаги.

Первым делом я показала закладную, которую приобрел для меня честный сэр Роберт; она давала мне 14 000 основного капитала и годовую ренту в 700 фунтов.

Затем я вручила ему еще одну закладную на землю, раздобытую для меня все тем же верным другом, которая успела вздорожать втрое и теперь составляла 12 000 фунтов.

В-третьих, я выложила перед ним пачку ценных бумаг различного происхождения — тут были и ренты на поместья и небольшие закладные, которые можно было по тем временам приобрести, в общей сложности составляющие 10 800 фунтов основного капитала и дававшие мне шестьсот тридцать шесть фунтов в год; так что я из году в год со всего вместе взятого получала две тысячи пятьдесят шесть фунтов наличными.

Показав ему все эти бумаги, я сложила их на столе и с легкой усмешкой просила его взять их в руки, дабы ответить на второй мой вопрос, а именно: что же он берет за женой?

Он просмотрел мои бумаги и затем отдал их мне обратно.

— Я к ним не прикоснусь, — сказал он. — Ни к одной из них, покуда они не будут вручены доверенным лицам для вашего собственного пользования и полного ими управления.

Не могу передать, что со мной все это время делалось; несмотря на то, что все происходящее было весьма приятно, я тем не менее трепетала всем телом пуще, я думаю, самого Валтасара, увидевшего роковую надпись на стене[118], ибо не менее его имела к тому основания. «Несчастная, — говорила я себе, — неужели ты допустишь, чтобы неправедными путями пришедшее к тебе богатство — награда за блуд, распутство и прелюбодейство, плод гнусной и многогрешной жизни — смешалось с имуществом, честно доставшимся этому добродетельному человеку, неужели допустишь, чтобы твои деньги, подобно моли и гусенице, превратили все его достояние в труху, и навлечешь гнев небесный на его неповинную голову? Неужто я дозволю, чтобы мое злодейство разрушило все его благополучие? Неужто соглашусь быть тем огнем, что растопит воск его добродетели и испепелит все дела его? Боже упаси! Нет, я употреблю все силы, дабы помешать смешению наших имуществ!»

Это и является истинной причиной, почему я так подробно останавливаюсь на описании своего изрядного имущества и на том, как моими настояниями его капитал — плод многолетних счастливых стараний, — который был, по крайней мере, равен моему, а то и превосходил его, так и сохранился отдельно от моего.

Я уже рассказала, как он возвратил мне в руки все мои бумаги.

— Ну, что же, — сказала я. — Раз вы настаиваете на раздельном имуществе, так тому и быть, но только лишь при одном условии.

— Каково же ваше условие? — спросил он.

— Сейчас объясню, — говорю я. — Ведь вы возвращаете мне мои сбережения затем лишь, чтобы, в случае, если я вас переживу, они послужили к моему обеспечению, не так ли?

— Да пожалуй, что так, — отвечал он.

— С другой стороны, — продолжала я, — годовой доход жены, насколько я понимаю, причитается получать мужу, ибо на него и живут оба супруга. Поэтому, — продолжала я, — вот 2 000 фунтов в год, которых, как я полагаю, нам будет более чем довольно, и я желаю, чтобы из него ничего не откладывалось на будущее; доходы же с вашего капитала, как проценты с 17 000 фунтов, так и годовой доход в 1 320 фунтов, пусть не расходуются, а лежат для дальнейших накоплений. Таким образом, говорю, прибавляя каждый год проценты к основному капиталу, вы будете богатеть так же, как если бы вы пустили часть его в оборот, а на другую содержали семью.

Мысль моя пришлась ему по душе, и он сказал, что будет по-моему; таким образом я хоть в малой степени успокоилась, что не подвергну моего мужа справедливому гневу всевышнего за то, что мое неправедное богатство смешалось с его состоянием, добытом честными попечениями. Все это было вызвано мыслями о небесном возмездии, которые нет-нет да тревожили меня; не могла же я не знать, что рано или поздно за мою

столь безобразно прожитую жизнь оно меня настигнет и размечет все мое добро!

И пусть никто не заключит из удивительных успехов, которые выпали на мою долю во всех моих неправедных делах, и из необычайного богатства, какого мне удалось благодаря им достигнуть, чтобы я была счастлива и спокойна. О, нет, невидимый червь точил мне душу; тайный яд крылся в самой глубине даже в то время, когда радости наши достигали высшей точки, и особенно теперь, когда все трудности были позади и я должна была почитаться счастливейшей женщиной на земле; все это время, говорю я, ум мой пребывал в постоянной тревоге, которая давала о себе знать страшными душевными потрясениями и при каждом случайном повороте судьбы заставляла ожидать чего-либо поистине ужасного.

Словом, ни одна гроза не обходилась без того, чтобы я не ожидала, что молния поразит меня прямо в сердце и жар ее растопит саблю (то есть мою душу) в ножнах моей плоти; всякий раз, как бушевала буря, я ожидала, что стены нашего дома обрушатся и погребут меня под собою; и так было со всем.

Впрочем, мне, возможно, представится случай вернуться к этому в дальнейшем. Между тем мы, наконец, разрешили все наши финансовые дела. У нас было четыре тысячи фунтов на ежегодные расходы, помимо ювелирных изделий и серебряной посуды, представлявших огромную ценность; и еще я утаила около восьми тысяч фунтов наличными затем, чтобы помочь моим двум дочерям, о которых мне предстоит еще многое рассказать.

Итак, уладив дела вышеописанным образом и заполучив себе такого мужа, о каком можно только мечтать, я вновь покинула Англию. Мало того, что я остепенилась вследствие счастливого брака и блистательного положения, мало того, говорю, что я совершенно отошла от прежней своей веселой, разгульной жизни, я теперь оглядывалась на нее с ужасом и отвращением, которое является непременным спутником, а, вернее, предшественником, истинного раскаяния.

Я дивилась подчас своему нынешнему благополучию, и душа моя должна бы, казалось, приходить в умиление при мысли о том, что мне удалось вырваться из объятий преисподней и избегнуть гибели, что подстерегает тех, кто вел жизнь, подобную моей, и рано или поздно почти всегда их настигает; однако так высоко дух мой воспарить еще не мог. Раскаяние, что происходит от сознания бесконечной благодати небесного промысла, меня еще не коснулось; правда, я каялась в своих грехах, но покаяние мое скорее вызывалось страхом возмездия, нежели благодарностью за то, что всевышний пощадил меня и что челн мой после бури благополучно прибило к берегу.

Однажды утром, вскоре по прибытии нашем в Гаагу (где мы на некоторое время остановились), супруг мой поздравил меня с получением титула графини; как он и рассчитывал, графское достоинство было неотъемлемо от поместья, которое должно было к нему перейти. Правда,

юридически он им еще не обладал, но это было вопросом времени; между тем, поскольку братья графа все именуются графами, меня величали графиней примерно за три года до того, как этот титул сделался моим по праву.

Я была приятно удивлена тем, что это произошло так скоро, но как я ни настаивала, чтобы деньги, которых это стоило, супруг мой взял из моего капитала, он только смеялся в ответ.

Итак, я достигла вершины благополучия и славы, меня величали графиней де ***, ибо я неожиданно получила то, к чему тайно стремилась и что, по правде говоря, являлось главной причиной, побудившей меня избрать Голландию нашим местожительством. У меня был полный дом прислуги, я жила в пышности, ранее мне незнакомой, через каждые два слова я слышала: «ваша честь», а на карете моей красовалась корона; между тем, я почти ничего не знала о своей новой родословной.

Первым делом муж мой объявил о нашей супружеской связи, якобы начавшейся за одиннадцать лет до нашего нынешнего приезда в Голландию, дабы сын, которого мы покуда оставили в Англии, был признан законным. Добившись этого, он выписал мальчика сюда и определил его воспитываться вместе с прочими его детьми.

Он дал знать в Нимвеген (где его дети — два сына и дочь — воспитывались у родственников), что он вернулся из Англии и прибыл с женой в Гаагу, где намерен провести некоторое время и куда просил приехать своих двух сыновей, что и было исполнено; я встретила их со всей нежностью новоявленной матушки, каковою якобы являлась еще тогда, когда им было всего по два-три года.

Делать вид, что мы давно уже состоим в браке, было не так трудно в стране, где примерно в указанное время, а именно одиннадцать с половиною лет назад, мы появлялись вместе, и где нас никто с тех пор до нашего возвращения не встречал; к тому же наш друг, купец из Роттердама, а также люди, жившие в доме, где и началась наша близость (к счастью, все они оказались живы), подтвердили, что видели нас вместе. Для вящей убедительности, мы вновь наведались в Роттердам, поселились в нашем прежнем доме, где принимали нашего друга; в свою очередь, мы и сами часто к нему наведывались, встречая с его стороны неизменное радушие и гостеприимство.

Такие поступки моего мужа и ловкость, с какой он все это устроил, свидетельствовали об удивительно честном и любовном его отношении к нашему мальчику, ибо все эти хлопоты были затеяны ради него.

Я называю его отцовскую любовь честной затем, что он руководствовался чувством чести и справедливости, столь заботясь о том, чтобы печать отверженности не легла на ни в чем неповинного ребенка. Подобно тому, как это чувство справедливости побуждало его с такой горячностью взывая к моим материнским чувствам, склонять меня на брак с ним, когда дитя еще было во чреве моем, дабы грех его родителей не пал на его голову, подобно этому и сейчас, хоть я верю, что он искренне и сильно меня любил, все же главной причиной, я думаю, побудившей

его отправиться в Англию, чтобы меня найти и на мне жениться, было желание спасти *невинного агнца*, как он изъяснялся, *от бесславия, которое паче смерти*.

Повторяю, я вполне заслуживаю справедливого укора, ибо меня судьба моего сына, хоть я и выносила его в своей утробе и родила его, заботила гораздо меньше, и у меня никогда не было к нему той сердечной привязанности, какую питал к нему его отец. Что было причиной моей холодности, я не могу объяснить себе самой, и в годы моего веселого житья в Лондоне я его вообще забросила, лишь время от времени подсылая к нему Эми, дабы она на него взглянула и внесла очередную плату за его воспитание. Что до меня, то первые четыре года его жизни я и видела-то его едва четыре раза, и часто, грешным делом, мечтала, чтобы он тихо покинул сей мир; между тем к сыну, которого я родила от ювелира, я отнеслась совершенно иначе и с гораздо большей заботливостью, ибо, хоть я и не допустила, чтобы он знал, что я его мать, я его хорошо обеспечила, дала ему отличное образование и пристроила к честному и преуспевающему купцу, с которым он отправился в Индию; после же того, как он там прожил некоторое время и завел самостоятельное дело, я ему посылала несколько раз деньги, в общей сложности 2 000 фунтов, с помощью которых он завел торговлю и разбогател; так что можно было надеяться, что со временем он вернется с сорока или пятьюдесятью тысячами фунтов в кармане, как то бывает с людьми, даже не получившими столь сильной поддержки в начале своего поприща.

Кроме того, я послала ему невесту, красивую молодую девушку из хорошей семьи, чрезвычайно добродушное и милое создание; но моему привереде она не пришлась по нраву, и он имел дерзость просить меня, то есть лицо, которому я поручила вести с ним переписку, прислать ему другую, обещая выдать ту, что я прислала, за своего приятеля, которому она понравилась больше, чем ему; но я была так раздосадована, что не послала ему больше никого и даже раздумала переслать ему товаров еще на 1 000 фунтов, хоть у меня все было уже заготовлено для него. По здравом размышлении, однако, он передумал и сделал предложение девушке, которую я послала, но та, оскорбленная его первым отказом, не соглашалась за него выйти, и я поручила ему сказать, что полностью беру ее сторону в этом. Впрочем, после двух лет ухаживаний с его стороны и уговоров со стороны их общих знакомых, она в конце концов с ним повенчалась, и была ему доброй женой, как я и предполагала с самого начала; однако товаров на 1 000 фунтов я так ему и не послала за строптивость, так что он потерял эту сумму, а между тем женился на моей избраннице.

С новым моим супругом мы жили спокойной, размеренной жизнью и, словом, могли почитаться счастливыми вполне. Но если на нынешнее свое состояние я взирала с чувством глубокого удовлетворения — да иначе и быть не могло — то в той же мере я при всяком случае с омерзением и глубокой печалью оглядывалась на прежнее; теперь-то и только теперь сии размышления начали подтачивать мое благополучие и отравлять все мои радости. Рана, которую размышления эти причинили моему сердцу

прежде, теперь, можно сказать, сделалась сквозной; эти мысли разъедали все, что было приятного в моей жизни; сладость ее обращалась в горечь, к каждой моей улыбке примешивался тяжкий вздох.

Ни благоденствие, которое дарует богатство, ни капитал в сто тысяч фунтов (ибо вместе у нас было никак не меньше), ни почести и звания, ни многочисленные слуги и пышные экипажи — словом, ничто из того, что мы полагаем счастьем, меня не радовало; вернее, не в состоянии было меня отвлечь от мрака и грусти, охвативших мою душу; все чаще и чаще впадала я в глубокую задумчивость; мною овладела меланхолия, я лишилась аппетита и сна, а когда мне и случалось заснуть, в сновидениях мне являлись самые ужасные образы, какие только можно представить: черти и чудовища, падения в бездну с высокой скалы и все в таком роде; так что по утрам, вместо того, чтобы встать освеженной отдыхом, я была одержима страхами и ужасами воображения, и чувствовала себя разбитой, хотела спать, и, не в силах отделаться от химер, наводнявших мой ум, не могла говорить ни с членами своей семьи, ни с кем-либо еще.

Мой муж, нежнейшей души человек, и особенно чуткий до всего, что касалось меня, был чрезвычайно озабочен моим состоянием и делал все, что было в его силах, чтобы меня утешить и возродить к жизни; он старался вывести меня из этого состояния доводами разума, прибегал к различного рода развлечениям, но от всего этого было мало толку, а, вернее сказать, никакого.

Единственным облегчением для меня было время от времени (когда мы с Эми оказывались наедине) открывать ей душу, и она стремилась изо всех сил меня утешить, что ей, впрочем, мало удавалось; ибо если тогда, в бурю, Эми каялась больше моего, то теперь она стала вновь тем, чем была до этой бури, — веселой, бесшабашной проказницей, и лета ее нимало не остепенили, а ей к этому времени тоже перевалило за сорок.

Вернусь, однако, к своему рассказу. У меня не только не было утешителя, но и советчика; мне не раз приходило в голову, что я должна радоваться тому, что не принадлежу к католической вере; хорошенькую историю пришлось бы мне выложить своему исповеднику! Да и как сурова была бы епитимья, какую он должен был бы на меня наложить, если бы честно исполнял заповеди своей веры!

Вместе с тем, поскольку у меня не было возможности исповедаться, то я также была лишена и отпущения грехов, благодаря которому всякий злодей уходит утешенным от своего сурового наставника; мои грехи тяжелым камнем лежали у меня на сердце, и я блуждала в потемках, не зная, что делать. В таком-то состоянии я прозябала и чахла в течение двух лет, и если бы не вмешательство всеблагого провидения, они оказались бы последними годами моей жизни. Но об этом дальше.

Теперь мне нужно вернуться к другим событиям, чтобы покончить со всем, что касалось моего пребывания в Англии, или, во всяком случае, той части его, какую я намерена описать.

Я уже упоминала о том, что я сделала для моих двух сыновей, — для того, который был в Мессине, и того, что жил в Индии. Но я не касалась

истории двух моих дочерей. Опасность быть узнанной одной из них была так велика, что я не решалась с ней встречаться; что до другой, я не могла признать ее дочерью и явиться ей, так как тогда она узнала бы, что я не желаю показаться ее сестре, и стала бы тому удивляться. Так что я порешила не видеть ни той, ни другой, переложив заботы о них на Эми, но после того, как та вывела их обеих из простолюдинок, давши им хорошее, пусть и запоздалое, воспитание, она чуть не погубила все дело, а заодно и нас с ней, открывшись нечаянно одной из них — той самой, что служила некогда у меня судомойкой; как я уже говорила, Эми пришлось ее от себя оттолкнуть из боязни разоблачения, которое в конце концов и воспоследовало. Я уже рассказывала, как Эми руководствовала ею через посредство третьего лица, и как моя дочь, достигнув положения благовоспитанной барышни, заявилась однажды к Эми в дом, в котором я жила; как-то раз, после того как Эми по своему обыкновению отправилась к тому честному человеку в Спитлфилдсе проведать брата этой девицы (то есть моего сына), там совершенно случайно оказались в то время обе мои дочери, и та, и другая; младшая сестра нечаянно обнаружила тайну, а именно, что это и есть та самая дама, что сделала для них столько добра.

Эми была весьма этим поражена; но, убедившись, что здесь ничем помочь уже нельзя, постаралась обратить все в шутку, так что после этого уже говорила с ними непринужденно, все еще полагая, что, коль скоро я оставалась в тени, никто из них так и не доберется до истины. Так что однажды она собрала их всех вместе, поведала им, как она выразилась, историю их матери, начав с несчастного похода с детьми к тетушке; она призналась им, что не является их матерью, но описала меня. Однако, когда она объявила, что она не является их матерью, одна из моих дочерей весьма тому удивилась, ибо вбила себе в голову, что Эми и есть их настоящая матушка, но только по каким-то особым причинам вынуждена это скрывать; и вот, когда Эми откровенно призналась, что она ей чужая, та стала плакать навзрыд, и Эми стоило немало труда ее успокоить. Это была та самая девушка, что служила у меня судомойкой в бытность мою на Пел-Мел. Эми привела ее в чувство и, когда та немного оправилась, спросила ее, что с ней? Бедняжка жалась к ней, целовала ее и, хоть это была здоровая девка лет девятнадцати или двадцати, пришла в такое волнение, что долгое время от нее нельзя было добиться и слова. Наконец, когда к ней возвратился дар речи, она вновь принялась за свое.

— Ах, не говорите, что вы мне не матушка! — причитала она. — Я знаю, что вы моя матушка. — И снова разрыдалась так, что, казалось, у нее вот-вот разорвется сердце. Эми не знала, что и делать; повторить, что она ей чужая, она не решалась, боясь снова вызвать новый припадок горя у девушки; обняв ее за плечи, она прошлась с ней по комнате.

— Но скажи, мое дитя, — спросила она, — зачем тебе непременно хочется, чтобы я была твоей матерью? Из-за милостей моих, что ли? Но если так, то успокойся, я буду заботиться о тебе по-прежнему, как если бы я и в самом деле была твоей родной матушкой.

— Ах, нет, — возразила девушка, — я все равно уверена, что вы и есть моя родная матушка. За что мне такое? Отчего вы не желаете признать меня своею дочерью и не дозволяете мне называть вас матушкой? Хоть я и бедна, — продолжала она, — но вы меня воспитали, как благородную, и я не принесу вам позора. К тому же, — прибавила она, — я умею хранить тайны, в особенности если они касаются моей собственной матушки.

Тут она вновь бросилась Эми на шею, и, еще раз назвав ее своей драгоценной, родной матушкой, принялась плакать навзрыд.

Последние слова девушки не на шутку встревожили Эми и, как она мне впоследствии сказала, напугали ее; она пришла от них в такое смущение, что не могла совладать со своими чувствами и даже скрыть свое смущение от девушки. Она так и оцепенела: девица же — она была приметлива! — тотчас воспользовалась ее замешательством.

— Драгоценная моя матушка, — сказала она, — ты не изволь беспокоиться; я все знаю; но не беспокойся, говорю тебе, я не скажу ни словечка моей сестре или братцу без твоего дозволения; только не отказывайся от меня теперь, когда я тебя обрела: не скрывайся от меня; мне этого более не вынести — я умру!

— Да что это с девкой? — вскричала Эми. — Рехнулась она, что ли? Послушай же меня, неужели, будь я твоей матушкой, я отказалась бы от тебя — разве ты не видишь сама, что я пекусь о тебе, как родная мать?

Но та заладила одно, как барабан.

— Да, да, да — бубнила она, — вы очень ко мне добры.

Одного этого было бы достаточно, прибавила она, чтобы всякий поверил, что Эми ее мать; у нее же, по ее словам, были *другие причины* полагать и быть уверенной в том, что Эми ее родная мать; и ах, как ей печально, что ей не позволяют родную ее матушку называть этим именем, ей, родному ее дитяти!

Разговор этот так расстроил Эми, что она не стала допрашивать девушку ни о чем, хоть не преминула бы это сделать, если бы сохранила присутствие духа; я хочу сказать, что ей следовало бы выведать, откуда у девушки такая уверенность; вместо того Эми тут же с нею рассталась и прибежала доложить обо всем мне.

Меня словно громом поразило, а дальше, как вы увидите, было еще хуже; но тогда, говорю, я была как громом поражена и в совершенном недоумении. «Здесь кроется что-то такое, — сказала я тут же Эми, — чего мы не знаем». Однако, вникнув во все, я обнаружила, что подозрения девицы ни на кого, кроме Эми, не падают; и я весьма обрадовалась, что ее притязания не распространяются на меня и что меня у нее и в мыслях не было. Но спокойствие мое оказалось недолговечным; ибо в следующий раз, когда Эми пошла ее проведать, та снова принялась за свое и осаждала Эми еще неистовее прежнего. Эми пыталась утихомирить ее всеми способами; она оскорблена, сказала Эми, тем, что та ей не верит, и если она не откажется от своих бредней, оставит ее на произвол судьбы, как прежде.

С бедняжкой от этих слов вновь сделался припадок; она плакала так, что, казалось, сердце оборвется в груди, и жалась к Эми, как дитя.

— Зачем же ты, — сказала Эми, — ну зачем ты тогда не образумишься? Я буду продолжать свои попечения о тебе и заботиться, как заботилась раньше и как намерена заботиться и впредь. Неужели ты думаешь, что если бы я была твоей матерью, я бы тебе не призналась? Что за бредни ты себе вбила в голову?

На это девушка сказала ей несколько слов (но и этих нескольких слов было довольно, чтобы напугать Эми до бесчувствия, да и меня тоже) о том, что она прекрасно знает, как обстоит дело.

— Я знаю, — сказала она, — что когда вы покинули *** (здесь она назвала предместье, в котором мы жили), я знаю, что, когда отец всех нас бросил, вы уехали во Францию; да, да, я знаю также и с кем вы уехали, — продолжала девица, — разве вы не вернулись в Англию с миледи Роксаной? Я все знаю; хоть я была тогда еще ребенком, но я обо всем этом слышала.

И она продолжала в этом же духе, чем совершенно вывела Эми из себя; Эми стала кричать на нее, как сумасшедшая, говоря, что больше никогда не подойдет к ней и за версту; чтобы та шла побираться, если ей угодно; а она, Эми, больше никакого дела с ней иметь не будет. Девица — а она была с норовом — сказала, что в этом для нее ничего нового не будет, что она может опять пойти в судомойки и что, поскольку ее родная мать (то есть Эми) отказывается от нее, она вольна делать, что ей вздумается; затем вновь ударилась в слезы и казалось, у ней вот-вот разорвется сердце.

Короче, девчонка напугала Эми до крайности, да и меня тоже; и хоть мы знали, что она пребывала в заблуждении во многом, все же иные обстоятельства ей были досконально известны. Я пришла в большое смятение; но что особенно встревожило Эми, это то, что девушка (то есть моя дочь) сообщила ей, что она (иначе говоря я, ее мать) уехала с ювелиром и к тому же во Францию (правда, она называла его не ювелиром, а домовладельцем); и что он, после того, как мать впала в нищету и Эми увезла всех ее детей, очень за ней ухаживал и впоследствии женился на ней (то есть, на мне).

Словом, сведения, какими располагала девица, были довольно смутные и однако в них заключалось немало правды, так что все наши прежние дела и мои шашни с ювелиром были не столь скрыты от взоров общества, как я полагала; по-видимому, какие-то слухи о них дошли до моей золовки, к которой Эми отвела детей, и та, должно быть, подняла вокруг них достаточно шума. Но проведала она о том, по счастью, слишком поздно, уже после того, как я съехала, а куда — никто не знал. иначе она не преминула бы отправить всех моих детей ко мне.

Все это нам, вернее, Эми, удалось постепенно выведать из разговоров с моей дочерью; впрочем, это были все больше отрывочные истории, слышанные девчонкой так давно, что она не в состоянии была восстановить всю картину в целости; она знала лишь понаслышке, что матушка ее

сделалась любовницей бывшего их домовладельца; что тот впоследствии на ней женился; что она уехала во Францию. Прослышав же в бытность свою в моем доме судомойкой, что миссис Эми и миледи Роксана были вместе во Франции, она сопоставила все это с милостями, какие Эми ей оказывала сейчас, и вбила себе в голову, что Эми и есть ее матушка; Эми долго пришлось с нею повозиться, чтобы заставить ее выкинуть из головы этот вздор.

Когда я вникла в существо дела, насколько позволяли добытые Эми сведения, меня встревожило больше всего то, что моя маленькая негодница уцепилась за имя Роксана и что она знала, кто такая миледи Роксана и тому подобное; но и здесь толку особенного не было, поскольку она так упорно держалась за то, что ее матерью являлась сама Эми. Однако в некотором времени, когда Эми почти удалось ее в этом разубедить и совершенно ее запутать, так что та уже ничего не понимала, своевольная девчонка впала в совершенное исступление и сказала Эми, что если та не является ее матерью, то значит ее матушка — леди Роксана, ибо одна из них — либо Эми, либо госпожа Роксана — должна быть ее матушкой, и что все, что Эми для нее сделала, выполнялось по приказанию леди Роксаны.

— И еще я знаю наверное, — сказала она, — что дама, которая приезжала в Спитлфилдс к моему дядюшке, была туда доставлена в карете леди Роксаны, мне так сказал ее кучер.

На это Эми по своему обыкновению громко расхохоталась; однако, как она мне рассказывала, смех получился довольно кислый, ибо слова девчонки повергли ее в немалое замешательство, и она была готова провалиться сквозь землю, а вместе с нею и я, когда Эми пересказала мне этот разговор.

Как бы то ни было, Эми дерзко стояла на своем.

— Ну, что ж, — сказала она, — раз ты полагаешь себя столь высокого происхождения, что уже миледи Роксану записала себе в родительницы, почему бы тебе не съездить к ней и не заявить о вашем родстве? Ты ведь знаешь, где она живет, не правда ли?

На это девица отвечала, что найти леди Роксану не составит труда, ибо ей известно, куда та переехала с тех пор, как решила вести уединенную жизнь.

— Впрочем, она, быть может, уже и сменила квартиру, — прибавила девчонка, улыбаясь, или, вернее даже, ухмыляясь. — Ибо я знаю, как это бывает, я прекрасно знаю, как это у них бывает.

Эми была вне себя от ярости и сказала мне, что не видит иного выхода, как убить девицу. Произнесенное ею слово исполнило меня ужасом, меня так и бросило в дрожь, и долгое время я не в силах была рта открыть.

— Что это, Эми? Или в тебя бес вселился? — воскликнула я наконец.

— Бес не бес, сударыня, — отвечала та, — только, коли ей в самом деле известна и сотая доля о вашем житье, то, будь она мне родной дочерью, я бы от нее отделалась, не задумываясь.

— А я, — воскликнула я в великом гневе, — как я тебя ни люблю, в этом случае первая накинула бы тебе петлю на шею и смотрела бы, как ты болтаешься на виселице, лишь бы не видеть тебя живой! Да что я говорю, — перебила я себя, — я не дала бы тебе дожить до виселицы, я бы перерезала тебе глотку сама, задушила бы собственными руками; да я и сейчас почти готова на это, — сказала я, — за одно то, что ты посмела выговорить это слово.

Я назвала ее дьяволом, нечистой силой и прогнала ее с глаз долой.

Я не упомню, чтобы мне когда-либо прежде довелось рассердиться на Эми. Но хоть негодяйка (уже одним тем, что допустила такую мысль) явила свою дьявольскую сущность, следует, однако, помнить, что — даже когда она мысль эту воплотила в действие — двигала ею одна лишь ее чрезмерная привязанность и верность ко мне.

Открытие это, впрочем, повергло меня в совершенный ужас; случилось оно вскоре после моего бракосочетания и заставило меня ускорить мой отъезд в Голландию; ибо я ни за что — пусть бы мне посулили за это десять тысяч фунтов — не согласилась бы, чтобы кто-нибудь меня видел и узнал во мне ту, что носила имя Роксаны; это погубило бы меня в глазах моего мужа, да и не только мужа; это все равно, как если бы я вдруг оказалась пресловутой *Германской княжной*[119]!

Словом, я поручила Эми все выведать, и — надо отдать ей справедливость — та рьяно принялась за дело; следовало узнать, где девица почерпнула свои сведения, а главное, каковы они, то-есть что ей известно, а что нет, ибо это меня занимало больше всего; мне представлялось загадочным ее утверждение, будто она знает, кто такая леди Роксана, и что ей было известно о тех делах, — не могла же она знать обо мне всей правды, иначе бы ей никогда не взбрело в голову, что Эми — ее мать!

Я разбранила Эми на все корки за то, что она показалась моей девице, вернее, что показалась ей в качестве благотворительницы; не знать друг друга в лицо они не могли, поскольку, как я уже о том рассказывала, в моем доме она в некотором роде была в услужении у Эми, вернее, под ее началом; впрочем, она (Эми) сперва вела с нею переговоры через третье лицо, и секрет этот раскрылся благодаря случайности, о которой я рассказала выше.

Эми не меньше моего была всем этим встревожена; однако тревога — тревогой, а упущенного не воротишь, и нам оставалось одно: как можно меньше поднимать шуму, чтобы дело не зашло еще дальше. Я велела Эми наказать девицу, что она и сделала, поссорившись с нею и сказав, что теперь та может убедиться, что миссис Эми никакая ей не мать, ибо она бросит ее на произвол судьбы; раз та не может довольствоваться ее дружеским расположением без того, чтобы называть ее своей матерью, она, Эми, впредь не будет ей ни матерью, ни другом, и пусть она себе поступает в судомойки и работает поденщицей, как прежде.

Бедняжка плакала самым жалостным образом и, однако, не сдавалась; но что больше всего поразило Эми, это то, что после безуспешных уговоров и брани со стороны Эми и угроз, как я уже рассказывала, ее вовсе

покинуть, девица продолжала стоять на своем, прибавив к тому еще новое, а именно, что она, Эми, в самом деле не является ее матерью; да, теперь она уверилась, сказала девица, что истинная ее матушка — сама миледи Роксана, которую она непременно разыщет; она знает, где справиться об имени ее (то есть моего) нового мужа.

Эми тотчас прибежала пересказать мне эти слова. Едва ее завидя, я поняла, что она не в себе и что ей нужно поделиться со мною незамедлительно; ибо, когда она ко мне вбежала, в комнате был и мой муж. Как только Эми пошла к себе переодеться, я под каким-то предлогом последовала за ней наверх.

— Что за дьявольщина, Эми, что случилось? — набросилась я на нее. — Я вижу, что ты пришла с дурными вестями.

— Да еще с какими! — ответила Эми. — В эту тварь и подлинно вселился дьявол. Она погубит всех нас, а заодно и себя; нет никаких средств ее утихомирить.

И Эми пересказала мне все, что от нее услыхала; но ничто не могло сравниться с моим изумлением, когда я узнала, что моей дочери известно о моем замужестве и что она надеется узнать имя моего мужа и меня разыскать. Я чуть не умерла на месте! Эми меж тем бегала по комнате, словно помешанная.

— Нет, я положу этому конец, вот увидите. Я больше не могу... Я должна ее убить, эту ...

И, назвав мою дочь бранным словом, Эми торжественно поклялась господом богом, что убьет ее и, повторив свою клятву по крайней мере три раза, вновь забегала из угла в угол.

— Я ее убью, или я не я! — кричала она.

— Эй, Эми, придержи свой язычок, — сказала я. — Ты просто-напросто взбесилась.

А она мне на это:

— И есть с чего, — говорит она, — ну да я ее придушу и тогда приду снова в разум.

— Ну, нет, — говорю я, — ты и волоса на ее голове не тронешь; да тебя следует повесить за одни слова твои, за мысли! Ты уже убийца, все равно как если бы исполнила задуманное.

— Знаю, знаю, — отвечала Эми, — ну, да хуже быть не может. Я положу конец вашим мукам, да и ее страданиям тоже. Она никогда не потревожит вас именем «матушка» на этом свете, а уж на том — будь, что будет!

— Ну, ну, успокойся же, — сказала я, — и перестань говорить такие слова, я не могу их слышать.

Со временем Эми немного утихомирилась.

Должна признаться, мысль, что меня вот-вот выведут на чистую воду, заключала так много для меня страшного и привела мой ум в такое смятение, что я и сама была немногим разумнее Эми. Так ужасен груз нечистой совести!

Однако, когда Эми вновь повторила свои гнусные слова о том, что убьет несчастную, и вновь при этом побожилась, я увидела, что она не шутит и еще больше перепугалась; это, впрочем, помогло мне прийти в чувство.

Мы принялись раскидывать мозгами, как бы выведать у девчонки, откуда у той все эти сведения и как она (моя дочь, то есть) узнала, что ее мать вышла замуж. Но все понапрасну. Девушка ни в чем не признавалась и, кроме отрывочных рассказов, от нее ничего добиться было нельзя, так как она была не на шутку обижена тем, что Эми так резко оборвала ее в прошлое посещение.

Тогда Эми отправилась в дом, где жил мой сын; но и там все одно; моя девица наболтала им что-то о какой-то миледи, сообщили они, имени которой они не знали и поэтому не придали значения ее болтовне. Эми рассказала им, как глупо та себя с нею ведет, как далеко она зашла в своих бреднях, несмотря на все их вразумления; Эми прибавила, что сердита на нее и больше не намерена с нею встречаться и пусть та поступает снова в судомойки, если угодно, но что она (Эми) с ней не желает иметь никаких дел, разве что та смирится и переменит свою песенку и притом поскорее.

Добрый старик, который был благодетелем всех моих детей, весьма этим огорчился, а добрая его супруга пришла в неописуемую печаль и принялась просить ее милость (то есть Эми) не обижаться на девушку; они пообещали, сверх того, переговорить с девушкой, а старушка при этом сказала с удивлением в голосе: «Неужто она такая дурочка, что не согласится придержать язык, после того, как вы сами ее заверили, что вы ей не матушка и она видит, что вашей чести неприятно ее упорство?» Так что Эми от них вернулась в надежде, что на этом, быть может, дело и остановится.

Тем не менее девица моя оказалась именно такой дурочкой, и, несмотря на все увещевания, продолжала стоять на своем; ее собственная сестра умоляла и просила ее бросить эти глупости, ибо она погубит заодно и ее, так что добрая леди (она имела в виду Эми) бросит их обеих.

Но она, как я сказала, продолжала упорствовать, и чем дальше, тем хуже; она уже более не называла Эми «ваша милость», утверждая, что ее матушкой является леди Роксана и что она наводила кое-какие справки и не сомневается вывести ее (то есть меня) на чистую воду.

Когда дело дошло до этого и мы поняли, что нам никак не сладить с девкой, что она во что бы то ни стало, вопреки собственной выгоде, решилась меня разыскать, — когда я увидела, говорю, что дело зашло так далеко, я серьезнее принялась за приготовления к заморскому путешествию, а главное, у меня были причины опасаться, что девица моя в самом деле набрела на мой след. Однако тут случилось происшествие, изменившее все мои планы и повергнувшее меня в такое смятение, какого я в жизни еще не испытывала.

Мы с супругом совсем было уже приготовились к отплытию. Я хотела

уехать как можно незаметнее, так, чтобы даже случайно не попасться на глаза моим прежним знакомцам. Своему супругу я сказала, что у меня не лежит сердце к пассажирским пакетботам, приведя в качестве доводов неблагоустройство этих судов и разношерстное общество, какое там обычно встречается. Он внял моему желанию, тотчас разыскал английское торговое судно, направлявшееся в Роттердам, познакомился с капитаном и нанял весь корабль (вернее, все помещение, отведенное для пассажиров, ибо я не имею в виду трюм), так что к нашим услугам были все удобства, какие только возможны на море. Уладив эти дела, он пригласил капитана к себе отобедать, дабы познакомить меня с ним заранее. После обеда мы разговорились о корабле и об удобствах во время плавания, на какие я могу рассчитывать, и капитан любезно предложил мне осмотреть корабль, уверяя, что мы будем желанными гостями. Во время нашей беседы я как бы между прочим выразила надежду, что на судне не будет других пассажиров, кроме нас. Нет, отвечал капитан, пассажиров он брать не намерен. Только вот жена его, прибавил он, давно уже просится, чтобы он взял ее с собой в Голландию; до сих пор он не отважился доверить морю все свои сокровища разом; нынче же — поскольку я еду с ним — он решил сделать исключение, взять жену и родственницу жены, затем чтобы они за мной ухаживали; в свою очередь он пригласил нас отобедать у него на корабле, сказав, что для этого случая приведет туда и жену, дабы принять нас достойным образом.

Кто бы мог подумать, что в эту минуту сам сатана расставил свои силки и что здесь, в этом укромном уголке, на борту судна, стоящего у речного причала, меня подстерегает гибель? И, однако, произошло нечто такое, чего нельзя было ни вообразить, ни предвидеть. В тот день, когда у нас был капитан и мы получили его любезное приглашение осмотреть корабль, Эми не случилось дома, и поэтому мы не решились взять ее с собой: зато вместо Эми нас сопровождала моя честная, добродушная квакерша, эта бесценная и превосходная женщина, среди тысяч прекрасных качеств которой (а дурных у нее не было ни одного) было отличное умение держаться в обществе; впрочем, я бы, по всей вероятности, прихватила с собою и Эми, если бы она не была на ту пору занята делами моей злополучной девицы: та внезапно исчезла, словно в воду канула, и долгое время о ней не было ни слуху, ни духу. Эми обегала все места, где, по ее мнению, та могла укрываться; но единственное, что ей удалось узнать, — это что она поехала к какой-то старой подруге, своей названной сестре, которая была замужем за неким капитаном, проживающем в Редриффе [120]; однако негодница Эми мне и этого не сочла нужным сказать. Дело в том, что она в свое время велела моей девице заняться своим образованием, дабы обрести манеры, соответствующие ее новому положению в обществе, и для этого поступить в какой-нибудь пансион; кто-то порекомендовал некий пансион в Кемберуэлле [121]; там она свела знакомство с одной из *барышень* (как именовались все воспитанницы пансиона); с этой своей подружкой она делила постель, и они, как то заведено, назвались сестрами и поклялись в вечной дружбе.

Посудите, однако, каково было мое удивление, когда, взойдя на корабль и вступив в капитанские покои, именуемые у моряков кают-компанией, я увидела рядом с дамой, являвшейся, по всей видимости, женой капитана, некую молодую особу, в которой, подойдя ближе, я узнала свою судомойку, оказавшуюся, как будет явствовать из дальнейшего, не больше, не меньше, как моей собственной дочерью! Не узнать ее я не могла; ведь она прослужила у меня в доме не год, и не два, и пусть у нее не было случая часто видеть меня, я-то ее видела не однажды.

Вот когда мне понадобилось все мое мужество и присутствие духа! Все зависело от этой минуты: я рисковала обнаружить единственную важную тайну в моей жизни: узнай меня моя девица, я бы погибла; а если бы я выказала малейшее удивление либо тревогу, она тотчас бы меня опознала или, во всяком случае, догадалась бы, кто я, а затем и сама бы открылась.

Первой моей мыслью было изобразить обморок — плюхнуться наземь (вернее на пол) и тем вызвать всеобщий переполох; мне бы подали нюхательную соль, и я таким образом могла бы заслонить рот рукой или платком — а может, и тем и другим, — так что половина моего лица была бы скрыта; придя немного в себя, я сослалась бы на запах смолы, либо на духоту в каюте; но в последнем случае мне предложили бы выйти на палубу подышать, а там, к сожалению, было больше не только воздуха, но и света; а пожалуйся я на запах смолы, капитан пригласил бы нас всех к себе в дом, благо, идти было недалеко, поскольку судно стояло почти у самого берега, и, чтобы на него попасть, нам пришлось всего лишь взойти по мосткам на корабль, пришвартованный к причалу, а оттуда — на наш. Итак, рассудив, что подобный маневр не принесет пользы, я от него отказалась. Тем более, что время уже было упущено, и пока я пребывала в нерешительности, обе дамы поднялись и двинулись мне навстречу; делать нечего — я подошла к дочери и поцеловала ее. Разумеется, я предпочла бы избежать этого поцелуя, однако это было совершенно невозможно.

Должна признаться, что, несмотря на охвативший мою душу тайный ужас, вследствие которого я еле удержалась на ногах, очутившись подле дочери и целуя ее, я вместе с тем испытывала также и неизъяснимую радость: ведь это плоть от моей плоти, мое родное дитя! Последний раз я ее поцеловала в тот роковой день, когда, разбитая горем и проливая потоки слез, я простилась со своими детьми, которых Эми вместе с той доброй старушкой увезла в Спитлфилдс. Мне стоило невероятных усилий подавить бурю чувств, охвативших меня при одном ее виде; что же со мною сделалось, когда уста мои прикоснулись к ее щеке, и сказать невозможно. Перо не в силах описать, а слова выразить, потрясающего действия, какое на меня оказало это прикосновение. Что-то молнией пронеслось по моим жилам, сердце мое затрепетало, голова была в огне, в глазах потемнело, а внутри будто все оборвалось. Руки мои, казалось, вот-вот, помимо моей воли, обовьют ее шею, и я начну целовать ее без конца.

Призвав, однако, на помощь рассудок и стряхнув минутную слабость, я села в кресло. Впрочем, я не сразу могла принять участие в общем разговоре, да это и не удивительно, поскольку душа моя все еще пребывала в смятении, которое я едва не обнаружила. Я изнемогала под бременем почти неразрешимой задачи: чувства мои пришли в такое расстройство, что скрыть их было, казалось, свыше моих сил, и, однако, от этого зависело все мое благополучие; и, дабы отвратить от себя беду, уже стучавшуюся в двери, я была вынуждена прибегнуть к жесточайшему насилию над собой.

Итак, я ее поцеловала; сперва, впрочем, я подошла к супруге капитана, которая находилась в дальнем конце каюты, возле окна, так что, повернувшись затем к дочери, стоявшей немного левее, я оказалась против света, и, несмотря на близкое расстояние, она не имела возможности как следует меня разглядеть. Я вся дрожала, я не чуяла, что говорю, что делаю, положение мое было самое отчаянное — столько надо было сообразовать противоречивых обстоятельств, ибо под страхом гибели я должна была скрывать свое смятение, и вместе с тем мне казалось, что оно всем очевидно. Я ждала, что дочь вот-вот меня узнает, и в то же время должна была во что бы то ни стало это предотвратить. Мне надлежало от нее спрятаться, однако прятаться было некуда. Короче говоря, отступать было поздно, пути к бегству отрезаны, скрыть от нее мое лицо невозможно, а если бы я вздумала изменить голос, мой муж не преминул бы это заметить. Словом, помощи никакой ниоткуда, и надеяться на то, что счастливый случай вызволит меня из беды, я не имела ни малейшего основания.

После пытки, длившейся около получаса, в течение которого я держалась довольно сухо и, быть может, даже чрезмерно чопорно, супруг мой завел с капитаном разговор о корабельном устройстве, о морском плавании и прочих материях, далеких от нашего женского понимания: в конце концов они вышли на палубу, оставив нас одних в кают-компании. Беседа наша сделалась несколько непринужденнее, и я немного оживилась под впечатлением внезапной мысли — а именно, мне показалось, что девица меня не узнала; эту свою догадку я строила на том, что она не выказала никаких признаков расстройства чувств — ни в манере держаться, ни в лице, никакого смущения, ни малейшей запинки в разговоре и, главное, как я ни следила, я не приметила, чтобы она особенно часто останавливала глаза на моем лице, иначе говоря, мне ни разу не довелось перехватить ее взгляда, устремленного на меня в упор, а этого я боялась больше всего; если она кого и выделяла, то скорее мою добрую квакершу; вслушавшись в их разговор, я убедилась, что это была обычная беседа о ничего не значащих пустяках.

Я было совсем успокоилась и даже несколько приободрилась, как вдруг меня словно громом поразило: я услышала, как, обернувшись к жене капитана и имея в виду меня, она сказала: «Послушай, сестрица, тебе не кажется, что миледи очень напоминает ***? При этом назвала какое-то имя, и жена капитана согласилась, что я, точно, на нее похожа.

Да, продолжала моя дочь, она уверена, что видела меня когда-то прежде, но никак не припомнит, где; я отвечала (хоть речь ее и не была обращена ко мне), что навряд ли она могла видеть меня когда-либо прежде в Англии, и, в свою очередь, спросила, не бывала ли она в Голландии. Нет, нет, отвечала она, нет, она никуда не выезжала за пределы Англии; я возразила, что в таком случае она не могла меня видеть, разве что совсем недавно, ибо я долгое время жила в Роттердаме. Так я довольно успешно вывернулась, и для пущей достоверности, когда в каюту вошел прислуживавший капитану мальчик-голландец (а что он голландец, я поняла сразу), я заговорила по-голландски и стала весело с ним шутить — настолько весело, насколько это было возможно для человека, испытывающего ни на минуту не покидавший его ужас.

Впрочем, к этому времени я вполне убедилась, что девица меня не узнала, или что, во всяком случае, хоть у нее шевельнулось какое-то смутное воспоминание, ей, однако, и в голову, по-видимому, не пришло, кто я такая на самом деле; иначе радость ее не могла бы сравниться ни с чем, разве что с моим замешательством, которого мне уже не удалось бы скрыть. Но нет, было совершенно очевидно, что она и не подозревала истины, — уж она-то не сумела бы утаить своих чувств!

Итак, наша встреча прошла без особенных происшествий. Я, разумеется, твердо положила — если только выйду сухой из воды на этот раз — впредь избегать подобных свиданий, чтобы не давать пищи ее фантазиям; в этом я, однако, как вы узнаете из дальнейшего, не преуспела. После того, как мы побыли на судне, жена капитана повела нас к себе в дом, который стоял тут же, на берегу, и снова угостила нас на славу, а прощаясь, взяла с нас слово, что мы еще раз ее навестим прежде, чем закончим все приготовления к отплытию; при этом она заверила меня, что и она и ее *сестрица* решились пуститься в это путешествие исключительно ради общества миледи. Я же подумала про себя: «В таком случае, голубушки, не придется вам путешествовать», — ибо тотчас же твердо решила, что *миледи* ни в коем случае не следует с ними ехать: ведь, общаясь с дочерью повседневно, я рисковала тем, что она меня наконец узнает, и уж, разумеется, не преминет заявить о нашем родстве.

Я и вообразить не могу, как бы мы вышли из положения, если бы я привела с собой на судно свою служанку Эми; все бы, конечно, пошло прахом, и я бы сделалась навеки рабой своей дочери, иначе говоря, мне пришлось бы либо довериться ей и открыть свою тайну, либо ждать, что она сама меня разоблачит и тем погубит. Одна мысль об этом повергала меня в ужас.

Впрочем, покуда судьба ко мне благоволила, ибо Эми на этот раз со мною не было, и таким образом мне было даровано избавление. Но впереди нас ожидала еще одна задача. Я решилась отказаться от морского путешествия, а также, разумеется, от следующего визита к жене капитана, ибо дала себе строжайший зарок — больше никогда не попадаться на глаза моей дочери.

Однако, чтобы выйти из этого затруднения с честью и, кроме того,

по возможности что-нибудь выведать, я просила мою добрую квакершу нанести жене капитана условленный визит, извинившись за меня и сказав, что я прихворнула; я велела ей к концу разговора дать им понять, что я, быть может, не буду в состоянии пуститься в плавание в срок, намеченный капитаном для отбытия его судна, и что мы, вернее всего, дождемся следующего рейса. Никаких причин, кроме нездоровья, квакерше я не выставляла и для вящей убедительности дала ей понять, что я, быть может, затяжелела.

Такую мысль внушить ей было нетрудно, и она, разумеется, намекнула капитанше, что я очень плоха, и, неровен час, могу выкинуть и что, следовательно, о путешествии нельзя и помышлять.

Итак, квакерша навестила капитаншу и — как я того и ожидала — мастерски справилась со своей задачей; нечего говорить, что об истинной причине моего тяжкого недуга она не догадывалась. Но я вновь приуныла, и сердце мое так и замерло, когда она сказала мне, что во время ее визита одно обстоятельство повергло ее в недоумение: *молодая особа* (как квакерша именовала подругу и названную сестрицу капитанши) проявила чрезвычайное и, можно сказать, даже назойливое любопытство относительно меня, закидывая ее вопросами: кто я такая? давно ли в Англии? где проживала до того? и все в таком духе; и, главное, она все спрашивала, не жила ли я когда в другом конце города?

— Расспросы ее показались мне столь неуместны, — сказала моя честная квакерша, — что я не стала удовлетворять ее любопытству; приметив по твоему обращению в каюте, что ты не намерена свести с нею знакомство покороче, я решила, что не позволю ей от меня выведать ничего; и когда она меня расспрашивала, где ты проживаешь — там ли, тут ли, — я на все такие вопросы отвечала, что ты голландка и возвращаешься на родину, где живет твоя семья.

Я от души поблагодарила ее за ее скромность, но не показала вида, сколь большую услугу она мне оказала; словом, квакерша моя так ловко отбрила любопытную девицу, что, знай она всю правду, она и то не могла бы отвечать лучше.

Должна, однако, признаться, что с этой минуты пытка моя началась сызнова, и я совсем пала духом: я не сомневалась, что негодница пронюхала истину, что она прекрасно помнит мое лицо и узнала меня, но искусно прикидывается до случая. Я поделилась всем этим с Эми, ибо с нею одной и могла отводить душу. Бедняжка (Эми то есть) была готова повеситься оттого, что, как ей думалось, всему виною оказалась она и что если я *погибну* (а в разговоре с нею я всегда употребляла это слово), то моею губительницею окажется она, Эми; она так терзалась, что иной раз я даже принималась ее утешать, а заодно и сама немного успокаивалась.

Особенно кляла себя Эми за то, что позволила *девчонке*, как она именовала мою дочь, застигнуть ее врасплох и открылась ей. Это и впрямь было большой ошибкой со стороны Эми, о чем я неоднократно ей говорила. Ну, да теперь не о том надобно было думать; следовало позаботиться,

как бы выбить у этой девчонки из головы подозрения, а заодно избавиться от нее самой, ибо отныне что ни день, то больше было риску; и если я всполошилась, когда Эми пересказала мне все, что в свое время ей наболтала девчонка, то теперь, когда я сама ненароком на нее наткнулась, у меня было в тысячу раз больше причин тревожиться; ведь она, мало того, что увидела меня в лицо, еще и узнала, где я живу, под каким именем и прочее.

Но и это еще не все. Несколько дней спустя после визита квакерши, во время которого та им рассказала о моем недомогании, они обе — капитанша и моя дочь (которую она именовала сестрицей) — под видом участия явились меня навестить, сам же капитан проводил их до дверей моего дома, а затем отправился по своим делам.

Если бы, по счастью, моя добрая квакерша не забежала ко мне наверх перед тем, как впустить их в дом, они бы застигли меня в гостиной и, — что в тысячу раз хуже, — увидели бы со мною Эми; в таком случае мне, пожалуй, не осталось бы иного выхода, как позвать мою дочь в другую комнату и открыться ей, что было бы, конечно, безумием.

Однако квакерша, которую мне послала счастливая звезда, увидела их, когда они подходили к дому; одна из них уже поднесла руку к шнуру колокольчика; квакерша, однако, вместо того чтобы открыть им дверь, вбежала ко мне в некотором замешательстве и объявила, кто к нам идет; Эми тотчас поднялась с места и выбежала из комнаты вон, я последовала за ней, наказав квакерше подняться ко мне, как только она впустит посетительниц.

Я хотела было попросить ее сказать, что меня нет дома, но одумалась: после всех разговоров о моем нездоровье это могло бы показаться странным; к тому же я слишком хорошо знала мою честную квакершу, знала, что за меня она готова в огонь и в воду, но вместе с тем лгать в глаза ни за что бы не согласилась; да у меня самой язык не повернулся бы ее просить об этом.

Проводив их в гостиную, квакерша поднялась ко мне, где, едва успев перевести дух от испуга, мы с Эми поздравляли себя с тем, что и на этот раз Эми не была застигнута со мною.

Гостьи нанесли мне визит по всем правилам этикета, и я приняла их столь же церемонно и чинно; два-три раза, впрочем, я, как бы ненароком, выразила опасение, что не буду в состоянии плыть в Голландию, во всяком случае к тому сроку, когда капитану придет время отчаливать; при этом я изъявила вежливое сожаление, что таким образом лишу себя удовольствия путешествовать в их обществе и пользоваться их услугами; я дала им понять, будто рассчитываю дождаться возвращения капитана и поехать с ним следующим рейсом; но тут квакерша тоже вставила словечко, сказав, что к этому времени дело, наверное, зайдет слишком далеко (она хотела сказать, что я уже буду на сносях) и что я, может, и вовсе не рискну ехать, в каковом случае (сказала она с радостной улыбкой) она надеется, что на время родов я воспользуюсь ее домом; такой оборот придал разговору больше натуральности, что было неплохо.

Меж тем пришло время объявить мужу о моем состоянии; впрочем, сейчас мне эта забота была не в заботу. Поговорив, как водится, о том, о сем, моя шальная девчонка вдруг принялась за прежнее: два, а то и три раза она заводила разговор о моем сходстве с какой-то дамой, которую она якобы имела честь знать, когда жила в другом конце города; сходство это, утверждала она, было столь разительно, что она не могла на меня взглянуть без того, чтобы та дама не пришла ей тотчас на ум. Временами мне казалось, что девчонка вот-вот расплачется: опять и опять возвращалась она к этому предмету, и я увидела, что у нее и в самом деле на глаза навертываются слезы. Уж не умерла ли дама, о которой она вспоминает с таким участием, спросила я. Услышав ответ, я впервые за все время вздохнула свободнее. Да, отвечала девчонка, вернее всего, той дамы и в самом деле нет в живых.

Впрочем, облегчение мое было непродолжительным и вскоре сменилось отчаянием, ибо у моей негодницы язык оказался, что называется, без костей. По всей видимости, она в свое время рассказала своей подружке все, что только удержалось в ее башке: и о Роксане, и о моей веселой жизни в другом конце города. Поэтому в любую минуту можно было ожидать очередного губительного взрыва.

Когда нагрянули мои гостьи, я сидела в *дезабилье* — на мне было нечто вроде просторного платья или утреннего капота, но на итальянский манер: он обрисовывал тело более, чем это принято нынче, и, быть может, более, чем то было бы прилично, если бы я ожидала мужское общество; дома же, среди своих, он был вполне пристоен и особенно удобен в жаркую погоду; я лишь немного причесалась, переодеваться же не стала: поскольку меня уже отрекомендовали как больную, то этот наряд как нельзя лучше подходил к моему состоянию.

Однако это мое платье или капот — правда, очень богатый, из зеленой французской камки с разводами — вызвал у девчонки приступ болтливости, а ее *сестрица*, как она величала свою подружку, всячески подстрекала ее на разговоры: так, рассматривая мой капот и восхищаясь изяществом его покроя, тонкостью ткани, благородством отделки и так далее, моя девица, обращаясь к сестричке (жене капитана), говорит: «Точно в таком наряде, — говорит она, — танцевала та дама, о которой я тебе рассказывала».

— Как? — воскликнула капитанша. — Та самая леди Роксана, о которой ты мне прожужжала все уши? Ах, это прелестнейшая история и миледи, наверное, будет интересно ее послушать!

Делать нечего, мне пришлось присоединиться к просьбам капитанши, меж тем как за одно упоминание ненавистного имени *Роксана* я от души желала бы отправить рассказчицу на небо или в преисподнюю — для меня это было все едино, лишь бы избавиться от девчонки и ее историй: ибо когда та принялась описывать мой турецкий наряд, сметливая и проницательная квакерша, при всем ее ко мне доброжелательстве, представляла для меня бóльшую опасность, нежели эта безмозглая девчонка. Нечего говорить, если бы я в свое время посвятила квакершу в историю

моей жизни, я бы скорее решила довериться ей, чем девчонке; больше того, с ней я себя чувствовала бы совершенно спокойно.

Так или иначе, а длинный язык моей девицы держал меня в постоянном трепете, а когда капитанша упомянула имя *Роксана*, душа моя и вовсе ушла в пятки. Не знаю, выдала ли я себя — ведь своего лица не видишь, — но только сердце у меня забилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, и я боялась, что лопну от душившей меня ярости. Словом, я была в молчаливом неистовстве и все мои силы ушли на то, чтобы не дать ему выйти наружу. Никогда-то еще не доводилось мне с таким трудом себя перебарывать! У меня не было отдушины, некому было открыться или поплакаться, не было возможности дать своему чувству какой-то выход; покинуть комнату я не смела, ибо, не зная, о чем девчонка рассказывала, а о чем умолчала в мое отсутствие, я бы пребывала в постоянной тревоге; одним словом, мне пришлось выслушать *историю Роксаны*, иначе говоря, собственную историю, пребывая при этом в неизвестности, лукавит рассказчица или нет, правда ли, что она не знает, кто я, или прикидывается простушкой; короче говоря, выведут меня на чистую воду или нет?

Она начала рассказывать в общих чертах, где жила Роксана, каков был дом ее, сколь славные у нее бывали гости; как они проводили у нее ночи напролет, играя в карты и танцуя, какою роскошью была окружена ее госпожа и сколь изрядное жалование получала у нее старшая прислуга; что до нее самой, сказала она, то она работала не в большом доме, а на кухне и получала немного, если не считать одного вечера, когда на всю прислугу было пожаловано двадцать гиней, из которых на ее долю пришлось две с половиною.

Затем она рассказала, сколько всего было слуг и как между ними распределялись обязанности; впрочем, сказала она, там имелась некая *госпожа Эми*, которая возглавляла всю прислугу и, будучи в особом фаворе у миледи, получала от нее особенно большое жалование. Было ли «Эми» фамилией или именем фаворитки, она точно сказать не может, но полагает, что это вернее всего ее фамилия; говорили, что однажды, в тот самый день, когда остальные слуги поделили между собой двадцать гиней, миссис Эми было пожаловано шестьдесят золотых.

Тут я перебила рассказчицу, заметив, что это изрядная сумма.

— Да ведь для служанки, — сказала я, — это целое состояние!

— Помилуйте, сударыня, — возразила моя дочь, — это капля по сравнению с тем, что она получила впоследствии; мы, остальные слуги, от души ее за это ненавидели; иначе говоря, злились, что такая доля выпала ей, а не нам.

— В таком случае, — сказала я, — у нее было довольно денег, чтобы заполучить себе хорошего мужа и устроить свою жизнь, если только у нее хватило на это ума.

— О да, сударыня, — сказала моя дочь. — Говорят, у нее одних сбережений было больше 500 фунтов; впрочем, госпожа Эми, должно быть.

понимала, что с такой репутацией, как у нее, необходимо иметь большое приданое.

— Вот как, — сказала я. — Ну, тогда другое дело.

— Не знаю, сударыня, точно, нет ли, — продолжала она, — но поговаривали, будто некий молодой баронет не на шутку за нею приволакивался.

— Какова же ее дальнейшая судьба? — спросила я. Коль скоро уж она обо всем этом заговорила, мне хотелось знать, что она расскажет не только обо мне, но и об Эми.

— Не знаю, сударыня, — сказала она. — Я ничего о ней не слышала много лет и только на днях вдруг ее повстречала.

— В самом деле? — спросила я, лицом и голосом изобразив крайнее изумление. — И уж, верно, в лохмотьях; ведь подобные ей твари именно тем обычно и кончают.

— Напротив, сударыня, — говорит она. — Она навещала одну мою знакомую, не ожидая, я думаю, встретить у нее меня, и приехала в собственной карете.

— В собственной карете! — воскликнула я. — Она, видно, не теряла времени даром и ковала железо, пока горячо. Стало быть, она замужем?

— Насколько мне известно, сударыня, когда-то она, точно, была замужем. Впрочем, она как будто уезжала в Индию; и если она и вышла замуж, то, верно, там. Помнится, она говорила, что в Индии ей улыбнулась фортуна.

— Иначе говоря, — вставила я, — ей, верно, удалось там похоронить своего супруга.

— Я так и поняла, сударыня, — отвечала девица. — И, кроме того, она унаследовала все состояние мужа.

— Так это и было улыбкой фортуны? — спросила я. — Быть может, ей и в самом деле повезло в том, что ей достались его деньги, однако немногого же стоит женщина, которая может говорить о смерти мужа как об удаче!

На этом разговор об Эми прекратился, ибо моей дочери больше о ней ничего не было известно; но тут, к несчастью, квакерша — без всякого умысла, конечно, — задала вопрос, который, — знай эта добрая душа, что я намеренно завела разговор об Эми, дабы увести его от Роксаны, — конечно, задавать бы не стала.

Ну, да, видно, мне не суждено было так легко отделаться.

— Ты, однако, намекала, что в истории твоей госпожи, — запамятовала ее имя — Роксана, что ли? — кроется какая-то тайна. Каков же конец этой истории? — спросила квакерша.

— Да, да, Роксана! — подхватила капитанша. — Расскажи, сестрица, историю Роксаны до конца; миледи, я думаю, будет забавно послушать.

«Вот и врешь, — подумала я про себя. — Кабы ты знала, сколь мало меня забавляет твоя история, я была бы в твоих руках». Впрочем, я понимала, что не в моих силах ее остановить, и приготовилась к худшему.

— Роксана? — воскликнула моя дочь. — Не знаю, право, что и сказать о ней; она была столь высоко вознесена над нами, и мы столь редко

удостаивались ее видеть, что многое знали только понаслышке. Впрочем, изредка нам доводилось ее видеть; она была очень пригожа, а лакеи поговаривали, будто ее возили ко двору.

— Ко двору? — воскликнула я. — Но разве она не жила при дворе и без того? Ведь Пел-Мел в двух шагах от Уайтхолла.

— Это так, сударыня, — отвечала она. — Но я имела в виду другое.

— Я тебя поняла, — сказала квакерша. — Ты хочешь, верно, сказать, что она сделалась любовницею короля.

— Точно так, сударыня, — сказала моя дочь.

Не могу утаить, что у меня еще оставалась изрядная доля тщеславия, и как ни страшилась я услышать продолжение истории, однако, когда она заговорила о том, какая красивая и блистательная дама была эта Роксана, я почувствовала невольную радость, и это так меня тешило, что я чуть ли не три раза переспросила, точно ли она была так хороша, как о том говорили, и все в таком роде, дабы заставить ее повторить, что́ обо мне толковали люди и как я себя держала.

— Да что говорить, — отвечала она на мои расспросы. — Такой красавицы, как она, мне в жизни не доводилось видеть!

— Но вы, должно быть, видели ее лишь в те минуты, когда она была убрана для приема гостей, — сказала я.

— Ах, нет, сударыня, — возразила она. — Я видела ее не раз в *дезабилье*. И уверяю вас: она была чудо как хороша, и, более того, все говорили, что румян и белил у нее и в заводе не было.

В словах этих, как ни щекотали они мое самолюбие, заключалось, однако, скрытое жало, ибо из них явствовало, что она видела меня в дезабилье и притом не раз. В таком случае, подумала я, она меня узнала наверное и все наконец откроется; одна эта мысль была для меня все равно что смерть.

— Расскажи миледи о том вечере, сестрица, — продолжала меж тем капитанша. — Это самое занятное во всей истории; и про то, как Роксана плясала в заморском наряде.

— Ах, да, — сказала ее подружка. — Это и в самом деле занятно. Балы да банкеты бывали у нас чуть ли не каждую неделю, но однажды миледи назначила всем вельможам прийти в определенный день, сказав, что намерена задать бал... И уж народу понаехало!..

— Помнится, сестрица, ты говорила, что среди гостей был сам король?

— Не совсем так, сударыня, — ответила она. — То было уже в следующий раз: рассказывают, что король, прослышав о том, сколь славно танцует турчанка, решился прийти на нее взглянуть. Однако если его величество и были, то переодевшись.

— Это называется *инкогнито*, — вставила квакерша. — Про короля не говорят «переодевшись».

— Но так оно и было в самом деле, — возразила девица. — Он явился не в своем обличье и не был окружен гвардейцами, и, однако, все знали, который из гостей — король, или по крайней мере на кого указывали, говоря, что он и есть король.

— Хорошо, — говорит капитанша, — теперь расскажи о турецком наряде — это самое интересное.

— Вот как было дело, — начала ее *сестрица*. — Миледи сидела в своей маленькой, богато убранной гостиной, что открывалась в залу, и гости приходили к ней туда на поклон; когда же начались танцы, некий высокопоставленный вельможа, имя его я запамятовала (но только я знаю, что то был большой вельможа, лорд или герцог, не знаю точно), подал ей руку и прошелся с нею в танце; затем миледи вдруг закрыла двери гостиной и побежала к себе наверх, позвав свою камеристку, госпожу Эми; и хоть отсутствовала она недолго (потому, я думаю, как у нее все было приготовлено заранее), но спустилась она в диковинном и великолепном наряде, какого я дотоле в жизни своей не видела.

Здесь последовало описание моего костюма, о котором я уже распространялась прежде; описание ее, однако, было столь точно, что я просто диву далась: ни одной-то подробности она не пропустила!

Воистину было от чего прийти в смятение! Девчонка представила столь полное описание моего убора, что на лице моей доброй квакерши выступил румянец и она два или три раза даже посмотрела на меня, — не изменилась ли в лице и я, потому что (как она впоследствии мне изъяснила) она тотчас поняла, что это тот самый убор, который я ей показывала (как я об этом рассказала выше). Заметив, однако, что я не подаю никакого вида, она затаила свою догадку про себя, я тоже помалкивала и лишь позволила себе вставить, что у нашей рассказчицы, должно быть, отменная память, если она так подробно может описать всякую мелочь.

— Ах, сударыня, — сказала она на это. — Ведь мы, слуги, все сгрудились в уголке, откуда нам было виднее, чем гостям. К тому же, — прибавила она, — в доме только и разговоров было, что об этом вечере, и чуть ли не целую неделю после него все о нем говорили, так что, чего не приметил один из нас, то запомнил другой.

— Воображаю, что это был за персидский наряд, — сказала я. — Да и ваша миледи, по всей видимости, была всего-навсего какая-нибудь парижская комедиантка, иначе говоря, амазонка подмостков; скорее всего она вырядилась на потеху публике в какой-нибудь наряд из «Тамерлана» или другой какой пьесы, что в ту пору представляли на парижских театрах [122].

— Помилуйте, сударыня, — возразила моя дочь. — Моя госпожа не была актрисой, уверяю вас; это была скромная, благонравная леди — ни дать ни взять настоящая принцесса! О ней так и говорили, что если у нее и был любовник, то разве что сам король; кстати, если верить слухам, так оно и было. К тому же, сударыня, — прибавила она, — миледи исполняла настоящий турецкий танец, все лорды и вельможи подтвердили это, один же из них, побывавший в Турции, клялся, что своими глазами видел, как его там танцуют. Нет, нет, это вам не парижская актерка! Да и само имя «Роксана», точно, турецкое.

— Хорошо, — возразила я, — но ведь у миледи на самом деле было другое имя?

— Совершенно верно, сударыня. Это так. Мне известно настоящее имя миледи, и я прекрасно знаю ее семью; ее зовут не Роксана, вы правы.

Этим она меня вновь обескуражила, потому что я не смела спросить у нее истинное имя *Роксаны* из страха, как бы не оказалось, что девчонка и в самом деле в стачке с дьяволом и дерзко назовет мое имя в ответ; мои опасения, что она каким-то образом добралась до моей тайны, становились с каждой минутой основательнее, хоть я ума не приложу, как ей это удалось.

Словом, от этого разговора мне сделалось сильно не по себе, и я пыталась положить ему конец, но безуспешно, ибо капитанша всячески подбадривала и подстрекала свою названную сестру продолжать рассказ, в своем неведении полагая, что он доставляет равное удовольствие всем слушателям.

Время от времени моя квакерша вставляла свои замечания; так, она сказала, что эта леди Роксана, должно быть, дама весьма предприимчивая и если и проживала когда в Турции, то, наверное, была на содержании у какого-нибудь важного паши. Но моя дочь всякий раз пресекала подобный разговор и принималась неумеренно расхваливать свою бывшую хозяйку, *славную госпожу Роксану*. Я же настаивала, что она была бесчестной женщиной, что иначе быть не могло; но та и слышать не хотела — нет, нет, ее госпожа обладала такими высокими качествами, что, коротко говоря, одни лишь ангелы могли с ней сравниться! И однако, несмотря на все, что она могла привести в ее похвалу, по ее же рассказам, выходило, что госпожа эта держала не больше не меньше как игорный дом; или, как это стало впоследствии называться, — *ассамблею светских развлечений*.

Как я уже сказывала, все это время я сидела, словно на угольях. Впрочем, повествование о Роксане не привело к моему разоблачению; я позволила себе показать, что меня огорчает существующее якобы сходство между мною и этой веселой дамой, о которой, несмотря на восторженный тон, в каком о ней говорила рассказчица, я отозвалась с осуждением.

Однако впереди меня ожидало бо́льшее испытание. В простоте душевной моя квакерша обратилась ко мне со словами, от которых мои муки возобновились с прежней силой.

— Не находишь ли ты, — сказала она, — что, судя по описанию, наряд той дамы как две капли воды схож с твоим? Да, сударыня (это уже капитанше), у нашей миледи имеется турецкий или персидский наряд, и даже еще богаче, я думаю, чем тот, о котором здесь говорилось.

— Ну нет, — возразила моя девица. — Богаче платья моей госпожи быть не может! Оно было все расшито золотом и бриллиантами, а головной убор — не помню, он как-то назывался по-особенному, — так и сверкал; столько в нем было драгоценных камней, да и в волосах тоже!

Никогда прежде присутствие доброго моего друга квакерши не бывало мне в тягость, но в эту минуту я дала бы несколько гиней, чтобы от нее

отделаться; ей показалось любопытным сравнить оба наряда, и она с полным простодушием принялась описывать мой; больше же всего я боялась, как бы она не вздумала заставить меня показать его, на что я решила ни в коем случае не соглашаться. До этого, впрочем, дело не дошло, и квакерша лишь попросила мою девицу описать тюрбан, или головной убор; та описала его с большим искусством, а квакерша и скажи, что мой тюрбан точь-в-точь такой же! После того как, к величайшей моей досаде, был обнаружен еще ряд подобий между туалетом Роксаны и моим, дамы не преминули обратиться ко мне с просьбою показать мой наряд; всеобщее желание его увидеть было так сильно, что они сделались просто назойливы.

Я всячески отнекивалась, но затруднялась найти предлог для отказа, как вдруг мне пришло в голову сказать, что наряд мой вместе с другими платьями, в коих у меня меньше всего надобности, уложен в сундук, который я подготовила для отправки на судно; зато, если мы в самом деле поплывем в Голландию вместе (чего я ни в коем случае решила не допускать), тогда, сказала я, как только я разберу вещи, я сама явлюсь перед ними в этом наряде; но только, прибавила я, не ждите, чтобы я вам сплясала в нем, как эта ваша леди Роксана.

Уловка моя удалась вполне, и я наконец вздохнула свободнее. Словом, — чтоб не затягивать рассказа, — я выпроводила своих гостей (правда, на целых два часа позже, чем мне бы того хотелось).

Как только они ушли, я кинулась к Эми и дала выход своему исступлению, пересказав ей все, что было; вот видишь, сказала я ей, сколько вреда причинил один твой неосторожный шаг и как из-за него мы чуть было не попали в такую беду, из какой нам, верно, никогда бы уже не выбраться! Эми и сама расстроилась не меньше меня и, в свою очередь, дала выход чувствам, принявшись честить мою злополучную дочь на все лады, называя ее проклятой девчонкой, дурой (а то и еще более крепкими прозвищами). Но тут вошла моя добрая, честная квакерша и положила конец нашему разговору.

— Ну, вот, — говорит она с улыбкой (ибо ей всегда была свойственна спокойная веселость духа), — наконец-то ты избавилась от своих гостей! Я пришла тебя с этим поздравить, ибо видела, что они сильно тебя утомили.

— Что верно, то верно, — сказала я. — Эта глупенькая девица совсем нас замучила своими кентерберийскими историями[123]; мне казалось, что этому конца не будет.

— Она, однако же, как я заметила, ни минуты от нас не скрывала, что была всего лишь судомойкой.

— Да, да, — сказала я, — судомойкой в игорном доме или притоне, да еще в *том конце города*; нашла, чем хвастать перед нами, добропорядочными горожанками!

— А мне все сдается, — сказала квакерша, — что она поведала нам всю эту длинную историю неспроста; у нее, должно быть, что-то на уме. Да-да, я не сомневаюсь, что это так!

«Если ты не сомневаешься, — подумала я, — то я уж и подавно не сомневаюсь; но только по мне было бы несомненно лучше, если бы ты сомневалась».

— Что же у нее может быть на уме? — спросила я вслух. — «Да и когда придет конец моим тревогам?» (это, разумеется, про себя). Затем я принялась расспрашивать мою милую квакершу, что она имеет в виду и отчего ей кажется, будто за речами молодой девушки непременно что-то кроется.

— И какой такой толк ей в том, чтобы все это рассказывать мне? — заключила я.

— Помилуй, — возразила добрейшая квакерша, — если у нее есть какие виды на тебя, то это не мое дело, и я вовсе не намерена что-либо у тебя выпытывать.

Слова ее меня встревожили еще больше: не то, чтобы я боялась довериться этому добродушнейшему существу, даже если бы она и заподозрила правду, но моя тайна была такого рода, что я не хотела бы ее поверять никому. Однако, как я сказала, ее слова меня немного напугали; поскольку я от нее до сих пор таилась, мне хотелось бы и на будущее сохранить свою тайну, впрочем, она кое-что почерпнула из речей моей девицы и смекнула, что все это имеет прямое касательство ко мне; следовательно, мои ответы вряд ли могли удовольствовать столь проницательную душу. Два обстоятельства, правда, служили мне некоторым утешением: первое, что моя квакерша не отличалась любопытством и не стремилась что-либо разнюхать, а второе, что, даже если бы она узнала все, то не стала бы мне вредить. Но, как я уже сказала, она не могла пропустить мимо ушей кое-какие совпадения, такие, как, например, имя госпожи Эми и подробное описание турецкого наряда; ведь в свое время, как уже говорилось выше, я показывала его моей доброй квакерше, и он произвел на нее изрядное впечатление.

Конечно, я могла бы обратить все дело в шутку и тут же при квакерше приняться поддразнивать Эми, допрашивая ее, у кого же это она жила до меня? Но, к несчастью, мы не раз при квакерше говорили о том, как давно Эми находится у меня в услужении, и — что хуже того — я как-то обмолвилась, что некогда проживала на Пел-Мел; так что слишком уж много получалось совпадений. Одно обстоятельство, впрочем, было в мою пользу, а именно рассказы девчонки о богатстве, которого якобы достигла госпожа Эми; по ее словам, у той даже имелся собственный выезд. А так как женщин, носивших фамилию «Эми», сколько угодно, не было оснований думать, что моя служанка Эми и есть та самая *госпожа Эми*, фаворитка леди Роксаны. Ведь моя Эми, разумеется, держать собственный выезд не была в состоянии; так что если у нашей милой и доброй квакерши и зародились какие подозрения, то они должны были тут же рассеяться.

Но что было труднее всего — это выбить из головы квакерши мысль, будто у моей девицы что-то на уме. Это ее убеждение встревожило меня не на шутку, тем более, когда она сообщила, что, описывая мой турецкий

наряд, она заметила у девушки все признаки душевного волнения, которое еще больше усилилось после того, как я, несмотря на их просьбы, не захотела его показать. По наблюдениям квакерши, та несколько раз была на грани того, чтобы выдать свое смятение, и на глаза у нее навертывались слезы; кроме того, она, квакерша, даже слышала, как та пробормотала что-то себе под нос — то ли, что она уже все знает, то ли что вскоре узнает, — толком квакерша расслышать не могла. После же моих слов, что турецкий наряд уже уложен и что я его покажу, когда прибудем в Голландию, та будто бы произнесла вполголоса, что ради одного этого она непременно поедет с нами.

Когда квакерша закончила свой рассказ, я сказала:

— Я тоже заметила кое-какие странности в разговоре и повадках этой девицы, а также, что она, по всей видимости, отличается неумеренным любопытством. Вместе с тем я, хоть убей, не понимаю, к чему клонились ее разговоры!

— Не понимаешь? — воскликнула квакерша. — Но ведь это совершенно ясно: она подозревает, что ты — та самая Роксана, которая плясала в турецком наряде, однако полной уверенности у нее в том нет.

— Неужто она может так думать? — возразила я. — Да если бы я это знала, я бы ее мигом успокоила.

— Разумеется, думает! — подхватила квакерша. — Да я сама, сказать по чести, начала было склоняться к тому же. Но, видя, что ты не придаешь никакого значения ее словам, а также из твоих замечаний, уверилась в противном.

— И вы могли так подумать? — спросила я в сердцах. — Это весьма для меня прискорбно. Как, неужели вы могли принять меня за актерку, за французскую комедиантку?

— Помилуй, — отвечала мой честный, добрый друг квакерша. — К чему преувеличивать? Когда я услышала, что ты ее осуждаешь, я поняла, что этого не могло быть. Но как было не подумать, когда она описала точь-в-точь твой турецкий наряд, с тюрбаном и драгоценными каменьями, и когда назвала твою служанку именем Эми и привела еще несколько сходных обстоятельств? Кабы ты сама не опровергла ее слов, я бы, не задумываясь, решила, что речь идет о тебе; но как только ты заговорила, я заключила, что здесь ошибка.

— Это очень мило с вашей стороны, — сказала я, — и я премного вам обязана за ваше доброе обо мне мнение; но, очевидно, эта балаболка его не разделяет.

— То-то и оно, — подхватила квакерша. — Она, должно быть, дурно о тебе судит, ибо, по-видимому, твердо стоит на том, что Роксана и ты — одно лицо.

— Неужели? — спросила я.

— О да, — ответила квакерша, — и она непременно к тебе наведается еще раз.

— Коли так, — сказала я, — то придется мне ее осадить.

— Нет, не придется, — возразила моя добродушная, услужливая квакерша. — Я избавлю тебя от этой заботы и осажу ее сама. Я больше не допущу ее до тебя.

Доброта ее меня чрезвычайно растрогала, но я не представляла себе, как ей удастся осуществить свое намерение; между тем одна мысль, что мне, быть может, придется снова встретиться с этой девицей, повергала меня в отчаяние. Ведь я не могла предугадать заранее, в каком та будет расположении духа в тот день, когда задумает ко мне заявиться, а следовательно, не могла заранее решить, как себя с нею держать. Однако квакерша, мой верный друг и утешитель, сказала, что твердо решилась избавить меня от нее, видя, сколь она назойлива и сколь тягостно мне ее общество. Впрочем, об этом у меня скоро будет случай рассказать подробнее, ибо моя девица зашла даже дальше, нежели я могла предположить.

Между тем, как я уже говорила, пора было принять меры к тому, чтобы отменить наше путешествие; и вот, однажды утром, когда муж мой одевался, а я еще лежала в постели, я завела с ним разговор. Я пожаловалась на сильное недомогание; а так как внушить ему что бы то ни было не составляло для меня труда, ибо он верил каждому моему слову, я повернула дело так, что, — не сказав того прямо, — он мог понять из моих слов, будто я затяжелела.

Все это я проделала так ловко, что он перед тем, как выйти из спальни, подсел ко мне и заботливым голосом заговорил о моем состоянии; он и сам заметил, сказал он, что я последнее время стала часто недомогать, и подумал, не тяжела ли я; если это так на самом деле, он несказанно рад, сказал он; но в таком случае заклинает меня хорошенько поразмыслить, прежде чем отважиться на морское путешествие; быть может, лучше отложить нашу поездку в Голландию, ибо морская болезнь или, чего доброго, буря могут оказаться весьма губительны в моем состоянии. Наговорив мне при этом тысячу нежных слов, какие говорят нежнейшие супруги, он заключил свою речь просьбой, чтобы, покуда все не кончится, я и не думала о путешествии; напротив, сказал он, ему бы хотелось, чтобы на время родин я оставалась здесь, где, как нам обоим известно, я могу рассчитывать на прекрасный уход и прочее.

Мне только того и нужно было, ибо у меня, как вам то известно, имелась тысяча причин отложить плавание, тем более, что мне грозило общество этой девицы; но я предпочитала, чтобы мысль эта исходила от него, а не от меня; так оно и получилось. Я даже позволила себе немного поломаться, сделав вид, будто недовольна. Мне невыносима мысль, сказала я, что я могу оказаться помехой в его предприятиях и нанести ущерб его делам; ведь он нанял для нас пассажирскую каюту и, вероятно, уплатил часть денег вперед, да еще и зафрахтовал корабль под свои товары; и если он теперь от всего откажется, то и сам понесет убыток, да и капитану причинит урон.

Все это такие пустяки, сказал он, что и говорить о них нечего, и умолял меня не принимать этого в расчет. Что до капитана, то, когда тот

узнает о причине, вынудившей нас отказаться от поездки, он, конечно, не будет в претензии. А если и придется выплатить неустойку, то размеры ее весьма незначительны.

— Ах, мой друг, — возразила я, — но ведь я не говорю тебе, что я тяжела, да и не могу этого утверждать наверное; хороша же я буду, если в конце концов окажется, что это не так! К тому же, — сказала я, — эти две дамы, жена капитана и его свояченица, они ведь рассчитывают, что я поеду, и делают соответствующие приготовления, и все это из любезности ко мне, — что же я скажу им?

— Да что, мой друг, — отвечает он, — если окажется, что, против моих чаяний, ты не брюхата, то невелика беда; задержка наша в Лондоне на три-четыре месяца не причинит мне ущерба, и мы можем ехать, как только уверимся, что ты не брюхата, а коли окажется, что брюхата, поедем после того, как ты разрешишься от бремени; что до капитанши и ее *сестрицы*, предоставь это мне, я устрою так, что никакой обиды не будет. Я попрошу капитана открыть им причину, и вот увидишь, все будет хорошо.

Большего мне и желать было нечего, и на этом я покуда успокоилась. Правда, мысль о дерзкой девчонке меня еще заботила, но коль скоро путешествие наше откладывается, думала я, то и с нею покончено, и я даже почувствовала, что могу вздохнуть свободнее. Я ошиблась, ибо она чуть меня не погубила, и притом самым непредвиденным образом.

Мой муж, как мы о том договорились, повстречав нашего капитана, объявил ему, что, к большому своему сожалению, должен его разочаровать, ибо обстоятельства вынуждают его переменить планы, и его семья не будет готова ехать в назначенный срок.

— Слышал о ваших обстоятельствах, сударь, — говорит ему на это капитан. — Оказывается, у вашей супруги на одну дочь больше, чем она думала. Ну что ж, поздравляю вас, сударь.

— Что вы хотите сказать? — спрашивает мой супруг.

— Да ничего особенного, — отвечает капитан. — Просто я слышал, как мои дамы судачат за чаем, и понял из их разговоров лишь то, что вы из-за этого не намерены со мною плыть, о чем я весьма сожалею. Ну, да, вам видней, — прибавил капитан, — а я не охотник совать нос в чужие дела.

— Как бы то ни было, — продолжает мой муж, — я должен возместить вам убыток, который причинил, нарушив уговор, — и с этими словами достает деньги.

— Помилуйте, — отвечает капитан, — это совершенно лишнее.

Некоторое время каждый старался превзойти другого в великодушии; но в конце концов мой супруг настоял на своем и вручил ему три или четыре гинеи. На этом и кончился их разговор, и они уже не возвращались к тому, с чего он начался.

Мне, однако, несладко было все это слушать, ибо отныне тучи начали надо мною сгущаться, и, словом, опасность грозила мне со всех сторон. Муж передал мне слова капитана, но, к великому счастью, решил, что тот слышал звон, да не знает, где он, и, пересказывая ему то, что узнал

от других, все перепутал; так как муж мой не понял, что́ хотел сказать капитан, да и капитан, верно, сам не знал, что говорит, то он, то есть мой муж, решил слово в слово передать мне все, что ему наговорил капитан.

О том, как мне удалось скрыть от мужа расстройство чувств, в какое меня поверг его рассказ, я сейчас расскажу, но перед этим я хочу сказать, что если мой муж не понял капитана, а капитан — самого себя, то я зато прекрасно поняла их обоих, и, сказать по чести, встревожилась пуще прежнего. Но тут мне на выручку пришла моя изобретательность, благодаря которой мне удалось на время отвлечь внимание мужа: мы с ним сидели за маленьким столиком подле камина, я потянулась за ложкой, которая лежала на противоположном конце стола, и, как бы от неловкости, сбросила при этом одну из зажженных свечей; тотчас вскочив со стула, я подхватила горящую свечу прежде, чем та упала на пол.

— Ах, — закричала я. — Я испортила свое платье, я закапала весь подол воском!

Таким образом, у меня был предлог оборвать разговор с мужем и позвать Эми. А так как Эми не сразу пришла на мой зов, я сказала мужу: «Друг мой, я должна сбегать наверх и снять платье, чтобы Эми его тотчас почистила». Муж тоже встал из-за стола, подошел к шкафу, в котором у него хранились деловые бумаги и книги, снял с полки одну из книг и погрузился в чтение.

Как я была счастлива ускользнуть! Я тотчас побежала к Эми и застала ее одну в комнате.

— Ах, Эми! — вскричала я. — Мы погибли.

Едва промолвив эти слова, я разрыдалась и долгое время не могла говорить дальше.

Не могу удержаться, чтобы не рассказать, что все эти происшествия навели меня на благочестивые размышления. Я была поражена этим новым свидетельством справедливости всеблагого промысла, пекущегося обо всех делах человеческих (причем не только у великих, но и у малых мира сего); случай, какого нельзя предвидеть заранее, рассуждала я, способствует тому, что самые тайные преступления становятся явными.

И еще мне пришло в голову, как справедливо, что грех и позор постоянно следуют друг за другом по пятам; что они не только сопутствуют друг другу, но — как причина и следствие — неразрывно связаны между собою; возникни где преступление, тотчас за ним вслед явится огласка, и точно так же, как человеку не дано скрыть первое, ему невозможно избежать последней.

— Что мне делать, Эми? — сказала я, как только почувствовала себя в силах говорить. — Что будет со мною?

И снова разрыдалась с такой силой, что долго не могла продолжать. Эми была вне себя от испуга, но не знала, в чем дело; она принялась уговаривать меня успокоиться, перестать рыдать и поведать ей все.

— Подумайте, сударыня, — увещевала она меня, — неровен час, придет хозяин и увидит, в каком вы огорчении, увидит, что вы плакали, и, уж конечно, захочет знать причину ваших слез.

— Ах, она ему известна и так, — прервала я ее. — Он знает все! Все обнаружилось, и мы погибли!

Мои слова поразили Эми как громом.

— Возможно ли, сударыня? — воскликнула она. — Коли так, то мы в самом деле погибли; но это немыслимо, этого не может быть.

— Увы, — отвечала я, — не только может, но и есть.

И, понемногу успокаиваясь, я рассказала ей, как муж мой повстречал капитана и что тот ему сказал. Эми пришла в такое неистовство, что стала плакать, браниться, выкрикивать проклятья, как безумная, затем — укорять меня за то, что я не дозволила ей убить девчонку, как она в свое время предлагала, твердя, что я сама себя погубила, и все в таком роде. Но я и теперь не соглашалась на то, чтобы ее убили. Одна мысль об этом была мне нестерпима.

Так, в междометиях и бессмысленных восклицаниях прошло около получаса, и мы ничего, конечно, за это время не придумали. Ибо, чему суждено случиться помимо нашей воли, того не предотвратить, а следовательно, и нам было неоткуда ждать спасения. Облегчив несколько душу слезами, я вспомнила, что меня внизу ждет супруг, которого я покинула под тем предлогом, что якобы перепачкала платье воском. Итак, я переоделась и спустилась к нему.

Посидев некоторое время с ним и заметив, что он, против моих ожиданий, не возвращается к своему рассказу, я несколько приободрилась и сама ему о нем напомнила.

— Друг мой, — сказала я, — своей неловкостью я прервала твой рассказ, может, ты его продолжишь?

— О чем? — спрашивает он.

— Да о капитане, — говорю я.

— Да больше, собственно, ничего и не было, — ответил он. — Это все, что я знаю; капитан передал мне какие-то слухи, которые он сам хорошенько не понял, да и пересказал-то он лишь обрывки этих слухов, а именно, что, будучи тяжела, ты не можешь предпринять морское путешествие.

Я убедилась, что мой супруг так ничего и не понял, а решил, что ему передали сведения, которые, пройдя через несколько рук, дошли до него в искаженном виде, и что сущность этих слухов заключалась в том, что ему уже и без того было известно, а именно, что я брюхата; что же касалось его, то он очень надеялся, что слухи эти основательны.

Его неведение было для меня истинным бальзамом, и в душе я заранее проклинала всякого, кто попытается открыть ему глаза; поскольку он не проявил желания вникать в эту историю дальше, считая, что она и яйца выеденного не стоит, я не упорствовала; по всей видимости, сказала я, жена капитана что-то ему обо мне говорила, а он слушал ее вполуха; быть может, она затем принялась сплетничать о ком-нибудь другом, и у него все перемешалось в голове. Таким образом, все сошло как нельзя лучше, и я могла не опасаться, что супругу что-либо известно; то, чего я больше всего страшилась, мне не грозило. Однако две заботы не оставляли меня:

первая, как бы мой муж не повстречался с капитаном снова и они не продолжили тот разговор, и вторая — как бы моя неугомонная и дерзкая девица вновь меня не посетила; в последнем случае следовало во что бы то ни стало помешать ее встрече с Эми. Это было первейшей нашей задачей, ибо исход подобной встречи был бы для меня не менее роковым, чем если бы девица знала всю мою историю с начала до конца.

Что касается первого моего опасения, я знала, что капитан пробудет в городе не более недели, так как он уже погрузил товары и судно его, снявшись с якоря, плыло к устью Темзы, а следовательно, капитан должен был в самое короткое время на него вступить; поэтому ближайшей моей заботой было увезти мужа на несколько дней куда-нибудь за город, дабы предотвратить всякую возможность такой встречи.

Я ломала голову, куда нам ехать, и наконец остановила выбор на Нортхолле[124] — не потому, сказала я, что намерена пить целебные воды, а затем, что тамошний воздух мне кажется полезным для моего здоровья. У мужа моего была только одна мысль — как бы лучше мне угодить, поэтому он тотчас согласился и велел заложить карету на следующий же день; но, когда мы обсуждали с ним все эти дела, он обронил одно страшное для меня замечание, которое лишало мое предприятие всякого смысла: он сказал, что предпочел бы ехать не с самого утра, так как ему нужно до отъезда повидаться с капитаном, дабы дать тому кое-какие письма; с этим делом, сказал он, ему удастся управиться к полудню.

— Помилуй, друг мой, как тебе будет угодно, — отвечала я. Однако это было с моей стороны чистое лицемерие, и голос мой был в полнейшем разладе с сердцем, ибо я про себя положила помешать этому свиданию во что бы то ни стало.

Поэтому вечером, незадолго перед тем, как лечь, я сказала, что передумала и хотела бы вместо Нортхолла ехать в другое место, да только боюсь, как бы это не расстроило его дел. Он спросил, куда же мне угодно ехать. Я с улыбкой отвечала, что не скажу, дабы не вынуждать его менять его собственных планов. Он отвечал мне тоже с улыбкой, — но только бесконечно более искренней, чем моя, — что у него нет столь значительных дел, кои могли бы ему помешать ехать со мной куда только мне будет угодно.

— Да, но ведь ты хотел перед отъездом переговорить с капитаном, — сказала я.

— Это так, — сказал он и задумался. — Впрочем, я могу написать записку своему поверенному и попросить его зайти к нему вместо меня; мне всего-навсего надо подписать накладные, а это и он может сделать.

Когда я убедилась, что одержала победу, я стала жеманничать и ломаться.

— Друг мой, — сказала я, — не откладывай из-за меня свои дела хотя бы и на час, прошу тебя! Я могу повременить со своей поездкой и неделю, и две, лишь бы не причинить ущерба твоим делам.

— Ну, нет, мой друг, — возразил он. — Я не допущу, чтобы ты

прождала меня и часу, ибо через доверенное лицо я могу вести все свои дела, кроме дел с моей собственной женушкой.

С этими словами он крепко обнял и поцеловал меня. Кровь так и бросилась мне в лицо, когда я подумала, как искренне, с какою ласковостью этот добросердечный джентльмен обнимает самое презренное и лицемерное существо, какое когда-либо обнимал честный человек! Он был весь нежность, доброта, искренность; я вся — притворство и обман; все, что я говорила и делала, было построено на расчете и уловках, имеющих целью скрыть жизнь, исполненную греха и порока, и помешать мужу обнаружить, что он держит в своих объятиях дьявола в женском обличье, что все мои поступки в течение двадцати пяти лет были чернее самого черного закоулка преисподней, что все мое существование было цепью преступлений и что всякий честный человек, узнав о них, не мог бы не возненавидеть меня и даже самый звук моего имени. Что делать? Переменить свое прошлое я не могла, и единственное, что мне оставалось, — это быть такой, какою я сделалась в последнее время, а прежнюю себя предать забвению; это было единственное, чем я могла его вознаградить, — не покидать впредь стези добродетели, на которую я вступила. Но, как ни тверда была моя решимость, полной уверенности, что ее не поколеблет достаточно сильный соблазн, если таковой встретится (как оно впоследствии и случилось), у меня не могло быть. Об этом, впрочем, речь впереди.

После того, как мой муж с такой предупредительностью отказался ради меня от своих планов, мы положили выехать на следующий день поутру. Я предложила мужу, если только он не возражает, поехать в Тэнбридж [125]; будучи покорен моей воле во всем, он охотно с этим согласился, прибавив, однако, что если бы я не назвала Тэнбридж, он предложил бы Ньюмаркет [126], где сейчас находится двор и можно увидеть много интересного. Я еще раз слукавила, сделав вид, будто согласна ехать туда, раз ему это угодно, меж тем как на самом деле я бы и за тысячу фунтов не рискнула показаться в месте, где пребывает двор и где столько людей могли меня узнать. Поэтому, поразмыслив, я сказала мужу, что в Ньюмаркете, по всей видимости, будет очень много народу и мы вряд ли найдем, где остановиться; что до меня, прибавила я, то ни двор, ни толпа не представляются мне интересным развлечением, и если бы я поехала, то только ради него; если же он не возражает, продолжала я, то мне кажется лучше отложить поездку в Ньюмаркет до другого времени; так, когда мы поплывем в Голландию, мы отправимся из Гарвича и можем перед тем завернуть в Ньюмаркет и Бери и оттуда двинуться к морю через Ипсвич [127]. Мне без труда удалось его отговорить, как, впрочем, всегда удавалось отговаривать от всего, что было мне не по душе. Итак, с величайшей готовностью, какую только можно вообразить, он заверил меня, что на следующий день с самого утра мы с ним отправимся в Тэнбридж.

Я преследовала двоякую цель — во-первых, помешать моему супругу видеться с капитаном, а во-вторых, самой поскорее убраться — на случай, если эта дерзкая девчонка, которая отныне сделалась для меня хуже

чумы, вздумает, как полагала моя квакерша (и как оно и случилось несколько дней спустя после моего отъезда), вновь меня проведать.

Итак, поскольку отъезд мой был делом решенным, мне теперь предстояло научить моего верного друга — я имею в виду квакершу, — что сказать злодейке (ибо отныне она в самом деле сделалась моим злым гением) и как с ней обращаться, если она повадится сюда ходить.

Я подумывала оставить в помощь квакерше также и Эми, ибо она отличалась замечательной находчивостью в трудных обстоятельствах, да и сама Эми уговаривала меня ее оставить. Однако, не знаю почему, какие-то скрытые силы в моей душе этому воспрепятствовали; я не могла на это решиться из страха, как бы жестокосердая негодница не разделалась с моею дочерью, а одна мысль об этом была невыносима моей душе; впрочем, впоследствии, как о том будет рассказано подробнее, Эми удалось осуществить свой замысел.

Это верно, что я жаждала избавиться от своей дочери, как жаждет больной избавиться от лихорадки, что треплет его уже более трех суток; и если бы та нашла смерть *честным*, как я это называла, путем, иначе говоря, если бы умерла от какого-нибудь недуга, я бы не слишком много слез пролила над ее могилой. Но я не настолько закоснела в злодеяниях, чтобы пойти на прямое убийство, тем более на убийство родного дитяти, нет, я и в мыслях не имела столь чудовищного намерения! Но, как я уже сказала, Эми все это проделала впоследствии без моего ведома, за что я ее прокляла всей душой — и это все, что мне оставалось; ведь если бы я набросилась на Эми, я бы погубила себя окончательно. Впрочем, эту трагическую историю следует рассказать пространней, а сейчас для нее нет места. Возвращаюсь к моему отъезду.

Милый мой друг квакерша была женщиной весьма доброй, но при этом и чрезвычайно правдивой. Для меня она была готова на все, что не выходит за пределы честности и добропорядочности. Она просила меня даже не сообщать ей о моем местопребывании, дабы с чистой совестью сказать моей девице, если та придет, что оно ей неизвестно; для вящей убедительности я разрешила квакерше сказать, что из моих разговоров с мужем она поняла, будто мы намеревались ехать в Ньюмаркет. Это квакерше понравилось. В остальном я предоставила ей действовать по ее собственному усмотрению; единственное, о чем я ее попросила, — это не поощрять девчонку, если та вздумает распространяться о своем житье на Пел-Мел; напротив, говорила я, следует ей дать понять, что все мы были в некотором недоумении, слыша, с каким видимым удовольствием она смакует подробности этого житья; я просила ее сказать также, что миледи (то есть я) отнюдь не в восторге от того, что в ней находят сходство с какой-то куртизанкой, актеркой и так далее. Быть может, сказала я, такая отповедь заставит ту в дальнейшем попридержать свой язычок. Хоть я и не сказала моей квакерше, как адресовать ко мне письма, у ее служанки я, однако, оставила для нее запечатанный конверт с адресом, по которому она могла снестись с Эми, а таким образом и со мною.

Дня через два или три после моего отъезда моя неугомонная девица притащилась к дому квакерши справиться о моем здоровье, узнать, намерена ли я ехать и так далее. Мой преданный друг квакерша оказалась на ту пору дома и приняла ее весьма холодно, в дверях: леди, которую та, имеет в виду, сказала она, уехала.

Обескураженная таким приемом, девица поначалу некоторое время мялась в дверях, соображая, что бы такое сказать, однако, заметив выражение принужденности на лице квакерши, словно та только и ждет, как отделаться от гостьи и закрыть за нею дверь, она почувствовала себя уязвленной. Между тем осторожная квакерша не пригласила ее в дом оттого, что опасалась, как бы девица, обнаружив, что они одни, не сделалась слишком развязной; к тому же, рассудила она, чем холоднее она ее примет, тем это будет приятнее для меня.

Однако от нее не так-то легко было отвязаться. Поскольку ей не удалось поговорить с миледи, сказала нежеланная гостья, то, быть может, она (то есть квакерша) согласится выслушать ее? На это моя квакерша учтиво, но холодно пригласила ее войти, а той только того и надо было. Заметьте: квакерша повела ее не в парадную гостиную, где мы принимали ее в первый раз, когда она приходила с капитаншей, а в маленькую прихожую, служившую лакейской.

С первых же слов девчонка не постеснялась дать понять, что не верит, будто меня нет дома, и думает, что я просто не желаю показываться на люди; затем принялась с жаром просить разрешения сказать мне всего два словечка; просьбы ее перешли в мольбы, а затем последовали слезы.

— Мне весьма прискорбно, — сказала добрейшая квакерша, — что ты столь низкого обо мне мнения и полагаешь, что я способна солгать и сказать тебе, будто миледи уехала из дома, если бы это было не так! Уверяю тебя, что я никогда не позволяю себе такого; да и сама леди ***, насколько мне известно, не стала бы просить меня о подобной услуге. Если бы она была дома, я бы так и сказала.

Та ничего на это не возразила, но только сказала, что ей надобно со мной поговорить о деле чрезвычайной важности, после чего расплакалась пуще прежнего.

— Я вижу, ты в большом горе, — говорит ей квакерша. — И рада была бы тебе помочь, но поскольку тебя ничто не в состоянии утешить, кроме свидания с леди ***, то я бессильна.

— Я все же надеюсь на вашу помощь, — говорит та. — Право же, мне необходимо с ней поговорить, иначе я погибла.

— Мне очень прискорбно это слышать, — говорит квакерша. — Но, коли так, зачем ты не поговорила с нею, когда вы были здесь с женой капитана?

— С глазу на глаз поговорить с нею у меня не было случая, — отвечает та, — а при всех говорить было нельзя; кабы только мне удалось остаться с нею наедине, я бы бросилась к ней в ноги и испросила ее благословения.

— Какие странные речи! — говорит квакерша. — Я не понимаю смысла твоих слов.

— Ах! Если в вас есть капля великодушия или жалости, будьте мне другом, — говорит она, — не то я погибла, совершенно погибла!

— Твоя горячность меня пугает,— говорит квакерша, — ибо истинно тебе говорю, я не понимаю тебя.

— Ах, но ведь она моя матушка! — говорит та. — Моя родная мать! И не хочет признать меня своею дочерью.

— Твоя матушка? — повторяет квакерша, приходя в большое волнение. — Что ты хочешь этим сказать?

— Да только то, что говорю, — отвечает она. — Говорю вам, это моя родная матушка, и только не желает меня признать.

Проговорив эти слова, девушка вновь заливается слезами.

— Не желает тебя признать? — повторила чувствительная квакерша и сама заплакала. — Но ведь она тебя не знает и никогда прежде не видела.

— Да, она меня, должно быть, и в самом деле не узнала, — говорит девица. — Но я-то ее знаю, и я знаю, что она — моя мать.

— Мыслимое ли дело! — говорит квакерша. — У тебя что ни слово, то загадка. Не изволишь ли ты, наконец, объясниться как следует?

— Да, да, да, — говорит она, — сейчас я вам все объясню. Мне было известно наверное, что это моя родная мать, и душа моя не знала покоя, покуда я ее не разыскала. А теперь — потерять ее вновь, когда я только ее нашла... да у меня сердце разорвется от горя!

— Но если она твоя мать, — спросила квакерша, — как же это возможно, чтобы она тебя не узнала?

— Увы, — отвечала она. — Я была разлучена с нею в младенчестве, и она с тех пор меня не видела.

— Стало быть, и ты ее не видела тоже?

— Ах, нет, — отвечала она. — Я-то ее видела, и частенько, ибо в бытность ее леди Роксаной я служила у них в доме, но тогда ни я ее не узнала, ни она меня. Но с той поры все это разъяснилось. Разве нет у нее служанки по имени Эми?

Приметьте, этот вопрос застиг мою честную квакершу врасплох и к тому же чрезвычайно ее изумил.

— Право же, — сказала она, — у миледи множество девушек в услужении, и я не упомню все имена.

— Да, но ее камеристка, любимая ее служанка, — настаивала девица. — Ведь ее зовут Эми, не так ли?

— Вот что, — нашлась вдруг квакерша. — Хоть я и не люблю, когда меня допрашивают, но чтобы тебе не взбрело в голову, будто я что-то от тебя утаиваю, то скажу тебе: каково истинное имя ее камеристки, я не знаю, не только слышала, что хозяева называли ее *Черри*.

NB: В день нашего бракосочетания муж мой в шутку дал ей такое прозвище, и мы так ее и стали с тех пор называть, так что квакерша сказала в некотором смысле чистую правду.

Девица смиренно принесла свои извинения за нескромные расспросы, сказав, что не имела в мыслях дерзить ей, либо допрашивать ее; она, мол, измучена своим горестным положением и подчас сама не знает, что

говорит; она отнюдь не хочет причинить беспокойство, но только заклинает ее как христианку и мать сжалиться над нею и по возможности помочь ей со мною свидеться.

Передавая мне весь этот разговор, добросердечная квакерша призналась, что трогательное красноречие бедной девушки разжалобило ее до слез; тем не менее она была вынуждена сказать, что ей неизвестно, ни куда я уехала, ни по какому адресу мне писать; однако, прибавила квакерша, если ей когда доведется меня повстречать, она не преминет пересказать этот разговор, или, во всяком случае, ту часть его, какую найдет нужной, и передать ей, то есть девице, мой ответ, если я, в свою очередь, найду нужным таковой дать.

Затем квакерша позволила себе расспросить ее о кое-каких подробностях этой, как она выразилась, воистину удивительной истории. И тогда моя девица, начав с первых невзгод в моей жизни, которые одновременно были и ее первыми невзгодами, поведала историю своего несчастного детства и последующей службы у леди Роксаны, как она величала меня, а также о помощи, какую ей оказывала затем госпожа Эми; так как Эми не отрицала, что была в услужении у ее матери, а главное, что она же оказалась камеристкой леди Роксаны и вернулась из Франции вместе с нею, то девица и вынесла из этих и кое-каких других обстоятельств твердое убеждение, что леди Роксана была ее родной матерью, и не менее твердое убеждение в том, что леди ***, проживающая в ее доме (то есть у квакерши), есть та самая леди Роксана, у которой она служила судомойкой.

Добрый мой друг квакерша, на которую рассказ этот произвел сильное действие, не знала, что отвечать; все же она слишком меня любила, чтобы показать вид, будто ей поверила; во-первых, рассудила она, не было на то непреложных оснований; во-вторых, если девица рассказала правду, то я достаточно недвусмысленно дала понять, что не стремлюсь к ее раскрытию. Поэтому она употребила все силы на то, чтобы разубедить девицу. Доказательства, какие та приводила, сказала она, недостаточно весомы; кроме того, со стороны ее собеседницы весьма невежливо на основании этих, ничем не подкрепленных доказательств посягать на родство с лицом, стоящим намного выше ее; проживавшая у нее (у квакерши) в доме миледи, продолжала она, никогда бы не унизилась до притворства, и поэтому она (квакерша) никогда не поверит, чтобы я отреклась от родной дочери; а если бы я по каким-либо причинам, даже будучи ее матерью на самом деле, не хотела того признавать, то уж, наверное, позаботилась бы ее обеспечить, ибо обладаю достаточными для того средствами. Поскольку, выслушав историю леди Роксаны, продолжала квакерша, я никоим образом не признала в ней себя и даже, напротив, всячески осуждала ту мнимую леди, величая ее самозванкой и женщиной легкого поведения, то, разумеется, я ни за что не согласилась бы присвоить себе имя особы, столь справедливо мною порицаемой.

К тому же, сказала она, ее жилица (то есть я) называет себя леди по праву, ибо является законной женой баронета, о чем ей, квакерше, досто-

верно известно, а следовательно, я так же далека от описанной этой девицей особы, как небо от земли. Есть еще одно обстоятельство, заявила квакерша, которое делает маловероятным ее предположение. «Ты разве не видишь, — сказала она, — что ваши года не сходятся? Ведь ты сама говоришь, что тебе уже двадцать пятый год и что ты — младшая из трех детей твоей родительницы; таким образом, по твоему рассказу, твоей матушке должно быть по крайней мере за сорок, а дама, которую ты принимаешь за свою мать, как ты видишь сама, да и как видно всякому, еще очень молода и уж, конечно, ей нет и сорока[128]; к тому же она оттого и поехала в деревню, что ожидает ребенка; так что, нет, я никак не могу допустить даже мысли о том, чтобы ты была права в своем предположении; и если мне позволено дать совет, то я на твоем месте выкинула бы из головы эту мысль, как совершенно невероятную, ибо вся эта история только огорчает тебя и приводит разум твой в расстройство. А ты, я это ясно вижу, — прибавила она, — ты просто не в себе.

Но все это было ни к чему; ей надобно было меня видеть, и все тут; однако квакерша твердо стояла на своем, говоря, что ничего больше не имеет обо мне сообщить; когда же та продолжала упорствовать, квакерша сделала вид, что оскорблена тем, что ее словам не дают веры, и прибавила, что если бы она и знала, куда я уехала, она все равно, не имея на то моего распоряжения, ей бы не открыла. «Однако, поскольку она не почла за нужное известить меня о том, куда едет, — сказала квакерша, — я полагаю, что ей не угодно, чтобы люди знали о ее местопребывании». С этими словами она встала, тем самым дав гостье понять, что той пора убираться, почти столь же ясно, как если бы указала на дверь.

Девица, впрочем, не приняла доводов квакерши, сказав, что, конечно, не может рассчитывать на то, чтобы та (то есть квакерша) тронулась ее печальной историей и не претендует на ее сочувствие. Единственное, о чем она жалеет, продолжала она, это, что в свое первое посещение, когда она оказалась в одной со мной комнате, она не попыталась поговорить со мною наедине, и не пала к моим ногам, чтобы вымолить у меня то, в чем мое материнское сердце не могло бы ей отказать; впрочем, пусть она и упустила один случай, она будет дожидаться другого; из ее (то есть квакерши) слов она поняла, что я не покинула этот дом окончательно, а просто, по-видимому, выехала в деревню подышать воздухом; и отныне она намерена, объявила она, отправиться, как странствующий рыцарь, на мои розыски; она объедет все места, куда принято выезжать для отдыха в нашем королевстве, а если понадобится, и всю Голландию и в конце концов меня разыщет; ибо она не сомневается, что представит мне самые убедительные доказательства того, что она моя родная дочь; она не сомневается, сказала она, что я чувствительна и мягкосердечна, и не дам ей погибнуть, после того, как уверюсь, что она плоть от моей плоти; говоря же о том, что объездит все целебные воды Англии, она тут же их перечислила, начиная с Тэнбриджа, то есть, с того самого места, куда я поехала, и, назвав затем Эпсом, Нортхолл, Барнет, Ньюмаркет, Бери и, наконец, Бат[129], ушла.

Верная моя рачительница не преминула тотчас мне обо всем этом отписать; однако, будучи женщиной не только доброй, но и тонкой, она сообразила, что, независимо от того, подлинная ли эта история или вымышленная, быть может, нет смысла извещать о ней моего мужа; поскольку ей было неизвестно, кем я была — или слыла — прежде и есть ли во всем этом хоть крупица истины или все — чистый вымысел, она рассудила, что так или иначе здесь, возможно, кроется какая-то тайна, и посвящать в нее мужа или нет, следует решать мне самой; если же здесь никакой тайны нет, то все это с таким же успехом можно будет рассказать и позже; ей же, рассудила она, во всяком случае, не следует вмешиваться и без спросу делать мои обстоятельства всеобщим достоянием. Благоразумные меры, какие она приняла вследствие этих рассуждений, не только свидетельствовали о ее несравненной доброте, но также оказались весьма уместными; ибо очень даже могло случиться, что ее письмо принесли бы мне при посторонних, и хоть мой муж не стал бы вскрывать его сам, однако, если бы я утаила от него содержание полученного письма, — притом, что я всегда с такой, казалось бы, откровенностью делилась с ним всеми моими делами, — это выглядело бы по меньшей мере странно.

Итак, руководствуясь мудрой предусмотрительностью, моя добрая квакерша сообщила мне в нескольких словах, что дерзкая девица, как и следовало ожидать, вновь к ней заявилась; и что, по ее мнению, было бы неплохо, если бы я могла отпустить Черри (имея в виду Эми), ибо для той нашлось бы дело в городе.

Так случилось, что письмо это было адресовано самой Эми, а не послано тем способом, о котором мы было условились вначале; впрочем, оно попало в конце концов в мои руки; как оно меня ни встревожило, я тем не менее из него не вывела, что мне угрожал визит этого несносного существа, вследствие чего подвергла себя величайшему риску, ибо, полагая себя в такой же безопасности от нескромных взоров в Тэнбридже, как если бы я была в Вене[130], отпустила Эми лишь через две недели после получения письма.

Но попечениями моего верного агента (каковым и сделалась в силу собственной прозорливости квакерша), итак, говорю, единственно благодаря ее попечениям я избежала страшной опасности, меж тем как сама и пальцем о палец не ударила для своего спасения; квакерша, видя, что Эми не спешит с возвращением и не зная, как скоро эта отчаянная голова (моя девица) пустится в задуманное ею паломничество, послала слугу в дом капитанши, где проживала девица, сказать, что ей угодно с нею поговорить. Та ринулась к квакерше тотчас вслед за ее посланцем и явилась перед нею, так и трепеща от нетерпения услышать от нее какие-либо новости: миледи (то есть я), спросила она, должно быть, прибыла в город?

Квакерша со всей осторожностью, на какую была способна, дала той понять, не прибегая к прямой лжи, что рассчитывает в скором времени получить от меня известие; затем, как бы невзначай, заговорив о целебных водах, принялась расхваливать живописные места под Бери, тамош-

нюю природу, воздух и красивые холмы под Ньюмаркетом, заметив между прочим, что, поскольку туда выехал двор, там теперь, должно быть, собралось большое общество; из этих речей моя девица наконец заключила, что я, вернее всего, поехала туда, тем более, сказала она, что миледи любит общество.

— Ах, нет, — говорит моя подруга, — ты меня превратно поняла; я вовсе не хотела сказать, будто интересующая тебя особа отправилась именно туда, да я и сама так не думаю, уверяю тебя.

На это девица улыбнулась и сказала, что, несмотря на ее слова, полагает, что я именно там: квакерша же, дабы укрепить ее в этом мнении, произнесла тоном весьма суровым: «Истинно говорю тебе, — сказала она, — с твоей стороны весьма дурно постоянно всех в чем-то подозревать и никому не верить. Со всей серьезностью говорю тебе, что не думаю, чтобы они поехали туда; так что если ты туда поедешь и, как окажется, понапрасну, пеняй на себя и не говори, что я тебя обманула». Она прекрасно понимала, что таким образом ей удалось всего лишь поколебать девицу в ее уверенности, но не уничтожить ее подозрений; главное же, она продержала ее в этой неопределенности до приезда Эми.

Приехав в город и услыхав рассказ квакерши, Эми всполошилась и нашла способ меня обо всем известить; при этом она дала мне знать, что девица наверняка поедет первым делом не в Тэнбридж, а либо в Ньюмаркет, либо в Бери.

Однако все это чрезвычайно меня тревожило; ибо, коли та решилась разыскивать меня по всей стране, я уже нигде, пусть даже в самой Голландии, не могу чувствовать себя в безопасности. Так что я просто не знала, что мне делать, и к каждой моей радости примешивалась горечь — ведь эта девчонка преследовала меня всюду, а мысль о ней витала надо мной, как злой дух.

Меж тем Эми из-за нее сделалась как помешанная; попасться ей на глаза в доме квакерши она боялась хуже смерти; бесчетное число раз наведывалась она и в Спитлфилдс, где та иногда бывала, и на ее прежнюю квартиру, но все без толку. Наконец она приняла безумное решение отправиться прямо в Редрифф, в дом капитана и там с нею переговорить. Это был безумный шаг, вне всякого сомнения; но Эми и сама признавала, что помешалась, и поэтому, что бы она ни предприняла, все было бы безумием. Ибо, если бы Эми застала ее в Редриффе, она (моя девица) тотчас заключила бы, что квакерша известила ее (Эми) обо всем и что мы, короче, все заодно, как она то и думала. Однако события сложились несколько удачнее, чем мы ожидали: выходя из кареты у Тауэрской верфи, с тем чтобы переправиться на тот берег, она повстречала мою девицу, которая только что прибыла из Редриффа водой [131]. Они встретились лицом к лицу, так что Эми не могла прикинуться, будто ее не узнала, тем более, что сама первая на нее взглянула: отвернув от нее свое лицо с презрением, Эми сделала вид, будто намерена пройти мимо; девица, однако, остановилась, и, начав со всевозможных учтивостей, заговорила первая.

Эми отвечала ей холодно и даже с сердцем; после того, как они обменялись несколькими словами на улице, девица сказала, что госпожа Эми как будто на нее сердита и даже не желает с нею разговаривать. «Как же вы можете думать, — отвечает на это Эми, — что я захочу с вами говорить, когда вы, после всего, что я для вас сделала, так дурно со мной поступили?» Девица же, пропустив слова Эми мимо ушей, продолжала: «Я как раз ехала, чтобы нанести вам визит», — сказала она. «Нанести мне визит? — воскликнула Эми, — что вы имеете в виду?» «Да только то, — отвечает девица с некоторою развязностью, — что собиралась приехать к вам, туда, где вы живете».

Эми была взбешена до последней степени, но решила, что сейчас не время показывать той свое раздражение, ибо в душе своей она вынашивала гораздо более жестокий замысел; об этом ее роковом замысле я узнала лишь после того как он был приведен в исполнение, ибо Эми не смела поделиться им со мною. Поскольку я строго-настрого заказала, чтобы та и волоска ее не смела коснуться. Эми решилась принять свои меры, более не советуясь о том со мною.

Итак, лелея свой замысел, Эми скрыла, сколько могла, свое раздражение, и отвечала ей со всей учтивостью; когда же та сказала, что собиралась навестить ее в ее доме, Эми молча улыбнулась, а затем крикнула лодку, чтобы ехать в Гринвич [132]; поскольку та собиралась ее проведать, сказала она, почему бы им не сесть в лодку вместе? Она (Эми) как раз собиралась к себе домой и у нее там никого сейчас нет.

Все это Эми проделала с такой невозмутимостью, что девица совершенно растерялась и не знала, что сказать; но чем она была нерешительнее, тем настойчивее Эми приглашала ее к себе: становясь с каждым словом любезнее, Эми, наконец, предложила ей, если та не хочет к ней заходить, прокатиться с нею, обещав оплатить лодку на обратный путь; словом она убедила ее сесть с нею в лодку и повезла ее в Гринвич.

В Гринвиче у Эми, разумеется, дел было не больше, чем у меня, иначе говоря, — никаких; да она туда и не собиралась; но дерзость и назойливость моей девицы не давали нам покою; я же была совершенно, как затравленная.

В лодке Эми принялась упрекать ее в неблагодарности и грубости, напомнив ей, сколько она для нее сделала и как она была к ней всегда неизменно добра. Что она этим выиграла, спрашивала Эми, и чего добивается такими своими поступками? Затем она перевела разговор на меня, на леди Роксану. Эми всячески вышучивала девицу и, подтрунивая над нею, спросила, обнаружила ли та свою леди Роксану или нет.

Однако ответ девицы поразил Эми и привел ее в ярость. Та спокойно поблагодарила ее за все, что она для нее сделала, но тут же прибавила, что она не такая дурочка, как думают, и прекрасно знает, что она (Эми) всего лишь выполняла поручения ее (девицыной то есть) матушки, которой она и обязана благодарностью за все. Она прекрасно знает, продолжала она, кто такая она (Эми) и кому служит. Нет, сказала девица, негоже смешивать орудие с тем, в чьих оно находится руках, и она не чув-

ствует себя обязанной благодарностью той, что всего лишь исполняла волю своей госпожи. Она прекрасно знает леди *** (здесь она назвала фамилию моего теперешнего мужа), продолжала она, и предоставляет собеседнице судить из этого, удалось ли ей выяснить, кто ее матушка.

Услышав все эти речи, Эми от души пожелала, чтобы девица очутилась на самом дне Темзы: рассказывая мне обо всем, она клялась, что, кабы не гребцы и кабы не люди на берегу, она непременно тогда же и бросила бы ее в воду. Когда она рассказала мне всю эту историю, я пришла в крайнее расстройство чувств и подумала, что все это в конце концов приведет к моей гибели; но когда Эми заговорила о том, что хотела бросить ее в реку и утопить, я пришла в ярость, обрушилась на Эми и даже поссорилась с ней. Эми пробыла у меня тридцать лет и во всех моих невзгодах показала себя таким верным другом, какого вряд ли когда имела женщина, — я имею в виду ее верность мне; ибо каким бы грешным существом она ни была, мне она всегда была преданным другом; и даже это ее бешенство было вызвано заботой обо мне и боязнью, как бы я не попала в беду.

Но так или иначе, я не могла равнодушно слышать о ее намерении убить бедную девочку и, придя в неистовство, встала и велела ей убираться с глаз долой и больше никогда не появляться в моем доме: слишком долго я ее терпела, сказала я, и не желаю ее больше видеть. Я и раньше говорила ей, что она убийца, кровожадная тварь; ведь ей известно, что мне одна мысль о том нестерпима, тем более — разговоры: свет не видывал такой наглости, как она только смеет предлагать мне такое? Ведь ей-то прекрасно известно, что я в самом деле мать этой девушки, что это мое родное дитя! Исполни она то, что задумала, сказала я, она совершила бы величайший грех, но, видно, она полагает меня в десять раз греховнее, чем она сама, коли рассчитывает при этом еще и на мое согласие: моя дочь совершенно права, сказала я, мне не в чем ее укорять, и одна лишь порочность моей жизни вынуждает меня от нее скрываться; но я ни за что не стала бы убивать свое дитя, пусть даже мне пришлось бы из-за нее погибнуть самой. Эми мне отвечала в довольно резком тоне.

— Ах, не стали бы? — сказала она. — Ну, а я непременно так бы и сделала, был бы только случай!

На это-то я и велела ей убираться с глаз долой и вообще покинуть мой дом; дело зашло так далеко, что Эми, собрав пожитки, пошла прочь и, как будто, навсегда. Но об этом в своем месте; а сейчас я должна вернуться к рассказу о ее поездке с моей дочерью в Гринвич.

Всю дорогу они спорили и ссорились; девушка упорствовала в своем убеждении, что я ее мать, и рассказала Эми всю историю моей жизни на Пел-Мел, и не только ту часть ее, свидетельницей какой она была, но и последующую, когда ее рассчитали; более того, она не только знала, кто мой муж, но и где он жил прежде, а именно — во Франции, в Руане. О Париже, а также о месте, где мы намеревались поселиться теперь, то есть о Нимвегене, она не знала ничего; однако если она не разыщет меня здесь, сказала она Эми, то последует за мною в Голландию.

Они вышли в Гринвиче, и Эми повела ее в парк, где они гуляли больше двух часов, причем в самых отдаленных и глухих его закоулках: Эми выбрала эти места оттого, что разговор у них был бурный и прохожие могли заметить, что они ссорятся.

Так они шли, покуда не очутились в зарослях, что в южном конце парка; заметив, что Эми ведет ее туда, в лес, девушка остановилась и объявила, что не хочет забираться в чащу и дальше не пойдет.

Эми с улыбкой спросила ее, в чем дело. Та резко ответила, что не знает, где они находятся, куда ее заводят и, словом, что дальше она не пойдет, после чего без дальнейших церемоний поворачивается спиной к Эми и быстрым шагом идет от нее прочь. Эми выразила удивление и пошла вслед за ней; когда она окликнула ее, та остановилась, и Эми, догнав ее, спросила, что все это значит?

Девица дерзко отвечала, что — почем знать? — быть может, Эми намерена ее убить. Коротко говоря, она ей не доверяет, сказала девица, и больше никогда и никуда с ней не пойдет.

Эми была сильно раздосадована, однако, — хоть и не без труда — сдержалась: иначе ведь все пошло бы прахом; она стала вышучивать нелепые подозрения девушки, сказав, что той нечего ее бояться, что она не намерена причинить ей вреда, а, напротив, могла бы сделать ей много добра, если бы та того пожелала; но поскольку та так капризна и переменчива в своих настроениях, то пусть себя больше не утруждает, ибо она (Эми) никогда больше не пустит ее себе на глаза: таким образом, заключила она, та будет повинна не только в собственной погибели, но и в погибели своих брата и сестры.

После этих слов девица немного поумерила свой пыл; за себя она не боится, сказала она, на ее долю выпало довольно всякого и она готова вновь искать свое счастье; однако было бы весьма несправедливо, чтобы из-за нее пострадали ее брат и сестра, сказала она и прибавила несколько слов, исполненных должного чувства. Эми сказала, что в этом деле все зависит от нее самой, и советовала ей как следует обо всем подумать; она же, Эми, намеревалась помочь им всем, но поскольку с нею так обходятся, не станет больше ничего делать ни для одного из них. В заключение Эми сказала, что той нечего бояться ее общества, ибо она, Эми, с нею больше не встретится. Последнее, между прочим, оказалось неправдой, ибо после этой прогулки девица, на свою беду, все же отважилась еще раз встретиться с Эми — но об этом я расскажу отдельно.

Дальнейшая беседа, впрочем, продолжалась в более спокойном тоне, и Эми привела девицу в дом в Гринвиче, где у нее были знакомые, и под каким-то предлогом оставив мою дочь на время одну, переговорила с обитателями дома, прося их подтвердить, если придется, что она здесь проживает; затем, возвратившись к своей гостье, объявила ей, что это и есть дом, в котором она арендует комнаты и что здесь она может ее найти, если ей будет угодно, либо прислать кого-нибудь с поручением к ней. На этом Эми распростилась с девчонкой и таким образом от нее избави-

лась; затем, кликнув наемную карету, отправилась в Лондон; девица же, спустившись к набережной, села в лодку.

Встреча эта, впрочем, не привела к цели, которой Эми добивалась, ибо ей не удалось отговорить девицу от ее намерения меня разыскать; и хоть неутомимый мой друг квакерша водила ее за нос в течение трех или четырех дней, сведения, которые от нее поступали, заставили меня решиться покинуть Тэнбридж. Но куда двинуться, я не знала; в конце концов, я переехала в небольшую деревню на опушке Эппингского леса под названием Вудфорд [133], арендовала комнаты в частном доме и там прожила около шести недель в надежде, что, отчаявшись меня найти, моя девица к этому времени бросит свои розыски.

Здесь я получила от моей верной квакерши отчет; в нем говорилось, что девица и в самом деле наведывалась в Тэнбридж, разыскала дом, в котором я там жила, и в самых горестных тонах поведала его обитателям свою историю; затем последовала в Лондон, куда мы, по ее мнению, удалились: однако квакерша заверила ее, что ей ничего не известно о наших передвижениях — кстати, это была истинная правда. В заключение квакерша советовала ей угомониться и перестать выслеживать, точно воров, людей с таким положением в обществе, как наше; раз я не проявляю желания ее видеть, говорила она, то никакие силы не вынудят меня к такой встрече; между тем ее назойливость может лишь окончательно меня рассердить. Такими-то речами она пыталась ее утихомирить. Мне же она высказала надежду, что эта молодая особа не станет больше причинять мне беспокойства.

Примерно тогда же Эми и рассказала мне о своей поездке в Гринвич и намерении утопить и убить мою девицу во что бы то ни стало, чем, как я уже говорила, привела меня в неописуемую ярость, и я прогнала ее прочь, так что она уехала, даже не соизволивши меня известить, куда или хотя бы в какую сторону держит путь. Я же, по размышлении, поняла, что отныне лишилась помощницы и наперсницы, и что, не считая моего друга квакерши, мне не от кого теперь получать сведения: так что я была в большой тревоге.

День за днем я ждала и гадала, все еще надеясь, что Эми одумается и вернется, или хотя бы подаст о себе какую-нибудь весточку; но прошло десять дней, а от нее — ни слуху, ни духу. Я вся извелась и не знала покоя ни днем, ни ночью. Что мне было делать? Ехать в город к квакерше я не смела, боясь нарваться на это несносное существо, мою дочь; с другой стороны, живя в деревне, я была от всего отрезана и не знала, что происходит; наконец я надумала попросить мужа послать карету за квакершей, сказав, что очень по ней соскучилась.

Когда она приехала, я не смела ее ни о чем расспрашивать и не знала, как подступиться; но она сама тотчас принялась мне рассказывать, что девушка приходила к ней три или четыре раза, пытаясь узнать что-либо обо мне; она так ей досаждала, что квакерша в конце концов даже немного на нее рассердилась и прямо ей сказала, чтобы та не пыталась меня разыскать при ее (квакерши) посредстве, ибо даже если бы она что и

знала, то не стала бы ей рассказывать; после чего та на некоторое время оставила ее в покое. Однако, продолжала квакерша, я поступила неосторожно, послав за нею собственную карету, ибо у нее есть основания думать, что она (моя дочь) следит за ее дверью днем и ночью: да и не только за дверью, а за каждым движением квакерши, за каждым ее приходом и уходом; ибо девица была полна решимости меня выследить и не щадила никаких усилий и, по мнению квакерши, даже арендовала комнату где-то поблизости от ее дома.

Но у меня едва хватило терпения ее выслушать, так жаждала я расспросить ее об Эми; когда же она сказала, что ей ничего о той неизвестно, я была совсем сражена. Невозможно и выразить все тревожные мысли, которые одолевали меня; главное же — я без конца корила себя за опрометчивость, с какою прогнала столь верную душу, которая столько лет была мне не только служанкой, но и доверенным лицом, и не только доверенным лицом, но и преданнейшим другом.

Я не могла также не думать о том, что Эми известны все мои тайны; что она участвовала во всех моих интригах, что во всем, что я делала и дурного, и доброго, она принимала самое деятельное участие, и что с моей стороны это, кроме всего прочего, весьма опасный шаг; я обошлась с ней жестоко и невеликодушно, тем более, если вспомнить, что все ее вины происходили от ее привязанности ко мне и чрезмерной заботы о моем благополучии; теперь мне оставалось лишь уповать на то, что эта самая ее любовь ко мне и великодушная дружба удержат ее от того, чтобы отплатить мне злом за то зло, что я причинила ей: ведь я была целиком в ее власти, и она легко могла меня погубить совершенно.

Все эти мысли смущали меня несказанно, и я просто не знала, что и предпринять. Я уже стала совсем отчаиваться когда-либо ее увидеть, ибо вот уже более двух недель, как она меня покинула: а поскольку она взяла с собою все свои пожитки, а также деньги — а их у нее было немало — то у нее и не было причин возвращаться; никакого адреса, куда она переехала, никакого намека, в какой части света ее разыскивать, она не оставила. Беспокоило меня также еще одно обстоятельство, а именно, что мы с супругом порешили щедро вознаградить Эми, не принимая в расчет тех денег, какие она могла отложить сама; но мы не успели поделиться с нею нашим намерением, так что у Эми было еще одной причиной меньше вернуться ко мне.

Все это вместе взятое — беспокойство, причиняемое мне девчонкой, которая шла за мной по пятам, как гончая собака, напавшая на горячий след и потом потерявшая его, все это, говорю, вместе с исчезновением Эми заставило меня принять решение как можно скорее ехать в Голландию: там, и только там, думала я, обрету я желанный покой. И вот однажды я сказала своему супругу, что боюсь, как бы он не рассердился на меня за то, что я ввела его в заблуждение, и что я сама уже начинаю сомневаться, будто забрюхатела: а раз так, сказала я, и поскольку вещи наши давно уже уложены и все подготовлено для отъезда в Голландию, то я готова ехать с ним в любой день, какой он назначит.

Супруг мой, которому было все равно, ехать ли или оставаться, предоставил все это на мое усмотрение: я же, поразмыслив немного, начала собираться к отъезду. Но, увы! — я пребывала в крайней нерешительности. Без Эми я была как без рук: она была моим управляющим, она следила за моей рентой (то есть за процентами с моего капитала), она вела счета, — словом, занималась всеми моими делами: без нее я не могла ничего — ни ехать, ни оставаться. Меж тем в это самое время случилось одно происшествие, касавшееся до Эми и напугавшее меня так, что я уехала — и притом без нее — в величайшем смятении и ужасе.

Я уже рассказывала, как ко мне приезжала квакерша и сообщила, что моя дочь ведет за нею неусыпное наблюдение и что она днем и ночью следит за ее домом. В самом деле, та приставила шпиона, который так успешно за нею (квакершею) следил, что она и шагу не могла ступить без того, чтобы той не стало известно.

Это стало слишком ясно, когда на другое утро после приезда квакерши (которую я оставила у себя ночевать), к моему несказанному удивлению, у моего домика остановилась наемная карета, в которой я увидела мою дочь. По счастливому стечению обстоятельств — хоть во всем прочем они складывались весьма для меня несчастливо — муж в то самое утро велел заложить карету и укатил в Лондон. Что до меня, то я не знаю, как только у меня душа с телом не рассталась; я так была поражена, что не знала, ни что сказать, ни как поступить.

Находчивая квакерша, однако, сохранила присутствие духа и спросила, нет ли у меня знакомых среди соседей. Я ответила ей, что да, совсем рядом живет дама, с которой я сдружилась и была на короткой ноге. «Да, но можешь ли ты к ней проникнуть, не выходя на улицу, задами?» — спрашивает квакерша. В нашем доме и в самом деле была дверь, выходящая в сад, которою мы обычно пользовались. «Отлично, — говорит моя квакерша, — выйди в таком случае через эту дверь и отправляйся к своей приятельнице, остальное же предоставь мне». Я тотчас выбежала, сказала соседке (ибо мы в самом деле были очень коротки), что я сегодня вдовствую, поскольку муж мой уехал в Лондон, и что я пришла к ней не просто с визитом, а на целый день, так как к моей хозяйке приехали какие-то люди из Лондона. Итак, сочинив эту правдоподобную ложь, я извлекла из сумки, которую принесла с собой, рукоделие, говоря, что не намерена целый день сидеть сложа руки.

В то время как я вышла в одну дверь, мой друг квакерша подошла к другой — встречать незваную гостью. Девица моя без дальних церемоний приказала кучеру позвонить у ворот, а сама меж тем выходит и направляется к двери дома; одна из деревенских девушек (прислуживавших в доме, ибо моим служанкам квакерша запретила выходить) открывает дверь. Гостья объявляет, что хочет видеть госпожу такую-то, называя мою квакершу, и служанка просит ее войти в дом. Затем квакерша, видя, что отступление бесполезно, тотчас направляется к ней, придав, однако, своему лицу выражение самое суровое, а так как серьезность ей была свойственна, то ей это вполне удалось.

Войдя в небольшую гостиную, куда к этому времени мою девицу провели, она хранила суровое выражение лица, но не проронила ни слова; дочь моя тоже заговорила не сразу. Наконец, она прервала молчание.

— Надеюсь вы меня узнаете, сударыня? — спросила она.

— Да, — говорит квакерша, — я тебя знаю.

И в таком-то духе они продолжали свой диалог.

Девица: Следовательно, вам также известно, по какому делу я сюда прибыла?

Квакерша: Отнюдь нет, я не знаю, какое у тебя может быть ко мне здесь дело.

Девица: По правде сказа́ть, дело мое касается в основном не вас.

Квакерша: Зачем же ты тогда выбралась так далеко для встречи со мною?

Девица: Вы знаете, кого я ищу. (Здесь девица заплакала.)

Квакерша: Зачем же ты следуешь за мною, когда я, как тебе известно, не раз говорила, что знать не знаю, где она?

Девица: Я надеялась, что вы все же знаете.

Квакерша: Следовательно, ты надеялась, что я говорила неправду, а это грешно.

Девица: Я уверена, что она находится в этом доме.

Квакерша: Если ты так полагаешь, можешь спросить обитателей дома. Итак, ко мне у тебя больше никаких дел нет. Прощай. (Делает движение к дверям).

Девица: Я не хотела бы показаться неучтивой. Позвольте мне ее видеть, умоляю вас!

Квакерша: Я здесь в гостях у своих друзей и с твоей стороны совсем неучтиво меня преследовать.

Девица: Я приехала в надежде добиться окончательного решения в важном для меня деле, о котором вы знаете.

Квакерша: Ты приехала сюда совершенно понапрасну, говорю я; и я посоветовала бы тебе ехать назад и успокоиться; я намерена держать слово, которое я тебе дала, — не принимать никакого участия в этом деле и, даже если мне что станет известно, не давать тебе об этом отчета — разве что получу особое на то распоряжение от миледи ***.

Девица: Кабы вы знали, в каком я горе, вы не были бы так жестоки ко мне!

Квакерша: Ты мне рассказывала свою историю и, по моему мнению, было бы бóльшей жестокостью сказать тебе, где она, чем не говорить; ибо она, насколько я понимаю, не желает тебя видеть и отрицает, что ты ее дочь. Неужели ты будешь настаивать, чтобы чужие люди признали тебя родной?

Девица: Ах, если бы мне только с нею поговорить! Я бы доказала ей наше родство, и она бы не могла его отрицать.

Квакерша: Да, но, насколько я понимаю, тебе с ней не удастся поговорить.

Девица: Я надеюсь, что вы скажете, мне, здесь ли она. Мне достоверно известно, что вы сюда приехали повидаться с нею и что она сама за вами прислала.

Квакерша: Удивляюсь, как это тебе может быть достоверно известно. Если я приехала повидаться с нею, значит ты ошиблась домом, ибо, уверяю тебя, в этом доме ее нет.

Девица стояла на своем с величайшим упорством и при этом горько плакала, так что сердце моей бедной квакерши даже смягчилось и она уговаривала меня подумать, и, если только это возможно, встретиться с нею и ее выслушать; это, впрочем, было потом. Возвращаюсь к их разговору.

Квакерша долго с нею возилась; та стала говорить, что отправит карету в Лондон, а сама заночует где-нибудь в деревне. Квакерша понимала, что это было бы чрезвычайно для меня неудобно, но не смела и слова сказать; но вдруг ее осенила дерзкая мысль, и она решилась на рискованный шаг, который, если бы не достиг желаемого ею результата, оказался бы весьма опасным.

Она сказала ей, что отправить карету назад она вольна, но что найти пристанище в деревне ей вряд ли удастся; но поскольку она приехала в место, где у нее нет никого знакомых, она, квакерша, готова оказать ей дружескую помощь и спросит хозяев дома, нет ли у них свободной комнаты, в которой та могла бы переночевать; иначе, если она отпустит карету и не найдет ночлега, неизвестно, как она доберется до Лондона.

Это был шаг хитроумный, хоть и опасный, однако он удался вполне, ибо совсем сбил девицу с толку, и она решила, что меня и в самом деле здесь нет: иначе, рассудила она, квакерша не предложила бы ей здесь заночевать; так что она со временем отказалась от мысли остаться в этой деревне и сказала — нет, раз так, то она сегодня же вернется, но через два-три дня опять сюда приедет и обшарит все окрестности, даже если ей придется на это потратить неделю или две; словом, заключила она, в Англии ли я или в Голландии, а она меня все равно разыщет!

— В таком случае, — заметила ей на это квакерша, — ты из-за меня потерпишь изрядный убыток.

— Как так? — спрашивает девица.

— Да ведь если ты будешь следовать за мною, куда бы я ни поехала, ты потратишь много денег и только понапрасну будешь беспокоить людей.

— А, может, не понапрасну, — говорит та.

— Уверяю тебя, что понапрасну, — говорит квакерша. — Ибо цели своей ты не достигнешь все равно. Мне же, видно, придется сидеть дома и никуда не выходить, чтобы избавить тебя от излишних трат и путешествий.

На это девица ответила, что постарается ее тревожить как можно меньше; но что иногда ей придется ее беспокоить, и она надеется, что та ее простит. Моя квакерша на это сказала, что еще охотнее простила бы ее, если бы та воздержалась от посещений; и еще раз заверила ее, что через нее та ничего обо мне не узнает.

Девица опять в слезы; однако, успокоившись через некоторое время, она сказала, что та ошибается; и что ей (квакерше) следует остерегаться, ибо она — вольно или невольно — все же кое-какие сведения обо мне ей дает; так, она не жалеет о своей поездке сюда, ибо если меня и нет в этом доме, то я должна быть где-то поблизости; и если я во-время не переведу, она меня разыщет. «Отлично, — говорит моя квакерша, — следовательно, если эта особа не желает тебя видеть, ты даешь мне возможность ее предупредить, дабы она могла не попадаться тебе на глаза».

На это девица пришла в ярость и сказала ей, что, если та меня предупредит, она, квакерша, будет проклята, и она, и ее дети, и призвала такие страсти на ее голову, что бедная мягкосердечная квакерша пришла в неизъяснимый ужас и была в таком расстройстве чувств, в каком я никогда прежде ее не видела; так что она решила ехать домой в следующее же утро, а я, которую все это растревожило в десять раз больше, чем ее, думала и сама за нею последовать в Лондон; поразмыслив, впрочем, я решила воздержаться от такого шага и только приняла меры к тому, чтобы моя девица, если вновь сюда заявится, меня не застала, и чтобы никто ей не говорил, что я здесь: впрочем, она не давала о себе знать довольно долгое время.

Я оставалась здесь примерно две недели и все это время больше о ней ничего не слышала, и от квакерши не было никаких весточек: но еще два дня спустя пришло письмо, в котором квакерша намекала, что у нее есть нечто важное мне сообщить, причем такое, чего она не может написать в письме, и просит меня не полениться и съездить к ней; она советовала мне подъехать в карете к Гудманс-филдс, а затем пешком подойти к черному ходу в ее доме, дверь которого будет нарочно для этого оставлена открытой; таким образом, если известная нам любопытная особа и поставила своего шпиона стеречь дом, она не узнает о моем прибытии.

Все это время я была настороже, и малейший пустяк вызывал у меня тревогу, так что послание квакерши вовсе меня переполошило, и я пребывала в великом беспокойстве; но мне никак не удавалось повернуть дело так, чтобы убедить мужа в необходимости моей поездки в Лондон; ибо ему эти места пришлись весьма по душе, и он был склонен, если только я согласна, сказал он мне, остаться здесь подольше; я написала другу моему квакерше, что не могу покуда выехать в город; к тому же мне претит, писала я, мысль, что я там буду под неусыпным надзором шпионов и не посмею носа высунуть. Словом, я отложила свою поездку еще на две недели.

К концу этого срока она написала мне вновь, сообщая, что за последнее время не видела назойливую особу, которая доставила нам столько беспокойства; зато она встретила мою верную Эми, которая сказала ей, что все эти шесть недель она проплакала, не переставая; затем она рассказала квакерше, сколько неприятностей причиняет мне эта девица и как по ее милости я вынуждена была переезжать с места на место, так как та всюду меня преследовала; и в заключение Эми сказала, что, хоть я на нее и сердита и весьма жестоко с нею обошлась за то лишь, что она по-

зволила себе высказать свое мнение по этому поводу, все же совершенно необходимо эту девицу обезопасить и убрать с дороги; словом, не испрашивая ни моего разрешения, ни чьего-либо другого, она примет меры к тому, чтобы та никогда более не досаждала ее госпоже (то есть мне); и в самом деле, писала квакерша, после этого разговора с Эми она больше не слыхала ничего о молодой особе; так что, полагала она, Эми успешно справилась со своей задачей и можно считать, что с этой историей покончено.

Эта невинная и благородная душа, олицетворение доброты и мягкосердечия, в особенности, когда дело касалось до меня, ничего зловещего не усмотрела в том, что мне сообщила; она просто решила, что Эми удалось каким-то образом утихомирить девицу и наставить ее на ум, так что та согласилась больше не досаждать мне своими преследованиями; чуждая всяким дурным помыслам сама, квакерша не подозревала зла в других и с великою радостью писала мне об этой, по ее мнению, хорошей вести; я-то эту весть приняла совсем по-другому.

Меня ее письмо сразило, как громом небесным; я вся задрожала с ног до головы и стала метаться по комнате, как безумная. Мне не с кем было поговорить, и чувства мои рвались наружу, не находя выхода; долгое время я не могла даже рта открыть, так я была убита. Наконец я бросилась на постель и закричала: «Помилуй меня, господи, она убила мое дитя!» Слезы хлынули потоком, и целый час или более я громко, не переставая, рыдала.

К счастью, мой муж был это время на охоте, так что, дав волю своим чувствам в одиночестве, я понемногу начала приходить в себя. Но как только кончились слезы, меня охватила новая вспышка ярости против Эми; в этой женщине, говорила я себе, сидит тысяча чертей, чудовищ и диких тигров; я укоряла ее за то, что, зная, как мне это ненавистно, помня, как я сама ей все это высказала, и что после стольких лет ее верной службы и дружбы я чуть ли не в толчки выгнала ее из дома за то лишь, что она открыла мне свой роковой замысел, она все же привела его в исполнение.

Вскоре, однако, возвратился мой муж с охоты, и я постаралась привести себя в порядок, дабы скрыть от него мое состояние; но он был слишком чуток ко всему, что касалось до меня, и сразу заметил, что я плакала и что у меня на сердце какая-то забота; он настаивал на том, чтобы я с ним поделилась своим горем. Я, как бы скрепя сердце, начала ему рассказывать, говоря, что не хотела делиться с ним моим горем не столько от того, что оно так сильно, сколько от стыда, что такой пустяк мог так сильно меня расстроить. Огорчена же я тем, сказала я, что моя камеристка Эми так и не возвращается ко мне; что она так дурно обо мне думает, полагая меня столь злопамятной и все в таком роде; короче говоря, опрометчиво погорячившись, я лишила себя лучшей служанки, какую видывал свет.

— Ну что ж, — сказал он, — если это и есть твоя беда, я думаю, она скоро минет: ручаюсь, что не пройдет и недели, как мы получим весточку от госпожи Эми.

На том пока и кончилось. Однако не для меня; ибо я места себе не находила и пребывала в крайнем страхе; я жаждала что-нибудь узнать о всем этом деле. Наконец, я отправилась к моему верному и неизменному утешителю, квакерше, которая и пересказала мне все, что знала, несколько подробнее; при этом добрая, безгрешная квакерша поздравила меня с избавлением от моей невозможной мучительницы.

— Все это хорошо, — сказала я, — но только я хотела бы знать, что меня от нее избавили, прибегнув к средствам справедливым и благородным; но я не знаю, каким образом Эми этого добилась. А что, как она с ней разделалась совсем?

— Побойся бога! — воскликнула квакерша. — Как только тебе могло такое в голову прийти? Ну, нет! Убить ее? Эми говорила бы совсем иначе, коли разделалась бы с ней таким путем; уж тут ты можешь быть спокойна, поверь. У Эми и в мыслях такого не было, помилуй! — И, слушая добрую квакершу, я и сама решила выбросить эти мрачные мысли из головы.

Но только ничего из этого не вышло; мысли сами так и теснились в моей голове: ни днем, ни ночью я ни о чем другом не могла думать; в душе моей царил ужас, а к Эми, на которую я смотрела как на убийцу, я испытывала столь великое омерзение, что, явись она тогда передо мною, я бы на основании одних лишь подозрений немедленно отправила ее в Ньюгейт [134], а то и еще куда похуже; право же, я, кажется, была бы способна убить ее своими руками.

Что до несчастной девицы, то она все время стояла у меня перед глазами; я ее видела и днем и ночью; теперь, когда она перестала преследовать меня во плоти, образ ее преследовал мое воображение; оно рисовало ее мне в сотнях разных положений и поз; во сне ли, наяву, она все время была со мной. То я ее видела с перерезанным горлом; то с отрубленной головой и проломленным черепом; то ее тело свисало с чердачной перекладины; то она являлась мне в виде утопленницы, всплывшей на поверхность огромного озера в Кемберуэлле [135]. Все эти образы были ужасны; и, что хуже всего, я и в самом деле ничего не могла об ней узнать: я посылала к жене капитана в Редрифф, но та ответила, что она отправилась к своим родственникам в Спитлфилдс. Я послала туда, там сказали, что она, точно, была у них три недели назад, но что уехала в карете вместе с дамой, которая ей все время оказывала покровительство; куда же она уехала, они не знают, ибо та с тех пор у них не появлялась. Я вновь послала к ним гонца с просьбой описать особу, с которой она уехала; описание их было столь исчерпывающим, что не оставляло никаких сомнений: то была Эми, и только она.

Я снова послала в Спитлфилдс сказать, что госпожа Эми, с которой она уехала, рассталась с нею часа через два или три и советовала им приняться за розыски, ибо имела причины опасаться, что ее убили. Я напугала их до невозможности. Они решили, что Эми повезла ее, чтобы вручить ей деньги, и что когда она от той возвращалась, кто-нибудь последовал за ней, ограбил ее и убил.

Этому я, разумеется, не верила ничуть; что бы с нею ни случилось, в этом я не сомневалась, было делом рук Эми и что, короче говоря, Эми ее убила; тем более, что и сама Эми как в воду канула, и это ее отсутствие лишь подтверждало ее вину.

В таком-то состоянии я промаялась больше месяца; но поскольку Эми так и не появлялась, я решила, что пора наконец привести свои дела в порядок и готовиться к отплытию в Голландию; я посвятила в мои дела мою дорогую и верную квакершу и, поставив ее на место Эми, сделала ее своим доверенным лицом в деловых предприятиях; затем, с тяжелой душой и с сердцем, исполненным горя по моей несчастной девочке, я села на торговое судно, — не на то, на котором мы собирались плыть прежде, но и не на пакетбот — и со своим супругом, со всем нашим добром и прислугою благополучно прибыла в Голландию.

Я должна, однако, оговориться, дабы вы не поняли из моих слов, будто я посвятила моего друга квакершу в тайны моей прошлой жизни; не сообщила я ей также главной моей тайны, а именно, что я в самом деле являлась матерью той девушки, иначе говоря, — леди Роксаной; не было никакой нужды открывать эту часть дела; я всегда придерживалась правила — без особой надобности никогда никому не открывать своих тайн. Такая откровенность с моей стороны не послужила бы ни к моей пользе, ни к ее собственной, более того, она могла бы причинить мне вред; ибо, как ни любила меня квакерша, — а она явила мне достаточно свидетельств своей преданности, — но честность не позволила бы ей в случае нужды лгать за меня, как то делала Эми; поэтому не было никаких оснований сообщать ей о той поре моей жизни; ибо, если бы моя девица или еще кто-нибудь к ней потом пришел и спросил бы ее напрямик, известно ли ей, что я ее мать или нет, или что я и есть та самая леди Роксана, она либо не стала бы это отрицать, либо отпиралась бы так неловко, краснея и запинаясь на каждом слове, что ни у кого уже не оставалось бы сомнений, и она выдала бы себя с головой, а заодно и мою тайну тоже.

По этой причине, говорю, я не стала открывать ей вещи подобного рода, в других же отношениях, денежных и деловых, она вполне заменила мне Эми и была столь же мне верна, как та, и не менее, чем та, прилежна.

Но здесь у меня возникла большая трудность, и я не знала, как ее преодолеть: кому поручить доставку очередных припасов провизии, а также денег для того дядюшки и другой моей дочери, которые — особенно последняя — целиком зависели от моей помощи? Правда, Эми сказала в запальчивости, что перестанет помогать и той сестре и бросит ее на произвол судьбы, но это не было ни в моей природе, ни в природе самой Эми, и я вовсе не намеревалась привести ее угрозу в исполнение; поэтому я решила поручить устройство этого дела верной квакерше, но трудность заключалась в том, как ей всё это объяснить.

Эми в свое время объявила им всем, что она не является матерью этих детей, а всего лишь служанкой, которая отвела их к тетке; что затем она вместе с их матерью уехала в Индию искать счастья, что там им выпала большая удача и что их матушка очень богата и счастлива; что

сама она (Эми) вышла замуж в Индии, но, овдовев, решила вернуться в Англию; воспользовавшись тем, их матушка просила разыскать детей и сделать для них все то, что Эми и сделала; теперь же она намерена возвращаться в Индию, сказала она; но матушка поручила ей всех как следует обеспечить; словом, Эми сказала, что ей поручено каждому выдать по 2 000 фунтов при условии, что они будут придерживаться твердых правил и изберут себе достойных супругов, а не первых попавшихся проходимцев.

Я решила также вознаградить сверх всякой меры честное семейство, в котором воспитывались мои дети; по моему поручению Эми сообщила им и об этом, обязав моих дочерей подчиняться их распоряжениям попрежнему и смотреть на этого честного человека как на отца и советника; его же просила обращаться с ними, как если бы они и в самом деле были его родными детьми. А чтобы его как следует обязать о них заботиться и, помимо того, желая обеспечить и ему и жене его спокойную старость за всю их доброту к сироткам, такую же сумму в 2 000 фунтов я закрепила за ними, вернее, назначила им до конца их жизни ежегодную ренту с этой суммы в 120 фунтов с тем, чтобы основной капитал по их смерти перешел к моим дочерям. Эми так мудро всем этим распорядилась, что я была ею довольна, как никогда. В таком-то положении, оставив моих дочерей на попечении доброго старика, она их и покинула, чтобы ехать, как они полагали, ко мне в Индию, а на самом деле, чтобы приготовить все к нашему отъезду в Голландию; в таком-то положении находились дела, когда эта несчастная девушка, о которой я так много рассказываю, расстроила все наши планы, и, как вы уже слышали, с упорством, какого не удавалось поколебать ни уговорами, ни угрозами, стала преследовать меня (считая себя моею дочерью) и, как я уже рассказывала, подвела меня к самому краю пропасти: по всей видимости, она бы в конце концов меня настигла, если бы Эми в своем неистовстве с ней не разделалась, прибегнув к средству, о котором я тогда представления не имела и, словом, полностью мне ненавистному.

Несмотря на все это, однако, я и думать не могла об отъезде, оставив неоконченным дело по устройству моих детей, и, как грозилась Эми, из-за неразумности одной дочери, обречь на голод другую, не говоря уже о том, что не могла отказать добрым старикам в обещанном вознаграждении. Короче, я поручила завершить это дело моему верному другу квакерше, которой я рассказала ровно столько, сколько было нужно для того, чтобы доверить ей исполнить то, что обещала Эми; ей же, квакерше, я поручила сказать добрым старикам лишь то, что может сказать лицо, не связанное со мною так близко, как Эми.

С этой целью я первым делом вручила ей все деньги; затем послала ее к честному старику и его жене и устроила их денежные дела; мать их воспитанников, находящаяся в Индии, поручила это дело госпоже Эми, сказала она им; но ей (Эми) пришлось возвращаться в Индию, так и не успев, по причине упрямого норова старшей дочери, довести дело до конца; поэтому она и доверила ей (квакерше) все остальное; та же, упрямая де-

вица, так ее обидела, что она (Эми) уехала, ничего для нее в конце концов не сделав; теперь же, если можно будет что сделать, то лишь по получении новых указаний из Индии.

Нечего и говорить о том, как добросовестно исполнила все мои поручения мой новый агент — квакерша; сверх же всего, она несколько раз принимала у себя в доме старика и его жену, а также мою вторую дочь, и таким образом я, которая считалась всего лишь постоялицей в этом доме и человеком совершенно посторонним, наконец получила возможность взглянуть на свою младшую дочь, которую видела в последний раз совсем младенцем.

В тот день, когда я решила с ними встретиться, я одела свое квакерское платье и сделалась настолько похожей на квакершу, что никто, увидев меня впервые, не мог бы и предположить, что я когда-либо была иной: да и разговор мой вполне соответствовал моему обличью, ибо я его давно уже усвоила.

У меня нет здесь времени останавливаться на чувствах, какие меня охватили при виде моего ребенка; как я была растрогана; какого несказанного усилия мне стоило перебороть в себе желание открыться ей; как эта девушка оказалась точной копией с меня, но только много красивее; какие у нее были приятные и скромные манеры; как я тут же про себя решила сделать для нее еще больше, чем собиралась, когда поручила заботу о ней Эми, и так далее.

Довольно будет здесь заметить, что, устроив все эти дела, я могла уже ступить на корабль, несмотря на отсутствие моей бывшей наперсницы Эми, которой, впрочем, я оставила кое-какие распоряжения на случай, если она появится, в чем я еще не совсем отчаялась; на этот случай я просила мою добрую квакершу передать ей мою записку, в которой приказывала Эми оставить все спитлфилдские дела в ее (квакерши) руках, а самой отправиться ко мне; последнее, однако, при условии, что та предоставит моему другу квакерше достаточно убедительные доказательства того, что не убила мою дочь; в противном, сказала я, случае я запрещаю ей показываться мне на глаза. Впрочем, несмотря на это, она впоследствии ко мне приехала, не дав при этом моему другу требуемых заверений, и даже не сказав, что собирается ко мне.

Сейчас я ничего не могу прибавить к тому, что, как уже говорилось выше, я благополучно прибыла в Голландию с супругом и нашим сыном, ранее мною упомянутым, и зажила со всем великолепием и пышностью, соответствовавшими нашему положению, о чем я уже говорила.

Здесь, по прошествии нескольких лет, в течение коих я процветала и наружно благоденствовала, меня постигла целая череда страшных бедствий — и меня, и Эми! Гнев небесный обрушился на нас в конце концов за зло, какое мы обе причинили бедной девушке, и я впала в такое ничтожество, что раскаяние мое казалось лишь следствием несчастий, точно так же, как несчастия эти являлись следствием моих преступлений.

ПРИЛОЖЕНИЯ





А. А. ЕЛИСТРАТОВА

ПОСЛЕДНИЙ РОМАН ДЕФО

1

По словам авторитетного исследователя Дефо, Джеймса Сузерленда, для современного читателя XX в. семь восьмых литературного наследия Дефо «безнадежно скрыты под волнами», подобно подводной части гигантского айсберга [1]. Говоря это, Сузерленд имеет в виду главным образом так называемые «смешанные» сочинения Дефо — его многочисленные памфлеты, сенсационные отчеты о появлении «доподлинных» привидений, о небывалых бурях и землетрясениях, политические прогнозы, экономические проекты и т. д. Но в известной мере метафора Сузерленда применима и к посмертной судьбе последнего романа Дефо. Хотя «Роксана» и переиздается в наше время в странах английского языка, она все же заслонена тенью «Робинзона Крузо». Нашим читателям этот роман до сих пор почти неизвестен. А между тем эта книга — последнее крупное беллетристическое произведение Дефо — не только выделяется среди других его романов, во многом отличаясь от них глубиной самораскрытия главного характера и трагической напряженностью сюжета, но, будучи поставлена в связь с общими процессами развития европейской литературы XVIII в., может рассматриваться как один из первых и притом чрезвычайно оригинальных образцов психологического романа нового времени.

«Счастливая куртизанка, или история жизни и всевозможных превратностей судьбы мадемуазель де Бело, впоследствии именуемой графиней де Винтельсгейм Германской, известной во времена Карла II под именем леди Роксаны» вышла в свет в 1724 г., когда автору было уже около шестидесяти четырех лет. Позади была долгая, трудная, полная тяжких испытаний и стремительных взлетов жизнь, которую сам Дефо характеризовал как годы, «проведенные в самых бедственных, скитальческих и горестных обстоятельствах, в какие приходилось попадать человеку. За это время я прожил долгую и удивительную жизнь — в постоянных бурях, в борьбе с наихудшим видом дикарей и людоедов... Я испытал всяче-

[1] *James Sutherland*. Defoe. London, Longmans, Green and C⁰., 1956, p. 6.

ские насилия и угнетения, несправедливые упреки, людское презрение, нападения дьявола, небесные кары и земную вражду; изведал бесчисленные превратности Фортуны, побывал в рабстве хуже турецкого...; попадал в море бедствий, снова спасался и снова погибал, чаще, чем это случалось с кем-либо ранее на протяжении одной человеческой жизни; часто терпел кораблекрушения, хотя скорее на суше, чем на море...»[2]

Этот драматический итог биографии Дефо (которая, по его заявлению, послужила подлинной канвой «удивительных приключений Робинзона Крузо») был, по-видимому, близок к действительности. Писателю, который, вступив в седьмой десяток, оглядывался назад, было что вспомнить. Человек удивительной предприимчивости, энергии и инициативы, сочетавший трезвую наблюдательность с неиссякаемым воображением, рисовавшим ему все новые и новые возможные сферы деятельности, он активно участвовал в политической, экономической и культурной жизни своей страны. В молодости он был замешан в неудавшемся заговоре незаконного сына Карла II, герцога Монмутского[3], собравшего под свои знамена немало ремесленников и неимущих крестьян, «окрыленных мечтой об утверждении утопии всеобщего равенства»[4]. Заговор был разгромлен (1685). Но три года спустя возглавлявший силы политической и религиозной реакции Иаков II Стюарт был низложен, и Дефо, в числе других лондонских бюргеров, торжественно встретил нового короля, Вильгельма III Оранского, прибывшего из Голландии, чтобы занять престол своего тестя. Недолгое царствование Вильгельма III (1689—1702) было для Дефо периодом бурной политической активности: он энергично поддерживает этого «короля-патриота», высмеивает в прозе и стихах его противников и обнаруживает готовность считать государственный переворот 1688 г., приобщивший к власти буржуазные верхи, началом новой благодетельной эры в истории своей страны. Стихотворный памфлет «Чистокровный англичанин» (1701), представлявший собой злую сатиру на английскую аристократию и противопоставлявший личное достоинство — родовой спеси, снискал автору у современников, по мнению некоторых исследователей, едва ли не бо́льшую популярность, чем даже позднейший «Робинзон»[5]. Восемьдесят тысяч экземпляров дешевого издания этого памфлета, как с гордостью рассказывал Дефо, было распродано на улицах. Иные кры-

---

[2] *Daniel Defoe.* Serious Reflections during the Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe. London, Dent, 1899, p. XI—XII.

[3] Герцогу Монмутскому предстояло фигурировать в качестве одного из эпизодических персонажей в романе «Роксана» под именем г-га М—ского.

[4] *А. Л. Мортон.* История Англии. М., «Иностранная литература», 1950, стр. 239. См. также характеристику политических взглядов молодого Дефо в другой книге этого английского историка-марксиста: *А. Л. Мортон.* Английская утопия. М., «Иностранная литература», 1956, стр. 108—111.

[5] Поводом к созданию этого памфлета послужили нападки торийской реакции на «чужеземного» короля-голландца. Дефо столь же сатирически, как позднее и Свифт в «Путешествиях Гулливера», характеризовал мнимую «чистопородность» английской аристократии и доказывал, что подлинное благородство доказывается только личной доблестью.

латые строки этой демократической сатиры не раз вспоминаются при чтении его позднейших романов. Так, например, цинический рассказ Роксаны о том, как покупаются аристократические титулы и в Англии, и на континенте Европы, служит как бы развернутой иллюстрацией сатирического афоризма из «Чистокровного англичанина»: «'Tis Impudence and Money Makes a Peer» (Чтобы стать пэром, нужны наглость и деньги).

Это было, вместе с тем, и время самой кипучей предпринимательской деятельности Дефо. Отец будущего писателя, торговец свечами и мясник, дал сыну хорошее образование, рассчитывая, что тот станет священником пуританской диссидентской общины [6]. Даниэль, однако, наотрез отказался от этой карьеры и окунулся с головой в практическую жизнь. Он вел оптовую торговлю вязаными изделиями, табаком, спиртным; фрахтовал торговые суда; спекулировал земельными участками; был владельцем черепичного завода; интересовался техническими новшествами в водолазном деле; завел даже ферму, где намеревался выращивать мускусных кошек, рассчитывая на поставку доходного «сырья» аптекарям и парфюмерам... Несколько раз он терпел банкротство, но снова становился на ноги. Вильгельм III, по-видимому, оценил литературное дарование, ум и энергию Дефо; писатель вспоминал впоследствии, что королю случалось пользоваться его советами, а королева Мария прибегла к его помощи, когда разбивала новые сады вокруг Кенсингтонского дворца.

Приход к власти партии тори при королеве Анне, вступившей на престол после смерти Вильгельма, поставил Дефо в положение подозрительного и опасного вольнодумца. Мастерски пользуясь оружием сатирической иронии и мистификации, он сумел одурачить своих врагов: его брошюра «Наикратчайший способ расправы с диссидентами» (1702) была первоначально принята многими сторонниками государственной англиканской церкви как сочинение, добросовестно написанное в ее защиту от инакомыслящих «раскольников». Вскоре, однако, обнаружилось, что Дефо в полемических целях пародийно утрировал, доводя их до абсурда, ортодоксальные аргументы столпов англиканской церкви. Против него было возбуждено судебное дело. Дефо пытался скрыться, но был схвачен (правительство объявило за его поимку награду в 50 фунтов стерлингов) и брошен в тюрьму. Кроме того, его трижды выставили у позорного столба. Популярность Дефо в народе была, однако, такова, что, вопреки расчетам правительства, эта гражданская казнь превратилась в триумф писателя: толпы восторженных единомышленников демонстрировали свое сочувствие осужденному; к подножию позорного столба бросали цветы; тут же распространялся и сатирический «Гимн позорному столбу», который Дефо успел написать в тюрьме в разъяснение своих взглядов. За этим триум-

[6] Хотя Дефо и не пожелал стать диссидентским проповедником, в его творчестве обнаруживается тесная связь с традициями демократической пуританской литературы, восходящими к английской революции XVII в. В продолжении «Робинзона Крузо» он с особенной похвалой отозвался о жанре «притчи» или «аллегорической истории», сославшись, в частности, на Бэньяна. — См.: *Defoe.* Serious Reflections, p. 101.

фом, однако, последовала вынужденная тайная капитуляция. Оценив по достоинству способности дерзкого публициста, торийское правительство продолжало держать его в тюрьме (что означало неминуемое разорение Дефо и обрекало его жену и детей на голод и нищету). После секретных переговоров премьер-министру Харли, графу Оксфордскому, удалось заставить Дефо взять на себя роль негласного агента правительства. Под видом коммерсанта или коммивояжера он разъезжал по северной Англии и Шотландии, устанавливая контакты с различными общественными кругами, выясняя их настроения и соотношение политических сил. Как видно из частично сохранившихся донесений [7], Дефо сыграл немалую роль в подготовке и осуществлении акта об Унии 1707 г., включившей Шотландию в состав Соединенного королевства. Как ни тяжела была для Дефо эта двойная жизнь, она обогатила его опытом, далеко не безразличным для его позднейшего творчества. Постоянные разъезды по стране, беседы с людьми самых различных состояний и профессий, необходимость вникать в их скрытые интересы и мотивы их действий обострили его наблюдательность и расширили его кругозор. Что касается английской парламентской системы, то он укрепился в глубочайшем презрении к обеим политическим партиям, которые оспаривали друг у друга власть в тогдашней Англии: «Я видел изнанку всех партий, изнанку всех их притязаний и изнанку их искренности, и, подобно тому, как пророк сказал, что все суета сует и томление духа, так и я говорю о них: все это простое притворство, видимость и отвратительное лицемерие со стороны каждой партии во все времена, при каждом правительстве, при любой перемене правительства... Их интересы господствуют над их принципами» [8].

Одним из замечательных начинаний Дефо-публициста было в эти годы издание политико-экономического журнала «Обозрение», выходившего трижды в неделю на протяжении девяти лет, с 1704 по 1713 г. и составлявшегося единолично самим «мистером Ревью», как именовал себя Дефо [9]. В этом журнале, как и в примыкавших к нему памфлетах, Дефо вступал в полемические схватки, в частности, с самим Свифтом, и вписал важную главу в историю английской журналистики.

Смерть королевы Анны и падение тори означали новый крутой поворот в судьбе Дефо. Негласные «хозяева» Дефо, торийские министры, принуждены были либо бежать из Англии, либо (как Роберт Харли) были заключены в Тауэр по обвинению в государственной измене. Дефо, как пишет его биограф Сузерленд, «оказался почти в таком же одиночестве, как его собственный Робинзон Крузо» [10]. Здоровье его пошатнулось. В автобиографическом памфлете «Воззвание к Чести и Справедливости»

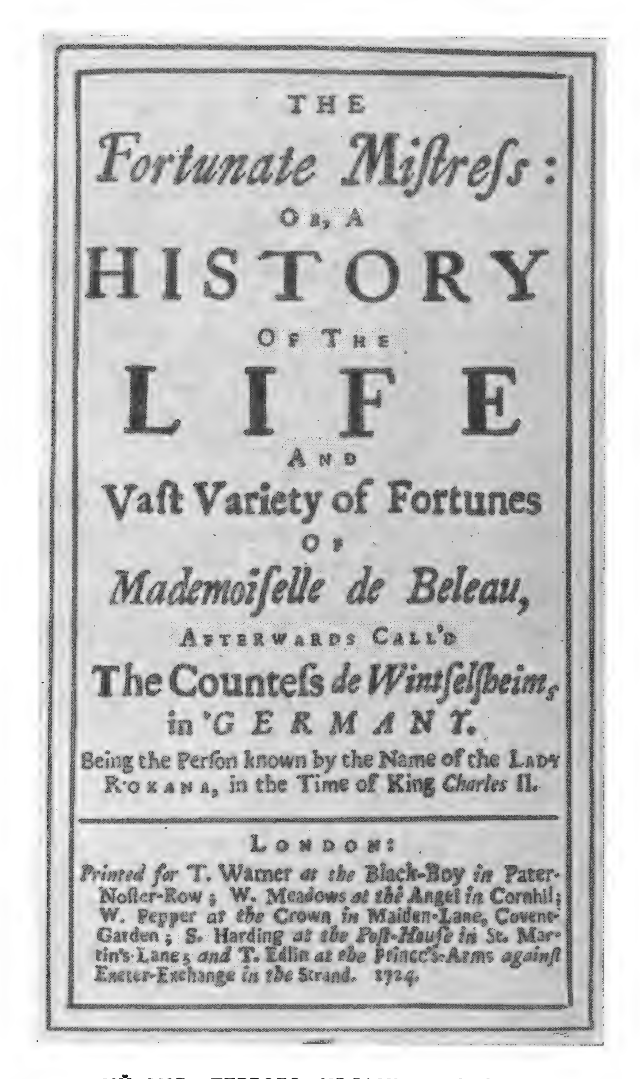
---

[7] «The Letters of Daniel Defoe», ed. by G. H. Heayley. Oxford, Clarendon Press, 1955.

[8] Цит. по кн.: *James Sutherland.* Defoe. London, Methuen, 1937, p. 187.

[9] См. новейшее факсимильное переиздание этого журнала: «A Review...», a complete facsimile edition in 22 vols., ed. for the Facsimile Text Society by A. W. Secord. New York, Columbia Univ. Press, 1938.

[10] *J. Sutherland.* Defoe. London, Longmans, Green and C°, 1956, p. 13.



THE

Fortunate Miſtreſs:

Or, A

HISTORY

Of The

LIFE

And

Vaſt Variety of Fortunes

Of

Mademoiſelle de Beleau,

Afterwards Call'd

The Counteſs de Wintſelſheim,

in GERMANY.

Being the Perſon known by the Name of the Lady Roxana, in the Time of King Charles II.

LONDON:

Printed for T. Warner at the Black-Boy in Pater-Noſter-Row; W. Meadows at the Angel in Cornhil; W. Pepper at the Crown in Maiden-Lane, Covent-Garden; S. Harding at the Poſt-Houſe in St. Martin's-Lane; and T. Edlin at the Prince's-Arms againſt Exeter-Exchange in the Strand. 1724.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ „РОКСАНЫ". 1724 г.

(1715), где он предпринял попытку объяснить свою политическую эволюцию, он писал, что находится «на самом краю великого Океана Вечности». В примечании издателя сообщалось, что автор только что перенес тяжелый апоплексический удар.

А между тем впереди был новый, поистине беспрецедентный взлет творчества Дефо — те «изумительные годы», как называют их его биографы, когда он с поразительной быстротой пишет и издает одну за дру-

гой книги, на которых основывается его всемирная известность. Эти изумительные годы открываются изданием в 1719 г. (когда автору было уже без малого шестьдесят лет) «Удивительных приключений Робинзона Крузо», сенсационный успех которых заставил Дефо поспешно опубликовать в 1719—1720 гг. их продолжение и заключение. Вслед за этим, пробуя себя в различных повествовательных жанрах, он создает «Записки кавалера» (1720) и «Дневник чумного года» (1722) — отдаленные прообразы исторического романа; авантюрный «морской» роман «Жизнь, приключения и пиратства знаменитого капитана Синглтона» (1720); «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс» (1722); «Историю и замечательную жизнь достопочтенного полковника Жака, в просторечии именуемого Джеком-полковником» (1722) — и, наконец, последнюю книгу, выходом которой завершаются эти действительно изумительные годы, — «Роксану» (1724).

На этом цикл больших повествовательных произведений Дефо был закончен. Каковы бы ни были труднообъяснимые психологические причины такого решения, писатель, сохраняя свою редкостную неутомимость, посвящает оставшиеся ему годы жизни другим жанрам. Как истый просветитель, он много занимается вопросами воспитания и образования; издает трехтомное «Путешествие через весь остров Великобританию» (1724—1727), поныне сохраняющее ценность для историков; разрабатывает проект, как «сделать Лондон самым процветающим городом вселенной» (Augusta Triumphans, 1728); составляет руководство для молодых коммерсантов — «Совершенный английский негоциант» (1726—1727). А одновременно, разделяя интерес своей публики к сенсационному, таинственному и «страшному», предлагает ей «Политическую историю дьявола, как древнюю, так и современную» (1726), «Систему магии, или историю чернокнижного искусства» (1727) и «Исследование истории и подлинности привидений» (1727), а также многое другое.

Судеб таких изменчивых никто не испытал;
Тринадцать раз я был богат, и снова беден стал.

В этом «двустишии», как писал Дефо в «Обозрении», он «подытожил превратности своей жизни». Но итог был неполон: на склоне лет его ждали новые испытания. Казалось, неустанные литературные труды обеспечили ему не только популярность, но и покой и достаток. Из шумного Лондона он перебрался с женой и дочерьми в загородный особняк с большим садом и превосходной библиотекой (о составе которой можно судить по объявлению о ее распродаже, напечатанном после смерти Дефо). Но — точно так же, как это бывало в жизни его героев и героинь, — прошлое неожиданно и фатально напомнило о себе: наследница давно умерших заимодавцев, с которыми, как считал Дефо, он поладил еще в 1704 г., когда расплачивался с кредиторами после своего второго банкротства, внезапно возбудила против него иск. Чтобы спастись от конфискации имущества, Дефо, по-видимому, перевел свое состояние на имя старшего сына, а сам бежал, чтобы скрыться от ареста. Последнее из сохранившихся писем, на-

писанное за несколько месяцев до смерти автора, дает представление о смятении и тревоге, которые омрачили закат его бурной жизни. Дефо пишет своему зятю Генри Бейкеру, глухо обозначая свое местонахождение: «около двух миль от Гринвича, в Кенте» [11]. Он пребывает «in tenebris» (во мраке), «под гнетом невыносимой скорби» [12].

Дефо просит передать своей любимой дочери Софии (жене Бейкера), что дух его «был сломлен не тем ударом, который нанес ему злобный, клятвопреступный и презренный враг» (очевидно, подразумевается Мери Брук, наследница его кредиторов). «Она хорошо знает, что мне случалось переносить и худшие несчастья. Нет, несправедливость, недоброта и, я должен сказать, бесчеловечные поступки моего собственного сына — вот что разорило мою семью и, одним словом, разбило мое сердце...; ничто другое не сразило бы и не могло бы сразить меня. Et tu, Brute! [13]. Я положился на него, я доверился ему, я предал в его руки двух милых моему сердцу беспомощных детей; но он чужд сострадания и предоставляет им и их несчастной умирающей матери молить о куске хлеба у его дверей и выпрашивать как милостыню то, что он обязался обеспечить им самыми священными обещаниями, за собственной подписью и печатью; а сам, тем временем, живет в роскоши и изобилии. Простите мне мою слабость, я не могу продолжать; слишком тяжело у меня на сердце» [14].

Это письмо, подписанное: «Ваш несчастный Д. Ф.», датировано 12 августа 1730 г., когда Дефо было около семидесяти лет. 26 апреля 1731 г. он скончался. Малограмотный писец на кладбище в Банхилл-филдс занес в свою конторскую книгу запись о погребении некоего «мистера Денбоу»: жизнь разыграла свою последнюю горькую шутку над великим мистификатором Даниэлем Дефо.

2

«Роксана» во многом следует той жанровой схеме, которая была разработана Дефо в его предшествующих романах. Необходимо, впрочем, оговориться — сам Дефо никогда не пользовался применительно к своей беллетристике этим определением. Ни теория, ни поэтика романа еще не были в ту пору разработаны в Англии; только позднее, начиная с Ричардсона и Фильдинга, этому жанру предстояло занять почетное место в английской литературе. Автору «Робинзона Крузо», «Молль Флендерс» и «Роксаны» казалось необходимым прежде всего сохранить у читателя иллюзию полной достоверности, «всамделишности» всех этих «историй», «дневников» и «записок». Он печатал их как подлинные документы, не ставя на титульном листе своей фамилии. И хотя предисловие к «Роксане» по-видимому отчасти нарушает этот принцип, автор и здесь старается держаться в тени

---

[11] «The Letters of Daniel Defoe», p. 476.
[12] Ibid., p. 474.
[13] И ты, Брут! (*лат.*)
[14] «The Letters of Daniel Defoe», pp. 474—475.

и умалить свою роль, настаивая главным образом на подлинности записок героини; для большего правдоподобия он даже ссылается на то, что был «самолично знаком с первым мужем этой дамы — пивоваром ***, а также с его отцом»!

Сочинитель этих «доподлинных историй» авантюристов обоего пола — пирата Синглтона, карманника Джека-полковника, проститутки и воровки Молль Флендерс, куртизанки Роксаны — во многом опирался на опыт плутовского романа, зародившегося еще в XVI в. в Испании, а затем широко распространившегося и в других странах Европы. Так называемая «пикареска» (от испанского picaro — «плут») давала возможность представить разнообразные и пестрые картины общества, где феодальные связи уже распадались и «интерес чистогана» выступал как основное начало, определяющее взаимоотношения людей; причудливые судьбы «героя», столь же неразборчивого в средствах, как и все, кто его окружает, придавали острый драматизм сюжету.

У Дефо (как и у его французского современника Лесажа, создателя «Жиль Бласа») заметно, однако, стремление углубить и переосмыслить жанровую схему пикарески в соответствии с занимающими их социально-этическими и воспитательными проблемами. В «Робинзоне Крузо» для Дефо важнейшей задачей становится определение потенциала «человеческой природы», поставленной в исключительные по своей трудности условия. Своеобразными «робинзонадами» — экспериментами над нравственным складом, характером и поведением людей, проводимыми уже не на необитаемом острове, но в дебрях и пустынях, именуемых цивилизованным миром, являются и позднейшие книги Дефо [15].

В этой сфере Дефо мог опираться и на отечественную традицию, глубоко укоренившуюся в английской буржуазно-демократической пуританской литературе XVII в., — на так называемую «духовную автобиографию» — разного рода дневники, жизнеописания, исповеди, авторы которых, — как, например, Джон Бэньян в «Изобильной благодати» (1666) — подвергали пристальному самоанализу свое духовное «я», раздираемое противоречивыми побуждениями, борьбой греховных помыслов и соблазнов с раскаянием и просветлением [16].

Склонность к внимательному, даже придирчивому исследованию своих побуждений присуща Роксане в ничуть не меньшей степени, чем предшествующим персонажам Дефо. И хотя ее раскаяние не бывает ни длительным, ни глубоким, она все же искренне гордится своим протестантизмом: «Пусть я и шлюха, я все же шлюха протестантская, и — каковы бы ни были обстоятельства — не могла вести себя как шлюха католическая».

Протестантизм Дефо, который он в известной степени проецирует и в образ Роксаны, носит скорее политический, чем собственно-религиозный

---

[15] О соотношении между плутовским романом и просветительским романом XVIII в., начиная с Дефо, см. в частности, мою книгу: «Английский роман эпохи Просвещения». М., «Наука», 1966.

[16] Этому вопросу посвящена книга: *G. A. Starr.* Defoe and Spiritual Autobiography. Princeton Univ. Press, 1965.

характер. В нем живут отголоски революционных общественных конфликтов XVII в. В сознании английского народа католицизм был ненавистным знаменем неограниченной феодально-абсолютистской монархии (недаром зависимость последних Стюартов от правительства Людовика XIV так усиливала их непопулярность в Англии!). Протестантизм ассоциировался с традициями английской буржуазной революции, казался оплотом английских «свобод». Критические суждения Роксаны о государственном строе и общественных нравах католической абсолютистской Франции во многом созвучны публицистике самого Дефо.

В «Роксане», как и во всем завершаемом ею цикле «историй», автора занимает прежде всего соотношение между характером и обстоятельствами, в которые поставлены его герои и героини. Он с равным интересом рассматривает и ситуации исключительные (многолетнее одиночество на необитаемом острове или жизнь в Лондоне, пораженном чумой), и ситуации массовидные, но не менее устрашающие по своим последствиям — нищету, бесправие, невежество, разврат, преступность, видя в них как гуманист-просветитель уже не столько акт «божественного произволения», сколько общественно-значимые явления, требующие осмысления и исследования.

Его восхищение неисчерпаемым потенциалом «человеческой природы» может показаться безграничным. Дефо славит находчивость, трудолюбие и нравственную силу Робинзона Крузо, мужество и выдержку лондонских горожан, устоявших против чумы; по-своему он любуется даже и пиратской отвагой Сингльтона, и воровской изобретательностью и ловкостью Джека-полковника и Молль Флендерс. Но реализм Дефо проявляется и в той неизменной иронической проверке, какой он постоянно подвергает и поведение, и помыслы своих героев. Он показывает, как уживаются прекраснодушие и практицизм в сознании Робинзона Крузо, как недолговечны приступы раскаяния у Молль Флендерс, каким мастером пиратского «дела» становится благочестивейший квакер Вильям, хитроумно оградивший себя от возможной ответственности распиской в том, что его завербовали в пиратскую шайку насильно...

В «Роксане» это ироническое начало выражено особенно резко и придает особую выразительность лепке характера главной героини.

Автобиография этой «счастливой куртизанки» поражает своей откровенностью, хотя читатель, прельщенный заманчивым титульным листом, обманулся бы в своих ожиданиях, если бы рассчитывал найти здесь соблазнительные альковные сцены и фривольные подробности интимных отношений. В этом смысле записки Роксаны отличаются не только от эротических романов Луве де Кувре или Ретиф де ла Бретонна, но даже от многих рискованных сцен «Памелы» и «Клариссы» высоконравственного Ричардсона своей сдержанностью, даже сухостью. Они заставляют вспомнить любопытные суждения Байрона, который писал в своем дневнике: «...подлинный сладострастник никогда не углубляется мыслью в грубую реальность. Только идеализируя земное, материальное, физическое в наших наслаждениях, вуалируя эти подробности и вовсе о них забывая или

хотя бы никогда не называя их даже самому себе — только так можно уберечься от отвращения к ним» [17].

Для Роксаны, напротив, существенна, собственно, только «грубая реальность» заключаемых ею профессиональных любовных сделок. Для этой «жрицы наслаждений» ее ремесло — прежде всего доходное дело. Немолчный золотой дождь гиней, крон, пистолей, ливров сопровождает своим перезвоном все перипетии ее похождений. Начало и конец каждого эпизода ее воспоминаний сопровождается, как правило, своего рода «инвентарной описью» или краткой сметой: Роксана или подсчитывает свои протори и убытки (как, например, после разорения и бегства ее первого мужа), или — что случается гораздо чаще — перечисляет подарки и денежные доходы, полученные от ее покровителей. По остроумному замечанию М. Э. Новака, посвятившего особое исследование роли экономики в художественном творчестве Дефо, изображение брака Роксаны с ее вторым мужем, голландским купцом, «напоминает слияние двух финансовых корпораций» [18], — так подробно исчислено все, что вносит каждая из двух сторон в общее «дело».

При всем своем женском тщеславии, Роксана гордится своими деловыми способностями ничуть не меньше, чем своими профессиональными «победами». Она с упоением повествует о маскированных балах и приемах, где она, под видом таинственной и обольстительной иностранки, сумела пленить лондонскую знать и даже, как можно угадать по ее намекам, самого короля Карла II. Но ее рассказ о внимании видного лондонского финансиста тех времен, сэра Роберта Клейтона, восхищавшегося ее деловыми способностями и руководившего ее денежными спекуляциями, проникнут не меньшим самодовольством. Она «намерена быть мужчиной среди женщин», с гордостью провозглашает она, когда этот советчик, не подозревающий о ее тайном «ремесле», предпринимает попытку склонить ее к выгодному замужеству.

Сопоставление истории Роксаны с написанной двумя годами ранее историей Молль Флендерс позволяет судить о степени художественной индивидуализации психологического портрета героини последнего романа Дефо.

В обоих случаях перед нами — записки женщины, преступившей общепризнанные нравственные законы общества и с цинической откровенностью рассказывающей о том, как сложилась ее жизнь. Обе они — и Молль, и Роксана — ссылаются в объяснении своего первоначального грехопадения на «наихудшего из всех дьяволов — бедность». Обе непрочь посмеяться над теми, кого им удалось одурачить, и — каждая по-своему — гордятся своей профессиональной искушенностью и сноровкой. Но многое и разделяет их. Прежде всего это, конечно, социальный барьер, с большой точностью охарактеризованный писателем.

---

[17] *Байрон*. Дневники. Письма. М., «Наука», 1965, стр. 77.

[18] *M. E. Novak*. Economics and the Fiction of Defoe. Berkeley and Los Angeles, Univ. of California Press, 1962, p. 133.

Молль Флендерс, дочь каторжанки, родилась в Ньюгейтской тюрьме и если бы не счастливый случай, там же и кончила бы свой век. Ее нищее, сиротское детство озарено единственной заветной мечтой — «стать барыней»; но, как объясняет она, все, что она подразумевала по этим в ту пору, когда ей было восемь лет, означало: работать на себя и не быть вынужденной идти в услужение. А потому она искренне гордилась тем, что уже могла в эти годы заработать в день «три пенса пряжей и четыре пенса шитьем» [19].

Роксана — птица гораздо более высокого полета. Дочь состоятельных родителей, она получила прекрасное образование и, принеся мужу богатое приданое, могла рассчитывать на обеспеченную, безмятежную жизнь. У нее никогда не возникало сомнения в том, что она — настоящая прирожденная «леди». Тщеславие ее, пожалуй, еще более ненасытно, чем ее корыстолюбие. Когда второй ее муж предлагает ей сделать выбор — быть ли голландской графиней или супругой английского баронета, она не успокаивается, пока не становится обладательницей обоих титулов. С самой ранней молодости она наилучшего мнения о своих талантах, обворожительности, красоте и уме. Уже к четырнадцати годам, как вспоминает Роксана, она «была смышленой и острой — что твой ястреб»; «немного насмешлива и скора на язык, или, как говорят у нас в Англии, развязна».

Ее записки отмечены печатью этой насмешливости и острого, наблюдательного, но холодного ума. Роксана любит щегольнуть своим остроумием. Пользуясь своим положением «независимой» и многоопытной куртизанки, она не щадит самолюбия своих поклонников и непрочь озадачить их своими смелыми парадоксами, опрокидывающими привычные представления о браке, семье и женском счастье. Иные пассажи ее записок напоминают своим фейерверком сарказмов сцены близких по времени и обстановке действия комедий Реставрации. Таково, например, обращенное к «молодым соотечественницам» Роксаны «предостережение» — не выходить замуж за дурака, включающее в себя и примеры сопряженных с этим бедствий, и целую классификацию «этой породы» мужчин, «разнообразие» которой «столь безгранично и невообразимо», и запальчивый заключительный вывод: «никаких дураков нам не надобно, сударыни, ни бесшабашного дурака, ни степенного болвана, ни благоразумного, ни безрассудного!» Таково же и описание споров Роксаны с ее «другом» — голландским купцом, которого она ставит в тупик своими аргументами в защиту женской независимости, а в заключение лукаво поет ему шутливый куплет:

Из девушек любого рода
Милее всех мне мисс Свобода.

Читая подобные страницы, можно вспомнить пикировки великосветских острословов и насмешниц из комедий Конгрива. А вместе с тем, в горьком цинизме, с каким умудренная жизнью Роксана говорит о не-

[19] *Даниэль Дефо.* Молль Флендерс. М., Гослитиздат, 1955, стр. 21.

равноправном положении женщины в браке и о выборе, который предоставляет ей общество, уже можно уловить некоторые важные мотивы драматургии Шоу. Роксана и миссис Уоррен (из «Профессии госпожи Уоррен») — образы, во многом родственные, хотя, конечно, и не тождественные.

По сравнению с Роксаной Молль Флендерс — проще, благодушнее, покладистей. Как ни исковеркала и ни ожесточила ее нужда и преступная, развратная жизнь, она отзывчивее и добрее, чем героиня последнего романа Дефо: ей не чужды и сердечные увлечения, и чувство жалости и снисхождения. Характерен, например, тот эпизод истории Молль Флендерс, где она оказывается обманутой неким грабителем с большой дороги, который, выдав себя за знатного ирландского помещика, женился на ней, поверив, что она действительно вдова, обладающая значительным состоянием. Взаимный обман не замедлил раскрыться после свадьбы. Но новобрачные остались столь довольны друг другом, что не без приятности провели несколько недель своего медового месяца. Веселый и беспечный Джемми, ее «ланкаширский муж», как именует его Молль, пришелся ей настолько по сердцу, что она «с бесконечным наслаждением вспоминала... очаровательные часы» [20], проведенные в его обществе.

При всей своей зачерствелости, Молль не чужда и чувства сострадания. Вспоминая, как она сняла дорогое ожерелье с шейки маленькой девочки, которую завела обманом в глухой закоулок, она добавляет, что могла бы, ради большей безопасности, придушить ребенка, — но не сделала этого, пожалев «бедную овечку». Под старость, в Америке, встретив давно покинутого ею сына, она с умилением целует землю, по которой он прошел.

Роксане чужда и экспансивность, и сентиментальность Молль Флендерс. Она по праву гордится своим самообладанием: ее саркастический, наблюдательный и холодный рассудок редко изменяет ей. О своих мужьях и любовниках она повествует свысока, с иронической усмешкой, даже и в тех случаях, когда она не имеет повода быть недовольной ими. Она даже не называет их по имени, а обозначает их по их профессии или титулу: мой муж-пивовар, мой ювелир, мой принц, мой купец и т. д. Парадоксальным образом, единственным лицом ей по-настоящему, по-человечески близким является ее камеристка, наперсница и подруга Эми. Тот странный эпизод романа, где, может быть, наиболее резко проявляется развращенность героини (когда она сама почти насильственно способствует сближению Эми со своим любовником-ювелиром), психологически, по-видимому, объясняется ее навязчивым желанием теснее связать с собой эту молодую женщину круговой порукой общего распутства. От Эми у Роксаны нет тайн и ее присутствие ей необходимо; какие бы эмоциональные бури ни ра-

---

[20] *Дефо.* Молль Флендерс, стр. 146. «Если бы Дефо писал механически, — замечает по поводу этого эпизода известный английский романист XX в. Э. М. Форстер, — то он заставил бы их наброситься друг на друга с упреками... Но он положился на чувство юмора и здравый смысл своей героини». — *E. M. Forster.* Aspects of the novel. New York, Harcourt, Brace and C°, 1927, p. 91.

зыгрывались между ними, они всегда кончаются примирением. И именно ей, Эми, принадлежит важная роль в трагедии Роксаны.

Завязка этой трагедии восходит к тому периоду, когда разоренная и брошенная своим «мужем-дураком» героиня оказывается в одиночестве, в долгах, перед лицом неминуемой нищеты, с пятью малыми детьми на руках. Именно Эми дает ей роковой совет, исполнение которого позволяет будущей «леди Роксане» начать новую, вольную жизнь. С согласия матери, ее служанка подбрасывает ребятишек в дом их состоятельной родственницы. В округе распространяется слух, что их мать попала в работный дом и умерла; а между тем Роксана со своим любовником уезжает во Францию.

Но поруганное материнство мстит за себя.

Роксана находится на вершине своей карьеры. Она богата; ей удалось, скрыв свое профессиональное прозвище и нашумевшие авантюры, вступить в выгодный брак с преданным ей мужем, который не скупится на затраты, чтобы удовлетворить ее честолюбие. Ее ждет положение знатной, титулованной дамы, роскошь, почет. Но в это время перед нею внезапно встает призрак далекого темного прошлого. Ее старшая дочь Сьюзен[21] (которой было шесть лет, когда Роксана бросила на произвол судьбы своих детей) случайно нападает на след матери. По иронии судьбы (мотив, характерный для зловещего колорита, который сгущается по мере развития действия), роль решающей вещественной улики, изобличающей героиню, принадлежит тому роскошному, сказочно пышному «турецкому» костюму и драгоценному убору, в котором она пленяла на своих приемах как «леди Роксана» Карла II и королевский двор. Позднейшая бальзаковская формула — «блеск и нищета куртизанок» — кажется воплощенной в этом вещественном образе, который теперь символизирует уже не былые «победы», а разоблачение и позор, грозящие Роксане.

«Поединок» между Роксаной и ее дочерью, в которой она постепенно начинает видеть своего смертельного врага, придает развитию сюжета в заключительной части романа такую драматическую напряженность и психологическую остроту, какие не имели прецедентов в предшествующем творчестве Дефо. С особенным мастерством написаны обе встречи Роксаны с дочерью. Героиня не может побороть в себе сочувствия несчастной девушке; но в то же время, как хищный зверь, почуявший опасность, напрягает все силы, чтобы не выдать себя ни словом, ни жестом. Вторая встреча Роксаны с Сьюзен (в доме квакерши) особенно драматична. Каждая из двух собеседниц предельно взволнованна и, вместе с тем, предельно настороже. Каждая знает, что ее антагонистка проникла в ее тайные помыслы, — но до поры до времени обе говорят обиняками, стараясь поймать друг друга врасплох, обезоружить внезапным маневром... По своему

---

[21] Называя по имени эту дочь, Роксана вскользь упоминает, что та была названа в честь матери. Так, невзначай, во второй половине романа, мы узнаем подлинное имя героини — черта, чрезвычайно характерная для лаконичной, сжатой повествовательной манеры Дефо.

глубокому драматизму эта сцена заставляет вспомнить иные ситуации Достоевского [22].

Полон драматизма и рассказ Роксаны о ее бегстве из Лондона и о том, как она, преследуемая доведенной до отчаяния Сьюзен, мечется, одержимая смертной тоской и ужасом, по деревням и опустелым курортам английской провинции, лжет мужу, хитрит и заметает следы, лишь бы скрыться от собственной дочери.

Так подготовляется роковой финал. Сьюзен бесследно исчезает; и по прежним угрозам Эми и по страшным догадкам Роксаны читатель может прийти к выводу, что злополучная девушка была убита — если не по прямому приказу, то, во всяком случае, с ведома своей матери.

О своих дальнейших несчастьях Роксана говорит лаконично и немногословно. Это давало повод некоторым критикам считать роман незаконченным. В издании 1745 г., через четырнадцать лет после смерти Дефо, прижизненный текст «Роксаны» был дополнен довольно пространным «окончанием». Здесь были подробно описаны злоключения героини и ее пособницы Эми в Голландии, вызванные разоблачениями явившейся туда Сьюзен (исчезновение этой девушки объяснялось тем, что Эми удалось на время заточить ее обманным образом в долговую тюрьму). Этот эпилог завершался сообщением о смерти Роксаны в 1742 г. в тюрьме, в глубокой нищете (так как муж, узнав о ее прошлом, возмущенный ее лицемерием, лишил ее в своем завещании всяких прав на его состояние). Сьюзен была выдана им замуж с богатым приданым; а Эми умерла в бедности, заразившись дурною болезнью.

Подложность этого окончания не вызывает сомнений. Написанное рыхло и вяло, с множеством громоздких отступлений, ненужных подробностей и повторов, оно составляет резкую противоположность подлинному, лаконичному и полному тревожного драматизма финалу Дефо.

Замечательный своей психологической глубиной, последний роман Дефо представляет значительный интерес и в историческом отношении. Историчность романа проявляется не только в точности психологической и бытовой обрисовки характера и «карьеры» Роксаны (в образе которой воплощены черты множества вполне реальных прототипов — см. примечания). Замечателен и весь широкий социальный фон романа, в котором отразилась бурная эпоха первоначального накопления. Дефо показывает, как составляются новые и рушатся старые состояния, как расшатываются устои феодального общества, как проникает во все сферы жизни дух безудержной денежной спекуляции.

---

[22] Любопытный отголосок этой ситуации «Роксаны» можно обнаружить в романе Марка Твена «Простофиля Вильсон» (1894). Героиня, «белая негритянка» Рокси (Роксана) отрекается от собственного младенца-сына, чтобы подменить им барчука, сына своих господ. Узнав много лет спустя тайну своего рождения, мнимый Том Дрисколл спешит избавиться от собственной матери и продает ее в рабство на дальние плантации, в низовья Миссисипи. О романе Дефо Твен узнал из письма своего друга, романиста и критика В. Д. Хоуэллса, который обратил его внимание на высокие литературные достоинства «Роксаны».

При первом знакомстве с «Роксаной» читателю бросаются в глаза многочисленные смелые анахронизмы, произвольные «стяжения» или, напротив, «расширения» целых периодов (см. об этом подробнее в «Примечаниях»). Однако в этих нарушениях формальной хронологии есть своя художественная логика. Дефо старается «продлить» «золотые деньки Карла II», ибо, конечно, только в той обстановке, какая существовала при дворе этого монарха в Англии, мог осуществиться во всем своем блеске триумф Роксаны. Казалось бы, Дефо совершает промах, необъяснимый под пером современника, очевидца этого царствования: его героиня является в Англию десятилетней девочкой в 1683 г., за два года до смерти Карла II, — а между тем, блистает при его дворе после семи лет брака и долгих похождений на континенте Европы. Но для Дефо сочетание французского происхождения и английского воспитания было, по-видимому, важным фактором, объясняющим своеобразный характер его героини. А историческая обстановка, сложившаяся во Франции непосредственно перед отменой Нантского эдикта, позволяла естественно и правдоподобно мотивировать эмиграцию родителей героини, французских гугенотов, в Англию. В «Примечаниях» отмечены многие другие исторические факты, на которые опирался Дефо в своем романе. Здесь уместно, может быть, указать на историческую точность изображения финансовых операций Роксаны, руководимой сэром Робертом Клейтоном [23], а также и на социальную типичность приобщения Роксаны и ее мужа — голландского купца — к английской знати. Продажа аристократических титулов, имевшая место и ранее, стала знамением времени в эпоху, последовавшую за падением династии Стюартов. Превращение отъявленной авантюристки с темным, чуть ли не уголовным прошлым, в знатную даму, изображенное в «Роксане», по-своему дополняло сатирическую характеристику английской аристократии, данную писателем в начале века, в «Чистокровном англичанине».

Психологическая глубина в сочетании с социальной типичностью характеристик и ситуаций — таковы отличительные черты «Роксаны», позволяющие видеть в этом последнем романе Дефо значительное, новаторское произведение — примечательный памятник западноевропейской повествовательной литературы XVIII в.

---

[23] Сэр Роберт Клейтон (1629—1707) — лицо историческое (см. прим. 76). Роксана изображает его как своего доброго гения в мире финансовых спекуляций; однако сам Дефо в других сочинениях резко отрицательно отзывался об этом предприимчивом дельце. В «Дневнике чумного года» Дефо уличает Клейтона в том, что он не постеснялся спекулировать даже кладбищенскими участками, где хоронили лондонцев, умерших от чумы. В одном из своих стихотворных памфлетов он рисует зловещий образ Клейтона «алчного, как Смерть, и жадного, как могила»; это раб скупости, готовый «продать свою жену, властителя и друга». Приятельские отношения Роксаны с этим хищным дельцом вносят выразительные штрихи и в ее характеристику.



ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Особенности стиля, художественного метода и жизненной установки Дефо ставят некоторые проблемы перед тем, кто берется работать над его романами.

С точки зрения переводчика, самая головоломная из них — подкупающая и загадочная простота повествовательной манеры Дефо. Что это — простодушие человека, который «пишет, как говорит», или изысканное мастерство? В «Роксане», как и в других романах Дефо, автор на первый взгляд полностью сливается с лицом, от имени которого ведется повествование. В книге нет делений на главы; как всякий бесхитростный рассказ, она изобилует повторами, все персонажи — будь то беспутный пивовар, заморский принц, состоящий при дворе Людовика XIV, голландский негоциант или сама англичанка-француженка Роксана — говорят одним языком. Язык этот — разговорный, даже простонародный; некоторая аграмматичность — вернее, синтаксические алогизмы — наблюдается не только в диалогах, но и в тексте, идущем от рассказчицы. Переводчик не пытается их воспроизвести на русском языке; упомянутое явление присуще не одному Дефо — оно встречается в английской литературе его эпохи, и даже последующей, вплоть до конца XVIII в. От подобных погрешностей не свободен даже такой стилист, как Голдсмит. Казалось бы, можно раз и навсегда решить, что метод писателя — сознательно ли им избранный или единственный ему доступный — укладывается в понятие, определяемое термином «сказ». При более внимательном чтении текста, однако, обнаруживается, что дело обстоит не так просто. Да, Дефо перевоплотился в Роксану. Но, кроме того, и сам он — вольно или невольно — передал своей героине нечто и от своей личности, от своих мыслей. На всем протяжении романа она высказывает собственные взгляды Дефо (на такие, например, вопросы, как брак, религия, сословные и национальные предрассудки). Он заставляет эту падшую, хищную женщину, для которой как будто не существует ничего святого, выступать то в роли воинствующего протестанта, каким он был сам, то в роли, как бы теперь сказали, «борца за

женское равноправие». И все это почти не меняя языка — деловитого, монотонного и суховатого, на фоне которого время от времени мелькает сочное словцо. Почти не меняя. В этом «почти» один из подводных камней, о который рискует разбиться переводчик. На самом деле, язык романа гораздо богаче и разнообразнее, чем может показаться поверхностному взгляду. Так, например, язык Эми все же обладает некоторыми индивидуальными особенностями — он грубее, острее и эмоциональнее, чем у других персонажей, а когда опостылевший Роксане вельможа-развратник, убедившись в своей «отставке», выражает досаду, мы слышим стариковское раздражение и в словах его, и в том, как он одну и ту же фразу повторяет несколько раз; в речах квакерши — опять-таки ненавязчиво, почти неуловимо — Дефо заставляет нас почувствовать тот особый сплав подлинного доброжелательства, человеческого достоинства и ханжества, который характеризует среду, к какой она принадлежит; достигается это не столько лексикой и введением такого внешнего отличительного признака, как непринятое в английском обиходе обращение на «ты», сколько ритмом ее речи, плавной, с закругленными оборотами, подчас отдающей книжностью.

Донести эти нюансы, не нарушая цельности повествовательной ткани, следовать особенностям стиля автора, не впадая при этом в стилизацию, — таковы задачи, которые ставил перед собой переводчик.

Комментатор сталкивается с другой особенностью романа — с его хронологическим своеобразием. В книге как бы сосуществует несколько календарей, или летосчислений. Дефо ведет довольно точный — с отклонениями в 5—6 лет — отсчет событий, касающихся героини. (Наибольшие погрешности с точки зрения ее биографии наблюдаются там, где речь идет о ее детях, что, впрочем, при ее плодовитости, не удивительно — общее число их составляет чуть ли не дюжину!) Этот отсчет можно условно назвать *календарем Роксаны*. Он охватывает примерно полстолетия (1673—1723) (последняя дата дается условно, исходя из года окончания романа; на самом деле «календарь Роксаны» несколько выходит за этот предел: героиня романа, по ее календарю, продолжает жить еще лет десять после того, как автор поставил точку). И, разумеется, этот календарь ни в коей мере не совпадает с календарем двадцатипятилетнего правления Карла II (1660—1685): для того, чтобы на пятом десятке своей жизни блистать при его дворе, Роксане следовало бы родиться по меньшей мере лет на тридцать или сорок раньше, чем указано в строках, которыми открывается ее жизнеописание.

Но эти же первые строки служат как бы камертоном для уха, настроенного на историческую волну. Если внимательно сопоставить рассыпанные по всей книге реалии, обнаружится, что героиня ее жила в определенную эпоху — в ту самую, в какую жил ее старший современник Даниэль Дефо. И если в романе нет прямых упоминаний событий, развертывавшихся в ту эпоху, ассоциации, вызываемые географическими наименованиями, на которые Дефо не скупится, как бы косвенно сигнализируют нам об этих событиях. Поэтому мы находим возможным говорить о втором календаре, лежащем в основе романа, — *календаре историческом*.

И, наконец, в книге незримо присутствует третий календарь: бурная жизнь автора романа, не вторгаясь в фабулу дает о себе знать, как отдаленные раскаты грозы. Назовем его *календарем Даниэля Дефо.*

Все эти — условные, разумеется, — три календаря мы и пытались не упустить из виду, подготовляя примечания.

В целях уточнения реалий, встречающихся в книге, составителю комментария пришлось окунуться в мемуарную литературу эпохи. Здесь нужно в первую очередь назвать знаменитый «Дневник» Самуэля Пипса (1633—1703) [1], заметки английского архитектора Джона Ивлина (1620—1706) [2], недавно опубликованные у нас любопытные записи русского дипломата Андрея Матвеева (1668—1728) [3], сделанные им во время пребывания при дворе Людовика XIV, куда его командировал Петр I в начале XVIII в., и столь любимые Пушкиным «Записки герцога де Грамона», автором которых является англичанин Антони Гамильтон (1646—1720) [4].

Отдельные эпизоды, рисующие нравы этой эпохи, а также описания реальных лиц из окружения Карла II, встречающиеся на страницах упомянутой мемуарной литературы, наводят на мысль, что Дефо, создавая образ своей героини, сверялся с жизнью. К тому времени, как он достиг зрелого возраста, эпоха Карла II уже отошла безвозвратно. Отошла, но не отшумела, и Дефо безусловно были известны анекдоты и устные предания, относящиеся к той поре. В частности, Дефо, страстный книгособиратель, мог быть знаком с «Записками де Грамона» («Mémoires du Comte de Grammont»), опубликованными в 1713 г. на французском языке и в 1714 г. на английском.

Ниже приводятся кое-какие сведения о женщинах времени правления Карла II — фрейлинах, актрисах, куртизанках и аферистках, наиболее ярко запечатлевшихся в памяти современников, которые могли — каждая какой-нибудь чертой характера или биографии — послужить натурой для Роксаны.

Одной из наиболее влиятельных фавориток Карла II была леди Каслмейн, урожденная Барбара Вилльерс (1640—1709). Красавица из аристократической семьи, она девятнадцати лет вышла замуж за Роджера Палмера, которому Карл дал титул графа Каслмейна после того как сделал его жену своей любовницей (1660). В 1670 г. он даровал ей титул баронессы Нонсач, графини Саутгемптон и герцогини Кливленд. Она принимала деятельное участие в дворцовых интригах, имела от короля шестерых детей, трем из которых он пожаловал высокие титулы. В начале 60-х годов король постоянно ужинал у нее, «тайно» (иначе говоря, на глазах у стражи) прокрадываясь к ней через королевский сад; вопреки воле королевы, на-

---

1 «The Diary of Samuel Pepys», ed. R. Latham and Wm. Matthews. London, G. Bell and sons Lmd, 1791 и «The Diary of Samuel Pepys», ed. H. B. Wheatley. London, G. Bell, 1928.

2 «The Diary of John Evelyn», ed. E. S. de Beer. Oxford, Clarendon Press, 1955.

3 Русский дипломат во Франции. (Записки Андрея Матвеева). Публикация И. С. Шарковой, под ред. А. Д. Люблинской. Ленинград, «Наука», 1972.

4 «Memoires of the court of Charles II» by Count de Grammont. NY, Collier and son, 1910.

значил ее на должность фрейлины. Мотовка и страстная картежница, затмевавшая на придворных балах своими драгоценностями королеву, леди Каслмейн стоила казне больших денег. Так, в одном 1666 г. Карлу II, помимо ее содержания, пришлось отдать 30 000 ф. в уплату ее долгов (из которых 2 тысячи она задолжала за кольцо с драгоценными камнями). Кроме того, король жаловал ей дворцы и целые угодья. Не менее практичная, чем Роксана, леди Каслмейн один из этих дворцов (Нонсач) продала на слом, а великолепный парк обратила в пахотную землю и разбила на участки, которые продала или сдала в аренду. В 1663 г. она переселилась в Уайтхолл, где занимала спальню, смежную с королевскою.

Однако в этом же году на придворном небосклоне восходит новая звезда — Френсис Стюарт (1647—1702). В 1662 г. она прибыла в Англию в свите королевы-матери и вскорости была произведена в фрейлины жены Карла II, Екатерины Браганцкой. «Главное украшение двора», как ее именует Грамон, она была отлично воспитана, и, подобно Роксане, первые годы провела во Франции, болтала по-французски, как на родном языке, и превосходно танцевала. При дворе за ней удержалось прозвище: La Belle Stuart [5] (срав. с парижским прозвищем Роксаны: La Belle veuve de Poitou [6], см. стр. 50).

Многие поговаривали о ней как о возможной преемнице Екатерины Браганцкой, когда та лежала в тяжелой болезни; были разговоры об этом и позже, в 1667 г., когда дворцовые интриганы надеялись развести короля, использовав в качестве предлога для этого бесплодие королевы. Мисс Стюарт, однако, сама положила конец этим упованиям, выйдя замуж за герцога Ричмонда. Уверенная в прочности своего положения, леди Каслмейн вначале всячески поощряла увлечение своего августейшего покровителя и в те дни, когда его ожидала, нарочно оставляла мисс Стюарт у себя. Таким образом, Роксана, предлагавшая свою компаньонку собственному возлюбленному, действовала вполне в духе времени. Дружба эта, впрочем, была недолгой, и вскоре перешла в непримиримую вражду. Леди Каслмейн на старости лет вышла замуж за придворного вельможу, который вскоре после вступления с нею в брак был осужден за двоеженство. Френсис Стюарт после замужества вернулась ко двору. Оспа несколько испортила ее красоту, но не остудила страсти короля. В 1672 г. она овдовела и в течение нескольких лет после того получала из казны пенсию в размере 1 500 ф. в год.

В 1670 г. сестра Карла II, Генриетта Орлеанская, по наущению Людовика XIV, которому важно было усилить «французскую партию» при дворе, «подарила» брату одну из своих фрейлин, Луизу де Керуайль (1649—1734), которой тот в 1673 г. пожаловал титул герцогини Портсмут. Дворцовые интриги, равно как и страсть к роскоши, увлекали ее не меньше леди Каслмейн. Занимаемые ею аппартаменты в Уайтхолле, по свидетельству Ивлина, «в десять раз превосходили своим богатым убранством ком-

---

[5] Хорошенькая Стюарт.
[6] Хорошенькая вдова из Пуату.

наты королевы. Годовое ее содержание составляло от 12 000 до 17 000 ф., причем деньги эти отпускались ей из суммы, определенной парламентом на «секретную службу». Помимо этого, в одном 1681 г. она получила от короля 136 000 ф.

В 1676 г. на сцене появляется, тоже подосланная французами, герцогиня Мазарини (Гортензия Манчини, 1646—1699 гг., племянница кардинала Мазарини). Шестнадцать лет спустя после неудавшейся попытки сделаться женой Карла II (незадолго до его восхождения на престол) она удовольствовалась положением его любовницы. После смерти брата Иаков II (1685—1688) отправил ее назад, в Версаль, где она так сильно проигрывалась в карты, что Людовик XIV пригрозил заточить ее в монастырь.

И, наконец, чтобы покончить с «французским элементом» при дворе Карла II, следует упомянуть мадемуазель Барду, также прибывшую в свите королевы-матери. Ее выпускали к концу придворных балов, где она весьма искусно исполняла испанские танцы с кастаньетами.

Из «демократических» увлечений Карла II следует упомянуть двух актрис — Молл Дейвис, покорившую сердце короля своим пением и танцами, и Нелл Гвин (1650—1687) — быть может, самую колоритную фигуру при дворе. Обе они возникли примерно в одно и то же время — в 1668 г. (Дейвис) и в 1669 г. (Гвин). Но привязанность короля к Нелл оказалась более стойкой и сохранилась до последних дней его жизни: на смертном одре он просил своего брата «не дать бедной Нелли умереть с голоду». Нелл Гвин выросла в доме терпимости. Театральная ее карьера началась в 1665 г. По отзывам современников — такого разборчивого театрала, как Самуэль Пипс, и известного поэта и драматурга Джона Драйдена (1631—1700), в чьей пьесе «Индийский император» она и дебютировала, Нелл Гвин была выдающейся комической актрисой. В 1667 г. она на несколько месяцев покинула сцену и вместе со своим любовником лордом Бэкхерстом держала веселый дом в Эпсоме, куда стекалось общество пользоваться водами целебного источника. Вскоре после ее возвращения на сцену король поселил ее на Пел-Мел, где многие его фаворитки имели свою резиденцию: дома на этой улице примыкали к королевскому саду перед Сент-Джеймским дворцом, что представляло известное удобство. Ивлин рассказывает, как в 1671 г. король, прогуливаясь по саду, останавливается поболтать через стену с Нелл Гвин, а через несколько шагов — с другой своей любовницей, герцогиней Кливленд (леди Каслмейн). Наша Роксана, поставив себе целью «сделаться любовницей самого короля» (см. стр. 132), недаром избрала эту улицу штабом своих «военных действий».

Из всех разорявших казну содержанок Карла II наибольшею ненавистью пользовалась Луиза де Керуайль, католичка и ставленница Людовика XIV. Поэтому неудивительно, что Нелл Гвин, на карету которой однажды напала разъяренная толпа, приняв ее за экипаж Луизы де Керуайль, спасла себе жизнь, крикнув из окна: «Помилуйте, люди добрые, я протестантская шлюха короля, а не католическая!»

Две знаменитые аферистки того времени, по мнению биографов Дефо, могли также послужить прототипами Роксаны. Одна из них — Мери Батлер, любовница придворного поэта и фаворита, герцога Бекингемского (1628—1687). Она прославилась тем, что подделала подпись на векселе управляющего его имением Роберта Клейтона (см. стр. 281 и прим. 76). В личной библиотеке Дефо хранился газетный отчет о последовавшем громком процессе.

Вторая — дочь кентерберийского скрипача, Мери Модерс. Она появилась в Лондоне, выдавая себя за немецкую княжну, которая была вынуждена покинуть родину, где ее якобы хотели выдать замуж против воли за восьмидесятилетнего старика. В 1663 г. она судилась за двумужество. Приняв на себя функцию собственного адвоката на суде, она проявила стойкость духа и незаурядный ум и добилась оправдательного приговора. В том же году ей были посвящены две пьесы, в одной из которых, так и называвшейся «Германская княжна», Мери выступала в заглавной роли. Карьера ее тем не менее кончилась бесславно: в 1678 г. она была повешена за хищение серебряного блюда в лавке.

Таков был пестрый фон, в котором Дефо увидел проступающие контуры своей героини.



ПРИМЕЧАНИЯ

Перевод сделан по тексту издания: Oxford University Press, 1964 г., в основу которого положен текст первого прижизненного издания 1724 г.: The Fortunate Mistress; Or, A History of the Life and Vast Variety of Fortunes of Mademoiselle de Beleau, Afterwards Call'd The Countess de Wintselsheim in Germany. Being the Person known by the Name of the Lady Roxana, in the Time of King Charles II.

[1] *Я родилась ... в Пуатье...* — Пуатье — столица старинной французской провинции Пуату. С XII по XV в. несколько раз отходила к Англии. С 1579 г., когда французский король Генрих III (1575—1589), после длительной войны с гугенотами (как стали называться французские протестанты), заключил с ними мир, Пуату становится средоточием французских протестантов. Гугенотская эмиграция в Англию началась при королеве Елизавете (1558—1603), но еще задолго до этого, в XIII в., при английском короле Генрихе III (1216—1272), выходцы из Пуату занимали в Англии высокие должности.

[2] *В 1683 году... родители привезли меня в Англию... они были вынуждены бежать из Франции, где подвергались... преследованиям за свою веру.* — В 1685 г. Людовик XIV (1643—1715) отменил так называемый Нантский эдикт, изданный в 1598 г. французским королем Генрихом IV (1589—1610), согласно которому протестантам гарантировалась свобода вероисповедания и равные с католиками политические права. Преследования гугенотов при Людовике XIV и их эмиграция начались еще до формальной отмены Нантского эдикта (после отмены эмигрировать стало значительно труднее, ибо одна попытка к эмиграции каралась смертной казнью). Францию покинуло до 200 тысяч трудолюбивых граждан, из которых около 70 тысяч осело в Англии, 13—14 тысяч — в Лондоне и его окрестностях. Следует, однако, отметить, что как раз в 1683—1684 гг. отечественные диссиденты (так в Англии называли протестантов, не принимавших доктрины государственной англиканской церкви) подвергались особенно суровым правительственным репрессиям; так, 1 300 квакеров всю зиму 1683—84 гг. протомились в тюрьме. Сочувственный интерес Дефо к осевшим на его родине иноземцам может быть объяснен тем обстоятельством, что собственные его предки — фламандцы бежали от религиозных преследований короля Испании (в состав которой тогда входили Нидерланды) Филиппа II (1556—1598), а также тем, что на протяжении всей своей жизни сам Дефо, воспитанный в пуританской традиции отцов, страдал от дискриминации, а подчас и прямых преследований, которым подвергались английские диссиденты. Некоторые биографы Дефо полагают, что он был непосредственно связан с гугенотской оппозицией и даже присутствовал на знаменитом совещании гугенотских священников в Шарантоне в 1681 г.

[3] *...умудрился... переправить... большую партию... бумаги...* — В XVII в. Франция была основным поставщиком бумаги в Англию.

[4] *...приезжих всячески поощряют поступать на мануфактуры — в Лондоне и его окрестностях, в Спитлфилдсе, Кентербери...* — Спитлфилдс, некогда деревня, утопающая в садах, начал застраиваться в начале XVI в. и к описываемой эпохе сделался густонаселенным предместьем Лондона. Еще в начале XIII в. король Иоанн Безземельный (1199—1216) по настоянию лондонской корпорации выселил всех ткачей за черту города, и они осели в Спитлфилдсе, куда позже вливались новые волны гугенотской оппозиции — при Генрихе VIII (1509—1547), при Елизавете, и в XVII в., в описываемую Дефо эпоху. Основным промыслом населения Спитлфилдса являлось шелкопрядение, в котором особенно искусны были французские гугеноты. В 1662 г. в Спитлфилдс перебрались из Лондона и некоторые английские священники, исповедовавшие пресвитерианскую веру — одно из протестантских религиозных течений, расходящееся в некоторых вопросах с официальною англиканскою церковью. После опубликования в 1702 г. сатирического памфлета «Наикратчайший способ расправы с диссидентами» Дефо какое-то время скрывался от властей в Спитлфилдсе, у французского ткача. Кентербери — первый город на пути из Дувра в Лондон; один из стариннейших городов Англии и религиозная ее столица. Здесь со времен английского короля Генриха III образовалась небольшая колония французов, к которой впоследствии, при Елизавете, присоединились их соотечественники-протестанты. В Лондоне, в числе мест, где селились гугеноты, можно назвать район Вестминстера (в те времена еще считавшегося самостоятельным городом) «Петти-франс» и Мурфилдс — северо-восточная окраина, где еще с начала XVII в. образовалась небольшая колония иностранцев, занятых производством шелковой ткани; в окрестностях одним из таких мест был Гринвич.

[5] *...положив мне в приданое 25 000 ливров... по-нашему же — две тысячи фунтов...* — Французский ливр в те времена составлял примерно $^{1}/_{13}$ английского фунта.

[6] *...отказал мне в завещании больше 5 000 ливров...* — т. е. около 385 фунтов.

[7] *Брат... обанкротился...* — Любопытно, что примерно в эти же годы (1692) обанкротился и сам **Дефо.**

[8] *...подобно драйденовскому крестьянину...* — Ссылка на строки 84—85 из поэмы Драйдена (1631—1700) «Кимон и Ифигения»: «Не ведая, куда бредет, / Посвистывая без забот».

[9] *...подобно трем утешителям Иова...* — Согласно библейскому преданию, бог решил испытать Иова, известного своею праведностью, и навлек на него всевозможные несчастья. Три друга Иова, видя его страдания, не находят слов, чтобы его утешить, и только плачут вместе с ним (Книга Иова, 2, 11—13).

[10] *...следуя примеру несчастных женщин осажденного Иерусалима...* — Согласно библейскому преданию, бог наказал жителей Иерусалима за то, что те стали поклоняться языческим богам, и наслал на город неприятелей; во время длительной осады Иерусалима «...женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими» (Плач Иеремии, 2, 20).

[11] *...уже несколько месяцев... не пили ничего, кроме воды...* — Самым доступным из напитков в те времена были сидр, пиво и эль. Из неалкогольных в моду входили шоколад и шербет, но они были предметом роскоши. Кофе пили в кофейнях, а чай в конце 60-х годов воспринимался как экзотика и широкое распространение, да и то лишь среди зажиточных англичан, получил только к началу XVIII в.

[12] *...вложил мне в руку одну гинею... дал полкроны Эми.* — Гинея — монета, которую начали чеканить в 1663 г. из золота, ввезенного из Гвинеи (откуда и название монеты). Во времена Карла II одна гинея приравнивалась к 20 серебряным шиллингам. Полкроны — серебряная монета = $2^{1}/_{2}$ шиллингам.

[13] *...оплатить некий чужеземный вексель, который был бы иначе опротестован...* — К векселю как к платежному средству особенно охотно прибегали купцы ввиду его удобства при расчетах в различной валюте; кроме того, замена денег векселями уменьшала риск, сопряженный с перевозкой денег; к тому же, когда приходилось иметь дело с крупными суммами, держать деньги при себе было довольно громоздко — в описываемую эпоху бумажные деньги только начали входить в оборот

и в Англии получили широкое распространение лишь при Вильгельме III (1689—1702). В случае, если лицо, подписавшее вексель, не выплачивало означенную в нем сумму в определенный срок, кредитор имел право опротестовать вексель, т. е., установив юридический факт неуплаты, привлечь должника к ответственности.

14 *...считает себя вправе сойтись с другой,.. не нарушая закона о единобрачии,.. в иных странах это... вошло в обычай.* — Закон о единобрачии во многих странах имеет силу и по сей день. В описываемую эпоху двоеженство (и двумужество) в Англии каралось смертной казнью.

15 *...как поступила неплодная Рахиль с Иаковом...* — Жена Иакова Рахиль, когда она еще не имела собственных детей, уговорила мужа взять служанку Валлу себе в наложницы и воспитывала ее сыновей, как если бы они были ее собственными (Книга Бытия, 30, 3—8).

16 *...торговка с Леденхоллского рынка...* — Леденхоллский рынок — один из самых больших рынков Лондона в описываемую эпоху — был расположен в восточной части города и славился мясом и дичью.

17 *...по этому завещанию мне выделялась... «вдовья часть»...* — Вдовья часть — имущество, которое при составлении брачного договора муж добровольно закреплял за женой; обычно составляла от одной десятой до одной шестой приданого жены; по принятому в Англии брачному законодательству это имущество жена наследовала в случае смерти мужа.

18 *...выручил 3 000 золотых пистолей...* — Пистоль — испанская золотая монета, имевшая хождение во Франции в первую половину XVII в.; с 1640 г. французы начали чеканить свою золотую монету — луидор, однако старое название удержалось за нею еще долгое время. Пистоль или луидор равнялся 10 ливрам.

19 *...Париж не Лондон, и держать при себе в этом городе большие суммы... небезопасно.* — Современник Дефо, Джон Ивлин, сравнивая эти две столицы, отмечает «ежедневные и еженощные преступления», совершающиеся на парижских улицах, и приписывает это явление тому, что во Франции должности блюстителей порядка продавались. В Лондоне защита граждан возлагалась на городское самоуправление, которое было в первую очередь заинтересовано в поддержании общественного порядка.

20 *...сбираясь в Версаль, где его ожидал принц ***ский...* — С 1682 г. Людовик XIV сделал Версаль своей постоянной резиденцией. Вельможи, не желавшие попасть в опалу, также были вынуждены селиться в Версале. Принцами и принцессами в Европе называли всех членов королевского или княжеского рода. О принце ***ском см. ниже (прим. 47).

21 *...акцептовать полученный им из Амстердама вексель.* — Акцептовать вексель — дать письменное обязательство выплатить сумму, обозначенную на векселе. Амстердам — в описываемую эпоху самый богатый город в Европе, служил также мировым денежным рынком. Амстердамский банк, один из самых старинных в Европе (учрежден в 1609 г.), до конца XVIII в. пользовался наибольшим доверием у купцов и коммерсантов.

22 *...хороня протестанта и чужеземца.* — На всем протяжении царствования Людовика XIV протестанты во Франции подвергались жестоким преследованиям, а их брачные обряды иногда не признавались имеющими законную силу.

23 *...юристу, который являлся советником Парижского парламента...* — Парламенты во Франции исполняли функцию высшего королевского суда; ко времени Людовика XIV политической самостоятельностью не обладали; в каждом крупном городе был свой парламент; Парижский парламент — самый старинный во Франции — имел несколько большие полномочия, чем провинциальные.

24 *...высотой примерно дюймов в двадцать...* — Около 50 см.

25 *Чужую тайну... скрывают.* — Это двустишие, как и все стихи, встречающиеся дальше в тексте, по всей вероятности, принадлежат самому Дефо, который был плодовитейшим версификатором. Автоцитаты, подобные встречающимся в «Роксане», можно видеть и в других его прозаических произведениях.

26 *...то, что я делаю, вполне законно... поскольку... мой муж пропал без вести...* — С 1666 г. в Англии вступил в действие закон, по которому семь лет отсутствия

одного из супругов без вестей о нем позволяло другому считать его умершим и вновь вступать в брак.

27 ...*наложив... епитимью.* — Епитимья (церковн.) — добровольное исполнение, по выбору духовника, тех или иных дел благочестия (продолжительная молитва, усиленный пост, паломничество к святым местам и т. п.) во искупление совершенного греха. В то время как епитимья широко применялась католической церковью, протестантская религия, предъявляющая к верующим более высокие нравственные требования, не дает им возможности такого «механического» искупления.

28 ...*пусть я и шлюха, я все же шлюха протестантская...* — Дефо, быть может, сознательно перефразирует здесь восклицание, приписываемое одной из любовниц Карла II (см. стр. 286).

29 ...*к истечению срока моего траура...* — Французский кодекс устанавливает срок траура — 10 месяцев.

30 ...*законному супругу — шестерых...* — Здесь ошибка: всюду в тексте число законных детей героини — пять. Возможно, подсознательная оговорка: у самого Дефо ко времени работы над романом было шестеро детей.

31 ...*чин генерал-лейтенанта королевских войск.* — Третий чин во французской армии (после маршала и генерал-полковника), обычно давался отпрыскам королевского дома и высшего дворянства, а также чужестранным принцам, чьи предки прибыли во Францию и получили себе по договорам привилегии от французских королей. К последнему разряду и относился, видимо, «принц ***ский».

32 ...*Лионский банк или Парижскую Биржу...* — Благодаря географическому положению, Лион был средоточием европейской торговли; во время Столетней войны (1337—1453) был фактической столицей Франции; в XVI в. достиг наибольшего расцвета и сделался первостепенным коммерческим и финансовым центром; в нем банк был основан раньше, чем в других французских городах. В Париже в XVII в. функции банка исполняла Биржа.

33 ...*превосходное воспитание (хоть и не в открытых заведениях)...* — Под «открытыми заведениями», очевидно, имелись в виду так называемые «академии», в которых сыновья знатных фамилий обучались верховой езде, фехтованию, танцам, музыке, географии, истории, геральдике, фортификации, математике и проч.

34 ...*позорная полоса бастарда.* — Внебрачные дети родовитых отцов наследуют фамильный герб, но на его щите дополнительно помещается полоса, пересекающая его по диагонали, от верхнего левого угла к нижнему правому.

35 ...*произведен в офицеры французской Garde du Corps...* — Офицерами королевской гвардии назначали только лиц дворянского происхождения; служба считалась почетной и выгодной; королевская гвардия охраняла королевскую семью, но в иных случаях принимала также участие и в военных походах.

36 ...*драгунский полк в Италии... достойным сыном своего отца...* — См. прим. 47, 48.

37 ...*проехаться по аллеям Тюильри и прочим приятным местам города.* — Через дорогу от дворца Тюильри по распоряжению Екатерины Медичи (1519—1589) был разбит сад (1564 г.), который позднее знаменитый садовник Людовика XIV Ленотр (1613—1700) превратил в огромный парк с прудами, статуями и фонтанами. Ездить по его аллеям разрешалось лишь лицам, принадлежащим к аристократическим семьям.

38 ...*великолепный Медонский дворец, где в то время пребывал дофин...* — Медонский дворец, расположенный в живописной местности между Версалем и Парижем, был построен министром Людовика XIV маркизом Лувуа (1641—1691). После смерти Лувуа дворец сделался резиденцией дофина (1661—1711) — сына Людовика XIV, так и не успевшего унаследовать престол.

39 ...*туда из Версаля... прибыл король проведать супругу дофина, тогда еще здравствовавшую.* — Еще один пример смещения исторических событий: жена дофина Мария Баварская умерла в 1690 г., и ко времени переезда дофина в Медонский дворец с ним была его любовница, мадемуазель Шуэн.

40 ...*как у них это называется, Gens d'armes... когда наши гвардейцы несут дежурство в Сент-Джеймском дворце...* — Gens d'armes — Разумеется, здесь речь не о «жандармах» в современном значении этого слова; так в ту эпоху называли полк

тяжелой кавалерии, входивший в королевскую гвардию. — Сент-Джеймский дворец, построенный по чертежам Гольбейна в 1532 г., со времен Генриха VIII становится официальной резиденцией английских монархов, несмотря на то, что сам Генрих VIII с 1529 г. перебрался во дворец Уайтхолл, которому (до пожара 1698 г.) отдавали предпочтение и последующие английские короли. С 1664 г. по приказу Карла II королевская конная гвардия несла караульную службу в Сент-Джеймском дворце во время пребывания там короля или членов его семьи.

41 ...*говорит по-английски... тоже был англичанином.* — В описываемую эпоху в европейских армиях служили наемные солдаты разных стран. В 1678 г., в соответствии с мирным договором, заключенным между Голландией и Англией, согласно которому последняя обязывалась не оказывать поддержки Франции, находившейся в то время в состоянии войны с Голландией, английские подданные были отозваны с военной службы во Франции. Если следовать «календарю Роксаны», обнаружить своего мужа среди французских гвардейцев она могла примерно в 1706 г., когда еще шла «война за испанское наследство» (1701—1714 гг.), во время которой Англия и Франция были противниками. Если же принять условное время романа — «эпоха правления Карла II», то надо считать, что действие происходит либо в 70-е годы XVII в., когда по тайному Дуврскому договору Карл II, окончательно продавшись Людовику XIV, предоставил в распоряжение последнего английские войска в помощь его агрессивным войнам против Германии и Нидерландов, либо раньше, в самом начале реставрации Стюартов, когда Людовик XIV сформировал полк «английских жандармов» из католических приверженцев Карла II, которых тот по требованию парламента был вынужден исключить из числа королевской гвардии.

42 ...*ожидает приказа выступить походом к берегам Рейна...* — С самого начала правления Людовика XIV и до конца XVII столетия Франция постоянно, даже в перерывах между объявленными войнами, вступала в вооруженные столкновения со своими северными соседями по Рейну — немецкими княжествами и Нидерландскими штатами; таким образом «поход к берегам Рейна» был в порядке вещей. Быть может, Дефо и имел в виду какую-нибудь определенную кампанию, как, например, вторжение французских войск в прирейнские владения Голландии в 1672 г.

43 ...*необычному росту правофлангового...* — По свидетельству Андрея Матвеева, в королевскую конную гвардию набирали «людей изрядного росту».

44 ...*срок этот он положил бы в четыре года...* — См. прим. 26.

45 ...*офицеру... получившему разрешение ее продать.* — Офицеры французских войск имели право продавать свое звание — однако лицу, его покупающему, вменялось в обязанность также сдать экзамен на чин. Практиковавшаяся и в Англии система продажи патентов на военные чины была узаконена с 1710 г.

46 ...*вместо восьми тысяч ливров... десять тысяч крон...* — Иначе, говоря Роксана была готова предоставить ему сумму, почти в 4 раза превосходящую ту, какую он просил.

47 ...*принц... не являлся подданным французского короля.* — Иностранные и, главным образом, немецкие князья нередко состояли на службе при Людовике XIV. Как будет видно из дальнейшего, владения нашего принца находились в Лотарингии. Лотарингское герцогство на протяжении веков являлось предметом раздоров между Францией и Германией. Людовик XIV захватил Лотарингию в 1670 г., даровав представителям Лотарингского дома, издавна породнившимся с французской королевской фамилией, привилегии французских принцев. Быть может, Дефо имел в виду реальное историческое лицо — графа д'Арманьяка, принца Лотарингского (1641—1718), состоявшего при Людовике XIV в чине «великого конюшего» (le grand écuyer de France), которого в свете звали также «Мосье ле Гран»; в 1671 г. он приезжал в Дувр вместе с герцогом Гизом Лотарингским (1650—1671) и другими представителями двора Людовика XIV.

48 ...*кто был мой высокий покровитель.* — Дефо, быть может, не случайно дал своей героине в «высокие покровители» принца, принадлежащего к Лотарингскому дому (см. пред. прим.). У лотарингских герцогов были специальные интересы в Италии, которые Людовику XIV было выгодно поддерживать. Уговорив герцога Лотаринг-

ского уступить свои владения дофину, Людовик предложил взамен Миланское герцогство, на которое претендовал император Леопольд I (1658—1705).

49 *В Сузе нас ожидали кареты, высланные... из Турина...* — Суза — город в Итальянских Альпах, примерно в 50 км от Турина, столицы Сардинского королевства; на протяжении XVI и XVII вв. Франция не раз прибирала это королевство к своим рукам; в 1706 г. во время «войны за испанское наследство» принц Евгений Савойский (1663—1736) освободил Турин от французской оккупации. Как явствует из других сочинений Дефо и обстоятельности, с какой он описывает этот путь, он сам по нему следовал при переезде через Альпы.

50 *...турецкую девочку, схваченную мальтийским фрегатом...* — Мальта уже с начала XVI в., когда на ней поселились выбитые турками с острова Родоса рыцари ордена иоаннитов (впоследствии получившего именование мальтийского), служила оплотом христианской Европы против набегов турецких и африканских корсаров. В XVII в. работорговля была широко распространена; торговали рабами как магометане, так и христиане.

51 *...поехали из Венеции в Турин... по дороге побывала в знаменитом... Милане. Из Турина... через горы... кареты встретили нас в Понтавуазене, что между Шамбери и Лионом...* — Венеция, главный город некогда процветающей Венецианской республики, к XVII в. в результате долгих изнурительных войн с турками начала утрачивать свое былое значение. Милан так же, как Неаполь и другие итальянские города, до 1714 г. находился во владении Испании. Шамбери, главный город Савойского герцогства, на протяжении XV—XVII вв. неоднократно аннексировался Францией. В настоящее время входит в состав Франции (Савойский департамент).

52 *...ростовщика-еврея, который... занимался скупкой драгоценных камней.* — Церковь возбраняла христианам заниматься ростовщичеством; однако с бурным развитием капитализма в Европе, когда государственные (или корпоративные) банки еще не получили широкого распространения, необходимость в людях, производящих финансовые операции, ощущалась так остро, что евреев-ростовщиков даже поощряли селиться в христианских городах. Неблагодарная эта функция вместе с тем вызывала негодование христиан, которые страдали от неумеренных процентов, взимаемых хищными ростовщиками, так что в те времена слова «еврей» и «ростовщик» воспринимались как синонимы. Впрочем, со специального благословения папы, ростовщичеством занимались также и итальянцы.

53 *...в Англии... потребовали бы... доказательства...* — Согласно Великой Хартии Вольностей (1215 г.) и позднейшему специальному акту, «Хабеас корпус» (1679 г.), ни один английский гражданин не мог быть задержан властями без предъявления обоснованного обвинения, причем бремя доказательства возлагалось на того, кто обвинял, а не на того, кого обвиняли.

54 *...упрятать... в Шатле...* — Имеется в виду так называемый «Малый Шатле», служивший городской тюрьмой в Париже; в «Большом Шатле» размещался королевский суд.

55 *Коли дело дойдет до дыбы...* — В XVII в. во Франции, если против подозреваемого в тяжком преступлении не было достаточно улик, прибегали к пыткам во время следствия.

56 *...отправляйтесь в Сен-Жермен-ан-Лэ.* — Сен-Жермен-ан-Лэ — королевский загородный замок, построенный в XVI в. в 18 км к западу от Парижа. Там, должно быть, имелась почтовая станция, где Роксане предстояло сесть в карету, которая должна была доставить ее в Руан.

57 *...в Руан... до Роттердама...* — Руан — крупный торговый город во Франции, расположенный на Сене; гавань его пригодна для морских судов. Роттердам — один из крупнейших торговых городов в Нидерландах, стоит на реке Маас и доступен морским судам, а благодаря сети каналов очень удобен также для континентальной торговли. Роттердамской гаванью особенно охотно пользовались английские купцы.

58 *...копию трехпроцентного билета... для предъявления в Парижскую Биржу...* — С целью облегчить и ускорить денежное обращение, к XVII в. в некоторых евро-

пейских странах были введены так называемые «банковые билеты» — нечто среднее между векселем и бумажными деньгами.

59 *...миновали Дюнкерк... Остенде.* — Дюнкерк — укрепленный город в Северном департаменте Франции, на берегу Северного моря; купленный англичанами у испанцев в 1658 г., являлся предметом раздоров между Францией и Англией; в 1662 г. Людовик XIV выкупил его у Карла II. Остенде — торговая гавань в Нидерландах, доступная для крупного судоходства, расположена между Дюнкерком и устьем реки Шельды.

60 *...в детстве меня перевезли из Рошели в Англию...* — Рошель, или Ларошель — укрепленный портовый город на Атлантическом побережье Франции. Во время Столетней войны переходил из рук в руки. В эпоху Реформации сделался оплотом гугенотов и долгое время впоследствии оставался центром протестантской оппозиции. В 1627 и 1628 гг. английские войска дважды безуспешно выступали на помощь гугенотам, осажденным в Ларошели.

61 *...у берегов графства Саффолк.* — Графство Саффолк расположено в Восточной Англии, омывается Северным морем.

62 *...добрались до Гарвича...* — Гарвич — портовый город на юго-востоке Англии, в графстве Эссекс.

63 *...в соответствии с английским законом... притязать на... имущество.* — Во Франции вдова могла претендовать на имущество умершего мужа лишь в том случае, если у него не осталось родственников (причем признавалось самое отдаленное родство — до двенадцатой степени) или внебрачных детей. В Англии в описываемую эпоху при отсутствии завещания вдова получала не меньше одной трети имущества, оставшегося после мужа.

64 *...в поздний час на Pont Neuf, набросили... плащ...* — Новый мост (Pont Neuf) на самом деле самый старый из парижских мостов (построен в 1604 г.), соединяет оба берега Сены с западной частью острова Ситэ; на улочках, прилегающих к южному концу моста, ютилась городская голытьба, среди которой, вероятно, камердинер принца и разыскал «неизвестных», призванных расправиться с ростовщиком.

65 *...в Консьержери (или... Брайдуэлл)...* — Консьержери — парижская городская тюрьма, расположенная в Ситэ. Брайдуэлл — лондонская тюрьма.

66 *...на пароме через Маас из Виллемстадта...* — Виллемстадт — укрепленный город в Северном Брабанте (Нидерланды); крепость возведена в 1583 г., город отстроен в 1588. Так как Роттердам находится в дельте реки Маас, добраться к нему можно было только водой.

67 *...отличаются гораздо более любезными манерами, нежели то принято думать о голландцах.* — Дефо, как известно, не упускал случая для борьбы с национальными предрассудками англичан против иностранцев, и в частности — против голландцев; здесь он косвенно выступает в защиту своего кумира Вильгельма III Оранского — противника абсолютизма Стюартов и Людовика XIV; Вильгельм Оранский вырос среди тех же людей, что и голландский купец Роксаны.

68 *...сравнить с положением слуги в древнем Израиле...* — Согласно Библии (Исход, 21, 2—6), хозяин по истечении шести лет был обязан отпускать раба на волю. Если же тот сам изъявлял желание остаться у хозяина, с ним поступали, как сказано в тексте: проколотое ухо — знак добровольного рабства.

69 *...следовать... в Монетный двор...* — Имеется в виду старый монетный двор, основанный Генрихом VIII на южном берегу Темзы, в Саутварке. Так как он был построен на развалинах древнего монастыря, в нем до самого конца XVII в. по старнниой традиции пользовались так называемым «правом убежища» лица, преследуемые законом, главным образом, несостоятельные должники. Есть основания полагать что и сам Дефо там скрывался некоторое время после своего банкротства в 1692 г.

70 *...сослаться на то, что я брюхата?* — В соответствии с английскими правовыми нормами, при вынесении смертного приговора беременной женщине исполнение приговора откладывалось до разрешения ее от бремени; практически же смертная казнь обычно заменялась более легким наказанием.

71 *...сделаться любовницей самого короля!* — Карл II умер в 1685 г. Роксана роди-

лась в 1673; таким образом, ей пришлось бы осуществить свою «мечту» до двенадцатилетнего возраста! (см. стр. 281, 283).

72 ...*села на пакетбот в Брилле*... — Брилль — укрепленный приморский город в Голландии, к западу от Роттердама.

73 ...*невдалеке от Черинг-кросса*... — Черинг-кросс — площадь в западном, фешенебельном районе Лондона, поблизости от королевской резиденции в Сент-Джеймском дворце и от Уайтхолла; оживленное место в описываемую эпоху; здесь совершались публичные казни, давались цирковые представления, выступали заезжие артисты с театром марионеток и т. п.

74 ...*севши в карету со стеклянными окнами*... — Экипажи со стеклянными окнами начали входить в моду лишь в 60-е годы XVII в. и свидетельствовали о богатстве тех, кто пользовался ими.

75 ...*комнаты на Пел-Мел, в доме, в котором... дверь, выходящая прямо в королевский парк.* — Пел-Мел — знаменитый бульвар, обсаженный платанами, на который выходил своим северным фасадом Сент-Джеймский дворец; некогда, до того, как застроился домами, служил для перенятой у французов старинной игры пел-мел (род крокета), введенной в Англию еще Карлом I (1600—1649); с реставрацией Стюартов игра эта вновь вошла в моду, и Карл II выложил новую аллею (Мел) внутри Сент-Джеймского парка, обсадив ее липами.

76 ...*при посредничестве славного сэра Роберта Клейтона*... — Роберт Клейтон (1629—1707) — один из первых финансистов в современном значении этого слова; богатый наследник, он увеличил свое состояние перекупкой векселей; в 1671 г. получил титул баронета, в 1679—1680 гг. был мэром Лондона; состоял членом «Африканской компании» (объединение купцов, ведущих торговые дела с Африкой, в том числе и торговлю рабами).

77 ...*прохаживалась вдоль Мел*... — Здесь, скорее всего, имеется в виду Пел-Мел.

78 ...*предпочла бы... сейчас, нежели... когда достигну пятидесяти лет.* — Роксане ко времени этих бесед со своим руководителем, если следовать ее «календарю», должно было перевалить за 40. Но самого Клейтона, по этому «календарю», к 1714 г. уже не было бы в живых.

79 *Об этом сословии мы с сэром Робертом были согласного мнения.* — Надо полагать, что мнение это разделял и сам Дефо. Дворянское звание у Роберта Клейтона не было родовым (см. прим. 76).

80 ...*«почитать и повиноваться»*...— Выражение взято из ритуального текста, сопровождающего бракосочетание в англиканской церкви.

81 ...*к этому времени... двор... начал отходить от сих забав.* — Балы и маскарады вошли в моду в 60-е годы XVII в. В последние годы царствования Карла II «маскарадное помешательство» двора несколько поутихло; возможно, что это было связано с состоянием здоровья не по возрасту одряхлевшего бонвивана. Впрочем, в дневнике Ивлина находим запись, относящуюся к последним дням жизни Карла II: «Никогда не забуду необычайную роскошь и кощунство, игры и распутство... свидетелем коих я был на прошлой неделе: король, забавляющийся со своими конкубинками — Портсмут, Кливленд, Мазарини etc. Мальчишка-француз, поющий любовные песни... меж тем как человек двадцать вельмож и прочих распутников играет за большим столом в бассет — в банке по меньшей мере 2 000 золотом...» Так что Дефо, быть может, под «этим временем» имел в виду совсем другие времена, когда на английском престоле сидел целомудренный и энергичный Вильгельм III.

82 ...*королева не слишком часто удостаивала придворные сборища своим присутствием.* — В свое время жена Карла II, Екатерина Браганцкая (1638—1705), разделяла увлечение двора маскарадами. Но ей пришлось оставить их после того, как в 1668 г. носильщики, не зная, кто была дама в маске, которую они несли, бросили ее посреди ночи на улице одну в портшезе. Королевский дворецкий объявил ей к тому же, что вследствие интриг некоторых придворных, все еще мечтавших развести ее с королем или избавиться от нее каким-либо другим путем, подобные экскурсии сопряжены со слишком большим риском. Доводы его отнюдь не были лишены оснований (см. стр. 285).

83 ...*на французском языке...* — Карл II провел годы юности, когда в Англии была провозглашена республика (1649—1660), при дворе Людовика XIV и, придя к власти, стремился в своей придворной жизни ему подражать всячески, перенимая у него все — моды, нравы, танцы и даже язык.

84 *«Да ведь это сама Роксана..»* — Имя Роксана (сокращенное от Роксоланы) связано с героинями трех пьес, которые ставились в театре во времена Карла II: «Мустафа» лорда Оррери (1621—1679) (впервые представлена в 1665 г.), в которой роль героини исполняла миссис Беттертон; в 1677 г. шла пьеса Натаниэля Ли (1665—1692) «Королевы-соперницы», где роль Роксаны играла миссис Маршалл; и, наконец, «Осада Родоса» Дейвенанта (1606—1668), впервые опубликованная полностью в 1663 г. В этой пьесе в роли Роксаны отличилась одна из лучших актрис того времени, Хестер Дейвенпорт. Вероятно, ее и имел в виду Дефо; вскоре после выступления в этой роли, в 1662 г., Хестер Дейвенпорт пришлось покинуть сцену по вине Обри де Вере, герцога Оксфордского, обманным путем вынудившего ее сделаться его любовницей (инсценировав церемонию бракосочетания).

85 ...*на троих красовались синие подвязки...* — Иначе говоря, все трое являлись рыцарями ордена Подвязки, одного из самых древних и почетных орденов Англии (учрежден в 1350 г.). Рыцари этого ордена носили ленту темно-синего бархата под левым коленом.

86 ...*один из них оставался с покрытой головой...* — Намек на то, что это был сам Карл II.

87 ...*один из них являлся г-гом М-тским.* — Здесь уже не остается сомнений в том, что Дефо имеет в виду герцога Монмутского (1649—1685), побочного сына Карла II, пользовавшегося большой популярностью в народе в силу своего подчеркнутого протестантизма, отваги и личного обаяния. В дневнике Самуэля Пипса описан придворный маскарад 1665 г., в котором участвовало «шестеро женщин (среди них миледи Каслмейн и герцогиня Монмут) и шестеро мужчин (среди которых был герцог Монмут) в масках и великолепных старинных нарядах».

88 ...*к 500 фунтам моего годового содержания.* — Любопытно, что когда одна из последних любовниц Карла II, Нелл Гвин (см. стр. 286), потребовала у него 500 ф. в год, тот ей отказал; однако четыре года сожительства с нею обошлись ему больше 60 000 ф., т. е. в 30 раз больше запрошенной цены!

89 ...*вексель на... золотых дел мастера...* — Банк в Англии был учрежден лишь в 1694 г. До этого и некоторое время после функцию банкиров часто несли ювелиры и золотых дел мастера. Так, банкиром Карла II, всей королевской фамилии, принца Оранского, Самуэля Пипса, Ост-Индской Компании и нескольких других корпораций был известный золотых дел мастер Эдвард Блекуэлл.

90 ...*20 фунтов за его обучение...* — По обычаям того времени, при поступлении ученика к мастеру заключался договор, согласно которому ученик или его родственники выплачивали определенную сумму мастеру; если мастер сам увольнял ученика, он был обязан часть этой суммы возвратить; если же, как в данном случае, ученик покидал мастера своею волею до окончания срока (обычно исчисляющегося в 7 лет), внесенная сумма целиком оставалась у мастера.

91 ...*купцу из Левантийской Компании.* — Левантийская, или Турецкая Компания — одна из богатейших купеческих корпораций, была основана в 1579 г. при Елизавете; члены ее вели торговлю с Востоком.

92 ...*погиб от оспы...* — До введения в конце XVIII в. оспопрививания по методу выдающегося английского врача Эдуарда Дженнера оспа была самым жестоким бичом Европы, и редко можно было найти семью, в которой бы кто-нибудь не пал ее жертвой.

93 ...*в ту пору... случалось... отправившись в Индию, привозить... состояние.* — С конца XVI и начала XVII в. англичане с помощью своих купцов (Ост-Индская Компания, основанная в 1600 г., уже к концу XVII в. имела свои территориальные владения в Индии, превратившись по существу в орган имперской администрации) все больше утверждались в Индии, и многие искатели и искательницы счастья возвращались оттуда с большим состоянием.

94 ... *поселилась она в Сити...* — Словом «Сити» обозначалась деловая часть Лондона на северном берегу Темзы — между Тауэром и Флит-стрит; в этой части расположены коммерческие учреждения, Биржа, собор Св. Павла; здесь также селился торговый люд. Еще при Карле I начался процесс сегрегации простолюдинов и аристократии; последняя предпочитала строить дома в западной части города; к правлению Карла II процесс этот можно считать завершенным.

95 ... *подворье возле Минериз...* — Минериз — улица в восточной части Лондона, берущая начало у территории, окружающей знаменитый Тауэр, и упирающаяся северным концом в Уайтчепел-стрит, напротив церкви св. Ботольфа.

96 ... *уехал в Новую Англию...* — Так называли шесть штатов США, расположенные на северо-восточном побережье Атлантического океана: Мэн, Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Вермонт, Массачусетс и Коннектикут, первоначальное население которых в основном составляла протестантская эмиграция.

97 ... *она принадлежала к квакерам, чему я была очень рада.* — Квакеры — последователи английского протестанта Джорджа Фокса (1624—1691), основавшего в 1652 г. так называемое Христианское общество друзей. Члены этого общества отвергают церковь и церковные обряды, руководствуясь лишь «внутренним озарением», одеваются подчеркнуто скромно, всем без исключения говорят «ты» и не признают чинов и титулов. После реставрации Стюартов квакеры, как и все протестантские секты, чье вероучение отклонялось от англиканской догмы, подвергались жестоким гонениям. Дефо относился к квакерам с уважением и имел все основания испытывать к некоторым из них благодарность. Когда в 1703 г. он был заключен в Ньюгейтскую тюрьму за свой сатирический памфлет «Наикратчайший способ расправы с диссидентами», влиятельный квакер Вильям Пенн (1644—1718) (основатель квакерской колонии в Северной Америке, которая впоследствии стала называться Пенсильванией), ходатайствовал за него перед правительством. А когда в 1714 г. Дефо лежал тяжело больной, за ним также ухаживал некий квакер. «Благородные квакеры» фигурируют и в других книгах Дефо — см., например, в «Робинзоне Крузо» и «Молль Флендерс».

98 ... *в горах Ланкашира.* — Ланкашир, графство на севере Англии, в описываемую Дефо эпоху было одним из самых бедных и отсталых, поэтому Роксана и называет его как синоним глуши.

99 ... *узкие улочки... Гудманс-филдс...* — Гудманс-филдс — квартал, примыкавший к Уайтчепел-стрит, неподалеку от Минериз; в описываемое время только начал застраиваться; там селились преимущественно ремесленники и мелкий торговый люд.

100 ... *покататься на лодке...* — Темза, через которую до середины XVIII в. был перекинут только один мост, соединяющий южную и северную части города, служила основной городской магистралью; но и помимо того, катанье в лодке было одним из любимых развлечений горожан.

101 ... *дом... стоит на Сент-Лоренс-Патни-лейн... всякий день бывает на Бирже, под французской аркой.* — Все указанные места находились в восточной части Лондона, неподалеку от Минериз. Под Биржей Дефо имеет в виду Королевскую, или Старую Биржу, — место, где собирались купцы, узнавали последние торговые, политические и военные новости, заключали сделки. Здесь же совершались публичные казни. Так, одним из трех мест, где Дефо был выставлен у позорного столба, была Биржа — ... *под французской аркой.* — Купцы и коммерсанты, имевшие торговые дела с той или иной страной, собирались под определенной аркой.

102 ... *до леса в Эппинге... на дороге между Боу и Майл-энд...* — Эппингский лес расположен в нескольких милях к северу от Лондона; мэр Лондона держал там свою охоту; в том же лесу охотились купцы и более мелкий торговый люд. Боу и Майл-энд — деревни на пути к Эппингу.

103 ... *ворота постоялого двора на Бишопсгейт-хилл...* — Улица Бишопсгейт-хилл находилась неподалеку от Уайтчепел-стрит.

104 ... *на углу Уайтчепелской церкви...* — По всей вероятности, имеется в виду старинная церковь Св. Ботольфа (XII в.), чудом уцелевшая во время бушевавшего вокруг нее лондонского пожара 1666 г.

105 *...за его письмами никто не посылал... уплатил почтовые издержки...* — До введения в Европе почтовых марок (в середине XIX в.) почтовую пересылку оплачивал адресат.

106 *...в Нимвегене, что в Голландии...* — Нимвеген — город в одной из Нидерландских провинций, Гельдерне, на левом берегу реки Ваал. Известен в истории благодаря тому, что там, после многолетних переговоров, был подписан в 1678 г. мир между Францией и Голландией. Дефо, жадно следивший за политическими событиями своего времени, а подчас принимавший деятельное участие в них, возможно, поэтому и остановил свой выбор на Нимвегене.

107 *...ранен под Монсом и умер в Доме Инвалидов.* — Монс — самая защищенная крепость в Испанских Нидерландах. Фигурирует в военной истории XVII в. дважды: в 1678 г. во время франко-голландской войны, когда Вильгельм III Оранский (тогда еще штатгальтер и капитан-майор Нидерландский) внезапной атакой выбил маршала Люксембурга из этой крепости, и — в 1691 г., когда организованная французским министром Лувуа стотысячная армия провела под руководством знаменитого военного инженера Вобана успешную осаду Монса. Злополучный пивовар, впрочем, мог погибнуть и позже, в 1701 г., во время войны за испанское наследство, когда войска Людовика XIV с помощью испанских войск выбили голландцев из пограничных селений, городов и крепостей Фландрии, оккупировав Антверпен, Монс, Намюр, Остенде и другие города. Следовательно, здесь мы имеем дело с историческим календарем; по «календарю Роксаны» (см. стр. 283) ей было бы не больше 28 лет и она еще жила со своим ювелиром-домовладельцем в Лондоне. Дом Инвалидов — госпиталь для раненых и престарелых солдат, построенный Людовиком XIV в 1670—1676 гг. в Париже.

108 *...от обитателей Бедлама...* — Бедлам — дом для умалишенных на северной окраине Лондона.

109 *...становится... malade imaginaire, и, в зависимости от успеха... фантазии...* — Malade imaginaire («мнимый больной»). Выражение это, очевидно, вошло в разговорный обиход с легкой руки Мольера. Его последняя пьеса под этим названием была представлена в 1673 г.

110 *...если его интересуют торговые дела с Францией, то пусть это будет Дувр либо Саутгемптон; если же ему хочется быть поближе к Голландии, — то Ипсвич, Ярмут либо Гулль.* — Дувр и Саутгемптон — портовые города на Ламанше; ближайший порт на континенте от Дувра — Кале, от Саутгемптона — Гавр или Дьепп; Ипсвич, Ярмут, Гулль — портовые города на Северном море; ближайшие города на континенте — Брилль, Гаага, Амстердам.

111 *...как раз заседал парламент... подали общий билль.* — Натурализация иностранцев проводилась при посредстве подачи биллей, которые затем обсуждались палатой общин. С 1681 по 1688 г. в связи с сочувственным отношением к гугенотским эмигрантам, разрешения на натурализацию выдавались в массовом порядке и обычно бесплатно. В 1709 г., благодаря преобладанию в парламенте покровительствовавших иностранным протестантам вигов (тогда — антиправительственной партии), натурализация была облегчена особым актом, который в 1712 г. с приходом к власти тори был отменен.

112 *...благо церковь была рядом...* — Должно быть, имеется в виду церковь Св. Ботольфа. Кстати, в этой церкви в 1684 г. венчался и сам Дефо.

113 *...ее госпоже было под пятьдесят...* — По «календарю Роксаны» ей было по меньшей мере 52!

114 *...уподобилась некоему вождю индейского племени в Виргинии...* — Виргиния — старейшая британская колония в Северной Америке, основана в 1607 г.; первые поселенцы исповедовали англиканскую веру, многие из них принадлежали высшей аристократии и были ярыми приверженцами королевской власти. С аборигенами, о которых рассказывалось столько забавных историй, вели жестокие войны.

115 *...Комптер, Лэдгейт.* — *Кингсбенч* — долговые тюрьмы в Лондоне. Дефо был с ними слишком хорошо знаком.

116 *...чек на 30 000 риксдалеров...* — Риксдалер — голландская монета, равная приблизительно 4 английским шиллингам.

117 *...у него имелись восьмая доля в торговом судне Ост-Индской Компании, ...текущий счет... в Кадисе, ...ссуды под залог нескольких кораблей, плывущих в Индию, и большой груз товаров... в Лиссабоне...* — В одной этой фразе перечислены торговые операции самого Дефо. Так, в 80—90-е годы он участвовал в качестве пайщика в страховании торговых кораблей (что и послужило одной из причин его банкротства: застрахованное им судно было потоплено в результате военных действий на море); одно время ему предлагали пост комиссионера в Кадисе (крупном торговом городе на юге Испании, который приобрел особое значение после испанской колонизации Америки); насколько известно, у Дефо также были коммерческие дела в Португалии.

118 *...Валтасара, увидевшего роковую надпись на стене...* — Согласно Библии, вавилонский царь Валтасар беспечно пировал в то время, как враг уже подступил к стенам города; таинственная рука начертала на неизвестном языке три слова, предвещавших падение Вавилона и перехода его во владычество персов и мидян (Книга пророка Даниила, 5, 1—28).

119 *...пресловутой Германской княжной!* — См. стр. 287.

120 *...за неким капитаном, проживающим в Редриффе...* — Редрифф — деревня на южном берегу Темзы, в нескольких милях от Лондона. Здесь селились преимущественно люди, связанные с мореходством.

121 *...пансион в Кемберуэлле...* — Кемберуэлл — деревня к востоку от Лондона, на южном берегу Темзы, графство Сарри.

122 *...наряд из «Тамерлана»... на парижских театрах.* — Вероятно, имеется в виду пьеса Николаса Роу (1674—1718) «Тамерлан»; впервые опубликована в 1701 г.

123 *...совсем нас замучила своими кентерберийскими историями...* — Выражение «кентерберийские истории» вошло в употребление как понятие нарицательное, обозначающее вымыслы, побасенки и всякого рода небылицы. Происходит от заглавия, которое Чосер (ок. 1340—1400) дал своему сборнику новелл.

124 *...остановила выбор на Нортхолле...* — Нортхолл — английское курортное местечко.

125 *Тэнбридж.* — Тэнбридж, или Тэнбридж-уэлл — один из самых фешенебельных курортов описываемой эпохи, расположенный в графстве Кент, куда постоянно ездили двор и знать; его воды считались целительными при бесплодии. Эти их свойства побуждали королеву Екатерину Браганцкую, так и не подарившую Карлу II наследника, прилежно посещать Тэнбридж.

126 *Ньюмаркет.* — Здесь каждую весну и осень происходили конные состязания, на которых с 1666 г. Карл II вместе с двором неизменно присутствовал. Здесь же король держал свою охоту. Дефо сам был неравнодушен к бегам и время от времени появлялся в Ньюмаркете.

127 *...поплывем в Голландию, ...отправимся из Гарвича и можем перед тем завернуть по дороге в Ньюмаркет и Бери, и оттуда двинуться к морю, через Ипсвич.* — Бери (Бери-Сент-Эдмондс) — один из древнейших английских городов, расположен между Ньюмаркетом и Ипсвичем.

128 *...младшая из трех детей твоей родительницы... твоей матушке... нет и сорока...* — см. прим. 113.

129 *Эпсом, Нортхолл, Барнет, Ньюмаркет, Бери... Бат...* — Здесь перечислены известные английские курорты того времени. Эпсом был излюбленным курортом лондонских простолюдинов — купцов и ремесленников. Одно лето Дефо держал там семью и ездил оттуда каждый день в Лондон. В конце XVII—начале XVIII в. был в моде и у высшего света. Бат — один из самых фешенебельных курортов, расположен неподалеку от Тэнбриджа. Теплые его источники считались целительными от ряда болезней. Дефо-подростка посылали в Бат для поправки здоровья.

130 *...как если бы я была в Вене...* — Упоминание Вены как символа удаленности может показаться странным, если забыть, что Вена и в самом деле казалась англичанам краем света, иначе говоря, Западной Европы, форпостом которой еще с XVI в. она являлась в противостоянии турецкому владычеству. Так, в 1683 г. ей пришлось выдержать длительную и жестокую осаду турецкого войска. В том же году

Дефо выпустил свой первый политический памфлет, в котором нападал на вигов за то, что те держали сторону турок.

131 ...*у Тауэрской верфи... из Редриффа водой.* — Тауэрская верфь, как и Минериз, откуда Эми держала путь, находилась на северном берегу Темзы. Для того, чтобы попасть в Редрифф, ей надо было переправиться через реку и плыть вниз по течению, на восток; дочь Роксаны, в свою очередь, совершила обратный путь, покинув Редрифф и высадившись у Тауэрской верфи.

132 ...*крикнула лодку... в Гринвич...* — Гринвич, холмистый поселок на южном берегу Темзы в графстве Кент, отстоявший в описываемую эпоху на несколько миль к востоку от Лондона (ныне часть города). За время гражданских войн и протектората (1642—1660) порядком обезлесел, но с реставрацией Стюартов, под личным руководством Карла II вновь обсажен деревьями; одних вязов в 1664 г. было посажено шесть тысяч и ко времени прогулки миссис Эми с дочерью Роксаны холмистый парк представлял собой довольно глухое место.

133 ...*небольшую деревню на опушке Эппингского леса... Вудфорд...* — Эппингский лес — см. прим. 102; Вудфорд — буквально «лесная переправа», деревня, на месте которой впоследствии был выстроен мост.

134 ...*немедленно отправила ее в Ньюгейт...* — Ньюгейт — лондонская тюрьма, выстроенная в XIII в. В ней содержался (в 1702—1703 гг., а также несколько дней в 1713 г.) сам Дефо.

135 ...*на поверхности огромного озера в Кемберуэлле.* — В Кемберуэлле путники, покинувшие Лондон, обычно делали первую остановку и поили лошадей у одного из его многочисленных прудов. Какое именно «огромное озеро» имеет в виду Дефо, установить не удалось.



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ



СОДЕРЖАНИЕ

ДАНИЭЛЬ ДЕФО

СЧАСТЛИВАЯ КУРТИЗАНКА,
ИЛИ РОКСАНА

*

Утверждено к печати
редколлегией серии „Литературные памятники"

*

Редактор издательства О. К. Логинова
Художественный редактор Т. П Поленова
Технический редактор Н. П. Кузнецова
Корректоры Н. Г. Сисекина, Л. С. Агапова

*

Сдано в набор 21/IX 1973 г.
Подписано к печати 4/IV 1974 г.
Формат бумаги 70×90[1]/[16].
Бумага типографская № 3.
Усл. печ. л. 22,9. Уч.-изд. л. 24,1
Тираж 50000. Тип. зак. 611.
Цена 1 р. 73 коп.

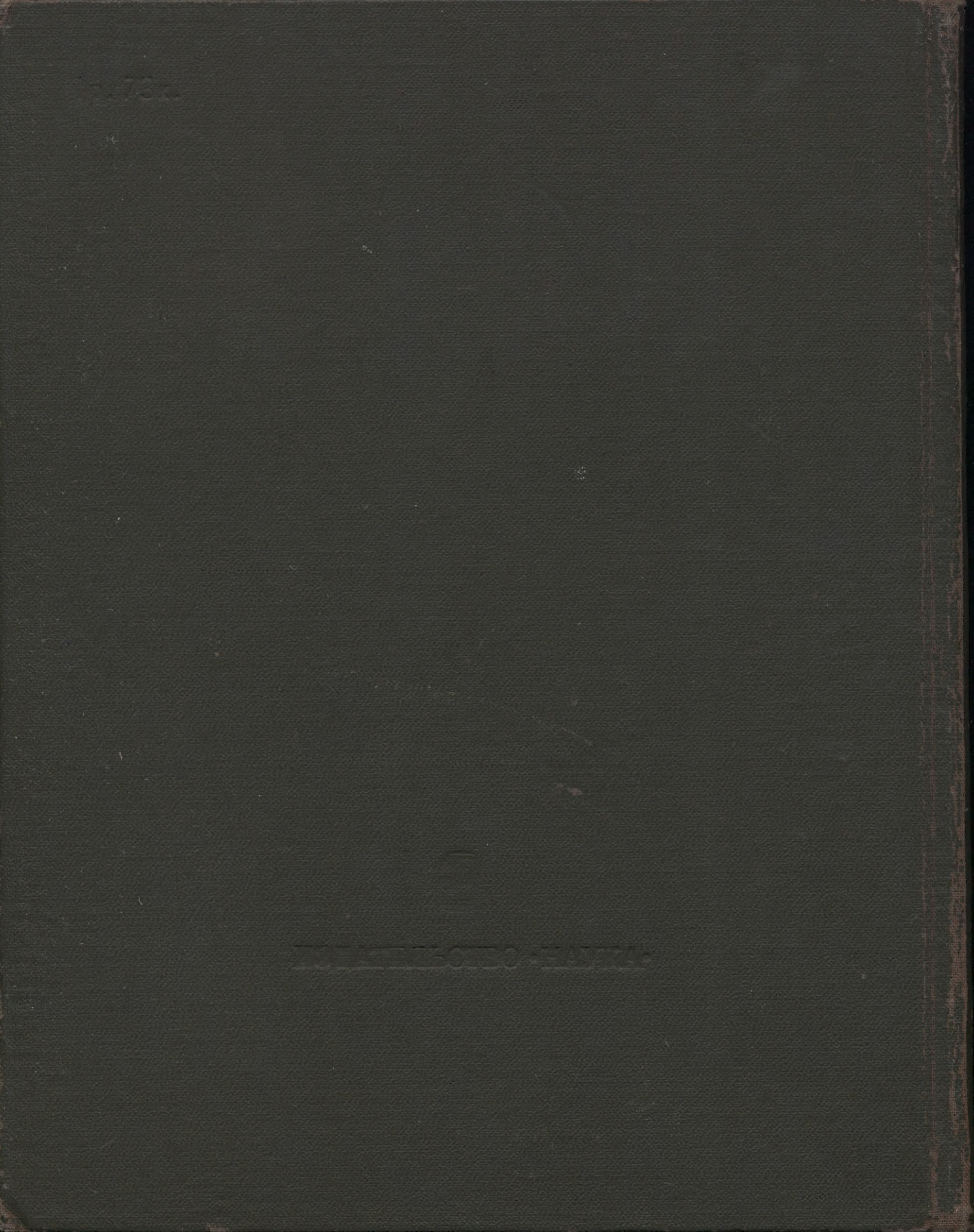
*

Издательство „Наука"
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
1-я типография издательства „Наука".
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ДАНИЭЛЬ ДЕФО

РОКСАНА

ДАНИЭЛЬ ДЕФО РОКСАНА


1 р. 78 к.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»